

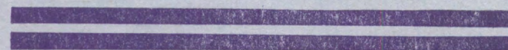
ISSN 0130-7673

НОВОЫЙ МИР

|| 6 ||

НОВОЫЙ МИР

6



1979

|| 1979 ||



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИКЛАЙ КАЗАКОВ — Мое слово, стихи. Перевел с марийского А. Смольников	3
Р. КИРЕЕВ — Победитель, роман	5
ПЕТР ВЕГИН — Время — пламя, стихи	35
НАТАЛЬЯ СИДОРИНА — Три стихотворения	38
ВЛ. ЛИДИН — Страницы полдня	40
ВЛАДИМИР МОЩЕНКО — Из лирической тетради, стихи	68
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ — Тайна Гоголя, стихи	70
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ — Хэда, роман. Окончание	73
ТАТЬЯНА АНДРОНОВА — Возвращение, стихи	182
М. БАСМАНОВ — Закат, стихи	187
ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ — Рисуйте, дети, на асфальте! Отрывок из «Се-годняшней поэмы»	188
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ — Метафоры КамАЗа, стихотворение	189
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ — Морские ворота БАМа	190
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ — Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах. Окончание	212
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. НЕПОМНЯЩИЙ — Предназначение	236

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Дм. Иванов. Устремленность критической мысли. — Ю. Смелков. Три путешествия Леннарта Мери. — Ирина Шевелева. Возмужание. — В. Тендряков. Возвращение поэта.	254
<i>Политика и наука</i>	
Ю. Каграманов. Между валгаллой и пригородным поездом. — Эрнст Генри. Техника «промывания мозгов». — И. Луначарская. Хирург о детях.	264
КОРОТКО О КНИГАХ: Б. Ряховский. — Н. Самвелян. Московии таинственный посол. Роман. Н. Самвелян. Казачий разъезд. Роман. ♦ Юрий Щеглов. — В. Золотухин. На Исток-речушку, к детству моему. Повесть. ♦ Людмила Зак. — Н. И. Дикушина. Октябрь и новые пути литературы. ♦ А. Майкапар. — Л. Бернштейн. Музыка — всем. ♦ Макарова. — Эм. Миндлин. Не дом, но мир. Повесть об Александре Коллонтай. ♦ Иг. Бубнов. — Александр Левиков. Люди дела. ♦ Р. Баландин. — Т. И. Алексеева. Географическая среда и биология человека. ♦ Ю. Михайлов. — США — Западная Европа: партнерство и соперничество	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МИКЛАЙ КАЗАКОВ

★

МОЕ СЛОВО

С марийского

1

Шестьдесят!
Да мой дед столько лет и во сне не видал.
С полдороги отец затабанил...
Видно, век мой надолго меня запрягал —
За троих и тяну свои сани.

Тяжело ли, легко ли — везу, не ропщу.
Были б силы — не стану в дороге.
С головы моей шапка не спала — ташу,
Значит, варит котел понемногу.
Пусть же легким дышать, как кузнечным мехам,
Пусть же сердцу стучать, как мотору,
И смотреть и смеяться от счастья глазам,
Видя родины милой просторы!

Жизнь — проулок пустой без ее красоты,
Только с ней я чего-нибудь стою.

Я еще помогу посадить ей цветы,
Ведь живу я с народом душою.

2

Ах, боже мой, и Пушкин не достиг
Годов моих!
Да что мне толку в них?

Черновиков — овраг наполнить впрок,
Чернил извел — залить бы омут мог.

Но Пушкин звал все выше, все вперед
Меня с своих сияющих высот.

И я всю жизнь карабкался туда,
Хоть всем свѣя дается высота.

3

Верстами ли годы мерит человек?
 Сутками ли люди взвешивают век?
 Шестьдесят мне стало. Вроде не погиб.
 Не хочу быть жухлым, точно старый гриб.

Подкопив силенок, вновь иду тропой,
 Лишь была б голубка белая со мной,
 Лишь бы ты, народ мой, не считал года,
 Добрый и веселый был со мной всегда.

4

Судьба моя! Ворчлива ты, упряма.
 А все же я тебя перехитрю.
 Прибавишь ли, сказала бы ты прямо,
 С десяток лет к седому декабрю?

Ах, сколько слов распрыгалось из сети —
 Как рыбок из беспечной ячеи!
 Собрать бы все, чтобы могли и дети
 Услышать песни добрые мои!

А сколько слов, еще не спетых мною?
 И песни есть, да все допеть не срок.
 Лишь об одном тревожусь я порою:
 Наполню ли заветный сундучок?

А сколько есть листков початых? Право,
 Их тоже бы прибрать с годами впрок!
 Десяток лет!
 Ну что тебе? Забава.
 Накинь, судьба, один-другой годок...

5

Вон хвою, ветки на жилище
 Весь день таскают муравьи.
 А сколько дней прожил я? Тыщи.
 Закончу ль я дела свои?

А кто мешал мне? Сам повинен!
 Не по линейке жизнь ведет —
 Оставил стих на половине,
 Не перебрел ручьишко вброд...

Да, в жизни всякое случалось.
 Но кое-что и я успел:
 И в бой сходил как полагалось,
 И кровь и сердце не жалел.

1978.

Перевел А. СМОЛЬНИКОВ.

Р. КИРЕЕВ



ПОБЕДИТЕЛЬ

Роман

1

Света нет в окнах — второй час ночи, спят. Прекрасно! — ведь ты не из тех мужей, о чьей нравственности пекутся жены. Тебя не высматривают в окно, к твоим шагам не прислушиваются. Не готовят тебе каверзных вопросов. Вам верят, маэстро! Что же, да здравствует доверие! Или ты не заслужил его своими крепкими моральными устоями?

Слякоть, застывшие молнии в сыром асфальте. Кучки ноздреватого снега под уже остриженными деревьями... Весна! Ну умились же скорее! Набери полную грудь молодого воздуха и — умились. Замедли шаг. По сторонам глянь.

Замедляешь, глядишь. Пусто. Мертвый, без огней автобус у кромки тротуара. Неба нет — черный провал над спящими домами. Оттаявшей землей пахнет. Всюду асфальт — откуда этот запах?

Настежь распахнута дверь подъезда. Пружину сняли — по случаю весны? Или ее уже давно нет, а ты, занятой человек, не замечал этого?

Обшарпанная детская коляска под лестницей. Всегда ночует здесь? Когда ты в последний раз возвращался домой так поздно? Голая лампочка в черном патроне. На цементных ступеньках — клочки бумаги. Кто-то письмо разорвал? Любовную записку? А вдруг это не твой дом, не твой подъезд? Вдруг ты никогда не бывал здесь?

Легко и неслышно взбегаешь по лестнице. Жена безмятежно спит — доволен? Или тебя задевает это?

Суешь в замочную скважину холодный ключ, неслышно дверь открываешь. Тихо и темно. Пахнет очищенными апельсинами. Зажигаешь свет в коридоре, осторожно ставишь на пол портфель. Парад обуви под вешалкой. Гордость супруги — замшевые сапожки со шнуровкой, длинные и обмякшие. Коричневые штиблеты отца на массивной микропорке...

Снимаешь пальто. Через голову, лохматя волосы, стягиваешь пуловер. Со вкусом умываешься, быстро и тихо проходишь в кухню. На белом пластике стола кефир, заблаговременно вынутый из холодильника, сырок с изюмом — традиционный твой ужин. Ты угадываешь его, не подымая крахмальной салфетки.

Долой традиционный ужин! Распахиваешь холодильник. Прохладой обдувает лицо, и ты чувствуешь, как загорело оно за эти два дня под крымским солнцем. А ведь ты очень молод еще, Станислав Рябов! Молод, свеж и силен. И чертовски голоден.

Лихо отхватываешь ножом ломоть колбасы. Варварски батон ломаешь. Долго и тщательно вздвелеивать дисциплину питания — и вот так, разом, поправить все. Быть немножно анархистом. Братец прав: есть в этом своя прелесть.

Горчички бы! Приключение, в которое ты влип, тоже своего рода горчица: придает вкус жизни.

Шаги. Не отца — женские. Мать. Жена проснется разве?

Блеклый стеганный халат. Пояс аккуратно завязан. Желтоватое пористое лицо.

— Приветик! — мычишь набитым ртом.

Как щурятся, страдая от света, ее глаза! Ну что ты, мама! Щурься, не стесняйся, это разве слабость — щуриться с темноты? Я знаю, ты не прощаешь слабостей — ни себе, ни людям, но ведь это не слабость, это физиология.

Съездил как? У тебя полон рот, и вместо ответа тычешь пальцем в загоревшее лицо. Мама не понимает. Мама терпеть не может уклончивости. Пытливо глядит на тебя многоопытным директорским взглядом. Ты не торопишься проглотить кусок — пусть глядит! Пусть читает в твоих глазах. Что-то необычное проскальзывает там, а? Вы не привыкли видеть сына таким? Даже в пору туманной юности не возвращался домой в таком порхающем настроении. Он был дисциплинирован и мудр — не по годам развитый мальчик. Вундеркинд.

— Загорел, — объясняешь ты, проглотив.

Тонкие губы непроницаемо сжаты. Крупная, покрытая белесыми волосами родинка на подбородке.

— Ты нетрезв? — Я не узнаю тебя, Слава.

С наслаждением отхлебываешь глоток воды — сырой.

— Дыгнуть?

Как глупа и развязна твоя улыбка! Мама страдает: Станислав Рябов не имеет права выглядеть глупым.

— У нас нет горчицы?

Напряженная работа в выцветших глазах. Что-то скрываешь от меня, сын... Ну что же, в конце концов, ты взрослый человек и это не мое дело — где был и что там приключилось у тебя. Ездил на двухдневную экскурсию в Крым — с меня достаточно. Имеет же право развлечься мой сын — ведь он так работает! Кто добился столького в его годы?

Ты права, мама, — немногие. Глубокий исследователь, новатор, тонкий и добросовестный аналитик... Какие там еще были эпитеты? Экономист, с блеском защитивший в двадцать семь лет кандидатскую, — весьма не частый случай, товарищи!

— Какая там погода?

Вот все, что интересует меня.

— Роскошная. — Ты посмеиваешься. Такая изумительная погода, что ты даже искупался. Плюхнулся, как мешок с песком, в воду, чтобы спасти свалившегося с причала пацана. Пацан с таким же успехом мог спасти тебя. — В Гурзуфе черешня цветет, — развязно прибавляешь ты.

Мама сосредоточенно поправляет пояс. Опрятность — она передала тебе это качество, она передала тебе все свои положительные качества, несправедливо обделив ими старшего сына. Как и она, ты болезненно чистоплотен, но посмотри, на кого ты похож сейчас. Мятая рубашка, распахнутый ворот.

Молча снимаешь с традиционного ужина салфетку. Крапинки влаги на кефирной бутылке. Только из холодильника? Но ведь ты собирался быть в одиннадцать. Вынула, дабы не был ледяным, потом снова убрала и опять вынула? Вундеркинд терпеть не может теплого кефира.

С готовностью глядишь в выцветшие глаза. Пожалуйста, мама, не стесняйся — любые вопросы. Любые! Ну, например, какое впечатление произвел Никитский ботанический? Или где ночевали — в Алуште, Ялте?

Нету вопросов. Разве что этот — будешь ли кефир? — заданный молча, одними глазами.

— Я сыт и счастлив.

Ставит бутылку в холодильник. Морщины на желтой шее. Белые, крашенные, завитые волосы.

— У тебя лекции завтра?

Поблагодари — улыбкой, вот так.

— Я помню, мама.

Неужто ты похож на человека, который способен забыть о лекциях? Даже сегодня. Братец порезвился бы сейчас: «Ты знаешь, что такое твоя память? Старая, занудливая, вонючая скряга. Она убьет тебя. Удушит». Недурственный дифирамб твоей памяти. Что же, в нем есть истина: столько времени прошло, а ты помнишь его слово в слово.

Шарканье тапочек. Папа. Перламутровая пижама, грива седеющих волос. Дряхлеющий лев. Дряхлеющий, но все еще грозный.

— Путешественник прибыл? Ну-ну, приветствуем путешественника. Как там море? Шумит?

— Нельзя ли потише, Макс? — Слаб и бесцветен голос матери на фоне игривого баритона профессионального диктора.

— Почему тише? Сами говорите, а мне — тише.

Сейчас губы надует. Большой, добрый, седеющий ребенок. Баловень дома.

— Потому что люди спят.

Видишь, Станислав, как забочусь я о твоей жене. А ты подозреваешь меня в недоброжелательности.

— Крым! — У папы вдохновение. — Мисхор, Гурзуф...

Стихи будет читать. Будь снисходителен, Рябов!

— Прощай, свободная стихия!..

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые...

Будь снисходителен: рецидив артистической молодости. Додикторский период. Сводку погоды не продекламируешь с выражением.

— Пойдем, Макс, поздно. У тебя передача утром.

— Передача! — усмехается папа: экие пустыки! Но Макс грустно. Вздыхает Макс. — Помнишь Ласточкино гнездо? А мускат? Белый мускат! Из лучших крымских подвалов. Бокал запотеваает.

Как кефирная бутылка.

— Станиславу отдохнуть надо. У него лекции завтра.

Не желает мама вспоминать бокал, который запотеваает.

— А я хочу поговорить с сыном. Как мужчина с мужчиной.

Непрененно, папа! Сегодня это просто необходимо.

Глава семьи преисполнена терпения.

— Спокойной ночи.

Мальчики ближе к отцу; быть может, ему откроет ребенок, почему он такой странный сегодня? Возбужден, не в меру ироничен, кефир не пьет.

Ну-с, папа? Будем говорить как мужчина с мужчиной?

— Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красоты.

Вот так, сын мой. Оцени модуляцию и тембр голоса. А теперь расуди по совести, объективно ли было жюри. То самое жюри, которое двенадцать лет назад опустило шлагбаум на моем пути к телезрителям. Ничего, я не обиделся — уж я-то не спасую перед телевизионной камерой, а вот пусть они поработают с микрофоном!

— Какие стихи! А ты знаешь, где написаны они? В Гурзуфе. Поэзия — один из китов, на которых держится мир, сын мой. — Глубоко и протяжно втягивает трепещущими ноздрями воздух. — Ты унаследовал мою душу, Станислав.

Ты так думаешь, папа? Лучше бы я унаследовал твою шевелюру.

— Три кита, на которых держится мир. Поэзия, любовь, работа. Если, разумеется, работа приносит удовлетворение. Ты понимаешь меня. Три божества, которым ваш отец всегда поклонялся. Ну, еще, быть может, рыбная ловля.— Ослепительная улыбка: ничто человеческое нам не чуждо.

— Пятое забыл.

Киваешь на газовую плиту, у которой диктор областного радио подолгу простаивает в приступах кулинарного зуда. Хобби большого и милого ребенка.

Смеется. Треплет мальчика по голове. Я знаю, что ты склонен к иронии, сын мой. Уходит, шаркая тапочками.

Выключаешь свет. Медленно расстегиваешь рубашку. В черных окнах дома напротив змеится золотистый отблеск. Не тот ли автобус, что стоял без огней у кромки тротуара?

Вспыхнув вдруг, прожектор выхватывает из темноты навесы, кабинки для переодевания, скелеты грибков — скоро их обтянут парусиной. Ее освещает — на долю секунды, ярко. Рябое приталенное пальто. Взбитый платок на шее — в крупный горошек. Прожектор уходит, и она и все предметы косо и быстро перемещаются — предметы и она в одну сторону, а резкие тени от них в противоположную.

«Женщины не любят таких, как ты. Ты умен, щедр, обязателен, но все твои добродетели навевают скуку». «Вот как?» Разудало улыбаешься в бородастое лицо братца.

«Где это ты загореть успел?» — «В Крыму. Двухдневная экскурсия». — «С Ларисой ездил?» — «Один. Вернее, без супруги». — «Но не один?» — «Как сказать...» Ты слишком хорошо воспитан, чтобы щеголять своими победами. Даже перед братцем.

Послезавтра увидишь его. Тридцать лет. Юбилей. Не послезавтра — завтра, поскольку за полночь уже.

«К тридцати годам я стану известным художником. Я обещаю тебе».

На завтрашнем торжестве ни словом не обмолвишься об этой клятве, хотя старая скряга — память — вот уже шесть лет бережно хранит ее в своей кубышке. А братец не преминул бы уличить тебя.

Между прочим, ты стоишь сейчас на его исконном месте. Только здесь ему и дозволялось курить. У окна.

«Почему не ложишься? Второй час». — «А ты?» — «Занимаюсь. Зачет завтра». «Я тоже занимаюсь. — В темноте не различить лица. — У меня каждый день зачет». Великим людям свойственна афористичность. «Форточку открыть?» «Нет». Так-то вот! Будем дышать дымом, но форточку не откроем. Это вы, черви, все рассчитываете, учитываете, зубрите лекции по ночам, сутками роетесь в книжной трухе, не курите и не пьете, лелея свое драгоценное здоровье. «Хочется» — вот наш девиз. И потому мы ослепительно сгораем, пока вы тлеете.

«У меня романтическая профессия. Экономист. Коэффициенты, выручка, прибыль». Галопом мчалась ваша группа по Никитскому ботаническому, но вы не торопились догнать ее. С тобой ей было интереснее. «Вы обратили внимание, Зина, как добросовестно конспектируют любители флоры каждое слово экскурсовода? Вернувшись домой, они вы зубрят конспект и будут ошеломлять знакомых своей ботанической эрудицией. «Вообразите только, Эльвира Ивановна, среднесуточный рост бамбука — три миллиметра». «Ах,— скажет Эльвира Ивановна,— этого не может быть. Три сантиметра!» «Миллиметра, Эльвира Ивановна, миллиметра». «Я понимаю. Вы Петушкова знаете? Ему гланды вырезали. Так они опять выросли. За одни сутки, как бамбук...» Смеющиеся глаза...»

И все-таки не пора ли спать, Рябов? У тебя завтра лекции. Аудитория встанет, когда ты войдешь — элегантно и молодой, в прекрасно сшитом, спортивного покроя костюме. Искусная прическа стыдливо маскирует легкую, как молодой месяц, лысину. Среди студентов немало твоих ровесников. Тебе лестно сознавать это, не правда ли?

Гмыкаешь. Баста, лирическое отступление закончено. Спать!

2

— По графику — в декабре, но все еще может измениться... Слава? Ему в любое время дадут.

...ВОСЬМОЕ АПРЕЛЯ СТАЛО ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ СВАРЩИКОВ ГРИГОРИЯ АРТАМОНОВА. В ДЕЛОВОМ ПОРТФЕЛЕ БРИГАДЫ...

— В Польшу собираемся. Двенадцать дней с дорогой... Алё! Двенадцать... Что? Не слышу.

Нашла супруга время для телефонных разговоров! Святые минуты: Максим Рябов в эфире. Разве позволит мама выключить радио? Единственная слабость сурового директора кондитерской фабрики. Даже в служебном кабинете — приемник. Никаких излишеств, стиль строгий и деловой, и на тебе — диссонанс. Максим Рябов и не подозревает об этом тайном внимании спутницы жизни к тому, что он скромно именуется творческой деятельностью.

...ПОДГОТОВЛЕНО СТО ДВА ТРАКТОРА, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ТРАКТОРОВ...

«А если я заявлюсь к тебе в гости? — У самого же рот до ушей. — В ближайшую субботу, например?» А если... Например... Фу, Рябов! Разве так разговаривают с дамами настоящие мужчины! Разве так держал бы себя на твоём месте старший брат! «Значит, договорились, — лихо подводишь, подстегнутый братом, итоговую черту. — В субботу, первым автобусом. Где прикажете искать вас?» Внимательный взгляд на тебя и — негромко, уже с опущенными глазами: «Первый автобус приходит к нам в половине десятого». Так ведь это согласие! Ведь это приглашение! Обещание ждать. «Учтите, — совсем по-дикторски подымаешь ты назидательный палец. — Я обязателен и пунктуален, как немец. В субботу в половине десятого торжественно ступаю на обетованную землю деревни Жаброво». Незримое присутствие брата вдохновляет тебя. «За неделю может многое измениться». Скепсис — с таких-то лет! «Понимаю, — резвишься ты. — Конгресс экономистов на Майорке. Скарлатина, которой я из-за происков судьбы до сих пор не болел. Арест за хищение государственного имущества в виде папок и карандашей. О любом из этих инцидентов я извещу дополнительно. Если же никакой трагической информации от меня не поступит до субботы, то ровно в половине десятого встречаемся у столба, который символизирует в Жаброве автостанцию».

Братец остался бы доволен тобой. А уж девочка наверняка пришла бы ему по вкусу — тянет, тянет умаянную жизнью художника к душам чистым и наивным.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница... Пять дней до субботы. Пять дней...

— Проснулся? — Со светлой радостью, будто существовала гипотеза, что ты почил навеки. — Как съездил? — Блестит и шелковисто переливается розовая комбинация. В тесную юбку заправлена. — Я в полпервого легла. Все ждала тебя. — Жалуется — не на тебя, на обстоятельства, которые тебя задержали.

Сломался самолет, нелетная погода, потерялась женщина из вашей

группы... Что еще могло стрястись за эти два дня? Землетрясение? Но тебе нет нужды блистать фантазией — объяснений не требуют. Вне подозрений твоя нравственность.

— Задержались, — роняешь ты, и этого достаточно.

— Представляю, как там сейчас! — Со вздохом. Грустная, хорошая зависть, которую, кажется, зовут белой. Розовые бретельки глубоко врезались в тело. — Тебе какой-то Минаев звонил. — Малиновый джемпер. — Говорит, ты искал его.

Копна черных жестких волос, так не соответствующих ее нежному голосу. Любопытно, как протиснет она голову в джемпер.

— Нужный человек. — А разве нет? Над кем иронизируешь? — Может кооператив сделать.

Искупаешь вину? В два ночи как-никак явился. Но за отдельную квартиру жена все простит.

Замерла перед зеркалом с поднятыми руками. Так твое сообщение подействовало? Или просто копна застряла?

— Кооператив? — И без того тихий голос приглушен джемпером. — А он кто?

Розовые кружева на белом теле. Отводишь взгляд.

— Служащий.

У вас такая жена, профессор! Мужчины пялят глаза на улице.

— Что-то определенное? — С осторожностью. С большой осторожностью, ибо преждевременной радостью можно вспугнуть удачу.

— Последний раз я видел его два года назад. На выпускной фотографии.

Лицо в зеркале. Бледные, голые без помады губы... Темные, голые без краски глаза... Утренняя женщина! В идеале каждый из супругов должен иметь отдельную спальню.

«Доброе утро. Почему встали так рано?» Хилый кипарис, влажно блестит мощный двор общежития, где разместили вашу экскурсионную группу. Далеко внизу — море. «Выспалась. Как вы себя чувствуете?» Как медработника ее интересует, нет ли последствий у героической акции по спасению мальчугана. «Прекрасно. Вы всегда так мало спите?» А вчера на ты были! «В деревне рано встают». — «Так вы относите себя к деревенским жителям?» — «Привыкла за полтора года». Яркое синее небо, яркие зеленые деревья. А братец считает, ты дальтоник!

...КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ДОЖДЬ, ВЕТЕР СЛАБЫЙ, ДО УМЕРЕННОГО.

Финиш областных известий. Без минуты восемь. В восемь — трансляция из Москвы. Максим Рябов выходит из эфира. Пора! Пол холоден, но ты не торопись совать ноги в тапочки.

Жареной колбасой пахнет — старшее поколение отзавтракало.

— Доброе утро, мама.

Светлое пальто с рыжей лисой. На маме оно сидит строго, как служебная форма.

— Не выспался?

— В деревне рано встают.

Внимательно смотрит: вчерашнее продолжается? что с мальчиком?

Ничего. С мальчиком ничего.

Когда настигла тебя эта мысль — забежать перед конторой к тетке Тамаре? Сейчас, или ты проснулся с нею?

Возвращаешься в комнату, гантели берешь. Тяжелы? Разнежился за два дня под крымским солнцем.

Мелодичное позвякивание за твоей спиной — супруга извлекает кулон из шкатулки. Нефертити в профиль — армянская чеканка. У Марго и то нет такой, но Марго старая и больная и не до безделушек ей. Впрочем, коллекционирует же она морские камушки!

На малиновый джемпер падает серебряная цепочка, заостряет груди своей тяжестью.

Шире разводи руки! Шире и медленней, чтобы в мышцах загудело.

Белое солнце бьет в окно. Косо пронзая комнату, освещает полку с книгами — ты смастерил ее еще в школе. Однотонные серые корешки — таков стандарт экономических книг. Или братец прав: ты и впрямь не различаешь цветов? Но синее небо, но зеленые кипарисы, но радужно-влажная чешуя вымощенного дворика?

— В субботу я сказала Маркину. — Таким же нежным, с придыханием, голосом? Было время, когда ты обмирал, слыша его. — В следующий раз, говорю, хоть сто приказов пишите. Почему одни должны дежурить три выходных подряд, а другие ни разу?

И правда, почему? Замедляешь движения.

— Ну, он, конечно: понимаю, Лариса Павловна, понимаю, но и вы войдите в мое положение. Эпидемия! Три врача болеют, а оставить отделение на девочку не могу. — «Была утром девочка, просила путевку...» — Ночью должен быть опытный терапевт.

Ты дуб, вундеркинд! Дуб с необратимо атрофированным самолюбием. Даже надуться не сообразил, когда она мило объявила, что не может лететь с тобою. Сама же затеяла все, гоняла, как мальчика, за путевками... Твое лицо, продолговатое, как огурец, неописуемо тупеет в такие минуты.

«Езжай один, если хочешь. — Мольба и страдание в темных, уже и впрямь завлажневших глазах. — Отдохнешь. Тебе надо отдохнуть. А мою сдай»...

«Да вы что, товарищ! Обратно не принимаем. Тем более в день отъезда. Зайдите на всякий случай часа в два. Тут была утром девочка, просила путевку — куда угодно, ей все равно».

— ...Суббота за вами, Лариса Павловна. Любая, на ваш выбор. Спасибо, говорю. — Быстрая смешливость в голосе, и ты видишь вместе с супругой всю комичность этой запоздалой любезности.

Тебе, однако, не до смеха. Из помалкивающего обвиняемого (где шатался до двух ночи?) в молчаливого обвинителя превратился ты (захотела б — отпросилась). А почему бы и нет? Как-никак на двухдневное одиночество обрекла подруга жизни.

— Я сварю яйца? — Закончив туалет, стоит — неотразимая и праздничная, руки опущены. — Или пожарить?

Не дай маху, капитан! Помни: ты обижен.

— Я сам сварю.

Именно так — буркнуть, не удостоив взглядом. Несмотря на утренний дефицит времени, терпеливо ждет секунду, другую и лишь потом неслышно выходит в кухню.

Стоп, ты пропустил упражнение. Приседание. Что-то рассеян ты нынче. Мыслишь? Так будь последователен, позвони в клинику. *«Будьте любезны, скажите, кто дежурил в ночь с субботы на воскресенье? Кто спрашивает? Это из кинохроники. Мы готовим фильм о людях в белых халатах. Моя фамилия Феллини».*

Недопустимо быть рассеянным в понедельник. Понедельник — день лекций. Тема сегодняшней: организация ремонтного хозяйства. *«Кто дежурил в ночь с субботы на воскресенье?»* Суетишься, Рябов! Мало тебе изображать оскорбленного мужа, тебе хочется вправду быть им. Зачем? Чтобы с чистой совестью отправишься через пять дней в неведомое тебе Жаброво?

Форсируй: девятый час, а еще собираешься забежать к тетке Тамаре. Раз в жизни можно сократить комплекс. Восстанови дыхание. Вот так.

«Жаброво? Поставьте мне неуд по географии — впервые слышу.

«Как далеко расположено селение со столь поэтичным названием?» — «Три часа на автобусе». — «В Крым, полагаю, мы доберемся быстрее». Тогда еще, в автобусе, что вез вас в аэропорт, ты был ей безразличен, как дерево,— лысеющий развязный франт с улыбкой до ушей. В следующую секунду автобус круто затормозил, но ты инстинктивно выставил руку и успел придержать ее, сам же ткнулся лицом в спинку переднего сиденья. Сколько мужской грации было в этом движении! Лишь на другой день ты перешагивал сам себя, плюхнувшись с причала в воду — в носках и белых трусиках — спасать мальчугана, который плавал, как дельфин...

До пояса растертый после ледяной воды жестким полотенцем, входишь в кухню. Два замечательных яйца ждут тебя на влажной тарелке. Заботливая супруга.. «Я не желаю быть только женой, только матерью. Не желаю, понимаешь? Прежде всего я женщина». Доверительно и взволнованно, а глаза надеются, глаза верят, что ты поймешь ее — в стиличе от твоего бестактного папы, который, оказывается, спит и видит, когда вы плодиться начнете. «Грубо, доктор, грубо». «А он не грубо сует нос не в свои дела? У него есть внучка — вот пусть и одаривает ее своей любовью...»

— В мешочек.

— Неужели? — удивляешься ты.

А собственно, что такого сказал отец? Просто выразил предположение в обычной своей поэтически-метафорической манере, что скоро, должно быть, появится младая поросль. Или не скоро? «Как ты себя чувствуешь, детка?»

Тут, конечно, папа хватил лишку. Даже ты не дерзаешь задавать подобные вопросы, хотя сколько раз в тебе начинала биться преждевременная надежда. Разумеется, преждевременная, ибо, пока нет квартиры, о каком ребенке может идти речь! Здесь твоя осмотрительная супруга права, и, кажется, сегодня ты видишь эту ее правоту как никогда ясно...

Наливает чай. Торопливые обжигающие глотки. Подымается.

— Сегодня — нормально.

Нормально — в смысле не задержусь. Ни собрания, ни конференции, ни разборов историй болезни? Что так? Сосредоточенно намазываешь маслом хлеб. «В современной жизни ревность нелепа, как керосиновая лампа». Недурственный афоризм придумала супруга. Ты даже не удержался и процитировал его братцу, присовокупив: «Как сказала одна наша общая знакомая». «Ну и дура!» Нокаут, чистый нокаут! Братец умеет это. С ним ты делаешься ненаходчив и скучен, как доцент Архипенко.

Подвигаешь яйцо, мелко и легко обстукиваешь ложкой. Братец — разрушитель. Выродок в семье, девиз которой — созидание. Именно это слово начертано золотыми буквами на семейном знамени, которое вот уже три десятилетия держит в неслабеющих руках директор кондитерской фабрики. С сарая начала, где варили леденцы и лепили из отрубей пряники, а ныне — современное производство, продукцию которого знает даже Москва.

Разрушитель... Но разве не были ими художники во все времена? В отличие от вас, созидателей. Ах, филистеры! Ах, бюргеры! Работа, дом, режим, который неукоснительно соблюдается. Красивая жена. Дети... «Дети-то будут у вас? — Братца, оказывается, тоже волнует это.— Будут! Пухленький мальчик с невинными материнскими глазами». Но урод в великом мужском братстве, ты предпочел бы иметь дочку.

Чай горяч и душист. Восхитительный чай! — виртуозное искусство диктора областного радио. В повара бы ему, в кулинары!.. Спешить? Боишься, не успеешь подать дубленку жене? У тебя закаленная воля,

кандидат, но ты не в силах усидеть на месте, когда в коридоре одевается женщина! Пижон! Не в силах, даже если эта женщина — собственная жена.

Выходишь, дожевывая. Замшевые сапожки со шнуровкой — вторых таких нет в городе. Не подаешь виду, но тебе лестно видеть это шнурованное чудо на ногах лучшей женщины терапевтического отделения. Согнувшись, натягивает второй сапог... Снимай с вешалки дубленку, трижды пижон!

«Лариса... Меня Ларисой зовут». Даже у тебя, уже столько раз слышавшего ее грудной, с придыханием, голос, что-то быстро пробежало внутри, а брат — эмоциональный, заводной брат — хоть бы ослабил критический прищур! Какой там восторг, что ты заранее тайно и самонадеянно смаковал, когда торжественно вел ее знакомить с ним. Ничуть не бывало! Сдержанно-оценивающее внимание, вежливость, даже сухость. Полно, да братец ли это? Кажется, ты испытал некоторое разочарование, но куда сильнее была радость вдруг обретенной уверенности. Вообще-то ты был поразительно везуч в то время — у тебя клеилось все, за что ты ни брался, и все же ты не сразу поверил, что эта роскошная женщина может быть к тебе благосклонна. Просто благосклонна, не более. С веселым отчаянием добивался ее царского расположения. Оказалось, безуспешно. У тебя голова шла кругом: где бы вы ни появлялись, она была в центре мужского внимания, а ты умышленно держался чуть в стороне со смиренной скромностью триумфатора. Уже тогда ты подумывал о женитьбе, однако язык не поворачивался заговорить об этом. Братец — да-да, братец! — поостудив тебя своим необъяснимо прохладным отношением к ней, подвиг тебя на этот шаг. Ты понял вдруг, что она не так уж недосыгаема для тебя. Вот ахнул бы он, узнав, что имеет честь быть твоим сватом!

— Сегодня нельзя опаздывать — обход профессора.

Проворно завязывает вокруг шеи атласный платок. Спиной поворачивается, и ты тотчас подставляешь дубленку под ее слегка приподнятые руки. Секунда — и снова лицом к тебе. Пальцы бегут по пуговицам; в правдивом взгляде — укоризненный вопрос:

— Все еще сердисься?

Запах духов порхает по коридору.

— Обход профессора, — напоминаешь ты, но она не двигается. Пусть обход! Пусть опоздаю! Неужели не понимаешь, что так я не могу уйти?

«Первый автобус приходит к нам в половине десятого».

— Ты же знаешь, как я хотела поехать. Ты не веришь мне?

«*Будьте добры, какой врач дежурил в ночь с субботы на воскресенье?*»

— Верю. Но ты рискуешь прогневить профессора.

Еще некоторое время всматривается в тебя, потом неуверенно опускает дрогнувшие ресницы. Берет не глядя замшевые перчатки.

— Счастливо, — чуть слышно признают ее губы, и вот уже перестук каблучков — сперва медленный, потом все быстрее — раздается на лестнице.

Переиграл, Рябов!

«Ты уверен, что любишь меня?» И та же пытливость в устремленных на тебя сострадающих глазах. «А ты?» — следовало бы спросить, но у тебя не хватило пороку. Какую-то окоlesiцу понес — насчет помощи, которую ты торжественно обязуешься оказывать ей в домашнем хозяйстве. Гладить собственные брюки и ее носовые платки, ходить за арбузами и чуть ли не мыть окна по весне. Без единой улыбки слушала она этот претендующий на иронию вздор. А может, и не слушала — просто смотрела, что-то решая про себя.

Запах духов шархнулся, словно спохватившись, что остался без хозяйки, прощально окатил с ног до головы и улетел следом. Возвращаешься в кухню. Переиграл, Рябов! Стоя отхлебываешь чай. А что, собственно, тревожит тебя? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница... Догадывается ли тетка Тамара, что ты чуть свет явишься к ней с визитом? На чудо надеешься? Вдруг не уехала девочка в поэтическое свое Жаброво? Но коли так жаждешь увидеть ее, почему не поднялся в половине шестого и не подкараулил ее на автостанции?

Кипятку подливаешь в остывший чай. Кто вяжет ей ее голубые, с белыми полосками варежки? Хозяйка в Жаброве? «Тетя Матрена как к дочери ко мне. А мне неловко — я не могу к ней как к матери. Я ни к кому не могу как к матери».

«Тетя Матрена, это — Станислав». Исчерпывающее объяснение! От тетки Матрены сладко пахнет навозом, руки грубы и мозолисты, а нравственность — на безоблачной деревенской высоте. «Этостанислав» стоит перед ней в своем бесстыжем коротком пальто, в мохеровой шапочке с немислимым козырьком («Ах, бабоньки, а фуражечка-то, фуражечка у него — срам!») — стоит, живое ухмыляющееся воплощение городского беспутства...

Ополаскиваешь стаканы. Час в твоём распоряжении. Неужто все-ррез надеешься застать ее?

Не знаешь, какую рубашку надеть? Даже твоя супруга, законодательница мод терапевтического отделения, не простаивает столько перед распахнутым шкафом. «Одеться ты умеешь, тут я завижду тебе. — Хоть этому завидует братец. — Не твоим материальным возможностям, а твоему вкусу. Я не умею так. Куплю, повосхищаюсь, а на другой день вижу, что это ужасно пошло. Не могу понять, почему так. Ты профан в живописи, вообще в искусстве, я же заменяю любую фальшь на полотно, а одеваюсь как попугай». Велик, велик Андрей Рябов, а потому — что стоит ему покаяться в маленьких слабостях!

Так на какой рубашке, маэстро, остановили вы свой выбор? Мягкой, мышиного цвета и, разумеется, без галстука — на студенческий манер? Так ты еще не появлялся в аудитории. И не надо, рано. Одевай что всегда, все равно ведь не застанешь ее у тетки Тамары. Единственный в Жаброве медицинский работник обязана с утра быть на боевом посту. Куда же спешишь в таком случае? Осведомиться у тети, какое впечатление произвела на нее ее поздняя гостья? А почему бы нет? Да и, в конце концов, надо поблагодарить за гостеприимство.

Замок щелкнул, но ты привычно толкаешь дверь — заперто ли? При девочке из Жаброва не стал бы так.

Клочки бумаги на цементных ступеньках. «Дебет», «итого» — разорванная ведомость, которую принял ночью за растерзанное в страсти любовное послание. Красноречивая деталь!

Сыро, ветер. Велосипедист в резиновых сапогах. Утром, должно быть, шел дождь. «Не ждала? Решил проводить». Мокрый и нахохлившийся, как воробей. Смешной. Больше не жалеешь об этом несостоявшемся свидании?

Сгорбленная, семяющая навстречу фигурка. Бурки в галошах. Здравствуйте, тетя Поля, какими судьбами? В гости? Но вы перепутали — воскресенье было вчера. Свернуть тебе некуда, и ты катастрофически движешься навстречу неудержимой старческой доброте.

— Доброе утро. — Останавливаешься.

Тетя Поля замирает от радостной неожиданности.

— Господи, а я думаю, Стасик это или не Стасик. Я тебя еще не видела в этом пальто.

— Стасик, — подтверждаешь ты. Тебя она щадит, а вот братца непременно расцеловала бы дряблыми губами.

— Рано-то как! Ты же к десяти всегда.

Все знает о тебе старая Поля! «Маленький был — пухленький, кудрявенький — встанешь и стоишь, смотришь».

— У Андрюшки-то день рождения завтра. Тридцать.

Добрая нянечка — все помнит. Арина Родионовна.

— Тридцать,— гмыкаешь ты.— Тридцать ноль-ноль.

— Что? — Всполошилась, тревога в поднятых глазах: не случилось ли чего с ее любимцем, с первенцем ее Андрюшей?

Успокаиваешь:

— Жив и здоров.

Потрескавшаяся дерматиновая сумка. Ты помнишь ее столько же, сколько помнишь себя. Морщинистые руки — коричневые, как вареный сахар. «А чего сегодня к ча-аю! Ну-ка, быстро руки мыть!» Приторный горячий запах, алюминиевая кастрюля без одной ручки. Не у Поли — няни и по совместительству домработницы — прошла директор фабрики свой первый кондитерский университет?

Целлофановый сверток.

— Вот. Андрюшке от меня. Я не знаю, где он сейчас...

Носки? Целлофан хрустит и сверкает, перевязанный лентой,— фасованную халву в таком продают. Газета ныне не устраивает Полю — в ногу с веком шагает.

— Сами завтра отдадите. Он пригласит вас.

— Да чего ж меня? Вы молодые, а я чего! Только веселью вредить. Поздравить от меня, скажешь — поздравляю, не болеет пусть, счастья ему.

Некогда препираться — молча суешь подарок в портфель.

— А я думала-думала — ну чего ему? Голову сломала. Галстук? Галстуки не носит он. А носки всегда пригодятся.

По отношению к тебе няня не проявляет такого здравомыслия. Из подарков, что она обрушивает на тебя в день рождения, можно составить передвижную выставку ненужных вещей. Самый свежий по времени экспонат — безопасная бритва, торжественно врученная в день твоего двадцативосьмилетия. В следующий раз няня подарит тебе мяч. «Мячик у тебя был — красный с синим, не помнишь? Только появились они. Сорок седьмой год — какие там игрушки! Ты и не играл им. Возьмешь в ручки и носишь. Умненький был, такой умненький. В пять-то годков».

— Не помирились?

Наивная няня! Все надеется. Неужто же, прожив в вашем доме десяток лет, не постигла характера главы семьи?

— Как чувствуете себя?— вспоминаешь ты.— Грипп свирепствует.

«Войдите в мое положение, Лариса Павловна. Я не могу оставить отделение на девочку. Тем более сейчас». Любопытно, сколько лет этому Маркину.

— Они-то поздравят его? — Подумаешь, грипп! Не боится его старая няня.— Сын ведь... Тридцать лет...

Скалишь зубы.

— Будем надеяться.

С надеждой и состраданием глядят голубенькие глаза.

— А сама-то? Давление как?

Этого не знает никто. «Может, ты поговоришь с нею? Меня она не слушает». У тебя заботливая жена, Рябов,— контрабандой таскает дом мой тонометр, чтобы измерить давление твоей матери, но та бдительно охраняет свою руку.

Что-то про лук говорит няня — больше лука надо есть, чеснока, тогда никакая лихоманка не возьмет...

— Понятно.— За бумажником лезешь. Скоро Первое мая, и если

Поли не будет завтра у брата, ты уже вряд ли увидишь ее до праздника.

—...На воздухе гулять. А лекарства и все эти витамины — от них вред только.

Не замечает бумажника в твоих руках. Не хочет замечать — с ее-то дотошным зрением. Протягиваешь десятку.

— Пожалуйста, тетя Поля. К празднику.

Держись, Рябов,— начинается представление. С ужасом отмахивается свободной рукой, будто перед ней нечто потустороннее, а сама говорит, говорит, захлебываясь, что у тебя, дескать, семья, а у нее пенсия, что ты молод и тебе столько надо разного, а ей хватит, и лучше уж купи завтра что-нибудь Андрюшке... Не блещет няня разнообразием.

Десятый час. В понедельник с высочайшего разрешения Панюшкина можно совсем не являться в контору — день лекций, — но хотя бы на полчаса заглянуть надо. А еще кофепитие у тетки Тамары. *«Я сварю тебе кофе, Станислав. Мне прислали крекер из Мадрида, я хочу, чтобы ты попробовал».* Молча и быстро вкладываешь деньги в морщинистую, по-старчески холодную руку.

...Лягушка на ладони у Шатуна — он бережно поглаживает ее пальцем, а вокруг дворовая шантрапа, наполовину еще тебе незнакомая, ибо вы только-только переехали сюда...

— Простите, тетя Поля, мне сегодня раньше надо.

Поля поворачивается за тобой, как подсолнух. Глаза из голубеньких становятся розовыми. Закон физики: влага меняет цвет роговой оболочки. А окулист и братец вслед за ним твердят, что ты дальтоник.

— Спасибо тебе! Господи, какой же ты...

Улыбнись на прощанье. Поласковой, ведь она помнит тебя пухленьким и курчавым.

Огибаешь площадку. Темные, мокрые островки льда — бывший каток. Поля машинально семенит следом за тобой, затем замирает. Не выронила б деньги от полноты чувств.

3

Джинсы. Полосатая морская блузка.

— Заходи. — Никаких «здрасте», будто минуту назад вышел отсюда. По-утреннему блестит маленькое личико. Питательный крем? — Раздевайся, я сейчас.

Джоник. Смотри, как он рад тебе. Добрый верный спутник тетки Тамары. Будем надеяться, на твоих отутюженных брюках не останутся следы собачьих лап. Погладь пса. Наверняка знаешь — никого в комнате, но бросив наконец быстрый косой взгляд, убеждаешься: не наверняка. Надеялся, выходит. Смешно! В Жаброве давно твоя знакомая.

Запах кофе и парфюмерии. Джоник ликует и извивается, но молча — в этом доме терпеть не могут лишних слов.

Проходи, садись. Ты прекрасно чувствуешь себя у тетки Тамары. Особенно сегодня: вчерашнее ночное вторжение вознесло тебя в глазах хозяйки. Отныне ты не мальчик, но муж. Отныне ты почти равен своему старшему брату, а что может быть достойнее в глазах тетки Тамары?

«Это твоя жена, Станислав, и ни одного дурного слова о ней ты от меня не услышишь». Отдай должное тете: трудно деликатней выразить неприязнь к супруге племянника. Загадочная неприязнь — ведь у них столько общего, да и твоя жена так предупредительна, так мягка и уступчива. И все-таки — неприязнь. Признайся, Рябов, что ты расчетливо учел ее, предлагая девочке ночное гостеприимство Тамариного дома.

«Когда уходит последний автобус в Жабрво?» — «В семь вечера». — «Сейчас уже восемь. А мы еще летим».

— Ты завтракал?

— Да, спасибо.

Роскошное кресло. Вытяни ноги — тетя обожает, когда гости чувствуют себя, как дома. Окуни руку в грязно-белую шерсть Джоника. Видишь, с какой готовностью опрокидывается он на спину. Раскоряченные лапы, голый розовый живот.

— Завтра в половине восьмого. Андрей говорил?

— У тебя?

Пожимает плечами — а где же еще? По душе братцу праздновать дни рождения у тетки Тамары. Третий год подряд... Или просто выбора нет? Не арендовать же ненавистный родительский дом.

— В субботу — югославская эстрада.

Считаю своим долгом проинформировать, а там твое дело, племянник. Лучшие билеты к твоим услугам. Разумеется, меня не интересует, с кем ты пойдешь. С женою ли, со знакомой. Ты же знаешь, Станислав, я не любопытна.

Знаю, тетя, знаю.

— В субботу я занят. — Ухмыляешься.

Тетя понимающе наклоняет седую голову.

— Разреши, я сварю тебе кофе.

Стиль простой и лаконичный. И ни малейших условностей.

«Ты не спишь? Мы в гости к тебе». — «Заходите. Раздевайтесь. Меня зовут Тамара». — «Зина». — «Очень приятно. Это — Джоник. Джоник, перестань прыгать, дай людям раздеться. Знаете, он всегда радуется гостям». Какое спокойное, какое простое обращение! Оно ужаснуло девочку. Частенько же хаживаешь ты сюда со своими девицами, коли хозяйка ничуть не обескуражена столь поздним вторжением.

«Хорошо, я провожу тебя к твоим знакомым. Замру в стороне и буду стоять так, пока ты не позвонишь. Надеюсь, у них есть звонок? — Кого вздумала обмануть она? — Вот что, товарищ Зина. Мы отправляемся сейчас к моей тете. Она одна живет, если не считать Джона». — «Кого?» — «Джона. Есть такое существо на свете». — «Я буду ночевать на вокзале». — «Я тоже. Но если завтра я засну на кафедре, меня вытратят из института».

Кофемолка. Горячий аромат жареных зерен. Размеренно двигается по кругу маленькая рука с фиолетовыми ноготками.

— Ты загорел. Вчера я не заметила.

Первое упоминание о ночном визите. Но приличие соблюдено, этикет не нарушен.

«Зачем вы разубаиваетесь? Станислав, ты ведь знаешь, я не люблю этого. Мой дом не картинная галерея. Пожалуйста, Зина, проходите. Джон, проводи гостей в комнату». На туалетном столе — россыпь косметики. Ко сну готовилась тетя.

— У меня кошмарная неделя. Генеральная репетиция, просмотр.

Скорее издай звук сочувствия. Скорее! Хотя, признаться, ты не подзревал, что театральным кассир имеет отношение к генеральным репетициям.

Тетя уходит на кухню — священнодействовать. Преданный пес уносится следом. Осматриваешься — с пристрастием, внимательней, чем всегда. Хочешь увидеть эту комнату глазами вчерашней гостьи? Современный интерьер — торшер, кресла, журнальный столик яйцевидной формы. Голые стены. Репродукция над тахтой — рисунок небрежный и разнузданный. Единственная вещь, за которую тебе было неловко перед девочкой. Дурное влияние брата на тетку Тамару.

«Всмотритесь в эту женщину — какая страсть в ней! Не похоть — именно страсть, что в наш кастрированный век не часто встретишь. Да, я такая, говорит она. И я не скрываю этого. Вы боитесь меня, презираете меня, но вы меня хотите и ничего не можете поделать с собой. Я сильнее вас... Эта женщина прекрасна, как мадонна Рафаэля». Лиш-ку хватил братец в полемическом запале. Надо отдать ему должное: девиц столь низкого пошиба ты не видал с ним. Добротная семейная чистоплотность сидит-таки в нем, несмотря ни на что.

На какое точное определение ты наткнулся ненароком: чистоплотность. Именно нечистоплотен рисунок. Эти вульгарные черные перчатки до локтей. Это бесстыдство подавшегося вперед тела. Сплетенные руки, на которые с грубым кокетством опущено размалеванное, порочное, потрепанное лицо с утиным носом. Опрятный человек не мог написать такого. Надо посмотреть в энциклопедии, кто он, этот Тулуз-Лотрек, имя которого братец произносит с благоговением. Если, конечно, он есть в энциклопедии.

Священнодействие завершено. Ярко-оранжевый ковшик на длинной изогнутой ручке.

— С сахаром?

— Кусочек. А ты не будешь?

— Я пила уже. У меня есть бисквит.

— Спасибо, я завтракал.

Двумя пальцами берешь хрупкую чашку. Беловатая оседающая пена на густо-коричневой поверхности. Сахар еще не коснулся жидкости, а уже потемнел и готов рассыпаться в руке.

«Что это? Никогда не видела». В Жаброве, стало быть, не производят подобного продукта. Нечто бело-розовое на деревянном поддоне. Сверху пчела висит. «Сахарная вата. Попробуем?» Искрится на солнце, тает, щекотно и нежно растекается по языку. Рядом жарят на углях шашлыки.

Пригубливаешь. Легкий, почти непронизвольный звук восхищения. Тетка Тамара не реагирует, но ты знаешь, что она польщена. Человеку без тщеславия не создать такого напитка.

«Зря иронизируете, Тамара талантлива. В ней есть внутренняя артистичность. Вас смущает, что она кассир? Кассир, видите ли, не имеет права на собственное «я». Вы полагаете, право на «я» дает должность. Как вы ошибаетесь все! Она любит театр. Она не может жить без него — за одно это надо снять шапку перед ней». Талантливый — не слишком ли щедр братец на это определение? Индугенция от всех грехов, грамота на существование пустое и разболтанное — это талант? В таком случае ты не претендуешь на него — как и твоя мама, впрочем.

Старинное, на твердом картоне фото в альбоме. Будущий директор кондитерской фабрики и будущий театральный кассир — две сестры, две миловидные девочки. Серьезные, чистенькие, остриженные, с вытарашенными в довоенный объектив светлыми глазами. Но в одной таились, оказывается, талант и прихотливость артистической натуры, другая же была просто пчелой.

— Еще чашку?

Ты не прочь сделать приятное тете, но с твоим скачущим давлением это будет чересчур крупной жертвой.

— Спасибо, нет.

— Тогда съешь яблоко. Тебе дать нож?

Прямо-таки парад хороших манер. Принимая его, нужно вести себя соответственно. Упаси тебя бог выказать старомодный интерес к существу, которое ты оставил здесь вчера ночью. Век требует легкости и простоты — будь же на уровне своего времени!

«Твоя знакомая не обидится, что ты бросил ее одну?» — «Я сказал, что пошел помогать тебе жарить яичницу». — «Тогда зажги, пожалуйста, газ». — «И потом, я думаю, она сыта моей самодовольной рожей». Одобрительный смешок — тетя ценит ироническое отношение к собственной персоне.

— С половины десятого до половины одиннадцатого у меня свободное время. — Стряхивает пепел в отполированный череп вымершего млекопитающего. — Курю, думаю. Иногда, знаешь, полезно посидеть и подумать.

Еще бы!

Струйка дыма. Седые волосы подчеркивают свежесть маленького, некрасивого, умного лица. Оцени дерзость хода — можно ли надежнее спрятать седину, чем выставить ее напоказ?

— Ты же знаешь, я встаю в семь утра. Сорок пять минут — зарядка по системе йогов.

«Сегодня пришлось раньше встать? Кажется, она собиралась в полшестого уехать?»

«Мне уйти?» Яйцо плюхается на сковородку, шипит и трепещет. Тетя, задав вопрос, сосредоточенно солит яичницу. На тебя не глядит. «Ни к чему. Тут нечто платоническое». Но тоном даешь понять, что глубоко презираешь подобные отношения.

— Пожалуй, я выпью еще чашку.

Подлизываешься, Рябов? Напрасно! Хоть до дна выдуй этот оранжевый сосуд с изогнутой ручкой — ни слова не услышишь о своей знакомой. Девочка пришла, девочка ушла, о чем тут говорить?

Пока тетя наливает кофе, достаешь из портфеля хрустящий целлофан.

— Полин подарок. Оставляю, чтоб не таскать.

— Полин? Но ведь она сама будет. Андрей непременно пригласит ее. Подожди, Джоник, не лезь, это не тебе, это Андрею. Носки Андрею, понимаешь? — Радостью истекает пес. Хвост отвалился сейчас от умиления и восторга. — Видишь, как он любит его? Любишь Андрея, Джон?

Любит. Джон всех любит, и этого достаточно тете. Конечно, достаточно, хотя некоторые считают, что этого мало.

«Думает, я завидую ей. Ее благополучию, ее квартире, ее высокому положению — ах, ах! Ее диктору. А я не только не завидую — мне жаль ее. Поделиться с ней хочется — не как с сестрой даже, как с человеком. Но она неспособна принять что-либо. Ни любви, ни совета, ни сострадания. Ни даже подарка — такого подарка, который делается не ради приличия, а от сердца».

— Гадаю, что подарить завтра Андрею. У тебя нет идеи на этот счет?

Не кормите тетю, не поите тетю кофе — советуйтесь с нею, и она ничего больше не потребует от вас.

— Сейчас я тебе покажу кое-что. — Тушит сигарету.

Бедное млекопитающее, как надругались над твоими останками!

Альбом. Скромно — подозрительная, чрезмерная даже для тетки Тамары, прямо-таки торжествующая скромность! — кладет его перед тобой, профилактически махнув по столу ладонью: не сыро ли? Атласная сверкающая обложка. Нерусские буквы — у тети гипертрофированный аппетит на импортную продукцию. «Toulouse-Lautrec». Тот самый гений, образец творчества которого красуется справа от тебя?

— Братец рад будет.

Маленькое и блестящее тетино лицо беззвучно оскандивается в ответ — ну точь-в-точь Вольтер, каким его знает мир по знаменитому бюсту.

— Рад... Он грезил таким альбомом.

Сочувственно сдвигаешь брови.

— Его трудно достать?

Что за омерзительный пропойца с сизым носом изображен на обложке?

— Лотрека? — Еще один смешок. Как много чувства умеет вложить тетя в этот короткий звук! Репетиции не проходят для нее даром.— В наших собраниях всего две или три работы Лотрека. Знакомый букинист сделал. Тридцать пять рублей.

Присвистываешь. Половина тетиной зарплаты. Третью, во всяком случае.

«Ужасно люблю вязать, но только для себя. Никто не верит, что сама изобретаю фасон. А когда вяжешь для заработка — разумеется, я иду на это в исключительных случаях,— меня это утомляет. Приходится повторяться. Это убивает все. Вязанье как искусство, оно не терпит повторения».

— Я открою тебе секрет удачных подарков.— Выжидательно проводит по вольтеровским губам кончиком языка.— Чтобы сделать хороший подарок, нужно любить человека.

— О! — Отхлебываешь кофе, почти остывший. Что-то не припоминается, чтобы тетя ошарашивала тебя необыкновенными презентами.— У меня нет знакомого букиниста.

— Необязательно альбом дарить. Позвони мне после трех. Возможно, я посоветую что-нибудь.

— Спасибо.

А о девочке, которая еще пять часов назад была в этой комнате, так и не проронит ни слова? Тебя больше не восхищают тетин такт и несокрушимая выдержка. Ты находишь даже некоторое сходство между нею и директором кондитерской фабрики. Сестры...

«Все о'кей! Сейчас будем дегустировать яичницу». Бодрость звенела в твоём голосе. Она стояла. «Извини меня. Я пойду». «Куда? Переговоры прошли в теплой дружеской атмосфере. Ты будешь спать на раскладушке. Я отвезу с вами яичницы и удалюсь воссояси». Она внимательно посмотрела на тебя. Ты широко улыбался. «Тебя не устраивает раскладушка? Тетя уступила бы тахту, но тахта — ее слабость. Издержки возраста». В комнату вошла Тамара с шипящей сковородкой в руках. «Я сварю вам кофе, если хотите. Или чаю?»

— Уже уходишь?

— Пора. Надо забежать в контору перед лекциями. Шеф болеет, я за нее.— Внимание, сейчас ты упадешь в глазах тети.— Да, как она? — небрежно киваешь на пустое место, где, надо полагать, стояла раскладушка.— Не опоздала?

— Нет. Я завела будильник, но она раньше проснулась.

И все? К Джонику наклоняешься, ерошишь длинную шерсть. Изумительный пес!

— Не выспалась?

— Кто? — уточняет тетя.

Смеешься. За кого принимает она тебя?

— Ты, конечно.

— Я привыкла мало спать.

Гимнастика йогов.

— А она тем более. В деревне рано встают. С петухами.

— Я люблю деревню.— О, тетины штаны! Не без умысла берет на размер меньше. Вольтер в джинсах.

— Собака... Укусить хочешь? Ну давай, давай.

— У Джона вверху зуб шатается. Чувствуешь?

Чувствую, тетя, чувствую. Но, кажется, это не зуб, это хвост. И не шатается, а виляет.

— Она по направлению уехала.— Весь в игру с Джоником ушел ты.— Уже полтора года там. Медсестрой работает.

— Знаю. Очень славная девушка.

На пальцы, Джон! Кусай, не стесняйся! Ты отличный парень, Джон! Какой холодный нос у тебя! «Первый автобус приходит к нам в половине десятого»... «Очень славная. Очень».

— Она одна. Ни отца, ни матери.

— Да, она говорила.— Легкий вздох.— Когда увидишь, пожалуйста, передавай привет от меня.

— Думаю, в субботу.

Не выдержал, фанфарон!

— Какие грязные у тебя лапы, Джон! Тебе не стыдно перед Станиславом?

Меня совершенно не интересует, когда вы встретитесь с нею. Ты ведь знаешь меня.

Выпрямляешься. Джоник вскакивает.

— В двенадцать лекция.

У тети изумительные джинсы.

— Не опаздывай завтра.

— Как штык!

Воздушным потоком выносит на улицу. Тает, весна. Сейчас под автобус угодишь. «Очень славная девушка. Очень».

«Женщины не любят таких, как ты».

«Спасибо, но я...» «Вы не любите шампанского»,— опережаешь ты, подсказывая. «Люблю,— улыбается Люда, самая красивая женщина института.— Я люблю шампанское, но я...» «Но у вас болит горло. Ангина. А шампанское надо пить холодным». «Не болит.— Ласковыми глазами смотрит на тебя Люда, самая красивая женщина института.— Я вырезала гланды. Но сегодня я...» «Но сегодня у вас репетиция хора. Ах, нет — примерка в ателье. Неужели нет? Тогда очередное занятие в секции декоративного рыбоводства. Короче говоря, вы заняты». И кланяешься, беря назад свое приглашение. «К сожалению, да»,— сочувственно, но без особой печали соглашается Люда.

С чего ты взял, что она самая красивая женщина института? Золотистые, до плеч волосы и темные брови — это же диссонанс! Да и при чем здесь Люда! «Первый автобус приходит к нам в половине десятого». Братец не прав, но тем не менее ты подаришь ему завтра что-нибудь симпатичное.

А она — высокая. Не Люда — при чем тут Люда! — а девочка из Жаброва. Целых два дня околачиваться рядом и только теперь понять это! Тоненькая и высокая. Рябое приталенное пальто. И брови одного цвета с волосами. Или не одного? Ты преступно невнимателен, кандидат!

4

Полумрак подвала. Отсыревшей бумагой пахнет. Яркий электрический свет в гардеробной. Не наследил ли ты своими туфлями?

Дмитрий Романович мирно дремлет под бормотанье динамика. Максим Рябов в эфире? Нет, Москва вещает.

— Здравствуйте, Дмитрий Романович.

Старик дергается на своем обшарпанном кресле, сучит упакованными в валенки ногами. Пол ищет? Снимаешь пальто. Мокро на воротнике, на рукавах. Капель.

— Весна! — сообщаем ты.

Древними глазами глядит на тебя гардеробщик. Ни он сам, ни его

каморка — с электроплиткой, чайником, стаканом в подстаканнике — не изменились за последние шесть лет. Или некуда больше меняться? Неподвижная, конечная точка, за которой — ничто. Ты легок и бессовестно молод.

Зеркало в разошедшей раме. Причесываешься. Веснушки еще не высыпали, но ты уже угадываешь их неотвратимое приближение. Оккупируют до субботы. Рыжий и весенний явишься в Жаброво. *«Это Станислав, тетя Матрена. Я говорила вам о нем».* *«Что же стоите, заходите. Сейчас молочка вам налью, парного. С дороги хорошо молочка».* Торт — заранее, в пятницу вечером. Гостинец из города. *«Одного нашего сотрудника поручили навестить. Он в санатории. Сто километров отсюда. Возможно, вернусь в воскресенье. Надо выяснить кое-что по теме».* *«Он что, любит сладкое, этот ваш сотрудник?»* *«Любит»*, — сухо и коротко. Лимит обиды не исчерпан: вы видите лишь утром да вечером, а дуться в рабочее время — недопустимая роскошь. Ты добросовестный сотрудник Рябов.

Крутая каменная лестница о пяти ступеньках. В деревянном строении — каменная лестница! Шалость тщеславного архитектора.

Шесть лет назад, когда ты гоголем явился сюда с красным дипломом, ветхость здания уязвила твое самолюбие. Дворцы вам подавай! Стекло и бетон! На белом коне въедем, гаркнем «ура» и нахрапом начнем двигать вперед экономическую науку, так рисовалось. Тщеславие не умерло за эти шесть лет, добротное папино тщеславие, но оно уже не торопит. Ипподромы существуют для гарцевания на белых конях, науку тянут тяжеловозы.

Тетюник в клетчатом пиджаке. Озабоченный, стремительный. Коридор несетя навстречу ему батареями отспления, дощатым крашеным полом, всеми своими газетами, стенгазетами, досками приказов, витриной «Наши публикации». Посторонись, юноша, — пусть летит человек. Он не может не лететь, поскольку директор Панюшкин ценит темперамент в сотрудниках. А будь другой в директорском кресле, вялый и рефлексирующий? В меланхолика б превратился ученый Тетюник?

Ба, полет прерывается. Тебя берет за локоть — интимно и многозначительно.

— Читал, читал! — с одышкой: утомился человек. Сделай заинтересованное лицо, Рябов, — на «Наши публикации» кивает коллега. Там две твои статьи — какую из них читал? — Убедительно, емко, дерзко! — Никакую. Даже не двигаясь умудряется лететь куда-то. — Выходите в океан, Станислав Максимович. В океан! — Не тельняшка ли под сорочкой у коллеги в память о давешней службе на флоте? — Вы понимаете меня? Пролив Каттегат, Скагеррак, Ла-Манш и — Атлантика.

— Кажется, вы хорошо знаете эти места.

— Я-то? Э-э, Станислав Максимович! Тетюник столько повидал на своем веку! Вот вы подшучиваете...

— Я? — пугаешься ты, и это не только дань учтивости. — Что вы, Валентин Михайлович! Я ведь знаю, вы плавали.

Сколько раз зарубал на носу: дома оставляй свою иронию, иначе в один прекрасный день пропустишь ненароком тяжелый прямой, и до десяти будет считать рефери, а тебе уже не подняться. Люди простят тебе все — и Ла-Манш и океан, но упаси бог, если ты выкажешь вдруг свое высокомерие!

— Так, значит, ничего впечатление? — уточняешь ты и тоже, в свою очередь, киваешь на «Наши публикации». Несколько небрежно — стоит ли говорить об этом! — но в то же время с уважительным вниманием к мнению старшего товарища.

Тетюнник, оттопырив губу и прикрыв глаза, энергично подымает большой палец. О как!

— Если ваша кандидатская — море, то теперь вы выходите в океан.

На докторскую намек? Торопливый товарищ. Сам в свои сорок с гаком — крупным гаком! — не вышел и в море, а тебе Атлантику прочит.

— На мель бы не сесть, — не выдерживаешь ты и тотчас уточняешь улыбкой, что к тебе — только к тебе! — относится твоя ирония.

— Не сядете. У вас прекрасная система ориентации. Как у мигрирующих птиц. — Это уже похоже на хамство. Вряд ли, впрочем, — хамство столь тонкого пошиба недоступно ему. — Ваши контрдоводы против Рашевича убийственны. Особенно где вы пишете об упразднении деления рабочих на основных и вспомогательных.

Вторая статья. Неужто читал?

— А сравнение административно-хозяйственного аппарата с крышей, которая непропорциональна зданию в целом? — Булькающий смех. — Прелестно! Просто прелестно.

Не читал: слишком навязчиво демонстрирует знание частных. Слышал что-то краем уха, а сам не читал.

— Рад за вас, Станислав Максимович! Честно, глубоко, искренне. — Ладошку к клетчатому пиджаку прижимает. Все летит, летит куда-то, но продолжает на месте стоять. — Большому кораблю — большое плавание.

Прочувствованно киваешь, благодаря. Снова ловит за локоть бывший морской волк — прощальное пожатие. Бочком, бочком — не задерживай океанский лайнер. Сильным человеком становишься, Рябов.

«Слава, у меня маленькое торжество — ты уж, пожалуйста, зарезервируй вечер», «День добрый, Станислав Максимович! Как ваше давление?», «Старина! Я всецело поддерживаю твою идею. Всецело!», «Послушай, у меня есть отличная машинистка. И недорого берет. Не надо ли?» Сколько разного мельтешит вокруг тебя, и со всеми надо быть терпеливым и доброжелательным. Ни угодничества, ни намывания авторитета тут нет — ты живешь, слава богу, не на необитаемом острове и обязан ладить с людьми. Обязан! Да и с какой стати ты должен выделять себя? В отличие от братца ты вовсе не считаешь себя пупом земли. Ученый, каких легион, экономист, достаточно хорошо знающий свое дело. Хорошо, да, но это не дает тебе права задирать нос. Или быть излишне требовательным к людям. Ты требователен к себе — этого ли недостаточно?

Дверную ручку так и не сделали — болтается. Завхозу некогда — выполняет личные распоряжения директора Панюшкина. Захватить завтра из дома шуруп и отвертку...

— Привет!

Федор Федоров и Люда, самая красивая женщина института. На вешалке цигейковая шубка — Марго явилась? «Врачи полагают, что разбираются в моем самочувствии лучше меня. Грозятся до мая продержаться на больничном».

— Маргарита Горациевна вышла? — Приподнятость в голосе: шеф на ногах! Ты не можешь не радоваться этому.

— Вероятно. — Салют в небе напоминают морщины Федора Федорова. — Вас Панюшкин спрашивал.

— Что-нибудь срочное?

Руками разводит: вы полагаете, Станислав Максимович, директор докладывает мне, срочное ли у него дело?

Листок папиросной бумаги на твоём столе. Очередное ЦУ Панюшкина? «...Ускорить завершение и сдачу работ, предусмотренных планом

первого квартала». Марго здесь сегодня — почему же ЦУ на твоём столе?

— Как поохотились, Федор Андреевич?

На Люду заговорщицкий взгляд. Люда отвечает тебе улыбкой — не отрывая авторучки от журнала, лишь голову повернув. Оппозиция молодых.

— Охота! Какая ж охота после закрытия сезона?

Хитрит — вон какой салют распустил. Браконьерил, раз сезон кончился. До рентабельности ли производства тут?

Где Марго? Дверь в закуток, именуемый кабинетом зава, распахнута настезь. Старомодная черная сумка с металлической отделкой — ты помнишь ее еще по институту. Зачем Марго таскала ее на лекции? Из-за конспектов? Но она никогда не пользовалась ими. Или в ней лежал плавленный сырок для одинокой трапезы?

— Где так загорел? — Даже писать перестала — вот как заинтересовал Люду этот загадочный феномен.

— В Крыму, — ненаходчиво бормочешь ты и чувствуешь, как южное солнце снова припекает твоё лицо, но теперь уже изнутри.

На лоб вскидывает очки Федор Федоров:

— Вы в Крыму были?

— Экскурсия?

Люда догадлива. Люда все понимает. Умные серые глаза и ласковый голос. Самая красивая женщина института. Сегодня это не трогает тебя. Сегодня ты непробиваем, Рябов, — хоть сотню отборнейших женщин выстраивайте перед тобой. «Первый автобус приходит к нам в половине десятого».

Ее ты оставишь в отделе. Не потому, что она самая красивая женщина института, — как заведующего тебя не будет интересовать это. Отныне тебя не интересует это и как мужчину. Ее ты оставишь, потому что она умеет работать — в отличие от охотника Федора Федорова и домохозяйки Малеевой.

— Дети болеют? — киваешь на пустующий стол. Все еще припекает изнутри, но уже слабее. Деловые мысли! — какое солнце устоит перед ними.

— Была. В аптеку побежала — с маленьким что-то.

Люда добра. Люда готова работать за охотника и домохозяйку, вместе взятых. Ее ты оставишь. Переведешь в старшие научные. Марго сделала б то же самое, но ведь и Марго добра. И тоже готова работать за «вместе взятых».

Нет ничего худого в том, что ты думаешь об этом. Ты знаешь, что рано или поздно переедешь в закуток, именуемый кабинетом зава. «А если дальше заглянуть? Вам надо мыслить перспективно, Станислав Максимович. С позиции завтрашнего дня. С позиции заведующего отделом, если хотите. — Марго первая заговорила об этом. — Никто из нас не вечен. По-видимому, это звучит чересчур зловеще, но не пугайтесь, вас я не имею в виду. Просто тянет обобщать с некоторых пор. Один мудрец назвал философию наукой умирать. Не помните кто? Я тоже не помню. Видите, даже тут вы достойный преемник». Ученик, преемник, духовный сын... Ты искренне рад ее неожиданному выздоровлению, но почему ты не должен думать о будущем? В конце концов, ты экономист, а не свободный художник, экономисты же обязаны заглядывать вперед.

Графики, пояснительная записка... Где схема единичного распределения?

«Ты все предвидишь, все учитываешь. Все, что ты делаешь, диктует тебе твой разум». — «А кто должен диктовать? Желудок?» — «Пусть лучше желудок. Но ты и ешь-то не потому, что голоден, а чтобы под-

держат жизнедеятельность. Не бифштексы поглощаешь — калории». «Зато ты, я вижу, поглощаешь бифштексы». Но промолчал и лишь взглядом скользнул по борцовскому брюху братца. Узнай он о твоем крымском приключении, наверняка решил бы, что и это ты запланировал заранее, за квартал вперед.

Вот она, а ты перерыл два ящика. Марго и не предполагает, что схема готова. Только начало апреля, больше полумесяца до контрольного срока, а семьдесят процентов работы — в кармане. Больше...

Марго. Уважительно встаешь навстречу.

— Здравствуйте, Станислав Максимович. А я уж и не надеялась застать вас.

Сухое и плоское тело. Сколько болезней таится в нем! Неужто закрыли больничный?

— Я обычно захожу перед институтом. У меня третья пара. К двенадцати.

Блестят и смеются черные глаза. Это вы мне говорите, когда начинается в институте третья пара? Забыла, считаете? Считаете, у меня совсем уж дырявая память? Похуже, конечно, вашей — вы небось как сейчас видите меня за кафедрой, хотя сколько лет прошло! Шесть? Знаю, она была велика мне, кафедра, и потому приходилось подставлять скамеечку, которую, конечно, вы тоже помните.

Зачем? Зачем подставляла она скамейку? До сих пор не понимаешь пристрастия профессора Штакаян к этому громоздкому сооружению. Читала бы лекции сидя...

Диван удобен ей: ноги не болтаются, а твердо на полу стоят. Пристраиваешься рядом.

— Сделали процентов на семьдесят.— Буднично и скромно. «Знакомый букинист достал. Тридцать пять рублей. Андрей грезил таким альбомом».

Шеф молча смотрит на тебя. Не верит шеф. Жиденькие, черные, зачесанные на прямой пробор волосы. А глаза — огромные. Он прекрасный художник, Тулуз-Лотрек!

— Будете смотреть? — Подвигаешь бумаги.

Углубляется.

«Послушайте, Рябов, вы знаете, что это такое?» «Дипломный проект». Улыбка — широченная пошлая улыбка — сводит на нет все твое смирение. «Это основа будущей диссертации. Ну, может, не основа еще, но косточка во всяком случае. Со временем из нее вырастет дерево. Вам надо поступать в аспирантуру, Рябов. Хотите, буду вашим руководителем?»

— Данные собрал плановый отдел.— Тебе не нужно чужих лавров.

К переносице устремляются черные брови:

— Но им нельзя особенно доверять.

— Я объяснил, зачем нам.

Исполнитель. Отвечаешь на вопросы, не более. Только исполнитель, руководите же работой вы, профессор!

— Занизили. Гарантию даю — занизили. Вы плохо знаете производителей, Станислав Максимович.

Мальчиком все еще считает тебя профессор. Ученик, последователь, духовный сын... Все верно — дети всегда кажутся родителям такими несмышленишками.

— Не думаю. В конце концов, это их обязанность — экономическое обоснование способов производства. Ну и потом... Мы сделали выборочную проверку.

— Сделали?

Федор Федоров на лоб очки подымает.

— Я проверял — все тютелька в тютельку.— Не думайте, товарищ

заведующая, что я лишь по лесам шастаю. Я работаю.— Обнаружили в одном месте расхождение...

Ученый-экономист Федор Федоров. «Что делать, Станислав Максимович? Он должен где-то работать. Четыре года до пенсии, а никакой другой специальности нету».

Марго не ставила неуды. Не умела. Открывай учебник, катай один к одному — притворится, что не видит. Стыдно замечание делать.

— А бухгалтер там — мой старый приятель. Охотник тоже. На личичку зимой ходили. Честнейший человек! Так что уж липу, Маргарита Горациевна, нам не подсунет.

«Как экономист Федоров совершенно беспомощен. Коэффициент загрузки не может высчитать. Я вынужден...»

Не торопись, Рябов. Ничего ты не вынужден. Разумеется, после ухода сердобольной Марго никто не поддержит охотника Федорова, и все же ни к чему без крайней надобности демонстрировать кровожадность, которой к тому же в тебе нет. Лишь одного противника нокаутировал ты за всю свою спортивную карьеру, предпочитая выигрывать по очкам,— всего одного и то случайно. Просто ты напишешь объективную — вот именно, объективную! — характеристику, а уж дело комиссии, аттестовать его или нет.

Смуглая ссохшаяся рука. Одна страница, другая... Со стороны — беглый просмотр, но ты-то знаешь, что в ее поразительном мозгу отпечатывается все.

А впрочем, есть, может быть, смысл показать, что доброта доброю, но при необходимости и ты можешь быть... нет, не жестоким — тут требуется иное слово. Принципиальным — скажем так. Это-то и явит твоя объективная — строго объективная! — характеристика, в которой выскажется заведующий отделом Рябов, человек же Рябов по-человечески посочувствует охотнику и даже, если потребуется, трудоустроит его. Отдел будет — будет! — работать как часы.

Сравнительный анализ, но лишь миг задержалась на нем и — дальше. Даже ты не умеешь схватывать так быстро. Переоценивает тебя братец. «Мне нравится твоя профессорша. Я б портрет ее написал. В ней есть что-то такое... Сейчас не пойму, но если б писал — понял. Я когда работаю — прозорливей становлюсь. Умнее самого себя. Потом опять тупею».

Жаль, что все свои поступки братец совершает вне мольберта.

— Торопитесь?

— Нет, что вы, Маргарита Горациевна. Еще полчаса.

Фотография на книжном шкафу: тонколицая армяночка с сияющими глазами. Так всю жизнь и жила одна? Студентка Штакаян, аспирантка Штакаян, профессор Штакаян... И все — одна?

— Коэффициент по цехам брали?

Вот уже куда добралась!

— Да. И в целом вывели, но сначала брали по цехам...

Где сводная таблица? Волнуешься, Рябов. За восемь лет это превратилось в условный рефлекс — волноваться, когда твою работу просматривает профессор Штакаян.

— Вот. Отклонение в пределах процента.

Взгляд разом схватывает таблицу. Одобрительное, чуть приметное покачивание головы.

«Поздравляю. Я ужасно волновалась. Нагнитесь, я поцелую вас. Вы умница, Станислав! Вы и не подозреваете, какая вы умница. Где ваша жена? Я хочу сказать ей это — чтобы берегла вас и холила». — «Ее здесь нет. У нее сегодня дежурство». — «Жаль. Я очень верю в вас, Станислав. И я хочу... Ну вот, так и подмывает напутствие сделать. Не слушайте меня, дотошную старуху! Я вам подарок приготовила. Вот,

возьмите. Это шарф. Сама связала. Может, не очень модный — я не разбираюсь в этом, — зато теплый. Чтоб ангинами не болели». — «Не буду».

— Среднегодовой?

— Среднемесячный. Разница ноль одна, ноль две.

К самому уязвимому месту подошла. Проскочит? Вряд ли. Запнулась, переводит заново — медленней. Вопросительный взгляд на тебя. Разводишь руками: согласен, слабость, но что делать? Устанавливать исходные данные опытным путем — значит, заранее обречь себя на несдачу работы в срок. Никто не позволит. К 30 апреля надо закончить.

— Я возьму все это. Вы не могли бы зайти ко мне на этой неделе?

Так, значит, больничный не закрыт?

— В любое время. Позвонили бы, я б принес.

— Лучше унесете. Завтра в первой половине дня. Сумеете?

Подарок братцу. Тебя даже устраивает это — по дороге в универ-маг забежишь.

— Часов в одиннадцать?

— Если вам удобно. Ступайте, вам пора.

Только четверть двенадцатого, но вдруг опоздаешь? Не на тебя позор падет — на заслуженную голову профессора Штакаян. «На машиностроительном факультете вводят курс «Организация промышленного производства». Два потока, общая нагрузка что-то часов сто. Один день в неделю. Я рекомендовала вас». — «Но ведь ВАК еще не утвердила...» — «Утвердят».

Складываешь в папку бумаги.

— Бойтесь, растеряю по дороге?

Смеешься.

— У нас черновики есть.

Вставай и уходи: Марго нервирует твоя медлительность. Еще немного — и она заподозрит тебя в наплевательском отношении к лекциям.

— До свидания. Завтра в половине двенадцатого — у вас. — Не забыть надеть шарф, собственноручно связанный профессором.

«И ты будешь носить это?» — со смешливым удивлением. Эта веселость жены задевает тебя, провоцирует на резкость: «Свяжи что-нибудь получше». «С удовольствием, но я...» — и виновато разводит руками. Что означает этот жест? Ее беспомощность в делах подобного рода? Занятость? Ибо столько забот у твоей супруги: конференции, семинары, встречи с сокурсниками...

Любопытно, сколько ночных дежурств падает в месяц на одного врача?

Не купить ли завтра цветов профессору?

«Это тебе». — «Спасибо. Большое спасибо. Только... Ты не обидишься, нет?» — «Разве я похож на человека, который обижается?» Твоя будущая супруга размышляет секунду-другую и отвечает мягко: «Пожож», отчего твои торчащие уши уличенно вспыхивают. Доверительным быстрым шепотом объясняет, что, когда даришь женщине цветы, надо снимать бумагу. «Пардон! Надеюсь, мне больше не придется делать этого». «Почему?» Крупные и темные влажные глаза глядят на тебя с неподдельным интересом. С неподдельным! — хотя сейчас ты почему-то уверен, что она сразу все поняла. Кажется, такое подозрение мелькнуло у тебя еще тогда, и тем не менее ты принялся косноязычно объяснять: «В смысле... Женам, кажется, не дарят цветов». «Ты так думаешь? В таком случае, — сочувственно сказала она, — я не завидую твоей будущей супруге». «Можешь избежать этой ужасной участи».

Уши горели, как костры. «Я?» — тихо удивилась она «Ты». И тут-то впервые заметил ее сдержанную и оттого особенно очаровательную — тогда она показалась тебе очаровательной — смешливость. «Какая странная манера делать предложение женщине!» Ты пожал плечами, а она уже совершенно серьезно, с какой-то сострадательной озабоченностью задала свой вопрос: «А ты... Ты уверен, что любишь меня?»

А ведь ты и впрямь не дарил цветов с тех пор. И до этого, кстати, тоже.

Приемная директора. В твоём распоряжении десять минут.

— У себя? — Вскинув руку, дружески приветствуешь Клавдию.

Кивает — здороваясь и одновременно отвечая: у себя, можно. Открываешь дверь.

Рад видеть вас! Рад, рад — искренне, как всегда. Говорю по телефону, ну да плевать. Главное, вы здесь, Станислав Максимович!

Не отрывая трубки от уха, интимно прикрывает глаза. Слабость питает к тебе директор института. «Люблю молодежь! Не всякую, разумеется, — вы же понимаете. Талантливую, работающую, честную. Такую, как вы. Это я вам без брехни говорю. В моем лице вы всегда найдете поддержку. Да вы и сами это чувствуете. Так ведь, чувствуете? Ну признайтесь?» Бурный темперамент. Искренний и бурный.

Глазами на кресло показывает: садитесь, прошу! Не на стул — в кресло. Почетный гость. Я демократичен и прост, директор института. Я справедлив. Вы ученик профессора Штакаян, любимый ученик профессора Штакаян, врага номер один директора Панюшкина, но это, видите, не мешает мне относиться к вам с щедрым дружелюбием.

Учись объективности, Рябов!

Садисься.

— Так. Все ясно. Так.

Вот какое уважение к тебе! Едва вошел, спешно разговор закругляет. Бережет, бережет директор рабочее время сотрудников.

«Ученый, товарищи, это легкоранимое существо, к которому надо относиться с заботой и пониманием. Нервы его напряжены, мозг работает без отдыха — днем, ночью, даже во сне. Все это, как вы понимаете, накладывает на характер человека определенный отпечаток. Мы все уважаем и ценим Маргариту Горациевну Штакаян, ведущего специалиста нашего института. Ее исследования экономической структуры производственных объединений получили всесоюзную известность. В нынешних условиях эта фундаментальная работа приобретает особое значение. Зачем я говорю все это? Мне хочется напомнить членам ученого совета, а также присутствующим здесь товарищам из директивных органов, насколько загружена Маргарита Горациевна. Кроме основной работы, она ведет аспирантов, регулярно выступает в периодике, здоровье же ее, к нашему глубокому сожалению, уступает здоровью космонавтов. Поэтому естественно, что Маргарита Горациевна физически не в состоянии вникнуть во все тонкости работы института. Именно этим я объясняю резкость ее высказываний. Маргарита Горациевна считает, что мы должны взять конкретные предприятия с низкой рентабельностью и помочь им наладить кровообращение, как она выразилась. Но тогда мы превратимся из исследовательского института в придаток производства. Магистральная же линия экономической науки, как, впрочем, и всякой другой, — прослеживать общие тенденции, выявлять закономерности, а не копать в частностях».

— Хорошо. Я вас понял, хорошо.

К терпению взывает устремленный на тебя взгляд. В отполированной лысине — многократно уменьшенное, четкое, искаженное округлостью отражение окна.

Кипы бумаг — на столе, на шкафу, на приставном столике, демо-

кратично застеленном невыглаженной портянкой. Диаграммы на стене. На сейфе — мудрые толстые книги. Здесь работают, черт побери, и не купаются в роскоши. Экономист обязан знать счет деньгам. Мало говорить о бережливости, надо на практике осуществлять ее — лично!

Любопытно, исповедовал ли он эти принципы, будучи зампредседателем облисполкома? Или на ходу перестроился, катапультировавшись в ученые?

Груботканая рубаха с распахнутым воротом. Племенная шея. «Садитесь, Станислав Максимович. Извините, что побеспокоил вас, но я новый человек и мне хочется лично познакомиться с каждым. Во всяком случае, с ведущими работниками института. Читал ваши статьи. Слышал, что будете защищаться весной. Но это все анкета, фасад, а хочется, знаете, внутрь заглянуть. Пощупать, так сказать. Вы понимаете меня?» Еще бы! Косишься на волосатые пальцы руководителя.

— Позвоно, как выясню. Привет!

Разбухший потрепанный портфель с поржавевшими замками. Белье в нем? «После работы в прачечную иду. А что делать — жизнь! Живая жизнь, да!»

— Сегодня же понедельник, лекции у вас. Могли б завтра зайти, послезавтра. Я ведь как просил передать? Будет время у Рябова — пусть заглянет. Но не сегодня же! Сегодня, думал, вас вообще не будет. Понедельник — ваш день. Читайте лекции, сидите в кино, загорайте. День для души. Творческому человеку необходимо иногда развеяться. Кстати, вы действительно загорели. Где это угораздило вас? — Долой служебную иерархию! — простеcki и дружелюбно.

— В Крыму.

— В Крыму? Каким образом?

— На самолете. Вчера и позавчера.

— Экскурсия? Чудесно! Просто чудесно! Завидую вам, Станислав Максимович. Я ведь тоже собирался с женой. Некогда! Работать и то некогда. Звонят, идут, пишут. — Отговаривает от директорского кресла? Не слишком ли заблаговременно? — Разве что вечером? Но вы же понимаете, какая работа вечером! Голова, как валенок сибирский.

Воинствующий демократизм. Рубаха-директор.

«Возможно, у товарища Панюшкина хорошие административные качества, но ведь у нас научно-исследовательский институт, а не... вокзал, универмаг. Не знаю, где в первую очередь требуются административные качества. Сегодня итоговый ученый совет, и мы должны честно признать на нем, что научное руководство в истекшем году осуществлялось крайне некачественно. Я привела несколько примеров, но число их можно увеличить. Как могли вы, товарищ Панюшкин, согласиться на руководство научным учреждением, не имея опыта научной работы?» «Не боги горшки обжигают, Маргарита Горациевна».

— Да вы ближе садитесь, ближе! Вы что думаете: ближе сядете — больше задержу? Три минуты. Ровно три минуты — засекайте по часам. — Целый раунд. Не так уж мало. — Опять тот же вопрос в порядке консультации.

Новый тип руководителя: плюет на ложное самолюбие. Что тут зазорного — проконсультироваться с подчиненным, пусть он и вдвое дороже меня!

Папка с замусоленными тесемками. Исходные данные, черновики расчетов. По-прежнему Зайцев и Скок осуществляют?

Бойкие, неунывающие ребята под общим псевдонимом Скачет-зайчик. Оба в клетчатых штанишках, оба в замшевых курточках, у обоих ослепительные улыбки. Один, правда, в очках, но, кажется, иногда дает поносить их приятелю. Семьдесят лет на двоих — того и гляди, зайбилеют. Бог весть куда скажут они, тебе, однако, перебежать дорогу не

собираются; напротив, всячески демонстрируют свою лояльность, а веселые глаза их, попеременно прикрытые очками, так и кричат: «Мы с тобою! Мы с тобою!» Не надо, мальчики. Скажите сами.

— Вот, Станислав Максимович, посмотрите на досуге. Я вам признаюсь: меня методика расчетов смущает. Взгляните своим глазом, а? Я уж не вижу ни черта: свыкся, сросся — ну, вы понимаете. Посмотрите, я вас очень прошу.

Осторожно, кончиками пальцев дергаешь замусоленную тесьму. Презентовать, что ли, папку директору?

Почерк незнаком. Кто же составлял? Лично ты участвуешь в мероприятии в ранге консультанта — тут даже Марго не усмотрит ничего зазорного. Любой гражданин страны имеет право обратиться к соотечественнику за помощью — почему же Панюшкин должен быть исключением?

— Это все новое?

— Да, вы не видели. Заключительная часть.

Оперативно, однако! *«Нет опыта научной работы? Побойтесь бога, Маргарита Горациевна, а моя монография?» «Ваша?»*

Добрая Марго, великодушная Марго — кто бы мог подумать, что она затеет свару с директором? Ты ее ученик, но отсюда вовсе не следует, что ты должен ввязываться в эту шумную перебранку. Не примыкать к группировкам — разве не давал ты себе этого торжественного обета? Научные дискуссии — пожалуйста, все же остальные конфликты пусть Тетюнники разрешают. Некогда наукой заниматься, товарищи, — за правду боремся!

— Потом посмотрите — не срочно. Как время будет.

Никакого давления. Можешь положить папку на стол и сказать, что время будет в следующей пятилетке. *«Ради бога. В следующей, так в следующей. Разве я регламентирую?»*

— Чему улыбаетесь? Смешное там что-нибудь? Скажите, вместе посмеемся.

— Нет-нет.

Наглеешь, Рябов!

Звонок.

— Извините. — «Мы должны быть предупредительны друг к другу. Единой семьей жить. У нас не такой уж большой коллектив, товарищи». — Слушаю... Да, я... А-а, привет!

Скока почерк. Старательный мальчик Скок — тридцать четыре года. «В отчете много белых пятен. Непонятно, например, чем занимался все это время Скок». — «Загляните в план, Маргарита Горациевна». — «Заглядывала. Но мы сейчас обсуждаем не план, а отчет». Что с Марго? Никогда ведь не отличалась агрессивностью.

Растерянность в глазах — где скамейка? На первом часе, до перерыва была, а сейчас нет. Неужели нет? Ищите, профессор, ищите. Мы знаем, что читать лекции сидя вы не привыкли, а без скамейки разве что нос будет торчать над кафедрой. Как же быть? Вы свой человек — не ставите неудов, позволяете болтать на лекциях, раздаете «в долг» студентам деньги — почему бы еще и не подшутить над вами? Вы не злопамятны, Маргарита Горациевна, вы не обидитесь на нас. Посмотрите: мы так молоды, нам порезвиться охота. Молча умоляете глазами вернуть скамейку? Ну, профессор, это нечестно. Поищите еще! Загляните под стол, вот так. Повернитесь вокруг своей оси. Не обращайтесь внимания на нас — мы своими делами заняты.

Ты знал, где спрятана скамейка, как, впрочем, и все остальные, но существует студенческая солидарность, и ты не имел права быть штрейкбрехером. Степанов им стал. Поднялся, размеренным шагом пересек притихшую аудиторию. «Пожалуйста. Извините нас». Даже

тогда не проявила агрессивности Марго. Ни слова упрека. Вскарabкалась на скамейку, дрожащим голосом продолжила лекцию. Она любила студентов и с каждым в отдельности находила общий язык, а вот когда они скопом, в аудитории — не выходило. Девочка, которая заблудилась в толпе... В конторе она другая.

— Черт, не поговорить спокойно. Без конца звонят.

Снова незнакомый почерк. Со стороны кто-нибудь? По договору? Закрываешь папку, в портфель суешь. Полотенце в целлофане, синяя мыльница, плавки.

— Я могу идти?

— Станислав Максимович!— с укором: можете идти, можете бежать, хоть на голове ходите — разве я лимитирую вас! Разгул демократизма.— Вообще-то я вас не за этим хотел видеть. Это так, между прочим, но для главного разговора у нас сейчас нет времени. Не у меня — у вас.

Для главного разговора?

— Есть немного.

— Нет-нет, разговор этот нельзя комкать — потерпим до завтра.

Хорошо, потерпим. И не надо спешить, не надо так сразу видеть связь между сегодняшним визитом Марго в институт и разговором, который нельзя комкать. Где была она, когда ты вошел в отдел? Нет, она не могла подать заявление, не предупредив тебя.

— Тогда завтра утром?

— Чудесно! Заходите, кто бы ни был у меня. Для вас эта дверь открыта всегда.

Ты озадачен, однако. Еще успеешь заглянуть в отдел... Зачем? Проявляешь нетерпение, Рябов. О другом подумай. Вспомни кипарисы. Море и кипарисы... Не действует? И не надо! Негоже являться перед студентами в порхающем настроении.

5

Положив мел, тщательно вытираешь тряпкой пальцы. Отойди, не загораживай, пусть перепишут.

Девушка у окна все читает. На коленях пристроила книгу, откинулась и полагает: не замечаешь. Или ничего не полагает — просто забыла о твоём существовании. На перемене-то выходила из аудитории? Лучше бы — нет. Тогда, стало быть, не лекция скучна, а очень уж захватывающая книга. О любви?

Парень в твоей курточке все строчит. Не конспектирует, нет — что-то постороннее. Письмо сочиняет? Хотя бы для приличия посматривал на доску. Должно быть, видел тебя в курточке, и это низвергло тебя с преподавательского пьедестала. Ты демократичен, как Панюшкин, но все же учитель и ученик не должны одеваться одинаково.

На что надеется — на учебник? Неужто же не все еще усвоили, что ты не дублируешь учебник — зачем, его можно прочесть самостоятельно, — а вот проштудировать всю периодику, как это делаешь ты, готовясь к лекциям, студенту не по зубам. На экзаменах он убедится в этом.

И девушке, что несвоевременно упивается романом о любви, припомнишь на экзаменах ее легкомыслие? Увы! Когда за столом против тебя сидит прекрасное создание, сила духа оставляет тебя. Надувайся, как индюк, изображай академическое бесстрашие — все равно ты беспомощен, экзаменатор. Джентльмены не обижают женщин. Джентльмены плюхаются в воду спасать дельфинов. Бог с ним, с прекрасным созданием, но вот сочинитель в курточке покусает локоток.

Шесть минут до звонка. Не надо никаких заключений — студент

терпеть не может этого. Метода Мясоедова... Жирный флегматичный Мясоедов устраивал фейерверк из каждой темы. Но даже на его лекциях были сачки — в экономическом вузе это естественно. Бум высшего образования свирепствует в стране — сколько случайных людей загоняет он в институты! Лишь бы попасть, лишь бы зацепиться! Специальность экономиста занимает в иерархии популярности одно из последних мест — прекрасно, пошли в экономический: авось легче протиснуться. Тебя не это волновало: еще до получения золотой медали знал, что поступишь в любой вуз. Но рыцарем на распутье не был. Газетный ураган, вздыбленный вокруг экономической реформы, вынес тебя на дорогу широкую и прямую.

Обводишь аудиторию взглядом. Кое-кто переписал, отдыхает. Хоть кто-нибудь из этой полусотни студентов согласился бы променять машиностроение на экономику? О чем вы, Станислав Максимович, — это же дисквалификация. Сопромат, черчение — что там еще у них? — это да, это науки, достойные мужей, а экономика и все иже с нею — вязкая абракадабра, которую вдалбливают нам в головы неизвестно зачем педанты преподаватели.

«Производственные силы все время в развитии — новая техника, новые мощности, производственные же отношения топчутся на месте. Это все равно что иметь современный автомобильный парк, а пользоваться правилами уличного движения времен дилижансов. — Интересно, осталась ли хоть у кого-нибудь в голове эта развернутая метафора, с которой ты начал свою вступительную лекцию? — Инженер, не знающий законов организации производства, похож на шофера, который не смыслит в правилах уличного движения. Неминуемая авария ждет такого автомобилиста».

— Станислав Максимович, две минуты.

И другой голос, в поддержку:

— Отпустите, а то очередь в столовой.

Мясоедов отпускал. «Даже самая изысканная духовная пища не заменит посредственного харчо. — К еде он относился с не меньшим благоговением, нежели к цифрам, — фамилию оправдывал? — Ступайте, только не топайте, как слоны».

На часы глядишь. Не две минуты — три. Почти три.

— Только тихо.

Подымаются — дисциплинированные, смиренные, поодиночке плывут к выходу, но, едва переступив порог, припускают, уверен ты, галопом. Надуть ближнего спешат — с таких-то лет!

Девушка читает. Нет, подымается, к выходу идет. На цыпочках — какое уважение к преподавателю! Глаза скромно опущены. Цесарочка! Все-таки харчо перетянуло любовные похождения, которые, в свою очередь, перетянули лекцию. Прав, прав Мясоедов!

Звонок. Двенадцать, полдень. Четверо с половиной суток до субботы.

А сочинитель в твоей курточке все строчит. Касаешься курточки ладонью.

— Молодой человек, лекция окончена.

Ошарашенные, нездешние глаза. Нокдаун средней тяжести.

— Извините.

— Ничего, можете продолжать. Не прозевайте только обед.

С невозмутимым видом покидаешь аудиторию. Отныне он не посмеет на твоих лекциях строчить письма любимым девушкам. Девушки поблагодарят тебя: кому охота в наши дни читать столь длинные послания?

К кафедре пробираешься в бушующей, галдящей толпе студентов, внешне почти неотличимый от них. Посредственной вышла сегодня лек-

ция. Крымское приключение повинно? Тема, малопригодная для спектакля? Нет, инсценировать можно все. Бегло и язвительно изложить устаревшую концепцию, выудив ее из пыльных экономических фолиантов, фамилии авторов назвать — вместе с громкими титулами, — а после этой невинной увертюры начать ослепительное представление. Едко расправляясь с музейными понятиями, попутно и как бы исподволь излагать современную точку зрения. Представление, основанное на тонком знании молодой аудитории. Бунтарской студенческой душе куда ближе разрушение пьедесталов, нежели возведение их.

А ведь тебе не всегда придется копать в архивном мусоре, выискивая материал для опровержения, — кое-что поставит память. Сокрушительно будешь громить с преподавательской кафедры то, что отстаивал когда-то на студенческой скамье. Потом то же случится с сегодняшними твоими принципами. Не конъюнктура, нет, — диалектика жизни. Воскресни сегодня Черепановы, разве не отказались бы они от идеи паровоза в пользу электрической тяги? От той самой идеи, за которую некогда воевали самоотверженно и пылко? И никому бы не пришло в голову обвинить их в беспринципности. Напротив...

Хорошее сравнение для популярной брошюры. Или учебника? «Прямое воздействие предназначено для установления жесткой связи с объектом. В этом случае фактическое поведение управляемой системы, характер и размеры ее выхода должны возможно более точно соответствовать содержанию и величине задания, определенного командующим воздействием». Кошмар! «Допущено министерством в качестве учебного пособия». Ты никогда не сумеешь говорить так мудро. Ту же мысль ты выразил бы тремя словами: надо план выполнять. Не написать тебе учебника, кандидат! Министерство не допустит.

«Я не за этим хотел вас видеть, но для главного разговора у нас нет времени... Нет-нет, нельзя комкать. Потерпим до завтра». Неужели... Но тогда ты заметил бы по Марго. Нет! Да и вряд ли добровольно уйдет — коллекция морских камешков не заполнит пенсионного досуга. А что делать — дома, одной?

Кафедра. Виноградов, твой коллега, твой молочный брат, последний аспирант профессора Штакаян.

— Приветствую вас, товарищ Виноградов! — Громко и жизнерадостно. Больше никого на кафедре, только зябнущая лаборантка Нина с прозрачным лицом, но с ней ты уже виделся.

Молочный брат отрывается от журнала. Роговые очки, взгляд умен и серьезен.

— Здравствуйте.

Прерогатива дураков — броско-интеллектуальная внешность, но в данном случае перед тобой исключение. «Вы знаете, я верю в Виноградова. Очень способный и — главное — большой труженик. А как человек — прелесть. Просто прелесть, вы согласны со мной?» Согласен, Маргарита Горациевна, и искренне недоумеваю, чем не угодил своему молочному брату. Видит бог, ни единой стычки не было между ними, а на зависть, по-видимому, он не способен.

— Как диссертационный марафон? — Ухмыляешься, но не обращай внимания, Маргарита Горациевна, это ровно ничего не значит. Он мне глубоко симпатичен, ваш последний аспирант, симпатичен, несмотря на обнаженную неприязнь к моей плебейской роже.

— Работаю.

Видите, профессор, какой вызывающий демарш! А ведь я ваш любимый ученик, ваш духовный сын и преемник. Но и ревности, клянусь, я не подозреваю в нем.

Берешь портфель с подоконника. Медлишь, однако, весело глядя на погруженного в журнал брата.

— Я мешаю вам? — Тебе по душе его подтянутость.

Соизволил поднять голову:

— Нет. Пожалуйста.

Благодарю! Не везет тебе на братьев, Рябов, — ни на родных, ни на молочных. Но молочный моложе тебя и не ты, а он зависит от тебя (защита не за горами!), и потому великодушно перешагиваешь через свое поправное самолюбие:

— У меня есть кое-какие материалы по рационализации управления. Если не ошибаюсь, это ваша тема.

Строгие глаза за стеклами очков: я слушаю вас, продолжайте. Русой прядью спадают на лоб волосы.

— Вас интересует? Могу принести.

— Спасибо. У меня достаточно материала.

— Ради бога! — Беспечно скалишь зубы. Затем отпираешь портфель и шарьшь там, что-то выискивая. Мыльница с мочалкой, плавки, полотенце...

Что ты ищешь тут? Братец прав: скряга твоя память. Какой только хлам не пылится в ее бездонном чреве!

Застегиваешь портфель. Кто-то, видать, насплетничал о тебе молочному брату, а он... Но и на человека, который верит сплетням, он тоже не похож.

— Вы уходите, Станислав Максимович? — Зябко кутается лаборантка в пуховый платок. — Вас Архипенко искал.

Или все дело в манере держать себя, которую ты, комплексуя, принимаешь за антипатию к собственной персоне? Конечно, комплексуешь, ибо за что не любить тебя аспиранту Виноградову?

Небесными глазами глядит лаборантка Нина — ответа ждет. Зачем понадобился ты доценту Архипенко? В отличие от молочного брата этот полнотелый филателист с печальными залысынами питает к тебе жаркую симпатию. Будем надеяться, не только из-за марок, которые ты привез ему из Югославии.

— Что-нибудь срочное?

— Он не сказал. — Лицо бледное и зябкое, как отражение в воде.

«Передайте ему, Нина, что я жду его в бассейне. Четвертая дорожка».

— Я вернусь к двум. У меня еще пара.

Энергично одеваешься.

— Чао!

Мимо ушей пропускает молочный брат это бравурное приветствие. Его дело — в конце концов, защищаться не тебе, а ему, а кто может поручиться, что не кандидату Рябову выпадет честь быть официальным оппонентом? Ты не откажешься — блистательная возможность преподнести стройтивому брату урок великодушья и строгой объективности. *«Несмотря на названные недостатки, работа в целом, повторяю, глубока и актуальна. Лично у меня нет ни малейшего сомнения в том, что соискатель Виноградов заслуживает звания кандидата экономических наук».*

На улицу выходишь. Всюду солнце: в сырых тротуарах, окнах, каплях воды, падающих с крыши, лакированных женских сапожках, стеклах машин. Низ водосточной трубы — из молодой жести, еще не крашенной, и здесь солнце прямо-таки неистовствует. Журчание, звон. Смеются девушки с непокрытыми головами. Распахнутые пальто.

К пятнице от снега не останется и следа... Ходит ли автобус в распутицу?

(Окончание следует)



ПЕТР ВЕГИН

★

ВРЕМЯ—ПЛАМЯ

Уральские отдохновения

Комментаторы Души и Времени,
мы колдуем над уральскими пельменями,
а на улице четвертый день метелица
колобродит, словно белая медведица.

Под веселое пельменное кипение
продолжается дискуссия о Времени:

...Время — вьюга без конца и без начала,
что пороги и эпохи заметала...

...Время — племя? Время — бремя? Время — темя,
то есть медленное наше облысение?..

...Может, Время — это вымя? Его млеко
из молекулы вскармливало человека...

...Мы жокеи, и летит гнедое Время,
только стремя не теряйте, только стремя...

...Время — семя, утверждаю как ученый,
урожай его — мальчишки и девочки...

...Время — пламя, выражение лиц необщих
только обжиг сообщает, его обжиг...

Мы сидим в избе, три черта и три бога,
а метелица ревет, четверонога,
и смотрит на нас морозными глазами
наше Время — бремя, племя, стремя, знамя...

Кэтрин Гилмор

В Ольстере, Ольстере, Ольстере
девочка родилась.
В маму стреляли монстры.
Пуля в ней прижилась.

Что моя лирика, господи,
если т а к о е в Ольстере?

После такого со звездами
наедине оставаться
совестно, совестно, совестно
перед звездными цивилизациями!

Что же вы сделали, взрослые,
в Ольстере?

Было ли это на свете
и сколько еще будет,
чтоб нерожденные дети
мать заслоняли от пули?

Вырастет девочка Ольстера,
спросит ее любимый:
«Что это — оспинка?»
«Нет, это меня убили...»

Живи, девчушка, посмертно!
Такое с людьми бывает:
дети, как и поэты,
к счастью, неубиваемы!

Баллада рекорнации

Взгляд человеческий у оленя —
даже дрожь пробежит...
Рекорнация — переселенье,
круговорот души.
Будет душа молодым новоселом,
коль родился малец.
Могут быть родственны духом боксеры,
духом чужие — сын и отец.
Близкие души, далекие лица.
Тайное дело сердец...
Авелю в Каина не поселиться,
кошкой не станет скворец.
Скажите, куда исчезли гуанчи?
Ни одного...
Предугадать куда как заманчиво:
Пушкин — в кого?
Здравствуйте, гений, вы жили когда-то
и потрясали мир!
Души летают — людей маловато,
как не хватает квартир.
Прежде чем в меня поселиться,
кем ты была, душа?..
Ищут родного гнездовья птицы,
над полушарьем кружа.
Черные души — черные птицы,
нету на вас стрелка.
Чтобы вам не было поселиться
ни в кого — на века!
Если придется еще раз родиться,
землю и звезды любя,
как бы хотелось переселиться,
переселиться в себя.

* *
*

Бросишь в бокал шампанского
часики и шутейно
скажешь: — Итак, да здравствует
наше хмельное Время!
Ангел в нейлоновой курточке,
шутка твоя — наповал,
но вознесен над шуткою
тикающий бокал.

Пейте, звеня ледышечкой,
наше хмельное Время!
Эта награда выше, чем
Нобелевская премия!
Пейте кому как вздумается —
пригоршнями или шлемом...
Двое в подъезде целуются —
пьют друг из друга Время.

Ты не поклонница Бахуса,
но подтверждая суть,
светятся в тебе, покалываются
пузыречки секунд
нашей с тобой эры,
нашей с тобой судьбы,
радости и доверия,
совести и любви...



НАТАЛЬЯ СИДОРИНА



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ



И когда виноваты,
а может быть правы,
нас встречают луга,
и поля, и дубравы,
и невольно захочешь
попросить промедленья,
только втянут уже
в эту силу движенья.
Все стоишь и стоишь
никому не в угоду,
беспощадна к тебе
дорогая свобода:
все глядишь и глядишь
на леса и долины,
прозябая в глуши
словно пень исполина,
прозябая в глуши,
тишине и покое.
Что-то там, впереди,
за холмом и рекою?



Друзей все меньше —
лес редет.
Так что же, к полю привыкай.
Кругом тобой забытый край.
Смотри, колосья пожелтели,
в колодце ведра зазвенели
и галка села на сарай.

Когда бы от рожденья знать,
что одиночество — стихия,
и не ходить, и не искать,
а только взглядом провожать —
как лес, как поле, как Россия.

* *
*

Уже миновали весенние грозы
и лето расставило легкие сети,
запутался ветер среди листьев березы
и все повторяет: «Вы дети, вы дети».

Быть может, когда-нибудь вспомнится это,
быть может, когда-нибудь это приснится.
Мы долго гуляем по пастбищам света...
Хоть раз бы студеной водицы напиться.

А к вечеру снова весь мир притихает:
луга и поляны, березы и ельник.
На дудке из дягиля звонко играет
овраг-недотепа, пропащий отшельник.



ВЛ. ЛИДИН



СТРАНИЦЫ ПОЛДНЯ*

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ

— **Г**ениальный был мальчишечка,— сказал однажды Алексей Николаевич Толстой, вспоминая Ленинград, свое житье там, дом на Ждановке, затем и в Детском Селе.— Прямо впивается в рояль, только допусти к нему.

Толстой органически, нутром чувствовал и музыку и народное творчество, а мальчишечка, который дивил его своей страстью к музыке, был Митя Шостакович, впоследствии Дмитрий Дмитриевич Шостакович, прославленный русский композитор.

В ту военную зиму, когда Москва, хотя битва за нее была выиграна, оставалась все же военным городом, я пошел слушать Седьмую симфонию того, гениальность которого Толстой угадал еще в подростке.

В Колонном зале Дома союзов было много военных, увидел я и двух поэтов в военной форме: фронт был все же еще не так далеко.

Музыку в прямом смысле понимает не каждый, вряд ли без либретто разберется, но Седьмая симфония, впервые прозвучавшая в Москве, потрясла и неискушенных в музыке: в ней услышали скорбь и горе, но услышали и гнев и предвещание того солнечного полдня, который в конечном счете должен встать над победившей страной.

В Колонном зале полутопленного Дома союзов не было, наверно, ни одного человека, у которого, если сам он не воевал, не воевали бы его близкие, и стенания инструментов звучали иногда почти человеческими голосами.

В момент высшего напряжения стали извне доходить какие-то глухие звуки, сначала неясные, а потом все поняли, что это стрельба из зенитных орудий. Но ни один из находившихся в зале не только не поднялся, но даже не выразил беспокойства. Музыка Шостаковича как бы заглушила звуки выстрелов, и в этом тоже было утверждение силы Седьмой симфонии.

Я возвращался по ночной, безлюдной улице Горького. В кармане у меня был ночной пропуск, и я предъявлял его по временам патрулям. Март был еще по-зимнему холодный.

Воспоминания нередко дополняются дальнейшими домыслами, но к моему воспоминанию о первом исполнении Седьмой симфонии Шостаковича 24 марта 1942 года в Москве я добавить ничего не могу. Шостакович как бы уверил, что апофеоз в наших руках, как в руках Чайковского оказался апофеоз 1812 года в его торжественной увертюре.

— Послушал твоего мальчишечку, — сказал я вернувшемуся из эвакуации Толстому. — Не одного меня он утешил.

* Начало этого цикла опубликовано в «Новом мире», 1978, № 5.

Толстой сначала не понял.

— А... Шостаковича,— сказал он затем.— Что же тут удивительного? У львят еще в младенческом возрасте царственная походка.

Рассказать о испытанном мной я все же не смог, но Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, с которым был немного знаком, я рассказал при встрече уже после войны о том, что испытал при первом исполнении его симфонии. Шостакович казался мне малоречивым, хотя не так уж часто я встречался с ним, спросил только:

— Значит, вы были на первом исполнении?

И я напомнил еще, что ни один из слушателей не поднялся при звуках выстрелов из зенитных орудий.

— Разве была объявлена воздушная тревога? — удивился он, не предположив, что его музыка отстранила и орудийные выстрелы и объявленную, может быть, воздушную тревогу...

Но когда после исполнения Седьмой симфонии я возвращался по зловеще пустынной улице Горького, по небу еще рыскали лучи прожекторов, а в вечерней сводке Совинформбюро на другой день сообщалось: «24 марта уничтожено 25 немецких самолетов». Может быть, в числе их были и рвавшие к Москве.

«СБИТЫЕ СЛИВКИ»

В поисках места для встреч некоторые московские литераторы облюбовали кафе «Сбитые сливки», помещавшееся в Столешниковом переулке примерно в том месте, где ныне находится мастерская починки часов.

В кафе подавали только сбитые сливки в стаканах и горячие вафли, выпекавшиеся тут же кустарным способом. Сейчас трудно представить себе те могучие писательские желудки, которые одолевали до трех стаканов густых сливок вдобавок с огромными трубами вафель, при торно пахнувших ванилином.

В числе постоянных посетителей был поэт и драматург Александр Сергеевич Вознесенский, черно-бородатейший человек несколько библейского облика, а первая книга его стихов, вышедшая с предисловием Леонида Андреева, называлась «Путь Агасфера». Вознесенский работал также в кино, писал сценарии, а в одной из его пьес, «Слезы», главную роль играла актриса Вера Юренева, ставшая его женой. В своих «Записках актрисы» Юренева вспоминает, что пьеса эта состояла только из действия и молчания.

Вознесенский любил метафоры, говорил при этом быстро, слова запутывались в его бороде, но он тут же извлекал их при помощи драматических жестов, а поставленная в свою пору на сцене театра Незлобина пьеса Арцыбашева «Ревность», имевшая шумный успех, была для него своего рода эталоном драматургии.

Ко мне Вознесенский относился несколько снисходительно, я был намного моложе его, и он нередко поучал меня житейской мудрости. Однажды мы встретились с ним в «Сбитых сливках» и сели за один столик.

— Время! — сказал он вдруг.— Вы еще молоды и не знаете, что такое время, которое начинает откусывать от вас по кусочку. Сидишь за рабочим столом, пишешь пьесу или сценарий, а посмотрел на календарь — тебе, оказывается, уже под пятьдесят.

Вознесенский собирался развить эту тему, но в кафе влетела одна московская актриса, еще издали воскликнула:

— Вознесенский... боже мой, кого я вижу! Узнаете меня? Мы с вами работали в одном театре в Киеве.

— Я узнаю вас... это было двадцать пять лет назад,— сказал Вознесенский голосом судьбы.

Актриса, привыкшая, что ей всегда тридцать пять лет, испуганно отступила:

— Что вы, что вы, Вознесенский!

— Двадцать пять лет назад,— повторил он неумолимо, и актриса вдруг истаяла, как некий фантом, нельзя было даже представить себе, куда и как она исчезла.— Теперь вы понимаете, что такое время,— сказал Вознесенский уже совсем фаталистически.

— Женщинам не напоминают об их возрасте.

— Потому-то комические старухи и хотят играть инженю,— сказал Вознесенский: видимо, кто-то претендовал на роль молодой женщины в одной из его пьес или в сценарии.— Вы, я вижу, феминист... В ваши годы я тоже был феминистом.

Какие-то литературные дела у него не ладилась, и он был склонен к ироническим сентенциям.

— Вы когда-нибудь писали сценарии? — спросил он вдруг.

Я сказал, что никогда не писал.

— И не пишите, если не хотите заработать порок сердца или катар желудка в лучшем случае.

Я не помню сейчас, какие фильмы шли по сценариям Вознесенского, это была пора Мозжухина, Веры Холодной, Максимова и могущества Ханжонкова.

«Сбитые сливки» памяты мне и по другим встречам в них. По строгому регламенту писательских судеб время писателя истекает иногда, как время оратора. Однако в чересполосице литературных смен забываются нередко имена, вполне достойные памяти.

Поэт Эмиль Кроткий, начавший с книги хороших стихов «Скифский берег», стал впоследствии мастером острого сатирического жанра подобно Александру Архангельскому или Александру Раскину. По своей натуре он вполне соответствовал выбранному им псевдониму: он был действительно кротким, даже несколько застенчивым, несмотря на свою сатирическую, зачастую обличительную деятельность.

— Вот мы с вами, два современника, сидим сейчас в этих «Сливках», которые вскоре несомненно прокиснут,— сказал он однажды, когда мы встретились в этом кафе,— но всегда задаешь себе вопрос: не прокиснешь ли и сам со временем? Так мало надежд сохраниться в свежем виде.

Я перечитываю иногда острую, казалось бы, веселую и в то же время весьма горькую книгу Эмиля Кроткого «Портрет и зеркало», вспоминаю этого милого и благожелательного человека, умевшего вышутить и самого себя, притом весьма безжалостно.

— Сегодня не греет, завтра согреет,— обнадежил он одного взгрустнувшего от какой-то своей неудачи писателя.

Но сам он остался без этого завтра, однако если кто-то возвращается время от времени к его книгам, по существу это и есть то завтра, которого всегда взыскует писатель.

Неподалеку от «Сбитых сливок» почти в ту же пору обосновалось издательство «Земля и фабрика», начавшее выпускать тощие альманахи под несколько странным названием «Рол». В одном из альманахов была напечатана моя повесть, и я стал вхож в издательство, которым руководили поэты Владимир Нарбут и Николай Мешков, один из преданнейших учеников Бунина, весьма благоволившего к нему.

Однажды в коридоре издательства я стал невольным свидетелем одной писательской неудачи: Мешков вернул рукопись автору, сразу настолько расстроившемуся, что позабыл даже снять в помещении редакции кепку.

— К сожалению...— сказал Мешков, вручая рукопись.

— Но почему же? — спросил автор.

— Не подходит.

Ныне говорят более учтиво: «Не наш профиль».

Мы вышли вместе с автором, и я, чтобы он мог поостыть, предложил ему зайти в «Сбитые сливки». Мы зашли, но когда я заказал по стакану сливок, неудачливый автор испуганно отшатнулся:

— Нет, что вы... стакан чаю, пожалуй.

— Чаю не держим,— сказал владелец кафе.

И Федор Васильевич Гладков, а именно его я привел сюда, с ужасом смотрел, как я прижился за сливки.

— Что вы делаете? — сказал он трагически.— Это же отравка!

Впоследствии, когда мы с ним уже давно дружили, он так же не на одном банкете убеждал меня по своей мнительности ничего не есть, но тут я мог уже прямо сказать ему:

— Все тебе кажется вредным, Федя, но ведь самое вредное — литература.

Испробовать этого вредного пришлось ему немало, и он признал однажды, нервно подрагивая по привычке ногой:

— А знаешь, ты весьма правильно сказал тогда, что занятие литературой повреднее сбитых сливок!

И помянув добрым словом нашу первую встречу, мы пришли к общему заключению, что предпочтительнее съесть подряд три стакана сбитых сливок, чем возвращаться с непринятой рукописью.

ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА БЛОКА

В книжном магазине «Маяк», принадлежавшем обществу политкаторжан и помещавшемся на Петровке в доме, на месте которого разбит ныне сквер, ко мне подошел плотный, на костылях человек, видимо бывший военный.

— Я вижу, вы интересуетесь книгами,— сказал он.— Не приобретете ли это?

И он достал из сумки Остромирово евангелие, знаменитое факсимильное издание, выпущенное в свою пору Румянцевским музеем. Издание это, заключенное в деревянный переплет с застешками, давно стало редкостью, но я сказал, что книги такого рода не собираю.

— А может быть, вы интересуетесь рукописями? Тогда могу помочь приобрести кое-что. С моей покойной матерью был в переписке Александр Блок, после ее смерти осталась целая корзина со всякими рукописями, в том числе и с письмами Блока.

Я сразу превратился в Павла Ивановича Чичикова, рвение которого и поныне служит примером не для одного искателя книжных редкостей.

— Что ж,— сказал я неверным голосом,— письма Блока я, пожалуй, приобрел бы.

Я записал адрес и в условленный день поехал на 1-ю Мещанскую, ныне именуемую проспектом Мира.

Номера дома, который я записал, однако, не существовало, на этом месте оказался пустырь, в глубине были какие-то флигеля, и я пошел узнавать, под каким номером они числятся. Одна из женщин, сушившая на веревке белье, посмотрела на меня с недоумением:

— Не знаю, право... мы под номером...— И она назвала номер, после которого вдоль улицы тянулся пустырь, может быть на месте нескольких снесенных домов.

Письма Блока были, однако, перед моими глазами, и я стал расспрашивать других жильцов, а один бдительный пенсионер, которому я показался, видимо, подозрительным, сказал:

— Подальше где-нибудь поищите.

Памятуя, однако, наставления Павла Ивановича Чичикова, я не поленился зайти в ближнее почтовое отделение справиться об исчезнувшем номере дома. В почтовом отделении простуженная девица ответила:

— У меня не справочная. Запросите адресный стол.

Адресный стол я не стал запрашивать, решив, что меня просто околпачили и письма Блока растворились в сентябрьском воздухе. А некоторое время спустя один из московских ходоков по книгам, которому я рассказал о своих поисках, пренебрежительно усмехнулся:

— Эва куда вас занесло! Да письма Блока под руками лежат. Поезжайте по этому адресу.— И ходок сообщил мне номер дома по Трубниковскому переулку, где письма Блока лежат под руками.

С годами уменьшается прыть, но тогда я все-таки поехал в Трубниковский переулок. Дверь открыл мне чрезвычайно учтивый человек, вежливо справился, чем может быть полезен, и я несколько косноязычно пробормотал насчет писем Блока.

— Письма Блока? — спросил человек даже несколько грустно, может быть посочувствовав моей доверчивости или несколько дивясь моей бестактности.— Вас ввели в заблуждение.

Это было сказано тоже учтиво; на рабочем столе хозяина лежали какие-то рукописи, и несколько минут спустя я познакомился с двоюродным братом Александра Блока Феликсом Адамовичем Кублицким-Пиоттухом, славным переводчиком, с которым впоследствии мы поддерживали добрые отношения.

Я стал извиняться, повинился в некоторых своих книжных слабостях, но Феликс Адамович сказал:

— Если вы действительно так любите Блока, что не пожалели времени на поиски, я подарю вам две его открытки... Это была пора, когда мы с Блоком были молоды.

И Феликс Адамович, порывшись в своем столе, достал две открытки. На одной, с изображением храма Василия Блаженного, было написано: «Дорогой мой Андрей, поздравляю тебя с днем рождения, спасибо тебе за письма. Будь здоров, счастлив и весел, крепко целую тебя и обнимаю. Твой Сашура». А на другой, из Италии: «Милый Андрей, поздравляем тебя с Рождеством. Будь здоров и счастлив. Сашура и Л. Блок». Андрей был тоже двоюродным братом Блока.

Открытки эти хранятся у меня и поныне вместо растворившихся в осеннем воздухе писем.

Самуил Миронович Алянский, основавший издательство «Алконост» и написавший отличную книгу «Встречи с Блоком», рассказал мне однажды о той грустной поре, когда обстоятельства холодных и голодных 1919—1920 годов вынудили Блока расстаться с некоторыми книгами своей библиотеки. Я показал ему тогда одну книгу из библиотеки Блока, «Северную симфонию» Андрея Белого с авторской надписью: «Дорогому Александру Александровичу Блоку от любящего автора в знак неизменной приязни» — и Алянский задумчиво подержал книгу в руках.

— Это не только автограф, но еще и судьба двух поэтов,— сказал он.

И я поделился с ним историей неудачных поисков писем Блока.

— Вы охотились за несуществующей птицей, но сюжетиком можете воспользоваться, назовите по-чеховски — «Драма на охоте».

Александра Блока я видел лишь однажды, в последний его приезд в Москву. Он был как-то изнурен и безучастен, ровным, скучным голосом читал стихи, как бы совершенно чуждые ему, и сидевшие в шубах и шапках в нетопленном зале дома Герцена пожимались, казалось, не столько от холода, сколько от ощущения обреченности Блока.

А некоторое время спустя в витрине книжной лавки «Содружество писателей», помещавшейся на Тверской, был выставлен плакат с извещением, что скончался поэт Александр Блок. Волочившие салазки с дровами или с мороженой картошкой извещением не интересовались, а остановившиеся у витрины Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф, читая извещение, сняли шапки, в руках у них было по пачке книг, которые необычайным способом и с необычайным умением печатали они без всяких выходных данных. На память об этом дне у меня осталась тоненькая книжка Сергея Есенина «Исповедь хулигана» с его надписью мелкими, похожими на нонпарель буквами.

Но все это ныне уже как дальнее облако, почти скрывшееся за горизонтом.

ВОЙНА И МИР

Тула была в юдоли и опустошении, продутая мартовским ветром, шла гражданская война, и Тула с частью губернии была объявлена Тульским укрепленным районом.

Много раз бывал я впоследствии в Туле, но этой первой встречи с ней никогда не забываю, тем более что это была первая встреча и с Ясной Поляной.

Командующим Тульским укрепленным районом назначен был Алексей Иванович Окулов, не только испытанный революционер, но и писатель: в 1916 году вышла книга его несколько гамсуновски-пантестических рассказов «На Амыле-реке».

В Тулу я попал случайно: придя накануне в штабной вагон Окулова, стоявший на запасном пути Курской железной дороги, я после холада московской квартиры пригрелся, вдобавок проводники еще и покормили, и, убаюканный сказочным теплом, уснул, а проснулся от шума колес: прицепленный к поезду вагон Окулова шел в темноту мартовской ночи.

В Москве была еще зима, но в Туле уже таяло, и Окулов распорядился выдать мне вместо сразу промокших валенок сапоги. Мне выдали сапоги почему-то желтые, наподобие ботфортов, видимо из какого-то театрального реквизита, и я сразу стал похож на спекулянта папиросами «Ира», которые продавались тогда поштучно.

Оказавшись случайно пристегнутым к военной машине, я бесцельно слонялся по заваленным тающим снегом улицам Тулы, и Окулов все же нашел для меня дело.

— Вот что, мон ами,— сказал он, блеснув стеклами пенсне, еще не освободившийся после ряда лет в эмиграции от привычки вставлять в русскую речь французские слова.— Съездите-ка в Ясную Поляну, посмотрите, что там делается... может быть, нужно послать охрану. Я распоряджусь, чтобы вам предоставили транспорт.

Транспортом в ту пору называлась не легковая машина или хотя бы грузовик, а полуживая от бескормицы, запряженная в розвальни лошаденка. Мне дали в сопровождение красноармейца, а некий угрюмый, не произнесший по дороге ни единого слова возница мрачно сидел впереди с поднятым воротником бушлата.

И хотя много лет прошло с той поры, я и поныне помню сырой запах тающих полей, влажную свежесть мартовского воздуха, а потом и заиндевший яснополянский парк, о котором я только читал, с отрочества общаясь с Толстым...

Деревня возле Ясной Поляны была тревожно притихшей, в ней остались одни старики или женщины с детьми, а мужья воевали в Сибири, или в Сальских стенах, или у Сиваша. Было тревожно и в нетопленном доме Толстого, но навстречу мне из той комнаты, где в свое время

жил кто-то из приближенных Толстого, в меховой шапке и с женским вязанным платком на плечах вышел профессор Алексей Евгеньевич Грузинский, с которым мы были знакомы и который славился как исследователь текстов Толстого.

Мой приход, тем более в сопровождении красноармейца, встревожил его — радио и телевизоров тогда не было, газеты не доходили и большинство жило только слухами и предположениями.

— Что? — спросил Грузинский сразу, испуганно глядя на меня сквозь очки. — Близко?

Я не мог ответить ему, потому что сам ничего не знал, рассказал лишь о создании Тульского укрепленного района.

— Гм, — пожегил он в своем женском платке, — неужели бросать работу?

В своем рвении ученого он полагал, наверно, что самое угрожающее — это бросить начатую работу в доме того, о ком он писал.

Мы вышли из промерзшего здания, в котором отапливалась лишь комната, где жил Грузинский, и пошли по заснеженной аллее яснополянского парка.

Грузинский знал меня лишь как начинающего литератора, ни одной моей строки, наверно, не читал, но я был из того московского литературно-художественного то ли еще существующего, то ли уже не существующего мира, и Грузинский смотрел на меня с некоторым благоволением.

— Что в Москве, как писатели? — спросил он.

Я не смог ничего ответить, писатели были давно в разброде, но Грузинский, казалось, и не ждал от меня ответа.

— А Толстой жив, — сказал он вдруг торжествующе. — Что ему может сделаться!

Мы с трудом дошли до могилы Толстого, и хотя все вокруг было завалено тающим снегом, могила оказалась прибранной и на холмике зеленели ветки хвои. Могилу Толстого оберегали от запустения, мы с Алексеем Евгеньевичем минуту постояли молча, потом пошли обратно, и он, прощаясь, сказал:

— Вы все-таки посигнальте, когда бросать работу.

Я пообещал, что дам знать, остался один в тишине, залившей не только яснополянский парк, но и весь Тульский укрепленный район, и услышал вдруг четкую телеграфную азбуку: выстукивал дятел. Он был занят своей работой, наплевал на Мамонтова с его конницей, и позднее, дополняя воображением, я представил себе, что дятел пророчески забивал его гроб.

Встретившись несколько лет спустя с Алексеем Евгеньевичем в Москве, мы оба вспомнили о Ясной Поляне и я рассказал о дятле.

— Дятел был на службе и действовал, — сказал Грузинский наставительно.

Я не решился напомнить старому профессору, что ведь и он действовал.

В 1942 году вышла книга «Ясная Поляна», содержащая статьи и документы, относящиеся к трагическим дням, когда Ясная Поляна была захвачена немцами. Книга эта, полученная мной в подарок от Музея Л. Н. Толстого, всегда напоминает мне одну ночь, когда по дороге в Воронеж, еще не освобожденный тогда, я остановился на ночлег в Ясной Поляне и внучка Толстого Софья Андреевна, уже приступившая к своим обязанностям директора, приютила меня в одной из комнат толстовского дома. За скудным вечерним чаем я рассказал Софье Андреевне о своем первом посещении Ясной Поляны, когда полуживая лошаденка везла меня в розвальнях из Тулы, а от тех лет осталась у меня памятка — пьеса Алексея Окулова «Там, где смерть», изданная

в 1918 году, с авторской надписью: «На память о тульских днях на грани будущего».

— Тогда была лошаденка, а теперь танки,— сказала Софья Андреевна, зябко поводя плечами под шерстяным платком.

На дорогах, да и в самой Ясной Поляне видны были еще гусеничные следы, и Софье Андреевне, возможно, казалось, что угроза Ясной Поляне не совсем миновала.

Но на рассвете меня едва не скинул с сундука гул наших бомбардировщиков, летевших эскадрилья за эскадрилей громить отступавшую танковую армию Гудериана, и, наверно, Софья Андреевна окончательно уверилась, что можно приступать к восстановлению толстовской усадьбы.

А несколько лет спустя, когда война была уже позади, я встретился в Ясной Поляне с Валентином Федоровичем Булгаковым, некогда секретарем Л. Н. Толстого, человеком большой душевной мягкости, следовавшим заветам Толстого искать в людях лучшее. За окном в золотой тишине осени стоял яснополянский парк, и я сказал Булгакову:

— А знаете, Валентин Федорович, ведь мне в две войны привелось побывать в Ясной Поляне.

И я рассказал Булгакову и о дятле, укрепившем в пору гражданской войны мою веру в победу, и об «ИЛях», летевших на рассвете громить отступавшую танковую армию.

— Вот ведь как,— сказал Валентин Федорович,— значит, для вас Ясная Поляна связана только с воспоминаниями о войне?.. Обождите-ка минутку!

Булгаков куда-то ушел и вернулся с большим спелым яблоком в руке.

— Вкусите же и от яснополянского мира,— сказал он несколько возвышенно.— Плодоносят яблони, посаженные на месте срубленных немцами в войну.

И Валентин Федорович, достав из ящика стола свою книгу воспоминаний и рассказов о Толстом, надписал: «В счастливый день встречи в Ясной Поляне», еще более утвердив связанное с Ясной Поляной понятие «мир».

ЛОДКА ХАРОНА

Исай Григорьевич Лежнев был в своем действии неутомим. С бледным, в крупных веснушках лицом, в очках, с набитым до отказа портфелем, он и сам казался переполненным всяческими начинаниями.

Была та пора, когда часть интеллигенции, испугавшаяся сначала тяжелого хода революции, многое затем пересмотрела в своих начальных оценках. Некоторые столпы, считавшиеся прежде лидерами общественной мысли, призадумались над своим лидерством, в Берлине возникла сменовеховская газета «Накануне», весьма охотно печатавшая советских авторов, а в Москве Лежнев стал издавать журнал «Россия».

Лежнев привлек к участию в журнале лучших советских писателей, в «России» печатались «Белая гвардия» Михаила Булгакова, «Одеты камнем» Ольги Форш, «Любовь Жанны Ней» Ильи Эренбурга.

— «Россия» — журнал русской передовой интеллигенции,— сказал мне Лежнев однажды, блистая толстыми стеклами очков.— Она с первых же номеров должна громко заявить о себе.

Журналом передовой интеллигенции по ограниченному составу своих сотрудников и авторов «Россия», конечно, стать не могла, но все же это был один из первых журналов, в котором стали печататься многие советские писатели, а энергии Лежнева хватило бы на два журнала.

Впоследствии, встречаясь с Лежневым, когда он уже работал в отделе искусства и литературы «Правды», мы не раз вспоминали те годы. Его предприятия не приносили ему ни славы, ни денег, но он и не искал их: он хотел только действовать во славу новой культуры.

С печатанием книг из-за типографских возможностей были тогда трудности, и Лежнев загорелся мыслью печатать журнал в Берлине и ввозить его в Россию, такие предположения были в ту пору и у издательства З. Гржебина.

В октябре 1923 года Лежнев пишет мне из Берлина:

«Поездка моя сюда, несмотря на весь мой скепсис, оказалась очень плодотворной. Журнал и серию книг из материалов, входящих в состав журнала, печатать будем здесь. К участию пока привлечены Андрей Белый, А. Ремизов, И. Эренбург... я заручился обещаниями крупнейших иностранных авторов — Я. Вассермана, Генриха и Томаса Маннов, Кайзера, Эйнштейна, Келлермана, Гауптмана, Дёблина и других. Ищу связей с французами и англичанами. Надо уже подумывать о компоновке материала».

Печатание журнала в Берлине не осуществилось, но сколько же энергии, инициативы, упорства проявил Лежнев!

Время быстро уносит многое, но есть нечто, чего ему не унести. Вот разложишь перед собой сохранившиеся номера уже позабытых журналов — «Россия», «Беседа», «Эпопея», «Русский современник», вспомнишь и «Красную новь» с ее умным редактором Александром Константиновичем Воронским, вспомнишь и первую встречу с ним, когда я пришел в гостиницу «Националь», где некоторое время он жил. Воронский что-то писал, на столе одиноко стоял стакан остывшего чая.

— Давайте,— сказал Воронский коротко, полуобернувшись.— И оставьте свой адрес и номер телефона.

Я отдал рукопись, ушел, несколько обиженный лаконичностью, но через день раздался звонок и Воронский так же лаконично, как и при встрече, сказал: «Рассказ пойдет»,— поистине сделав два этих слова пространственными.

Воронского я вспоминаю с особым чувством: свой журнал он вел страстно, ревниво, привлекал к участию широкой рукой, и становление советской литературы не представишь себе без «Красной нови», да и без еженедельника «Красная нива» не представишь себе.

Писатель Иван Михайлович Касаткин, редактировавший «Красную ниву», глубоко знал народную жизнь, был в свое время плотовщиком на Волге, пильщиком на лесопильном заводе, кочегаром на пароходе. Высокий, с оленьими глазами чуть навывкате, несколько медлительный в речи, он мог бы показаться тяжелодумом, но он просто взвешивал каждое слово, не признавал слов пустых и необязательных, требовал того же и от других. К Горькому, который первый признал его, стал печатать в сборниках «Знание», Касаткин испытывал поистине сыновнюю любовь.

В 1926 году, когда, побывав в Сорренто у Горького, я вернулся из Италии, Касаткин в первый же день моего приезда позвонил мне по телефону. Мы были с ним на ты, свою книгу «Лесная бэль», изданную в 1919 году издательством ВЦИК, он подарил мне с надписью: «Обнажилась яростная боль — и умер многоцветный лепет сказки», видимо, желая выразить, что пришло время суровой народной правды.

— Сейчас девятый час вечера,— сказал он,— садись за стол и напиши очерк о Горьком, и чтобы завтра не позднее трех часов дня рукопись была бы у меня на столе. Пустим в ближайшем номере.

— Помилуй, Иван Михайлович, мне, чтобы написать, нужно по крайней мере дня два. Я на такое пожарное дело неспособен.

— Садись за стол и напиши... Ведь это будет первый очерк о Горьком в Сорренто.

Была молодость, когда можно было, просидев полночи, написать очерк, утром перепечатать, к трем часам отнести в редакцию «Красной нивы», секретарем которой был мой старый друг, поэт и литературовед Николай Сергеевич Ашукин. Он взял в свои худые, синеватые руки рукопись, поводил над ней из-за близорукости носом, сделал в углу пометку, и три дня спустя очерк с портретом Горького во всю страницу был напечатан, а Касаткин при встрече довольно сказал:

— Будешь отныне у меня дежурным пожарным.

В пору, когда он был председателем Всероссийского союза писателей, писательская жизнь была не из легких, и Касаткин денно и ночью, как писалось некогда, заботился, беспокоился, пестовал. Иногда даже за полночь раздавался телефонный звонок, поскольку на мне лежали секретарские обязанности, и Касаткин медленно, как бы разделяя каждое слово абзацем, говорил:

— Вот что. Нужно помочь. Разузнай. Прошу.

И уже на другой день неизменно справлялся, что и как сделано.

Перечитывая иногда отличные рассказы Касаткина «Лоси» или «На плотах», видишь чистый его образ, и сложись жизнь Касаткина иначе, он оставил бы еще не одну хорошую книгу.

В хмурую, дождливую пору поздней осени мне привелось побывать на чехословацком курорте Марианске-Лазне. Курортный сезон давно кончился, в аллеях лежали желтые листья, отели были частично закрыты или на две трети пустовали. Но в один отель, носивший название «Максхоф», я зашел; в этом отеле в 1923 году жил Горький.

Горький был в труде, не только писал, но и редактировал журнал «Беседа», выходивший в Берлине, и книга, которую он подарил мне при встрече в Сорренто, носит название «Рассказы 1922—24»: это значит, что, может быть, большая часть написана была именно здесь, в Марианске-Лазне... И когда к сохранившимся номерам «Красной нови» присоединишь номера «Беседы», возвращаются и ушедшие друзья, возвращаются и забытые книги, к которым заново обращаешься... и Харону, привыкшему переправлять в небытие, приходится нередко возвращаться с пустой лодкой.

АСЫКА

Алексея Михайловича Ремизова, образно говоря, можно было уподобить корневищу можжевельника, ответвлениями уходящего во все стороны, и нужно немало усилий, чтобы извлечь его из тесной связи с землей, а корневище нередко идет на искусные поделки. Русская речь, русская народная поговорка, русские сказки, легенды, былины, сказания — вся Русь была в нем самом, и когда порвались ответвления его корневища, Ремизов потерял и самого себя...

На чужбине, растерянный и ставший сразу несчастным, едва порвалась связь с родной землей, он оказался слабым и беспомощным. Он сел совсем не на тот поезд и не в ту сторону.

Таким впервые я увидел его в Берлине в 1922 году на полустанке эмиграции, которая позднее покатилась в Париж, Белград или Прагу. Но вначале на ее пути была Германия, только недавно проигравшая первую мировую войну и утопавшая в инфляции, когда по плану Дауэса из нее выкачивали все соки... а тут еще никому не нужная русская эмиграция.

Ремизов жил в той части Берлина, которая называется Шарлоттенбург, жил потерянный, ненужный даже русским издательствам, воз-

никавшим одно за другим, а книги Ремизова были для издателей сущим разорением — кого в послевоенную распутицу и великие потрясения могли интересовать его сказы или величания?

Я пришел к нему с определенной целью: московское издательство «Современные проблемы» задумало выпустить книгу автобиографий писателей, привлекло меня к ее составлению, и для полноты отображения литературной жизни того времени было решено обратиться к Ремизову и Андрею Белому.

С этим я и пришел к Ремизову в его шарлоттенбургское жилище. В комнате Ремизова висели на нитках и веревочках всяческие изображения любезной ему нечисти вроде чертенят и шишиг, а за рабочим столом сидел маленький, с ершиком волос, похожим на дикорастущий куст, русский писатель, ставший почему-то шарлоттенбургским.

«У нас в этом году елки нет! Месяц как выгнали нас из квартиры, и должны к 1 янв. выехать, ничего не нашли... — писал он мне впоследствии. — Складываю игрушки и книги. Куда идти — ничего не знаем».

Ремизов моему приходу нельзя даже сказать — обрадовался, мой приход просто всколыхнул и взволновал его; но это относилось не ко мне, которого прежде он и не знал, а к тому, с чем я пришел к нему: Ремизова, оказывается, не забыли в родной стране, верят в его связь с родной землей, горстку которой прихватил на чужбину, и символично, что ее последнюю горсть именно советские люди принесли на его могилу, а умер он советским подданным и несомненно давно мысленно сжег свое «Слово о погибели русской земли».

Писатели, к которым я обратился с просьбой об автобиографии для сборника «Литературная Россия», прислали каждый по нескольку страничек. Ремизов же прислал обширнейшую, написанную уставом, с цветными заглавными буквицами, я дорожу ею еще и как образцом каллиграфического искусства.

А в виде эпиграфа к своему жизнеописанию он написал: «Россия — там — трудная — со столпами, словом, сердцем, мечтою и могилами».

Растроганный тем, что его имя не отринули на родине, он считал своим долгом подарить мне почти все свои недавно вышедшие книги с такими надписями: «Это история петербургская о театре от 1918—1921» («Крашенные рыла»), «Книга из слов — от цвета словесного» («Трава-мурава»), «Из посолони сказки разные» («Сказки обезьяньего царя Асыки»), «А это когда очень уж скучно станет» («Е тибетский сказ»).

Но вдобавок к своим щедротам он возвел меня в ранг «Кавалера обезьяньего знака 1 степени с мышьям хвостиком» и трудолюбиво написал «обезьяню шарлоттенбургскую грамоту», которую «собственно хвостно подписал царь обезьяний Асыка», а две другие скрепляющие подписи Полномочного резидента заяшного ведомства и Князя обезьяньего парижского я должен был взять в Москве у М. Пришвина и Алексея Толстого. Сделать это для полноты формуляра я, однако, не успел и на месте их подписей стоят зеленые крестики, проставленные Ремизовым.

В эмиграции Ремизов был неприспособленным, неприкайным. Он оторвался от всего, что было дорого и нужному, остался с самим собой, стал сочинять и изобретать Алексея Ремизова со всеми его снами, в которые никто не мог поверить, потому что человеку не может столько сниться, а если даже и приснится, он тотчас же по пробуждении забудет. Но «сны» были для Ремизова самовыражением, вместе с тем никто не мог оспорить их фантастичность — мало ли что может присниться человеку! — «сны» были лишь наблюдением самого себя со стороны, и он наблюдал себя со скорбью от своих утрат...

Имя Ремизова звучало в свое время как имя писателя своеобразного, хотя и трудночитаемого, но Ремизов и сам сознавал, что у него нет широкого круга читателей, а издатели со скрипом издавали его книги, не только не доходные, но и разорительные. Ремизов узнал немало горечи от этого полупризнания, а на чужбине присоединилась и голая нужда, когда Ремизову оставалось видеть воображаемые сны.

В 1922 году он писал мне: «Передайте тем из писателей, кто поверит мне,— это я сам чувствовал всегда, а тут живя, на примере увидел германско м: литература есть цвет России и всякая веточка — краса России и надо только радоваться всякому новому дарованию, оберегать и помогать, а не подсиживать и «ругать», как это было у нас в обычае, писатель к писателю хуже волков, совсем забывают, что грызня — не украшение России, а обцарапывание России, забывают Россию».

Ремизов прожил трудную, путаную, несчастливую жизнь, но в этой жизни все было обращено к истокам русской словесности, однако с наивной мыслью о сохранении в неприкосновенности древних речений и непониманием, что в культурной истории народа одни речения навсегда уходят, а другие по-новому утверждаются. Он был выдумщик и фантаст, верил в свои выдумки, бряцал на деревянной лире с деревянными струнами, убеждая себя, что они звучат как былинные. В своей сути это было наивно, никого в соблазн не вводило, а писателя Алексея Ремизова нужно было утешить в его горестях, и он утешал его как мог...

Несколько лет спустя, уже в Париже, куда в основном переköчевала эмиграция, мы трижды уславливались с Ремизовым о встрече, но встреча почему-то не состоялась, и о парижской жизни Ремизова я знаю только из книги, выпущенной его большим другом Наталией Кодрянской и приславшей мне эту книгу. Я узнал, как бедственно, нище жил большой, ослепший писатель.

Если бы вручить Ремизову изданный недавно у нас его однотомник, он со своими «подстриженными глазами» мог бы лишь ощупать его, но и на ощупь понял бы многое — прежде всего что родной народ сохранил его в списке русских писателей, и пусть это даже малый цветок, для полноты гербария культуры нужен и он.

А собственноручно подписанная обезьяньим царем Асыкой грамота хранится у меня с несколькими горестными шарлоттенбургскими письмами Ремизова.

СТРОКИ КАНУНОВ

Анатолий Васильевич Луначарский поправил указательным пальцем очки, испытующе поглядел на собравшихся в его квартире писателей, спросил:

— Итак, что вы знаете о молодой России?

Кое-что, конечно, мы знали, но Луначарский явно усомнился в основательности наших знаний и, не дождавсь ответа, как-то по-бытовому, задушевно стал рассказывать, словно сам учился с Герценом и Огаревым в Московском университете, слушал лекции Грановского, бывал в кружке Станкевича, вместе с Кетчером восхищался Шекспиром,— всё со знанием дела, добротнo и любовно.

Проходя по улице Герцена с примыкающими улицами Белинского, Грановского, Огарева, Станкевича, я вспоминаю эту беседу с Луначарским, и несомненно то, что целый район, примыкающий к старому зданию Московского университета, связан ныне с именами славных

деятелей прошлого века, несомненно, это было и задумано и осуществлено при ближайшем участии Луначарского.

Луначарский любил литературу, любил и писателей, собирал их иногда у себя на квартире, у меня хранятся приглашения: «Итак, не забудьте, что 12-го мая ровно в 19 часов Вас ждет Анатолий Васильевич Луначарский. Адрес Вам, конечно, известен: Денежный пер. д. 5/9 (ход с угла)». Или (за подписью Александра Фадеева): «По договоренности с Вами я согласовал с Анатолием Васильевичем Луначарским вопрос о создании группы или семинара по изучению диалектического материализма под его, Луначарского, руководством. Однако в связи с отъездом Анатолия Васильевича за границу реально осуществить это можно будет только осенью».

Я вспоминаю одну из таких бесед. Луначарский был болен, ему запрещено было, наверно, три четверти из стоявшего на столе, и, глядя на бутылки с вином и придвигая к себе стакан с молоком, он с грустной иронией сказал:

— А Луначарский пьет молоко.

Однако писателей он собрал совсем не для того, чтобы есть с ними за накрытый стол.

Луначарский вел свой просвещенческий корабль в трудные времена, многое приходилось ему защищать, многое спасать, и не один литератор, как и не один театральный деятель во главе со Станиславским, обязан был ему поддержкой: вспомним, например, что некоторые ретивые блюстители объявили в свое время Художественный театр умершим.

Я рассказал как-то Анатолию Васильевичу об одной своей ошибке, едва не стоившей мне репутации: демобилизовавшись из Красной Армии после гражданской войны, я поступил работать в отдел печати Московского Совета, которому были подведомственны все книжные магазины Москвы, и получил должность «инструктора по устройству выставки книг на витринах в книжных магазинах Московского Совета». Устраивая однажды такую выставку, я поместил на видном месте книгу о Муравьеве, полагая, что это один из декабристов, и памятуя славные имена Никиты Михайловича Муравьева и Сергея Ивановича Муравьева-Апостола.

Книжный магазин помещался на Волхонке, по которой нередко возвращался пешком из Наркомпроса, разместившегося в здании бывшего лицея у Крымской площади, заместитель наркома просвещения М. Н. Покровский. Остановившись по привычке у книжного магазина, он сразу углядел выставленную мной книгу, посвященную не декабристу, а мрачнейшей фигуре зловеще прославленного Муравьева-вешателя. Покровский позвонил на другой день заведующему отделом печати Московского Совета Николаю Семеновичу Ангарскому, известному книжному деятелю, спросил, какой олух устраивал витрину в книжном магазине на Волхонке, и я едва не был заподозрен в симпатии к Муравьеву-вешателю.

Луначарский сказал добродушно:

— Михаил Николаевич Покровский к историческим ошибкам был особенно чувствителен, хотя и у него самого случались ошибки. Зато вы на всю жизнь, наверно, сохраните твердые знания о декабристах.

Луначарский хорошо понимал работу писателя, впрочем, как и работу художника, или режиссера, или композитора. Его эрудиция иногда поражала. Я помню, как на одном из концертов перед исполнением «Шехеразады» стали просить Луначарского о вступительном слове: он пришел с какого-то заседания утомленный, сидел в ложе, выступать не собирался, но когда в зале зааплодировали, он вдруг, как

старый боевой конь при звуке труб, преобразился, вышел на эстраду в своем помятом френче и произнес в Большом зале Московской консерватории блистательную, на одном дыхании речь о Римском-Корсакове, заключив ее памятными мне и поныне словами:

— И тогда родилась «Шехеразада».

Я встретил Луначарского в последний раз на бульваре Распай в Париже. Он шел пешком из нашего посольства, сразу же взял меня под руку, обрадовавшись московскому знакомому, но это был уже не тот Луначарский, который мог экспромтом произнести речь, он перенес недавно тяжелую болезнь, у него удалили глаз, и он шел неуверенно, слабый и грустный. Незадолго до этого его назначили послом в Испанию.

— Как хорошо, что вы будете в Испании! — сказал я, уверенный, что Луначарский отлично знает и испанскую литературу и живопись и об Эскориале может рассказать, как о Третьяковской галерее.

— Поздно, мой друг! — сказал Луначарский как-то глухо. — Сомневаюсь, что увижусь с Дон Кихотом.

В Испанию он не поехал, отель «Сесиль» в Ментоне оказался его последним пристанищем.

Думая о канунах советской литературы, канунах еще и других видов культуры, всегда обратишься мыслью к Луначарскому. Многие он сохранил, многое спас не только по роду своей непосредственной деятельности, но и потому, что был благожелателен, хорошо понимал трудную работу художника, понимал и то, как художнику всегда нужна поддержка.

ОСЕТИНСКАЯ ЛИРА

Военная степная дорога, хотя бы и обставленная вежами ВАД¹, бывает в метель непроглядной, вспомнишь и «в поле бес нас водит, видно», и еще многое другое гибельно-ямщицкое, хотя ехали мы на выкрашенной в белую мутную краску «эмке», как называлась тогда модель этой автомашины.

«Эмка» была редакционная, принадлежала газете «Известия», а нам, военным корреспондентам, надлежало добраться до местечка Анна, где помещался штаб Воронежского фронта. По дороге мы миновали местечко Конь-Колодезь, может быть, связанное именно с ямщицким степным окаянством в прошлом...

Местечко Анна, до которого мы добрались лишь к вечеру, оказалось, однако, оставленным штабом фронта, наша машина на последней капле бензина остановилась на снежном пригорке, при тридцатиградусном морозе нужно было немедленно спустить воду из радиатора, мы потерянно смотрели, как под машиной задымилась спускаемая вода, и несколько минут спустя наша «эмка» стала мертвой.

Дома, где размещался штаб, были уже пусты, и только в одном пожилой капитан перевязывал какие-то последние папки.

— Бензина вы не найдете, все заправочные уже ушли, — сказал он, сочувственно поглядев на нас. — Попробуйте разве у военторга.

Военторгами именовались тогда представители этой организации, и мы пошли разыскивать военторга, а мороз тем временем, как писали старые романисты, крепчал, и бензин представлялся нам чем-то вроде лампы Аладдина.

Мы нашли военторга, столь обстоятельно расположившегося, словно он собирался пожить здесь еще недельку. В доме было жарко натоплено, какая-то ладно сбита жинка в телогрейке и сапожках хлопо-

¹ Военно-автомобильная дорога.

тала возле русской печи, а военторг, коренастый, с круглыми плечами и обритой головой, расхаживал в гимнастерке без пояса, в галифе, охваченных внизу белыми шерстяными носками, и в шлепанцах, домовитый и благодушный. Он поизучал наши командировочные документы, приветствовал корреспондентов и широким жестом выразил свое гостеприимство:

— Прошу... Скидывайте ваши полушубки, у нас тепло.

В печи жарился гусь, и от его запаха после нескольких сот морозных километров у нас сразу началось блаженное головокружение.

Мы скинули полушубки, сели к столу, и вслед за огненным борщом с красным перцем выплыл гусь, которого мы приветствовали возгласом «браво!», как заправского премьера. Жинка в телогрееке и сапожках потупилась, а военторг сказал: «Гусь привык плавать» — и гусь поплыл, а когда от него остался только скорбный остов и мы хотели приступить к делу, военторг сказал:

— После. Дела после.

Он достал из полевой сумки какую-то книгу, согнутую пополам, сказал мне:

— Ну-ка почитайте.

Оказались стихи, и я сразу же в предвкушении бензина приступил к деятельности.

Это была какая-то длинная поэма, героиню которой звали Фатима, а военком, подперев голову рукой, умиленно слушал. Я читал, как Качалов, с модуляциями, слова «наиб уж стар, наиб уж стар» произнес, воздев руку, чтобы усилить драматичность судьбы наиба, а военторг, по-детски округлив глаза, внимал, звук поэтической речи туманил ему голову, и когда я дочитал поэму, сказал слабым голосом:

— Еще.

И я читал еще, мысленно обращенный в сторону нашей несчастной «эмки», а военторг говорил время от времени:

— Еще.

Наконец я осип, отложил книгу и только тогда, взглянув на титул, увидел, что это перевод «Осетинской лиры» Косты Хетагурова, а военторг доверительно сообщил, что его жена осетинка и дала ему с собой эту книгу.

— Теперь говорите, что вам нужно. Хотите тушенку, а то трофейные консервы из кроликов.

Он показал коробку, на этикетке которой значился Страсбург, но мы сказали:

— Нам нужен бензин.

— Чего нет, того нет,— ответил военторг.— Бензин не могу.

И все модуляции качаловского голоса пошли насмарку.

— Нам нужен бензин,— повторили мы.

— Товарищи дорогие, корреспонденты дорогие, где же я возьму для вас бензин? Все заправочные ушли, у меня у самого в машине полбака.

Я взял в руки книгу Хетагурова, полистал, прочел:

— «Счастье... о чем же я, безумец, мечтаю? Где в наше время счастье найдешь?»

Военторг, дослушав стихотворение, как-то поник, сказал скорбно:

— Утром из своей машины десять литров перелью.

И утром его водитель перелил из своего «доджа» в нашу машину бензин, а я сказал своему спутнику:

— Вот что такое поэзия... какую искру может она высечь в человеке!

Полагаю, что Коста Хетагуров даже в поэтическом воображении не мог бы представить себе, какую службу сослужат в суровой войне его стихи!

На моей книжной полке стоит томик стихов Косты Хетагурова, мне подарили эту книгу осетинские поэты со своими надписями, когда я побывал в их столице, именовавшейся тогда Дзауджикау, ныне по-прежнему — Орджоникидзе: Коста в барашковой шапке и черкеске с газырями на фотографии, приложенной к книге, как бы шевелит струны своей осетинской лиры, выручившей нас в войну, и лишней раз задумаешься над тем, что может свершить поэтическое слово!

ИНТЕРВЬЮ

Редактор газеты «Известия» Лев Яковлевич Ровинский был газетчиком высшего порядка: он почти мгновенно учувал, что и как может прозвучать в газете, и просматривая номера «Известий» той военной поры, можно убедиться, что газету вела уверенная рука.

Сентябрь 1942 года был малорадостный: открытие второго фронта, которого так ждала наша страна, откладывалось, а сводки Совинформбюро изо дня в день однообразно сообщали о боях в районе Сталинграда и Моздока.

Однажды Ровинский по внутреннему телефону попросил меня зайти к нему. Я жил тогда в помещении редакции и несколько минут спустя поднялся в его кабинет.

— У вас есть какой-нибудь приличный костюм? — спросил Ровинский, оглядев мою уже весьма заношенную гимнастерку.

— Пойдем в театр, Лев Яковлевич?

За несколько дней до этого мы с ним действительно побывали в филиале Большого театра.

— Нет, — сказал он, не улыбнувшись. — В Москву приехал личный представитель президента Рузвельта Уилки, и вам поручается взять у него интервью.

— Я могу заехать домой переодеться.

— Тогда лады.

«Лады» означало порядок, и слово это было у Ровинского всегда в ходу.

Мне дали редакционную машину, я заехал домой в пустую квартиру, моя семья была в эвакуации, с трудом нашел во что переодеться и поехал в Мертвый переулок, в особняк Наркоминдела.

Москва жила приглушенно, меньше года назад враг стоял у ее ворот, на улице Горького витрины магазинов были доверху завалены мешками с песком, и московская осень, некогда золотая и гулкая, как бы облачилась в защитную гимнастерку.

В особняке Наркоминдела меня встретил секретарь Уилки, говоривший по-русски, и минуту спустя крупный, тяжело сбитый Уилки принял меня, сразу задал дипломатический, не выражавший никакого чувства вопрос:

— Что вас интересует?

Я был уже несколько наставлен и сказал, что может интересовать читателей газеты.

Тренировки обращения с блокнотом у меня не было, но ответы нужно было записать, а самый важный вопрос насчет открытия второго фронта я держал наготове для завершения беседы. Но Уилки вдруг позвали к телефону, он извинился, ушел в соседнюю комнату и, вернувшись и уже не присаживаясь, сказал:

— К сожалению, я должен уходить... меня ждут в Кремле.

И тогда я, державший наготове главное, спросил насчет второго фронта.

— В отношении второго фронта, может быть, придется и поднажать на военных, — сказал Уилки.

С этим Уилки, пожав мне руку, заторопился, а я растерянно стоял с блокнотом, в котором мои записи не были даже завизированы.

Вернувшись в редакцию, я привел их в порядок, продиктовал в машинном бюро, каждая строчка, тем более ответственная, была на счету у времени, и отнес интервью Ровинскому. Он прочел, какое-то мускульное движение шевельнуло его обычно непроницаемое лицо, и я понял — он дошел до строки, что с открытием второго фронта придется, может быть, поднажать на военных.

В календаре событий, приложенном к первому тому «Внешней политики Советского Союза в период Отечественной войны», об этом интервью сказано:

«Личный представитель президента США Рузвельта — г. Уилки в интервью, данном сотруднику „Известий“, заявил, что наиболее эффективным способом, каким можно выиграть войну, оказывая помощь России, является установление вместе с Великобританией подлинного второго фронта в Европе, причем в наиболее краткий срок, который одобряют военные руководители. При этом г. Уилки заявил, что, „может быть... придется на них и поднажать“».

Поздно ночью текст интервью был завизирован, а утром понесся по всей стране, по всем фронтам, и не только по всей стране и по всем фронтам, но и по всему миру. Личный представитель президента США пустых слов не скажет.

Сейчас трудно вспомнить, как эти несколько слов взволновали, обрадовали и обнадежили миллионы наших людей, которые несли на своих избраненных плечах всю тяжесть войны. Так или иначе, уснув лишь под утро, я почувствовал себя именинником, увидев напечатанным это интервью, и образ Уилки надолго остался в моей памяти, став даже своего рода историческим символом в самое тяжелое время для нашей страны, когда еще велись бои за Сталинград.

А 8 октября 1944 года я прочел сообщение ТАСС: «Сегодня утром в результате сердечных приступов скончался Уэнделл Уилки — видный деятель республиканской партии США, кандидат этой партии на пост президента США на выборах в 1940 году. В 1942 году Уэнделл Уилки посетил Советский Союз».

И до сих пор я вспоминаю тот далекий сентябрьский день, когда в неумелом корреспондентском блокноте вез одну строку, полыхнувшую молнией не только над нашей страной, но и над всем континентом.

К МОСКОВСКИМ ДРУЗЬЯМ

На холме Шато в Ницце, стоя у могилы Герцена, я вспомнил о том, что было намерение создать в Москве музей Герцена и поставить на Воробьевых горах, ныне Ленинских, памятник двум юношам, которые поклялись пожертвовать своей жизнью за избранную ими борьбу.

Над Ниццей был розовый догорающий закат, сделавший розовым и Средиземное море, в закатном дыхании была как бы растворена и судьба Герцена, на могиле которого не было ни одного цветка и только вилась между плит какая-то кучерявка...

Однажды под вечер я услышал за входной дверью своей квартиры какой-то шорох, вышел взглянуть — кто-то торопливо спускался по лестнице, и я предположил, что в дверной почтовый ящик опустится письмо. В ящике действительно оказалось письмо, в нем чья-то женская рука писала, что в Сивцевом Вражке дом, в котором жил Герцен, обнесен строительным забором, дом, по-видимому, собираются снести, а дальше письмо содержало скорбный вопрос: неужели наша общественность допустит, чтобы снесли этот дом? И мне представилась одна из тех славных женщин — может быть, учительница или библиоте-

карь,— которым следует поклониться за их любовь и преданность литературе.

Имя Герцена всегда волнует меня, и я сразу же позвонил двум испытанным болельщикам в таких делах — Сергею Александровичу Макашину, с которым мы вместе доставили из Англии прах Огарева, и старому музейному работнику Николаю Павловичу Пахомову.

Нашу литературно-музейную жизнь нельзя было на протяжении свыше полувека представить себе без Пахомова. Длинный, до конца своих дней не согнутый временем, с живыми, блестящими глазами, знаток гоголевской и аксаковской поры, Николай Павлович был первым пестуном некогда почти заброшенного Абрамцева, этого славного гнезда русской литературы.

Николай Павлович был и литературовед и музеевед, к тому же — несколько неожиданно — страстным знатоком охотничьего дела, знал стати борзых и гончих собак, охоту с доезжачими, со звуком созывного рога.

— Почему бы вам не завести гончую? Она так подошла бы к вашей фигуре,— пошутил я как-то.

— Я сам стал гончей,— отозвался он.— Сколько я рыскал, пока собрал аксаковский музей!

И, торжествуя, он тут же открыл портфель и показал мне первое издание «Ревизора» с автографом Гоголя, экземпляр, за которым и я рыскал, но Пахомов оказался более опытной гончей.

— А как же,— сказал он несколько снисходительно,— я постарше вас, да и ноги у меня подлиннее.

И вправду, не раз, когда, побывав у кого-нибудь в гостях, мы возвращались домой, Пахомов, которому было уже за восемьдесят, опережал всех своим легким шагом, казалось, не чувствуя никакой старости... Однако в конечном счете она оказалась притчей него.

Николай Павлович был знатоком Москвы сороковых годов прошлого века, и нельзя было представить себе ни одного музейного предприятия без высокой фигуры выбритого, элегантного, подтянутого Пахомова.

Он много лет жил в Сивцевом Вражке, и я, получив письмо о судьбе герценовского дома, позвонил Пахомову по телефону.

— Что же это делается в вашем ведомстве, Николай Павлович? — спросил я и рассказал о полученном мной письме.

— Как? — встревожился он.— Ведь это почти напротив моего дома, завтра же утром узнаю.

И на другой день он сообщил:

— Дом не сносят, а собираются ремонтировать, он кому-то передан... Так что давайте действовать!

И втроем — Макашин, Пахомов и я — мы принялись действовать.

Председатель райисполкома, к которому явилась наша самостоятельная делегация, встретил нас тускло: жилищные дела всегда хлопотливы и запутанны.

— Дом передается под библиотеку,— сказал он,— уже подготовлено решение.

И мы втроем наподобие античного хора стали говорить о Герцене, о Вольной русской типографии, о том, что дом следует превратить в музей Герцена, но больше всех, размахивая своими длинными руками, говорил Пахомов, и председатель райисполкома все же немного поддался:

— Вопрос о музеях решает Министерство культуры, на две недели могу задержать передачу, а не добудете решения, отдадим библиотеке.

Я не был с Пахомувым в Министерстве культуры, но вопрос о создании музея Герцена был решен почти сразу, и я одобрил длинные ноги Пахомува.

— Ничего еще... ходят, — сказал он с довольством.

Я вспомнил обо всем этом несколько лет спустя, когда отремонтированный дом по Сивцеву Вражку стал музеем и на его предстоящее открытие приехали потомки Герцена.

Конечно, не из шороха за входной дверью моей квартиры возник музей Герцена, он давно был задуман, однако все же немного из шороха. Но ведь совсем не важно, из какого семечка выросло дерево, важно, что оно выросло.

И получая ныне извещения о том или другом вечере в музее Герцена, я вспоминаю закат над Средиземным морем, когда возле могилы Герцена думал о том, как хорошо было бы создать в Москве музей во славу и «Колокола», и «Полярной звезды», и «Голосов из России»...

В мартовскую оттепель с мокрым снегом состоялось в Москве на Новодевичьем кладбище прощание с привезенным из Англии прахом Огарева. В Англии все уже зеленело, когда мы уезжали, а в Москве была еще зима.

«Иногда я мечтаю о возвращении, мечтаю о бедной природе нашей, о деревне, о наших крестьянах... и мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, устранив все условия», — писал Герцен в 1848 году в одном из своих писем «Московским друзьям».

И когда проходишь мимо дома в Сивцевом Вражке, невольно думаешь о том, что Герцен вслед за Огаревым вернулся к московским друзьям и ныне лишь две улицы — Кропоткина и Пирогова — отделяют их друг от друга...

«ШЕКСПИРОВЫ ДУХИ»

Будем с прилежанием думать о тех, кто достоин памяти. Так плохо, когда достойный человек уходит столь беззвучно, словно его, подобно карандашной строчке, стерли резинкой.

Мария Юрьевна Барановская, в свою пору женщина большой красоты, была покорена миром декабристов. Она написала хорошую книгу о декабристе Николае Бестужеве, была составителем серии портретов декабристов и в Историческом музее, где работала много лет, считалась лучшим знатоком этой эпохи.

В тридцатых годах на Тверской, ныне улице Горького, была фотография, которой заведовал необычайно преданный литературе фотограф Леонид Яковлевич Леонидов, и почти все поколение молодых советских литераторов запечатлено было им.

В пору, когда Леонидову уже приходилось больше оглядываться, чем смотреть вперед, он пришел ко мне, несколько удрученный своим решением расстаться с коллекцией негативов на стекле, опасаясь за их дальнейшую судьбу.

— Нельзя ли где-нибудь пристроить мои негативы? Ведь будет жаль, если они пропадут, — сказал он, не добавив, что это дело всей его жизни.

Я принимал некоторое участие в работе Государственного архива литературы и искусства, сказал Леонидову: «Попробуем» — и архив приобрел у Леонидова ряд негативов, отобрав главным образом снимки известных писателей, а малоизвестные остались у Леонидова. Но что такое известный писатель или малоизвестный, время нередко вносит поправки в оценки, и смотришь — возник позабытый писатель в полной силе недооцененного в свою пору таланта.

Года за два до своей смерти Леонидов принес мне в подарок небольшой альбомчик с фотографиями в большинстве неизвестных лиц XIX века, некоторые были даже образцами первых фотографий после изобретения Дагера.

— Мне этот альбом подарили в двадцатом году в Петрограде,— сказал Леонидов,— альбом очень интересный, сохраните его на память обо мне.

Мне захотелось хотя бы частично узнать, кто снят на старинных фотографиях, называвшихся по размеру фотографическими карточками, и я обратился к Марии Юрьевне Барановской.

Мария Юрьевна пришла ко мне во всеоружий своей замечательной памяти и почти сразу начала распознавать:

— Александр Михайлович Горчаков, лицейский товарищ Пушкина, на фотографии он снят, видимо, когда был государственным канцлером... Василий Игнатьевич Живокини, знаменитый актер Малого театра, особенно в водевилях... Великая княгиня Ольга Константиновна, королева эллинов... Знаменитый исполнитель цыганских романсов Давыдов в молодости.

Она листала альбом, как бы читая подписи под портретами, и лишь над одним задумалась, не решившись сразу признать врача Белоголового, лечившего в свое время Некрасова. Я поразился ее зрительной памяти.

— А с опознанием декабристов вы, наверно, и не задумались бы?

— Вы разве интересуетесь декабристами?

Я сказал, что у меня порядочно прижизненных изданий книг декабристов.

— Тогда придется подарить вам один клочок на память.

Мария Юрьевна не пояснила, что это за клочок, но некоторое время спустя вручила мне маленький листочек, видимо обрывок какой-то рукописи:

— Присоедините к вашему собранию эти несколько строк Батенкова.

А позднее она подарила мне составленную ею коллекцию портретов декабристов с надписью: «При воспоминании о тебе молодеет душа. Т. Н. Грановский — А. И. Герцену... в память благородных людей эпохи».

Книга Барановской о Николае Бестужеве вышла с пометой на титульном листе «Труды Исторического музея», в котором прошла большая часть ее жизни, и с горечью думаешь о том, как незаметно, даже без траурной памятки ушла Барановская...

Однажды мне позвонил по телефону очень старый, судя по голосу, человек.

— Я знаю, что вы собираете кое-что, а для меня пришло время расстаться кое с чем,— сказал он.— Не хотите ли взглянуть?

— С чем же вы собираетесь расстаться? — осведомился я.

— Видите ли, по специальности я бывший преподаватель истории, в свое время интересовался декабристами, собрал кое-что, а сейчас... — и он долго и глухо кашлял,— сейчас я главным образом интересуюсь собственной историей, занятие, конечно, малоувлекательное, но в некоторую пору жизни неизбежное.

Фраза была несколько стариковски-горькая, и мы договорились с Гавриилом Васильевичем Трошиным, что я приеду к нему в Измайлово на 12-ю Парковую улицу, а дополнительно он сообщил мне, что сейчас в Измайлове листопад и такая красочная прелесть осени.

День спустя я поехал в Измайлово, нашел дом на 12-й Парковой улице, а Гавриил Васильевич Трошин, седокудрявый и как-то ангельски

кроткий, сразу показал мне восемь раз обе ладони с растопыренными пальцами, показал затем и девятый раз, только с тремя прижатыми пальцами, спросил мягкими деснами: «Сосчитали? Восемьдесят семь годочков» — и, казалось, сам был несколько удивлен тем, что ему столько лет.

Я сел на диван в его комнате, а он в кресло напротив, колени к моим коленям, и я понял, что он плохо слышит.

— Вы для меня еще молодой человек, — сказал он, — в мои годы даже семидесятилетние кажутся мне мальчуганами, а некоторые свои книжки мне хочется надежно пристроить — мне будет жаль, если мои книжки пойдут гулять, декабристов я собирал усердно.

Гавриил Васильевич открыл обе створки книжного шкафа, в котором капитальнее всего стояли большие тома «Истории...» Соловьева и книги Ключевского, а верхнюю полку занимали книги XIX века, сразу своим видом наподобие стрелы Амура пронзившие сердце книголюба. И я приобрел у старого историка томики Рылеева, Федора Глинки, барона Штейнгеля — словом, почти треть полки.

— Абгемахт, — сказал Гавриил Васильевич. — Теперь буду спокоен, авось сохранятся у вас.

Я пояснил, что не только сохранятся, но и пополнят мое собрание, и мы с Гавриилом Васильевичем пообещали друг другу встретиться еще, но, как это нередко бывает, вернее часто бывает, не встретились больше.

А несколько лет спустя ко мне пришел высокий, весьма уверенный в себе молодой человек с классическим ожерелком завидной черноты, сказал, что он внук того учителя истории Трошина, у которого однажды я купил книги декабристов, добавил, что после смерти деда нашел еще одну книжку — не поинтересуюсь ли я для полноты своего собрания? — и достал из портфеля, в котором было немало и других книг, долго не дававшихся мне «Шекспировых духов» Кюхельбекера.

— Можно не деньгами, — сказал он предупредительно, — а книгами, скажем... — И он назвал имя одного поэта.

Я пояснил, что книгами никогда не обмениваюсь, тогда внук назвал цену, от которой даже Шекспировы духи дрогнули бы, но так или иначе книжка осталась у меня.

В последний раз я повидал Марию Юрьевну незадолго до ее смерти, о которой случайно узнал от ее мужа, известного архитектора и хранителя московской старины. Мария Юрьевна с трудом преодолела мою лестницу на четвертый этаж (у нее болела нога) и, положив ногу на стул, посидела минутку.

— Вы говорили, что приобрели книжки декабристов... Я специально приехала посмотреть их.

Я достал с полки книги, разложил на столе, и она проглядела титульные страницы.

— Вы вот не поленились поехать в Измайлово, а я не поленилась выбраться к вам, потому что мы с вами одним миром мазаны. Я такому светлому для себя обязана этой эпохе... столько благородства, силы духа, ума, ясности, и так прекрасен, несмотря на всю свою трагичность, этот мир! Спасибо за доставленное удовольствие.

Я отвез ее до дома, в котором она жила, дом был в глубине старого кладбища Новодевичьего монастыря, и я немного поежился от сырой тишины.

— Чем же плохо? — спросила Мария Юрьевна напоследок. — И Денис Давыдов, и Плещеев, и Брусилов рядом... да и до Чехова и Скрябина рукой подать.

Больше мы с ней не увиделись, а ее книгу о Бестужеве и переплетенные в один томик изображения декабристов с ее добрым словом я поставил рядом с теми книгами, которые приобрел как-то у старого учителя истории на 12-й Парковой улице в Измайлове.

СВЕТОТЕНЬ

В большом зале Московского клуба писателей, как тогда назывался нынешний Центральный дом литераторов, ресторана еще не было, зал служил лишь местом собраний, концертов или лекций, а у камина, который иногда для настроения зажигали, поэты читали свои стихи.

Клуб приходили посещать и те, кто лишь тяготел к литературе или писал что-то, чего никто никогда не читал, но если это были стихи, то в какую-то минуту безвестный поэт собирал у камина нескольких слушателей, и некоторые поэтические тени казались своего рода фантомами.

Бродила по залу и маленькая, немного странная, с детским лицом и виноватыми глазами одна из таких теней, которую иные принимали в лучшем случае с сочувствием, а большинство относилось к ней как к одной из тех неудачниц, у которых нет ничего, кроме желания побывать в поэтической среде.

Однако у этой маленькой женщины, неуверенно бродившей по залам Клуба, сложилась иная судьба, правда, к горькому сожалению, посмертная. Поэтессу эту звали Ксенией Некрасовой, но стихи, которые она писала или читала вслух, были не детски-наивны, как казались некоторым, а с тем высшим прозрением, о котором Пушкин сказал, что поэзия должна быть глуповатой.

Поэтической известности Некрасова не узнала, хотя ее стихи одобряли многие поэты, так она и ушла со своей судьбой, и лишь поэт Ярослав Смеляков сложил горький реквием, посвященный ее памяти.

Как-то я побывал у художника Роберта Рафаиловича Фалька в его мастерской, помещавшейся в большом доме поблизости от Москвы-реки. Фальк тонко понимал искусство, понимал по-своему, не оглядываясь на чужие оценки. Показывая свои холсты — некоторые, вроде пейзажей Сены в окрестностях Парижа, совершенно прекрасные, — он сказал:

— Судьба художника заключена иногда лишь в одном мазке... но мазок этот должен быть единственным и неповторимым.

Гиперболу я понял, но и Фальк принадлежал к тем художникам, которых не спутаешь.

С Фальком встречались мы и в Париже, когда группа русских художников — Фальк, Натан Альтман, Сергей Фотинский, Терешкович, Климент Редько — облюбовала монпарнасское кафе «Дом», но одну московскую встречу, кажется, в гостях у Эренбурга, я особенно запомнил.

— Вы любите поэзию? — спросил Фальк неожиданно. — Кого из русских современных поэтов предпочитаете? Наверно, тех, кого предпочитают и другие... а нужно любить того, кого нашел только для себя. В искусстве всегда проще отвергнуть что-либо, чем принять, — сказал Фальк, обычно сдержанный, хотя и сам был художником нелегкой судьбы.

Читая вышедшую недавно книжку стихов Некрасовой, как бы полных удивления перед широтой и красотой мира, я лишний раз задумался над тем, как это плохо всегда, когда чего-то недооценили и недоглядели. «Есть третий глаз — всевидящее око — им скульптор награжден, художник и поэт: он ловит то, что прячется за свет и в тайниках живет не названное словом», — писала Ксения Некрасова. Этого третьего глаза не оказалось у многих, и, встречая нередко уверенных в своей

судьбе литераторов, всегда вспомнишь о той, которая робко, как бы в поисках хоть малюго угла бродила по залам Московского клуба писателей, слушала у горящего камина чужие стихи, а свои то ли дали ей почитать однажды, то ли и не дали.

— А что такое тень? — спросил тогда Фальк еще. — Тень — это контраст, без тени не было бы и света... Светотень всегда побуждает художника поскорее взяться за кисть, пока не сдвинулось, не ушло, не померкло. Правда, существует понятие — остаться в тени, но нередко именно те, кто оставил в тени, в конечном счете сами остаются в ней, и это уже навсегда.

Я вспомнил о Фальке, сказавшем когда-то, что судьба художника заключена иногда лишь в одном мазке, еще и потому, что он единственный, кажется, написал детски-беззащитный портрет Ксении Некрасовой.

ИВОВЫЙ КУСТ

На медленной, но глубокой речке Удай с бочагами, заросшими осокой и курчавым рдестом, или с темными глубинами у яров, в ранний утренний час, когда солнце только всходило и даже зеленые стрекозы, похожие на светящиеся стрелки часов, еще дремали на стеблях плавучих растений, меня спросил в этот час спутник по рыбной ловле, местный учитель Иван Аристархович Кирилленко:

— Вы знакомы с Константином Паустовским? Он хороший рыболов?

— Отличный, — ответил я. — Попадись ему на удочку кит, он и его вытащит.

— Я понимаю вас, — произнес учитель значительно. — Метафора — это троп.

— Вот именно — троп, — подтвердил я.

— Я его китов люблю, — сказал учитель, забрасывая леску. — Но у него и пескари замечательные.

Примерно так я и написал о Паустовском к его семидесятилетию, это было напечатано в «Огоньке», и месяц спустя получил из Барвихи письмо от Паустовского:

«Только сейчас мне разрешили писать на машинке и вообще писать, и я в первую очередь спешу поблагодарить Вас — старого мушкетера... Я был очень тронут и подумал, что не только физики показали великий пример товарищества, спасая Ландау, но и у нас этот огонь товарищества не погас... Ничего не страшно, когда чувствуешь дружескую руку и знаешь, что о тебе думают и помнят».

Работавший как-то у меня столяр Симачков, знавший Паустовского не то по рыбной ловле где-то на Оке, не то чинивший ему мебель, сказал мне раз:

— Занятный был человек, с ним век не соскучишься.

И правда, нельзя было соскучиться с Паустовским — столько он знал, повидал, причем не только знал и повидал, но и сделал это содержанием своих книг. И где бы ни появлялся Паустовский, всегда вокруг него собирался круг слушателей, как вокруг сказителя, и своим глуховатым голосом он сказывал — ладно, умело, с юмором, с приукрашениями, и даже его приукрашениям или явному сочинительству хотелось верить.

При всем своем успехе и признании жил он грустно, как каждый, кто небогат здоровьем, а Паустовский был не только небогат, но даже нищенски беден. Но он стойко переносил и свою астму, и то, что иногда надолго приходилось откладывать перо в сторону, а перо для него, как для каждого истинного писателя, было стимулом жизни.

Мне всегда казалось, что бытовые реальности, внешние удобства были ему чужды, бродяжнический дух водил его по всем дорогам, и когда Бунин, восхитившись одним его рассказом, написал письмо на адрес типографии, где печаталась книга, Паустовский сказал мне, бесспорно растроганный отзывом не щедрого на похвалы Бунина:

— Вертолетик бы мне, я живо слетал бы в Париж и поблагодарил бы Ивана Алексеевича.

И он тут же развил любезную ему фантазию, что в свое время наиболее заслуженные члены Союза писателей будут иметь возможность пользоваться вертолетом с посадочной площадкой во дворе на улице Воровского.

— Спустился, зашел в ресторан, заказал шницель и через полчаса обратно за рабочий стол.

Но чаще всего доставался ему не шницель, а совсем другое по строгим рецептам врачей, хорошо, как мне кажется, знавших недолговечность Паустовского.

Мне привелось выступать на одном его юбилейном вечере, и Паустовский, благодаря выступавших и собравшихся, сказал своим глухим голосом: «Самое главное мне еще только нужно написать!» — и в этом как бы прозвучала мольба, чтобы еще немного было ему отпущено. Но лишь в малой степени было это ему отпущено, и когда в Переделкине увидел прикованного к креслу Паустовского, этого неутомимого ходока, рыболова, мечтателя под всеми звездами, разве только тропические были упущены, я испытал сердечную боль за него, сказал, однако:

— Поправляйтесь поскорее, Константин Георгиевич, поедем вместе в Мещеру, я, правда, побывал там разок, но окуней не ловил, а с вами мы половим.

И он столь оживился, что сделал даже движение подняться... они были почти в руках, будущие окуни.

Из окна своей дачи я видел тот флигель, в котором в доме отдыха он жил, послал ему раз записку, что каждое утро смотрю в его сторону, а отделяет нас всего шагов триста. Паустовский записке обрадовался, при посланной мной сказал жене:

— Видишь, меня не забывают!

И больше всего ему было нужно, чтобы его не забывали, но его и вправду не забывали, как не забывают и ныне, когда Паустовского давно уже нет, но его место в литературе навсегда за ним.

Недавно я получил книгу от заслуженного кинооператора и кинорежиссера Евгения Николаевича Андриканиса «Встречи с Паустовским», в которой автор, долго дружа с Паустовским, сердечно, но и горестно пишет о нем, и подумал, что Паустовский и на этот раз сказал бы своей жене, которой ныне тоже уже нет:

«Видишь, меня не забывают!»

На речку Удай я больше не собрался, с учителем Иваном Аристарховичем Кирилленко не встретился, но нередко читатели в своих письмах сообщают, что в числе их любимых писателей — Паустовский... и тогда снова плывет по Удаю лодка с рыболовом или на берегу Оки стоит рыболов где-нибудь возле Шилова, поплывает на счастье на червяка, насаженного на крючок, закинет удочку, старую, бамбуковую, а то и из осинки, без новинок, без катушки спиннинга, неспешную, задумчивую удочку, которую любил и Чехов. И то ли блеснет окунею, то ли не блеснет, суть не в этом, а в том, чтобы посидеть часок-другой с самим собой, поразмышлять с самим собой, но если это писатель, то мысленно написать рассказ и, свернув удочку, заторопиться домой, чтобы при свете настольной лампы занести на бумагу...

«Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдаю за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки».

В своих воспоминаниях о встречах с Паустовским приводит эти его слова Е. Андриканис.

Писатель не уходит, он растворяется в самом воздухе своей страны, если любил ее, писал для нее и ни на что не променял бы даже ее мокрый ивовый куст.

ОТ БРЕТАНИ ДО ПЕНЗЫ

Об Илье Григорьевиче Эренбурге немало написано. Больше как о борце за мир, меньше как о прозаике, еще меньше как о поэте. И почти ничего не написано о нем как о человеке, может быть, потому, что Эренбург трудно открывался другим и не один пуд соли нужно было съесть с ним, чтобы он приоткрылся. Эренбурга мало знали даже те, с кем он дружил, найти к нему ключ было не так-то просто.

По природе своего творчества Эренбург считался писателем, который больше высмеивает, чем любит человека. Эта особенность была, начиная с «Хулио Хуренито», присуща ряду его романов, неизменно вызывавших интерес к себе. А если вспомнить военную публицистику Эренбурга, его имя было, пожалуй, одним из самых популярных в войну, и добиться, чтобы наши солдаты на фронте спрашивали: «Что сегодня пишет Илья?» — было не так-то просто.

Действенности Эренбурга хватило бы на три писательских жизни. Но привыкший, казалось, ко всяческому испытанию, он был в своем внутреннем существе человеком легкоранимым, близко принимавшим к сердцу многое.

Есть гладкие писательские дороги, все хорошо, благополучно по указателям доходят до финиша, почти ничем не рискуя в дороге, а небытие в дальнейшем не пугает водителя, он живет сегодняшним днем. Но есть иные — неровные, сложные судьбы, судьбы пространственные, без финиша. Мне кажется, что Эренбург был именно писателем такой судьбы.

В Нормандии, у берегов Бретани, где Атлантика тяжело бьется о скалы, а на берегу белые накрахмаленные митры бретонков, жен рыбаков или работниц сардинных фабрик, в порту с голубовато-вуалевыми сетями рыбацких судов, Эренбург, с которым мы вместе побывали в этих местах, знал и о происхождении кельтских долменов, и о керамике Кимпера, и о романах «бретонского цикла». Его осведомленность в области искусства, литературы, истории многих стран была поразительна: он мог написать о славянских примитивах, будь то Словакия, о чешском художнике Пуркене или об искусстве Японии и Индии. В Молдавии, где мы с ним тоже побывали когда-то, он удивлял местных жителей своим знанием старинных орнаментов или поделок из камня.

При всем своем внешнем отстранении Эренбург нуждался в климате дружбы, не терпел при этом поверхностного, необязательного приятельства с похлопываньем по плечу. Дружил он с немногими, но если уж дружил, был в такой степени обязателен, что я всегда страшился попросить его о чем-нибудь.

Я пишу простыми перьями, не каждое мне под стать, но, бывая в Париже, набрел на перья, названные почему-то русским именем — Надя. Эта «надя» много лет честно служила мне, но в конце концов иссякла, и я попросил Эренбурга привезти мне из Парижа коробочку.

Вернувшись из Парижа, Эренбург позвонил мне по телефону, сказал коротко:

— Зайдите.

Кстати, этот глагол был своего рода кодом дружеского расположения.

— Послушайте, вы точно знаете, в каком веке живете? — спросил Эренбург, едва я зашел в его рабочую комнату.

— В двадцатом, — ответил я уверенно.

— Сомневаюсь. Я искал в Париже для вас перья и был просто посмешищем: такие перья уже лет двадцать не выпускают. В наше время пишут или автоматическими, или шариковыми ручками. Вы что — Бальзак? Почему вы не можете писать шариковыми ручками?

— У меня получится шариковая проза.

— Вы просто псих. Натяните перья. Я потратил три дня, пока набрал эту коробочку. Кое-что мне дали знакомые французские художники. Там тоже есть психи.

И несколько с торжеством он достал круглую металлическую коробочку, начиненную самыми диковинными перьями вплоть до «рондо», которыми не напишешь ни одной строчки.

— Спасибо, — сказал я, — бог отметит когда-нибудь ваши усилия.

— Жди от него!

— Тогда я посвящу вам какую-нибудь поэму. При помощи этих перьев я, наверно, оседлаю и поэзию.

— Что — неужели не годятся? — спросил он на этот раз встревоженно.

И всегда затем, побывав во Франции, он привозил мне всех друзей «нади», но самой «нади» не было, а подруги или царапали бумагу, или сплевывали на нее каплю чернил.

В дружбе Эренбург был заботлив, в привязанностях трогателен, он вывез из Франции двух старых, беспомощных сестер, всю жизнь сурово заботился о них, однако никогда не выражая чувства, и сестры только молча обожали его, в их природе тоже было не выражать свои чувства.

Мне всегда кажется, что человек, который любит животных, не может быть плохим. В голодные годы начала революции Эренбург дружил с Владимиром Дуровым, писал для его животных какие-то интермедии, а однажды Дуров заехал за ним в Проточный переулок, где Эренбург в те годы жил, в сани был впряжен верблюд, на которого, вытаращив глаза, смотрели московские жители, а про одну богомольную старушку пустили слух, будто она сказала: «Что большевики с лошадей сделали!»

Впоследствии мы побывали с Эренбургом в этом уголке его молодости. В уголке жил старый, умевший произносить слова ворон, и Эренбург несколько минут постоял возле ворона и поговорил с ним.

— Вы ничего не понимаете, — сказал он, когда я поинтересовался, о чем они побеседовали. — Это мыслитель.

Но он сделал своего рода мыслителем и принадлежавшего ему скотча Бузу. Этот скотч был популярен на Монпарнасе в Париже, семенил обычно впереди своего хозяина, по дороге заглядывал во все кафе и бистро, подходил к стойке, становился на задние лапы, и бармен приветствовал его: «А, бонжур, Бузу» — и отоваривал куском колбасы или даже целым сандвичем. На известной фотографии Маяковский снят именно с этим Бузу на руках.

Франсис Карко написал свою книгу «От Латинского квартала до Монпарнаса», но если бы смог продолжить ее, то несомненно помянул бы, как впереди чуть горящегося Эренбурга с набитыми газетами карманами пиджака семенил, лавируя под ногами фланирующих, знакомый всему Монпарнасу скотч.

В войну этого скотча пришлось оставить в Париже, в Москве был его преемник, уже седеющий, со своими симпатиями и антипатиями, которые Эренбургу весьма импонировали. Но этого скотча знали только те, кто приходил к Эренбургу, и в его рабочей комнате с книжными

полками, доверху заполненными переводами книг Эренбурга, с коллекцией описанных им тринадцати трубок, первым встречал пришедшего этот московский Бузу, всегда столь сосредоточенный, словно и сам целый день проработал за письменным столом.

Вернувшись в послевоенное время из поездки в США, Эренбург привез автомашину. Мы поехали на ней в город Кашин, где жила семья одной девушки, ушедшей во время войны к партизанам и судьба которой была схожа с судьбой Зои Космодемьянской. С ее родителями — учителями — Эренбург был в переписке, хотел, чтобы имя героической девушки осталось, и впоследствии написал введение к книге «Девушка из Кашина».

Дорога от Москвы до Загорска была в ту пору еще сносной, а дальше начинался выбитый грейдер, потом просто проселок, низко сидевшая машина задевала иногда картером, мы долго ползли, опасно поглядывая на небо (только не пошел бы дождь), и доползли наконец до лугов, где можно было дать машине остыть.

По своей природе никогда не оставаться без дела Эренбург в поездках таскал с собой портативную пишущую машину, а в самолетах углублялся в решение кроссвордов, главным образом французских, что составляло для него проверку знания языка.

Во время роздыха возле Кашина он сразу ушел куда-то в сторону, потом совсем исчез, и ехавшие вместе с ним начали тревожиться. Мы разбрелись на поиски, нашли его где-то далеко в стороне с несколькими букетиками земляники, которые он поднес каждому, а его губы и даже кончик носа были по-детски испачканы ягодами, и он конфузливо покалялся, как провинившийся школьник:

— Попасся немного.

Я сказал ему тогда:

— Не удивительно, что ваша первая книга стихов называлась «Детское».

В последние годы он был всегда в разъездах, нередко из самолета в самолет лишь с малыми перерывами, он должен был по внутренней потребности ездить, выступать на конференциях, съездах, митингах, не остывать ни на минуту, и даже в день, когда в Центральном доме литераторов отмечалось его семидесятилетие и он мог ограничиться простой благодарностью, Эренбург произнес едва ли не часовую речь, может быть, слишком по-своему, но он всегда и жил и писал по-своему.

«Другу давних лет» — написал он мне на первом томе своих воспоминаний «Люди, годы, жизнь», воспоминаний, тоже написанных по-своему, тревожащих тем, что их писал глубокий писатель с большим сердцем, но и с требовательностью к людям.

— Илья Григорьевич, зря вы так... человек он все-таки хороший, — сказал я однажды по поводу его размолвки с одним литератором.

— С хорошего больше и спрашивается, — ответил он сухо, не склонный к побряккам.

В отношениях с людьми он был европейски пунктуален и не прощал, например, если человек, условившись прийти, не пришел и лишь на другой день повинился, что по той или другой причине не смог. В оценках людей, по его мнению недостойных, был безжалостен, но как он любил людей достойных, одаривая их верностью своей взыскательной души!

Огромный архив Эренбурга находится ныне в хранилище, придет время, когда будущий исследователь обратится к этому архиву, в котором отражены время, годы, люди на протяжении более полувека, две мировые войны, послевоенная жизнь Европы, связь с десятками людей, составлявших цвет культуры этой эпохи, — от Альберта Эйнштейна до Жолио Кюри, от Жана Ришара Блока до Маяковского, от Альберто

Моравиа до Александра Фадеева, от Неруды и Незвала до Леонида Мартынова, от Гарсиа Лорки до Марины Цветаевой...

Но будущий исследователь обратится и к судьбе самого писателя, который на протяжении не одного десятилетия интересовывал своими романами, клеймил своей публицистикой, воевал вместе со своим народом, и не один из наших славных военачальников ценил его едкое слово.

— Все-таки, Илья Григорьевич, вы должны быть довольны своей писательской судьбой,— сказал я однажды.

— Вы чудак,— ответил он,— что значит — писательская судьба? Для писателя его судьба состоит в том, чтобы успеть все досказать, а я еще не все досказал.

Но кто из писателей досказал все, что хотел?

— Не прибедняйтесь,— сказал я.

— Вы уже кончили среднюю школу или еще учитесь?

— Еще учусь.

— Избегайте переэкзаменовок,— посоветовал он.

Своего слова он недосказал все же, любил повторять строчку Маяковского: «Над родной страной я пройду стороной, как проходит косой дождь», уподобляя это некоей эпитафии. Но он не прошел, как косой дождь, писатель много знавший, много умевший, много искавший.

— Мы с вами от Сент-Генолэ до Пензы ходили,— сказал он мне, когда мы побывали с ним и в Пензе, и в радищевском Верхнем Аблязове, и в Лермонтове, и в Белинском. — Allons!

Это слово было тоже кодом, на этот раз оно означало: итак, пойдем, отметим путь от Сент-Генолэ до Пензы, есть одна заветная бутылка, из которой нужно наливать осторожно, чтобы не взболтать осадка, какое-нибудь вуврэ или анжу.

И мысленно вижу я иной раз Эренбурга то у скалистых берегов Бретани с разбивающейся о скалы Атлантикой, то подкидывающим дрова в камин на его даче в Новом Иерусалиме, то идущим своим мелким шагком за семенящим перед ним скотчем на бульваре Монпарнас, а то и на скамейке сада в Переделкине, где, уединившись, решает он какой-нибудь французский кроссворд, однако основного кроссворда своей собственной жизни он так и не решил.



ВЛАДИМИР МОЩЕНКО

★

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

* *
*

Даже этот соблазн побсроли.
Промолчали. Ни слова в ответ.
Торжество ненавязанной роли,
Без которого радости нет.

Это радость особого рода!
Но ведь многие знать не хотят,
Что и чувства, и ум, и природа
На одном языке говорят.

* *
*

Да, представь себе, живу.
Больше видится, чем снится.
На апрельскую траву
Новогодний снег ложится.

Вот уж в лужах неба нет,
По воде скользят снежинки.
Тучи низкие рассвет
Гонит к югу по Ордынке.

Все равно мне повезло.
Я еще безбожной счастлив,
Потому что на тепло
Стал я памятью запаслив.

Не последняя верста,
Не последняя страница.
У Крестовского моста
Неизбежное случится.

Остановится трамвай.
Выйдешь. Все тогда пропало.
Завтра новый месяц — май.
А тебе и горя мало.

* * *

Когда в полужакрытые глаза
Впивается полночная гроза,
И окна сотрясаются от грома,
И ливень изгибается огнем,
И мы себя с тревогою клянем
За то, что слабость духа нам знакома,—

Как же причастность наша нам видна,
И уязвимость наша, и вина,
И ненадежность клятвы и защиты!
Но вот мы просыпаемся всерьез
Уже во власти поднебесных гроз,
И потому глаза уже открыты.



ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



ТАЙНА ГОГОЛЯ

Ожидая небесного знака,
Он вперялся очами во тьму.
Но не вынес великого страха —
И видение было ему.

Словно синяя твердь отворилась
Над убогой его головой,
Шумно лестница с неба спустилась,
Он ловил ее долго рукой.

Понабилась несметная сила.
Между рук и подъятых волос.
Гоготали кувшинные рыла:
— Инда правдой кичился ты, нос!

— Нет его: показался от страха!
Раскопаем могилу лжеца! —
Сотряслись осквернители праха,
Не увидя в гробу мертвеца.

Был ли Гоголь? Была ли Россия?
Тихий Миргород? Сон наяву?
— Позовите великого Вия! —
Словно вихорь размел трын-траву.

Темный топот все ближе и ближе,
Замер Вий у святого креста.
— Поднимите мне веки: не вижу!
Вот он! — рывкнул...

Могила пуста.

Только лестница ввысь поднималась
В заходящих лучах... А по ней
Где-то сверху еще осыпалась
Пыль земная с незримых ступней.

Нос

Я спал под терпким сталактитом,
Задрал свой нос.
А между тем как под магнитом
Он рос и рос.

Едва упора он коснулся —
Раздался звон.
И от удара я проснулся
И вышел вон.

Чихнул в пронзительные дали
До ясных звезд.
И разом женщины сказали:
— Вот это нос!

Но я уткнулся носом в книгу
Как бы всерьез.
Сорвало ветром эту фигу:
— Вот это нос!

Я прикрывался то рукою,
То темнотой.
Но не давал мой вид покоя
Молве людской.

За мною женщины бродили
Во власти грез.
И самого не раз водили
За мой же нос.

Я в землю лег, как говорится,
Но он пророс.
На самый кончик села птица:
— Вот это нос!

Знамя с Куликова

Сажусь на коня вороного —
Проносится тысяча лет.
Копыт не догонят подковы,
Луна не настигнет рассвет.

Сокрыты святые обеты
Земным и небесным холмом.
Но рваное Знамя победы
Я вынес на теле моем.

Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.

Воспоминания о Большой Серпуховке

На базарах сороки-воровки
Не болтают про те времена,
Как я жил на Большой Серпуховке
На кошмарах и ступе вина.

Что за думы на крюк попадались!
Что за сети ловили мой дух!
Что за твари на шею кидались!
Что за бури тягчили мой слух!

За стеною кричала старуха,
И таился у самых дверей,
Напрягая отвислое ухо,
Человек непонятных кровей.

Я лежал и не ведал предела
В фимиаме победной хандры.
И порожняя ступа гудела:
Ты не выйдешь из этой дыры!

Но не глядя, по русскому нраву,
По широкой привычке своей
Я плевал на забвенье, и славу,
И на подлую тень у дверей.



НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ

★

ХЭДА*

Роман

Глава 9. Бал в храме Гекусенди

Вард желал, чтобы переход на Камчатку был удобным и по возможности приятным не только для офицеров Путятин, но и для матросов. Он сказал, что надо сделать рундуки на пять человек по одному — итого тридцать на партию в сто пятьдесят.

Рулевой Джон с плотником взялись за дополнительную плату, пока судно стоит, хотя времени мало, а каждый рундук требует довольно много труда и каждому надо найти место. Но и плата хорошая. Вард раскошелится, получив аванс по контракту; все же справедливый хозяин! С берега прислали отличные доски, сухие, легкие.

Букет хризантем Джон поднес на берегу супруге капитана еще утром и поздравил ее, поэтому вечер у него свободен для работы, на бал он не рвется, говорит в шутку, что жена — Сэйди, как он ее зовет, — на людях его стесняется. Сиомара сказала по-другому — что стесняется пойти без него. Джон полагает, что она его просто ревнует и не хочет оставить одного. Пусть сама повеселится! А дело есть дело! Деньги делают деньги. Джон подрядился и будет стараться. В семье, где он вырос, пиры, танцы и излишний комфорт считались грехом. Любимой жене он разрешает ходить на веселые сборища в обществе дам, тем более с госпожой Вард. Из всех, кто прибыл в Японию на шхуне «Каролайн», только Вард с женой и рулевой Джон настоящие американцы, из старинных английских семей. Оба старательные работники, и на них все стоит. Остальные открыватели торговли в Японии — сброд, кто откуда, хотя некоторые не в первом поколении янки, отцы и деды пришли в Новый Свет.

До женитьбы на Сэйди рулевой Джон терпеть не мог испанцев. Теперь делает исключение для многих. Славный народ, отличные ребята. Оказывается, Магеллан был испанцем. Джон прочел о нем книгу и сказал: «А я думал, что он американец!»

За храмом Гекусенди, на заднем дворе у кухни, матросы Проконий Смирнов и Кузьма Залавин пилили дрова. Повар рубил мясо на колоде. Слышался запах горячих пирогов. За кухней адмирал разговаривал с Иваном Черным, который прибыл из Хэды распоряжаться и дирижировать хором. Матросы в белых рубахах обступили их. Пришли еще десять человек, в том числе Петр Сизов.

— Сначала надо поздравительную, — сказал Путятин.

Офицер-хормейстер остался при лагерной церкви, усердные службы великого поста идут в Хэде своим чередом, и красота их, как пола-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

гает Путятин, должна сохраняться. А иностранцам можно показать Ивана Терентьевича, у которого хор поет развязней, с уханьем, свистом и лошкарни выде~~ль~~вают чудеса. Офицеру таким хором дирижировать и неприлично. Можайский, в мундире с эполетами, возьмет на себя поначалу духовой оркестр, а потом его заступит унтер-офицер, чтобы больше было видных кавалеров для танцев.

— Как же ее величать?

— Имя ее Маргарет. Отчества, как ты знаешь, у них нет.

— Имя надобно будет повторить дважды. И по два раза,— обращается Черный к матросам.— Да смотрите, братцы, не ошибайтесь. Надо петь «поздравляем», а не «проздравляем».

— Так точно! — вразнобой ответили матросы.

— Американцам все равно,— заметил запевала Серега Граматеев.

— И что же потом? — спросил адмирал.

— Веселую сразу нельзя,— ответил Иван Терентьевич,— надо постепенно подвести. После величания сначала споем проголошные. Надо голоса показать.

— Да, пожалуй, проголошную будет хорошо. «Сторона ль моя, сторонущка». Да не одну. «Вниз по матушке по Волге», хорошо бы еще «Застонала дубрава».

— Так точно, Евфимий Васильевич.

— А уж потом «Ехал мальчик по Казани» или «Вдоль да по речке». А дальше — плясовые.

— Постараемся, Евфимий Васильевич!

— А где же Григорьев?

— Он при княжеском храме остался, как вы приказали.

— Да отчетливей ее имя произносите. Чтобы поняла, кому поется. Что ее чествуем.

...На террасе храма у перил сидят нарядные американки с детьми и смотрят в сад. Весна. Все цветет. Видно, как много в эту землю вложено труда и таланта, больше, пожалуй, чем на самых прекрасных фермах Виргинии.

— В нашей команде есть любые мастера,— сидя у столика с Вардом и Сибирцевым, говорит Посьет.— Адмирал распорядится, и наши люди в Хэде помогут вам подготовить шхуну к плаванию. У нас есть все, чтобы произвести в случае надобности ремонт.

— Ко-ко-ко-ко-ко,— раздается в ответ из горла капитана, словно он кудахчет.

На террасе такой воздух прекрасный. На столике — сигары и виски. Жена и дети радуются, что останутся на берегу. Только что играл духовой оркестр. Подписан выгодный контракт.

«Варду может показаться, что Посьет хочет получить за ремонт деньги»,— думает Алексей.

Вчера Рид сказал Сибирцеву, что шкипер доволен его стараниями и распорядительностью. Мы все поняли, как бы говорил при этом энергичный взгляд консула, деловой человек, мы заметили ваше усердие. И спросил: «Сколько вам заплатить за выгрузку? Деньгами или чем-то из товаров? Я бы предложил сто долларов!» «Мне или людям?» — подумал Алексей, невольно растерявшись. «Это для вас лично!» — сказал консул, как бы угадав его мысль. Алексей ответил, что благодарит. Но отказывается. «Почему же?» — американец посмотрел с подозрением. «У нас не принято». «Странно. Может быть, мало?» Алексей потрепал собеседника по плечу и кивнул вверх, по-американски, как хорошему товарищу. Вообще-то интересно — живешь и трудишься среди другого народа и невольно ухватываешь манеры и привычки. А вернешься домой, там крепостное право. Конечно, матрос тоже не овца, как говаривал Гончаров, но все же...

Посьет говорит: «Будьте и впредь готовы. Помните, что у американцев, а особенно у англичан, без взяток ничего не делается. Не подписываются контракты, не заключаются сделки». «И у нас «Ревизор» повсюду играется любителями и читается. Но ведь там, Константин Николаевич, чинуши и суконные рыла!» — ответил Алексей. «Как вы еще юны, мой друг!» — отвечал Константин Николаевич Посьет.

А вокруг — буйная весна. У храма гиацинты в ящиках и в грунте. На деревянных решетках рассыпаны голубые звездочки глициний. Адисай белый как снег на тучных овальных кустах, похожих на сугробы, и адисай красный. Когда Вард будет богат, он разведет на своей вилле японские цветы. Необязательно на восточном побережье. Там земля дорогая. Лучше в Калифорнии, которая нравится всем морякам, где много рабочих из Китая. Отсюда можно вывезти семена. Испанцы только удивляются, каким райским уголком становится их бывшее захолустье.

— Ко-ко-ко-ко... — Он и радуется и смеется от счастья в золотом тумане. Столько золота у него давно не было. Часть может остаться у жены. А по векселям он получит доллары. — Ко-ко-ко-ко... — Он смеется тихо, счастливо, всей утробой могучего, закаленного морем тела, как бы железным шкиперским желудком, а не горлом, издавая звуки, похожие и на скрип старого блок-шкива, и на бормотание индюшек в корабельном решетчатом птичнике.

— Господа, его превосходительство адмирал Путятин приглашает всех к столу, — появляясь в дверях, объявил Николай Шиллинг.

Его тонкое, чистое лицо выражает торжественность момента. В тон белокурым волосам с легким отливом золота он в светлом кителе с небольшими эполетами, который сшил ему из китайской чесучи Иван Петров — лучший портной Кронштадта, выпрошенный адмиралом у Беллинсгаузена¹.

На террасе все встали. Обе матери, наклонясь, о чем-то предупредили детей.

Главное помещение храма совершенно пусто. Убран стол, за которым адмирал устраивал приемы и военные советы.

— Это для танцев! — проходя, сказала Анна Мария. Она приняла мала в подготовке энергичное участие.

К обеду накрыто в бывшей квартире священника, из трех разгороженных комнат получилась прекрасная столовая. Стены оклеены белой бумагой. По сторонам открытых окон с видом на яркую зелень повешены тяжелые красные занавеси. Их чуть колышет ветерок с океана. Посреди сервированного стола по старинному обычаю испанцев уложен прямо на белоснежную скатерть овальный букет из густо-красных роз. Матросы в белом снимают вышитые полотенца, открывая русский именной пирог.

Посуда японская и американская. Вилки, ножи и ложки, также серебряные лопатки и половники с «Каролайн».

А из дверей все идут и идут молодцы в белоснежных рубахах, с голубыми полосками на воротниках. Такого множества белой плоти и русских голов Анна Мария давно не видывала...

— Ко-ко-ко... — начал было Вард.

Адмирал взял коробку из рук подошедшего Петра Сизова и подал госпоже Вард. Оказался огромный веер из золотой бумаги с красными цветами, хлопьями падающего снега и белыми птицами.

Евфимий Васильевич кротко улыбнулся, как бы прося быть снисходительной: подарок недорогой, но по-своему роскошный. Японцы учат: тонкий вкус свойствен и беднякам.

Мар-га-ре-та... —

¹ Тогда комендант крепости.

вдруг высоко и торжественно вознесли имя виновницы торжества к небу матросские тенора.

Мар-га-ре-та,—

отчеканили басы.

Поздравляем мы тебя,—

согласно произнес весь хор.

Много лет тебе желаем,
Счастья в жизни навсегда.

Захлопали пробки шампанского.

Маргарета, Маргарета,
Здравствуйте, здравствуйте...
Здравствуйте, здравствуйте,—

быстро продолжал хор.

На резных деревянных блюдах Янцис и Букреев подали госпоже Вард на полотенцах сперва каравай хлеба и солонку, а затем именинный пирог с вензелями из сахарной глазури. Она встала, поблагодарила и обняла обоих матросов.

Под пение, громкое и величественное, как в опере, супругам Вард и адмиралу поднесли бокалы с шампанским на серебряном блюде.

Раздались поздравительные возгласы. Варда заставили поцеловать жену.

«Слава богу! Начали! — подумал адмирал.— Кашу маслом не испортишь!» Он сел и стал переводить и объяснять госпоже Вард. Она слабо кивала как бы с холодной благодарностью, но на ее всегда бледных щеках начинала ярко рдеть кровь.

Матросы стали обносить гостей пирогами.

— Какой красавец! — пылко сказала Анна Мария, когда близ супругов Доти прошел боцман Черный.— Какой кудрявый! Какой румянец!

Боцман, знавший по-американски², взглянул на нее гордо, поднял брови и кивнул — мол, а что же, знай наших!

Рид, подвыпив, не сводил глаз с Сибирцева.

— Вы все-таки очень похожи на американца! — разрубив рукой воздух, решительно показал через стол вытянутым пальцем.

— Ах нет, Эйли такой русский! — с восторгом воскликнула Сиомара.

— Ко-ко-ко-ко... — слышалось во главе стола.

Вард, остолбеневший на некоторое время, снова обретал равновесие души. Он хорошо помнил, что читал во «Fraser's Magazine», как русские одарены слухом, они лучшие певцы и музыканты после итальянцев. Но в статье сказано, что они лишены душевного равновесия. В другом журнале написано, что они все корабли ремонтируют в Англии.

— Ко-ко-ко-ко...

В их верфях в Архангельске все тиммерманы привезены из Плимута и Портсмута! Но тут, наверно, англичане врут.

Заиграл оркестр, и Посьет подошел к Анне Марии.

— Не могу оторвать от тебя взгляда, — сказал он по-испански.

Мистер Доти напился у него же купленным вином. Кроме того, сегодня с разрешения японцев взяли виски и шампанское на шхуне «Пилигрим», которая все еще строго охраняется, как в карантине.

Алексей вытянулся перед Сиомарой и поклонился.

— Эйли! — ответила она серьезно и положила ему руку на плечо.

— Эка их наши разожгли, — говорили матросы, смотря, что выделывают ногами американцы.

— Разве это наши — это вино!

² В Японии, которая познакомилась с американцами раньше, чем с англичанами, часто называют английский язык американским.

— Божественный напиток! — сказал унтер-офицер Астафьев.

— Мужичье! Танцуют друг с другом!

В перерыве после вальса и мазурки Анна Мария сказала:

— Сиомара, я иду переодеваться!

Обе испанки удалились.

Солнце еще не заходило, но уже видно, что горы своими тенями закрывают город. Гости разбрелись по комнатам и террасам. Задымилась манильские и гаванские сигары.

Бело-коричневые сакуры на низких холмах вокруг храма. В саду — поляны из гиацинтов и гряды гортензии. За ними стоят служащие при храме японцы с семьями в парадных и опрятных одеждах. И хозяин храма — друг русских — неустанно кланяется и улыбается проходящим.

Когда послышались резкие звуки гитар, все потянулись в главное помещение. Широко раскатанные двери кажутся в сумерках входом в пещеру среди массы вьющихся растений.

Вошел американский боцман, их знаменитый боксер, мастер кулачных боев, как уже известно матросам. Он тучный и сутулый, на коротких ногах, как чугунная свинья, отлитая на каслинском заводе, с маленькими ушами на квадратной голове, с голубыми глазками и с шеей толще, чем у Пибоди. Такую не сразу перерубишь и японской сталью.

Рядом сел смуглый мордастый матрос с лицом ярким и плоским, как медный таз для варки варенья, метис или мулат из чернокожих или краснокожих. И еще пятеро гитаристов в мексиканских брюках с перьями на швах и с черными лицами и кудрявыми головами.

— Эйли! — подошла Сиомара.

Алексей заметил радость в ее серых глазах. Ее каштановые кудри лежали красивыми мягкими волнами.

— Ты — бланш! — сказал он, чуть касаясь их.

Появилась Анна Мария. Ее пышные белокурые волосы падали на обнаженный мрамор плеч. Открытое платье темно-лилового тона с узкими полосами палевых кружев по оборкам, длинные перчатки с горящими бриллиантами на пальцах и чуть мелькающее золото тифлек.

Гитары заиграли все враз.

— I love you... — почти в крике начала Анна Мария.

Алексей плохо разбирал слова, повторялось «love... love...». Но ее сильный голос свободно выражал оттенки.

Анна Мария протянула раскинутые руки и, гордо вскинув голову, с зажигающим весельем что-то горячо воскликнула. И все замерли, чувствуя себя во власти ее прелести, веселья и таланта, которых до сих пор никто не угадывал.

Посьет побледнел, как будто на него навели дуло пистолета. Он представил другое кабре и другой успех, далеко, далеко...

Доти посмотрел на убегающую жену оловянными глазами. Все взволнованы, возбуждены необыкновенной яркой красотой и звонкой мелодией Нового Света.

— Дуриссимо! — сказал Посьет про мужа Анны Марии на новом русско-испанском жаргоне.

Сиомара засмеялась и ушла помогать подруге.

Доти казался ничтожеством. Он это знал. Пусть! Он знал, что делает и чего хочет, и он не ошибся. Хотя и слабый муж и любит выпить, но с характером и железными нервами. Будет один из китов, на которых стоит Америка.

Мексиканские гитары загремели, как барабаны. Анна Мария вышла под гром аплодисментов в роскошных волнах черных кудрей, в лентах, в блестках и красных башмачках. В громадном оранжево-красном платье, которое обтягивало ее до бедер, удлиняло талию, но вниз падало

такой массой красных воланов, что она, как плащ тореадора, держала на руке гигантский подол.

Японцы кинулись в храм, лезли вперед, отталкивая гостей.

У меня есть другое имя,—

низким голосом запела Анна Мария,—

Изабелла...

О! Изабелла! —

подымаясь, подхватил хор гитаристов.

И Мария!

О, Мария-Изабелла! —

снова поднялись гитаристы.

Она подняла кастаньеты в пальцах, обтянутых красными перчатками, и, закинув чудовищный гребень подола на плечо, прошла по кругу. В руке Анны Марии красный гребень извивается, как дракон, танцуя впереди нее. В руках у негра высокий барабан, похожий на бочонок, и он выбивает пальцами ритм. Оркестр молчит. Изабелла повторила каблуками ритмический стук тамтама. Ее нежная дробь была слаба, но отчетлива. Барабанщик и танцовщица еще раз грубо и нежно повторили друг друга. Снова грянули гитары, горячо запели вставшие гитаристы, подходя к гостям.

...Алексей, кажется, за всю жизнь столько не танцевал, как в этот вечер. Он легко угадывал незнакомые ему движения. Ночью, в разгар бала, он взял в руки кастаньеты. Он еще и сам не знал за собой таких талантов.

Сиомара, так же быстро перебирая ногами, со сдерживаемой пылкостью глядела ему в глаза.

Может быть, до сих пор он не жил и ничего не видел на свете? Что же было бы, если бы «Каролайн» не вошла в порт Симода? Сиомара вызывала в нем энергию и легкость, награждая молчаливым восторгом. Она, и любясь и позволяя любоваться собой, как бы погружалась с ним вместе в таинственный мир, где они были только вдвоем. Они не замечали, что все расступились и смотрят.

В круг зрителей ворвалась Анна Мария и смело перехватила Алексея. Она вновь переодета — в длинной юбке и ярком жакете. Дважды пройдясь вокруг и быстро двигая бедрами, она в реверансе присела покорно, склоняя перед молодым офицером свою стриженую голову.

Раздался взрыв аплодисментов, шум и крики.

Подбежала Сиомара. Сжав маленькие кулачки, она поднесла их к лицу госпожи Доти и воскликнула с гневным жаром:

— Анна Мария! Ты ведьма!

Веселый хохот, музыка покрыли все.

...Можайский, танцую с Анной Марией, вскинул ее в воздух, словно мечту о летательном аппарате...

Сиомара, гордая втайне всеобщим вниманием и победой, взяла Алексея под руку.

«В Севастополе война, а я чуть не собрался уехать в Южную Америку... — Тоскливый холод пробежал в душе Алексея. Этот холод всегда приходил при воспоминаниях. — А мы уйдем в плаванье...»

— Что с вами? — горячо воскликнула Сиомара. — Идемте в сад.

При свете звезд заблестели большие, но бесцветные бутоны на высоких стеблях и на кустарниках.

В храме американцы запели морскую балладу. Анна Мария поцеловала высокого и сумрачного Сизова. Он не плясал и мало пел, был гордо печален и представлялся ей настоящим мужчиной, презирающим бизнес и развлечения.

Сизов — матрос рослый и красивый, чистый лицом. Адмирал приказывает назначать его в конвой, на вахту и в караулы при встречах

с гостями или впереди при знамени, чтобы иностранцы удивлялись, каков русский человек. Поэтому Петра сняли с дела, велели после кузницы отмыть руки дресвой и пемзой и идти в город.

Анна Мария сама знала, как тяжело простому человеку выбиться смолоду. Женщине, понятно, помогают, но не даром. А мужчине, даже умнице, очень трудно! Сколько опасностей! В Америке прекрасная конституция. Но права, предоставленные конституцией, женщина получает через постель! Анна Мария сказала Сизову:

— Вы будете счастливы!

Заиграли дудочки, госпожа Вард вышла с пылающим лицом. Флегматичные белобрысые верзилы бурно затанцевали вокруг жены старого капитана. Она не умела танцевать, но импровизировала, чувствуя, что не в силах удержаться...

— Ко-ко...— прокудахтал Вард, но его счастливая улыбка тихо принимала легкий привкус кислоты.

— А я бухнул, что люблю ее,— слышался в саду чей-то голос.— И, конечно, полное фиаско. Возмущенный отказ...

Адмирал уже давно покинул бал. Он истово помолился и спал в ожидании, что завтра нагрянет гроза, из Эдо явятся чиновники прежде, чем он уйдет на «Кароляйн». Он и во сне готовился к сопротивлению и придумывал ответы, зная по опыту, что с японцами все доказательства окажутся негодными, в тупик они всегда умеют поставить и сами влезут.

Шум и крики слышались в комнатах. Предутренный ветерок заполоскал гардины. Еще вчера говорили: «Не кощунство ли — бал в храме?» «Они буддисты, все прощают и позволяют!» — отвечал Посьет. «А вот по улице нельзя пройти».

...Тихо замерцала серебристая предрассветная мгла.

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней...—

запел матросский хор песню, похожую на марш.

Будет буря — мы поспорим
И поборемся мы с ней...

— Как целуются у вас? — спросила Сиомара.— Я покажу тебе, как целуются у нас в Тринидаде!

За баней боцман с «Кароляйн» выплюнул два зуба. Все лицо его в крови. Боцману Черному умелым ударом напрочь снесло ухо. Удивленные матросы заставили американца разжать кулак. Но на ладони ничего не оказалось.

— Успел выбросить, сволочь! — неуверенно говорили секунданты Черного.

— Он не кулаком, а монетой! — сказал Серега Граматеев.— Зажал ее в кулак, как катерининский гривенник!

Прокопий Смирнов, ночь рубивший дрова и топивший печь на кухне, пробился вперед.

— Ты, сволочь, долларом! — яростно хрипел он, брызгая слюной.

Американцы не понимали и недоуменно сторонились от потока брызг.

Избить врага, боцмана Черного, мытарившего матросов, Прокопий желал бы сам, а не предоставлять этой чести и удовольствия другому... Какие выискалились заступники!

Глава 10. Кавадзи спускается с гор

В пятьдесят шесть лет еще ничем не отличаешься от двадцатилетнего, легко идешь по горам, поднимаешься на перевал и спускаешься к морю и лишь изредка отдыхаешь в просторном каго.

Кавадзи послан в Симоду со срочным поручением правительства. Перед отъездом его принял шогун и опять одарил. Халатами и на этот раз; большая честь! Сознаешь свое высокое назначение.

В долинах все цветет давно. Пылко чувствуешь наступление весны и приободряешься, как в лучшие молодые годы.

На карте у Путятина показано, как к острию полуострова Идзу из китайских морей идет теплое течение. Конечно, и раньше известно было, что к Идзу идет и идет от века теплая южная вода, поэтому полуостров большую часть года похож на цветущий сад. Чувствуя прилив сил, Кавадзи шагает в гору, а его пустой богатый паланкин высшего правительственного чиновника несут полуголые крестьяне, обязанные исполнять казенные повинности. Подложив подушечки на сбитые и растертые плечи, они терпеливо спешат.

Впереди двое воинов несут значки на древках. Следом за Кавадзи идет самурай с мечом, другой несет веер, третий шляпу, четвертый портфель, дальше — плетеные коробки с бельем, обувью и халатами, сменными и парадными.

Вместе с Кавадзи едет значный князь Мидзуно Чикугу но ками, который в прошлом году заключил договор с Англией, бывший губернатор Нагасаки, начинавший там дипломатическую карьеру. Теперь назначен, по сути, в подмогу Кавадзи, формально на равных с ним правах, но как князь с большим весом и значением в глазах чиновничества и с правом шествовать со своим поездом впереди. Для разрешения сложных дел с иностранцами в Симоду.

— На колени! На колени! — кричат самураи всем встречным.

Мидзуно Чикугу — даймио. А Кавадзи — чиновник, выслужившийся из мелких и голодных самураев. Но Кавадзи душа всех делегаций и главный участник всех переговоров, в которые вступает Япония. Он подписал трактат с Путятиным, он проверял японо-американский договор и настоял при его ратификации, чтобы американцы согласились со всеми требованиями японцев. Правительство посылает его туда, где трудней. На него надеются. Но он не даймио! Так верно оберегаешь строй, при котором считаешься второстепенным человеком! При этом канцлер и члены горюю ему покровительствуют. Всеми признано, что Кавадзи умнейший и наиболее смелый и талантливый из государственных деятелей. Но сам он поэтому-то и не может быть в горюю — верховном тайном совете государства из пяти высших вельмож, близких шогуну. Мягкий, переменчивый властитель любит развлечения, не очень здоровый, может умереть внезапно — им недовольны многие родственники и близкие. Действует по советам гениального канцлера Абэ, которому тридцать семь лет и который, как считается, умело и решительно управляет. Но шогун остается шогуну. Название «шогун» означает, как приходилось признаться Путятину, — «военачальник для подавления варваров». Родоначальники шогуну семьи Токугава были главнокомандующими армией, узурпировали власть, отняли ее у тенно и сделали наследственной. Так и прежде бывало в истории. Семья Токугава разрослась. Теперь многие потомки обдарились, немало родится глупых, хотя есть мудрые и храбрые.

Как учит Конфуций, главное — это народ. Потом — бог, а уж потом — царь! Цель династии — забота о здоровье и благополучии народа. Династия прогрессивна при воцарении. Она думает об основе основ государства, поэтому достигает величия, а государство — могущества. В эту пору строго соблюдается порядок, чтобы народ не мешал прогрессу. По должностям, по признанному уму, по положению в обществе, в государстве, в семьях, где строго друг другу подчиняются. Потом начинается деградация властителей и распад. Тогда необходимо свергать династию и устанавливать новую власть. Может быть, это не сов-

сем точное толкование? Но можно и так понять учение великого мудреца. Так понимают современные китайцы? Там распад династии. Всеобщая распущенность и разврат. Народ восстал. Идет гражданская война. Чиновничество прогнило, дворянство пало, ослабло. Армия восьми знамен потеряла воинственный дух. Еще в прошлом веке она была грозной силой, совершала набеги. Единственно кто еще спасает государство — китайские женщины, родят множество детей. Признак силы народа, что народ еще не загублен своими правителями, не все силы еще подорваны. Даже англичане еще не отравили его. Такого развала нельзя допустить в Японии. У нас не будет ничего подобного — ни падения династии, ни деградации чиновничества. Напротив, мы все укрепим решительностью и воодушевлением самураев, заимствуем лучшее у Запада, преобразим свое государство и возвысим его. Кавадзи один из тех, кто смотрит вперед и видит будущее.

Владыки Китая не следуют Конфуцию. На первом месте у них не народ, а они сами. На втором — бог. Как помощник, чтобы побольше взять выгод. На третьем — иностранцы, англичане. Борьба с ними притворна. Выгоды от них велики, хотя и незаконны. А народ, может быть, на четвертом месте.

В Нагасаки при первом знакомстве с Путятинным Кавадзи был приглашен на борт «Паллады». Там был писатель Гончаров. Он сказал, что создает книгу о переговорах в Японии. Но русские не знают, что у японцев произошло. Губернатор Нагасаки, князь Чикугу, теперь прогрессивный сторонник открытия страны и познания западных наук, тогда был темный и тупой реакционер. Он перепугался, когда Путятин пригласил Кавадзи и Тсутсуя на «Палладу», решил, что русские заманивают послов Японии, чтобы увезти их в Россию заложниками. Вызвали добровольцев-смертников, нашлись шестьдесят старых самураев-догматиков. Имея детей и внуков, они не боялись умереть. Во время праздника у Путятина в честь делегации Японии они подвели судно, груженное порохом, к борту «Паллады», чтобы взорваться вместе с ней, как только обнаружится хитрость и начнется захват и пленение послов иностранцами. Очень смешно вспоминать! А Путятин, ничего не подозревая, показывал свой корабль, водил гостей в камеры с порохом. Один момент был ужасный. Кавадзи сам обмер. Путятин громко приказал показать гостям, как на европейском судне управляют с парусами. Четыреста моряков делали все очень быстро. По веревочным лестницам они взбежали вверх, и сразу громадные мачты оделись величественными парусами. Казалось, все ясно. Хитрый прием! Подняли паруса и уходят. Судно тронулось? Конец? Но еще почему-то не хватают в плен! Вот что мы подумали о них! Когда это было простым обычаем их гостеприимства. А мы решали, не пора ли давать сигнал смертникам.

Труба капитана громогласно разнесла новое приказание по вершинам гигантских мачт, и, как снесенные ветром, один за другим стали падать паруса на реи. Матросы отаптывали их босыми ногами и увязывали. Корабль не уходил! Только тогда на сердце Кавадзи отлегло. Стыдно вспомнить! А губернатор Чикугу но ками сидел на берегу с дайканами, обезумев от ужаса, и не знал, что предпринять.

Чикугу но ками очень красивый, у него княжеское, благородное лицо. Серьезный и образованный.

В дороге, особенно когда идешь пешком, приходят хорошие мысли. Для чиновника из замка Эдо полезно пройти по своей стране в пору цветения сакуры, подышать ее воздухом.

В наше время очень глупо так передвигаться по делам службы! Называется, что мы отправлены со срочным поручением от бакуфу, спешим в Симоду, должны как можно скорее навести там порядок и

доложить об этом правительству. При этом мы идем пешком, спим очень мало, едим в дороге наскоро, помогаем носильщикам, вылезая из каго, хотим, чтобы они немного отдохали и двигались быстрее, и приходим в Симоду лишь на третий день.

А Путятин при последней встрече в Хэде, показывая шхуну, которую он строит, сказал, что на такой до столицы Эдо можно дойти за несколько часов. И добавил, что еще быстрее и уверенней можно идти на паровом судне. Высшие чиновники в такой стране, как наша, должны иметь собственные паровые яхты, как у премьер-министров и высочайших особ в Европе.

Кавадзи идет к Путятину, чтобы говорить о делах. Когда-то русские на четырех кораблях впервые пришли в Нагасаки и просили заключить с ними договор. Делегация от правительства Японии выехала к Путятину из столицы лишь через несколько месяцев. При встрече обменивались мнениями, знакомились, старались узнать друг о друге. Сначала Путятин показался хитрым варваром, а Гончаров — шпионом. Когда Гончаров об этом узнал, не обиделся, а удивился. У Кавадзи потом составилось о Путятине высокое мнение. А с Гончаровым он сдружился. Но теперь Путятин поступил непозволительно. А мы надеялись! На месте Кавадзи другой чиновник переменялся бы к Путятину. Но Кавадзи старается не думать зло.

Эпоха Путятинна — это и его эпоха. Нельзя позорить и обманывать государственных деятелей, с которыми вместе делаешь историю. Их ошибки, заблуждения — это и наши ошибки. Их жестокости — наши жестокости. Наши глупости и подозрения — их глупости.

«День клонится к вечеру, сияют бамбуки, ручьи нежно шумят, слышно, как в нашем чайнике вздыхают сосны», — вспомнил Саэмон Кавадзи.

Государственная жизнь у нас в Японии всегда очень бурная. Не все князья слепые приверженцы شوгуна. Есть враждебные ему. Идет борьба, само правительство время от времени обновляется. Появляются и допускаются к власти молодые гении, как тридцатисемилетний князь Абэ, который сейчас во главе государства. А ведь он слабеет, он болен. За спиной каждого из членов правительства скрываются другие вельможи. Нет согласия и среди потомков основателя شوгуна Такугава!

Ночевали на большой станции. Утром, когда готовы были отправиться дальше и Кавадзи вышел из отведенного ему храма, у него на глазах вдали, по нижней дороге, ведущей в Симоду со станции, на быстрой лошади поскакал самурай. Кем послан? Куда спешит? Предупредить о торжественном шествии поезда вельмож из столицы? Но об этом уже все заранее извещены. И вперед едут конные самураи Чикугу и Кавадзи. Зачем же еще какая-то почта?

Знакомая молоденькая служанка сказала сегодня утром Саэмону: «Будь осторожен, господин! За тобой следят!» «Что?» — вздрогнул он, но смолчал. Когда-то жила эта девица в доме Кавадзи. Простенькая дурнушка! Странно, как смела. Но она что-то не так сказала, ошиблась. Сказала и очень покраснела; ему стало жаль ее, как раньше. Она еще добавила: «Будь осторожен с иностранцами!» «Ах вот что!..»

...Наступает вечер, когда хочется посидеть за чаем и послушать, как поют сосны. Ручьи, звеня, падают со скал и убегают в зияющие трещины. Но вдали уже виднелись крыши Симоды. Вот и молодые бамбуки серой дружной чащей поднимаются по склону сухой высокой горы. После такой прогулки их побеги в простом соусе покажутся очень вкусными. «Утонченная бедность!», «Величие в самых малых делах жиз-

ни!», «Ты гасишь свое сияние, чтобы погрузиться в темноту других!», «Только в пустоте лежит истинно сущее!», «Быть сдержанным — значит быть утонченным!», «Быть таким, как яшма!».

Да, это так! Это истины, которым Саэмон следовал всю жизнь! «Скромность, сдержанность, терпение», «Великая гармония», «Пустота как истинно сущее, еще не заполненное». Да, величье малых дел! Но в замке Эдо теперь все так торопятся, так волнуются, теряют самообладание, что, кажется, ни у кого больше нет «большого чая».

Величье малых дел? Саэмон верит, нужны твердость сердца, вера в истины... Путятин сказал на одном приеме, что пьет за японцев, что это самый лучший народ в Азии, у японцев есть твердость характера и чистоплотность!

Зачем же он так грубо вторгся во внутреннюю жизнь этого народа, куда он был допущен, где ему многое было открыто, как никогда и никому за всю историю Японии? Зачем он позволил себе такое самовольство? Поселить на земле Японии американских женщин! Даже мужчин мы еще не совсем согласны принимать. Мы от консулов отказываемся. А он поселил женщин! У нас боятся этого, говорят, это может быть для Японии началом великих несчастий, началом заселения нашей страны иноземцами и иноверцами. Так рассуждают и в замке Эдо и в замках князей. И об этом твердо должен говорить Кавадзи с Путятиным. Саэмону велено потребовать, чтобы из заключенного трактата было удалено согласие Японии принять русских консулов.

Приехал американский консул! Но мы и ему скажем, что консула с семьей не примем даже от Америки. Только холостого. В правительстве все понимают, что глупо не позволять семье консула сойти на берег. Но так поступают, чтобы народ видел, как правительство верно тем глупостям, которым оно учит народ.

Поезд вельмож вступил в город, и Саэмон но джо «снял сандалии» в отведенном ему храме со множеством цветущих камелий. Тяжкие деревья азалий стояли в теплом воздухе юга в глубине храмового двора как розовые и алые стога, схваченные в черные корявые вилы. Скоро цветов будет еще больше. Тогда черные ветви исчезнут совсем.

Губернатор Накамура расстроен, смущен, разбит... Он теряет свое лицо?

— Произошло... ужасное...

«Что же?» — холодно спрашивал взгляд Кавадзи. Он подносил к губам первую чашку «жидкой яшмы».

— Да... американская...

— Шхуна? Агрессия? Война?

Накамура кланялся и едва шевелил языком:

— Да, да. Все это! Конечно. И это тоже. И еще одна шхуна с виски и еще пушка... Но главное не в том... хуже...

Накамура вежлив, кроток, скромнен. Его преданность традиционному этикету начинает раздражать Кавадзи, вооруженного западными понятиями.

— Пришла американская opisная эскадра?

— Нет... Аме... рикан... ская... красавица! — дрожа, как в лихорадке, отвечал Накамура. Его богатырские плечи содрогались, словно он собирался сопротивляться по системе дзю дзю цу.

Скоро все аристократы потянутся на запад. Взамен чая произведены такие удачные опыты с шампанским, доставленным в Японию на черных кораблях. Шампанское приятно овладевает головой и ногами без лишних церемоний.

Кавадзи еще раз поднес к губам белую фарфоровую чашечку с жидкой золотистой яшмой.

«Скромность, терпение, вежливость!..»

— В Гекусенди четыре американки, четверо детей и свора собак. Одна очень большая, как маленькая лошадь князя Мидзуно из Нумадзу. Когда все ходят гулять, то очень красиво, как на картине у Путятинна. Американская красавица... стриженная... И под вуалью. Неопишущая красота.

— Стриженная? Женщина?

— Русские и американцы собрались вместе в храме Нефритового Камня, кушали, пили вино. Сидели за столом все вместе. Играла музыка. Матросы все были одеты в белое, пели свои песни. Потом вышла американская красавица с приставными волосами другого цвета. Она пела. Очень грубо и резко, но все приходили в восторг. Ей подыгрывали негры на струнных инструментах. Потом она сама взяла такой инструмент, пела, и опять все приходили в неистовство. Потом опять переменяла волосы, стала черная, как японка. Еще пела и танцевала. Потом очень бурно играла музыка, и все четыре американки танцевали с русскими офицерами и с американцами по очереди. При этом мужчины и женщины обнимались. Все прыгали. Подпрыгнут высоко, мужчина стукнет ногой об ногу и перевернется в воздухе.

— Какие герои! Какие герои нашлись! — вспыхнув, сказал Кавадзи.

Он почувствовал себя обманутым: «А мы надеялись на их противоречия! Нет, кажется, весь мир заодно, когда надо войти в Японию».

— Как нам быть? Вся Симода говорит: в храме Гекусенди живет американская красавица. Играл медные трубы. Русские и американцы танцуют. Гром и грохот! Плясал великан Можайский, который владеет прибором для снятия природы на пластинку. Тоже подпрыгивал и при его силе бросал даму вверх. Еще пляшет Ширигу-сама. Посыет разговаривал с американками на всех языках. И тут же их мужья. Сибирцев очень нравился, и с ним танцуют все американки.

— Какие герои! Прыгали с американками в воздух! И Путятин все это видел?

— Да.

— Какой герой!

— Американская красавица, когда здороваается, то протягивает руку, белую... Очень нежную. Множество драгоценностей в звенящих браслетах, а пальцы в перстнях... Я очень опасался прикоснуться. Ее глаза — как небо и море, лицо белое, как мрамор, брови и ресницы очень черны... Все говорят, когда посмотришь, то душа отлетает... Все девицы в Симодэ сказали: «Куда же нам! Разве можно наши праздники сравнивать с их праздниками!» Все, все японки хотят видеть, запомнить, перенять... — Накамура всхлипнул, — и походить на них!

«Да, это впечатляет!» — подумал Кавадзи, понимая, что и Накамура, значит, пожимал руку красавицы, видимо, ездил не зря в храм Гекусенди.

— Население восхищено. Этого не видели никогда, и я тяжело переживаю. На балу выпили вина и виски. Бутылки... И бочки... И теперь каждый день все с похмелья, очень больны. Кроме посла Путятинна. Он бодрый...

Накамура-сама с переводчиком Мориамой Эйноске был немедленно послан в храм Нефритового Камня к послу Путятину с извещением, что Кавадзи и Чикугу но ками прибыли из Эдо, поздравляют Путятинна, осведомляются о здоровье. Восхищены постройкой шхуны в Хэде. Необходимо утром срочно встретиться. Князь Чикугу вел переговоры со Стирлингом и подписал с Англией договор, он имеет много наблюдений и хочет сообщить Путятину срочно важные сведения.

Переводчику Мориаме Эйноске, свободно говорившему по-английски, Кавадзи велел после беседы с адмиралом, когда губернатор На-

камура покинет храм Гекусенди и отправится к себе в город, пойти в сопровождении двух самых низших самураев из числа пеших к американцам. Строго объявить им от имени губернатора, чтобы быстро подготовились к утру покинуть храм Гекусенди и уйти с берега на корабль.

...Путятин сказал Накамура, что не может задержаться в Симодэ.

— У нас христианский праздник пасха,— добавил Посьет.— Поэтому адмирал спешит встретить праздник со всей командой. Кроме того, есть и другие важные обстоятельства.

Путятин сказал, что капитан Посьет явится к Саэмону но джо завтра и все изложит подробно.

— А я уйду на американском корабле в Хэду. Надо подготовить судно и моих людей, уходящих на нем в плавание в Россию. Об этом мы договорились с Америкой и заплатили императорским золотом. Постройка шхуны продолжается, и мы обязательно доведем ее до конца. Сам я остаюсь в Хэде. Если что-то неясно — жду вас там, Накамура-сама. Я вам объяснил, что невозможно взять женщин в плавание во время войны, их могут убить англичане ядрами. Моя команда состоит из очень храбрых морских солдат, и я должен послать ее на войну. Иначе мой государь будет озабочен. Зная дружбу Японии, мы глубоко благодарны и надеемся на милость вашего государя и шлем нижайшее почтение Кавадзи-сама...

— Посол хочет выиграть время! — сказал Кавадзи, выслушав возвратившегося Накамура.

Путятин сам не идет ко мне и не приглашает меня. Он хочет уклониться от переговоров! Сообщает, что немедленно, завтра же, Посьет явится для всех объяснений. Посьет готов будет выслушать все, что Кавадзи-сама найдет нужным сказать? «Нижайше просим!»

Путятин прислал письмо. Поздравлял по случаю благополучного прибытия. Писал, что очень рад был бы встретиться, но сейчас не может, срочные дела...

«Я так и ждал!»

Подали чай.

— Посьет тоже прыгал в воздух,— сказал Накамура.— Шлепал каблуками и при этом поворачивался. Это записано. Все. Рапорты получены. Все документы будут храниться в канцелярии Управления Западных приемов.

В глубине души Кавадзи говорил себе, что может понять Путятин. По-своему он прав и совсем не намеревается оскорблять Японию. Так принято во всем мире, и по их понятиям не они оскорбляют нас, а мы их. Но долг есть долг. Можно сначала намекнуть, а потом сказать, что мы его не выпустим из Японии, если он не откажется от статьи трактата о консулах. В Эдо таким важным и опасным кажется этот пункт, что некоторые согласны отдать России весь Сахалин и не требовать тысячу островов, которые никогда и не принадлежали Японии. Только бы не пускать русских консулов в города. И не пускать женщин.

Накамура поднялся и стал кланяться. Посмотрел по сторонам, как бы озираясь в страхе, шагнул поближе и с горьким выражением лица тихо сказал, что вечно благодарен Саэмону но джо и помнит все... но полиция... получила распоряжения из Эдо считать Кавадзи Саэмона но джо... русским шпионом. Ему не мешать при переговорах, но записывать, смотреть за каждым шагом. Передано из Эдо.

Кавадзи был спокоен и холоден. Накамура откланялся и ушел.

«Чьих это рук дело? — подумал Кавадзи.— Я, Кавадзи Саэмон но джо,— русский шпион? Но меня не так-то легко напугать... Накамура

никогда не лжет и не ошибается. Не зря им сказано. Была бы ошибка, он молчал бы. Он проверил все».

Тревоги овладевали мужественным сердцем чиновника-воина. «Ведь меня только что принял и обласкал шогун. Канцлер Абэ выказал мне доверие...»

Неужели в то самое время, когда награжденного и возвеличенного Кавадзи провожали с почетом из столицы, там уже произошла перемена и ему была уготована иная судьба? Он слишком умен и деятелен? Он раньше других осмелился совершить то, что было неизбежным, чего вся образованная Япония ждала уже давно? Или интриги реакционеров? Или хитрые и ловкие приемы главарей тайной полиции, кровавых карьеристов? Двуличие князя Абэ? Подготовка к свержению шогуна? Перемена правительственной политики? «Или они хотят мне сделать то, что у китайцев называется решеткой?» Когда вдруг пальцы, указывающие направление политики, перекрещиваются с другими пальцами, указавшими совершенно новое направление. Тогда-то и получается «решетка».

Так Саэмону не джо может быть в любое время, даже ночью, вручено повеление о самовспарывании... Вот та власть, которой он так верно служит, которую подпирает всей силой и старанием.

Кавадзи вспомнил, что в дороге замечал странное поведение встречавших чиновников. Стоящие впереди кланялись и падали ниц, но как-то странно улыбались. И вспомнил, как вчера утром перед уходом со станции Миасима, в том же направлении, но по другой дороге поскакал конный самурай. Неужели он вез указ считать Кавадзи шпионом? Правительство дает чиновнику поручение, а в тайную полицию сообщает, что надо показать этому чиновнику, что за ним слежка, напугать его, все испортить, отравить, провалить его переговоры, лишить его стойкости. Отбить охоту изучать иностранцев.

«Какая же, однако, эта американская красавица? — вдруг подумал Кавадзи, укладываясь под футон, и улыбнулся.— Теперь, пожалуй, нельзя запретить ей жить в Японии. За нее Путятин, за него Россия, и Америка, и весь мир. Даже Англия тут будет с ним, а не с нами, хотя у нее война с Россией».

Хотелось бы посмотреть на американскую красавицу! Когда думаешь о ней, то самые страшные мысли отлетают...

Утром во время гимнастики и сабельных приемов мысли нахлынули с новой силой: «Меня, кем нация могла бы гордиться, объявляют предателем и шпионом! Нет, это дело рук не Абэ. Приказ о самоубийстве был бы послан мне благородно, будь мной недоволен канцлер, правительство или шогун. С благородными рыцарями службы и чести они поступают благородно».

Кавадзи вспомнил разговор с молодой служанкой. Она уже знала! Она предупредила его... но он не понял. И прежде, когда в его доме служила, была фамиллярна с ним. Полагала, что ей все дозволено. Пришлось жене ее уволить. Кавадзи не поверил вчера, подумал, что она не то сказала, не так выразилась по простоте и безграмотности.

Кавадзи все же еще крепок и непоколебим. Он верен тенно, шогуну, канцлеру и правительству. И всем законам и обычаям страны, в которых воспитан. Он не испуган. Он докажет свою честность делом. Японию надо открывать. Дороги в мир надо прокладывать, какие бы подозрения ни сострепали покровители мелких доносчиков. Кто-то из реакционеров пустил слух, а высшие мецке сами перепугались? Может быть, так. Полоумные реакционные князья беснуются, а втайне сами мечтают об американском виски, золотых долларах... и будущих путешествиях в Европу.

Глава 11. Под одной крышей

Кавадзи и Чикугу но ками сидели за бумажной перегородкой в Управлении Западных приемов, слушая разговор Накамуры с американцами. Кавадзи выпускал из свитка бумагу и столбцами кистью записывал все, как добросовестный чиновник. При этом думал: «Мы — японцы — не меняемся. Остаемся такими же, как в Нагасаки в первые дни переговоров. И такими навсегда останемся, хотя подписали три трактата сроком до детей и внуков, иностранцы понимают это выражение как на вечные времена». Саэмон искоса взглянул на красавца князя. Тот сидел в гордом спокойствии.

Губернатор Накамура добыл важные сведения об американцах, о чем уже доложил. Это удивительно, чудесно. Теперь послушаем, как он сможет воспользоваться. Кавадзи ждет. Ведь Тамея его выученик, приверженец и верный друг, что и доказал.

— Мистер Рид, кто назначил вас консулом? — спросил Накамура.

Эйноске переводил. Там же второй губернатор Исава-чин и еще двое переводчиков.

— Меня назначила Америка! — ответил Рид.

— На какую должность и куда?

— Консулом в Японию. В открытые порты.

— Пожалуйста, бумаги.

Разговор, происходивший за перегородкой, походил на допрос.

— Бумаги еще не были готовы. Но посланы мне вслед. Направление консулом в Хакодате и по совместительству возлагается обязанность консула в Симодэ.

Это теперь известно.

— Мистер Рид послан Америкой сюда или в Китай? — вдруг спросил Исава-чин.

Американец, кажется, обиделся. Но сдержался. Обижаться тут нельзя, наверное, он это понимает. Одно из двух: или с выгодой торговать, или обижаться.

За бумажной перегородкой под одной крышей с американцами сидел Кавадзи и все писал. Иногда чиновники приносили ему и князю короткие записки губернаторов.

После первого визита торговцев алкоголем к властям Симоды японская морская полиция окружила на лодках шхуну «Пилигрим». По приказу Накамуры американцев с «Пилигрима» и «Каролайн» не пускали друг к другу, чтобы моряки Варда не выболтали, куда и с кем пойдут из Японии. Тут Накамура и Мориама Эйноске выказали себя отличными детективами.

Когда русские попросили позволения съездить перед балом на плавучий грогхауз за виски и шампанским, это было им разрешено. С русскими нагрянули на «Пилигрим» американцы с «Каролайн», некоторые там и пили, о политике не говорили. В толпу посетителей затесались японские шпионы, а чтобы их скрыть, дозволено было подняться на «Пилигрим» спекулянтам из города. Виски доставлено было и в рестораны, и в Управление Западных приемов, и на квартиры начальства, и запас оставили для Кавадзи и Чикугу но ками.

Побывал на шхуне и Эйноске.

«Рид лжец, а не консул!» — успел сказать ему курчавый калифорниец с «Пилигрима». «Разве можно так говорить про своих иностранцам?» «Я не зря говорю. Я надеюсь, что получу позволение торговать. А говорить у нас можно про своих. У нас свобода слова».

Курчавый американец, видя, как Эйноске хорошо говорит по-английски, добавил, что в газетах не объявлено и нигде не напечатано о

назначении консула. «А мы ушли из Америки позже их и знали бы...» «О-о! — изумлялся Эйноске. — Значит, Рид самозванец?»

Агенты Накамуры столковались очень быстро с японцем в цилиндре и перчатках, которого привезли на «Пилигриме» из Америки. Смело обещал доставлять все нужные сведения.

Ему дали всего одно золотое бу. Японец мгновенно спрятал монету в карман американского костюма. Бедному рыбаку и не снилось такое богатство. Такие монеты, когда он жил в Японии, наверно, приходилось видеть редко. Это, конечно, большая победа Японии. Так японец с «Пилигрима» был первым американцем, купленным японской тайной полицией.

«Но какой они все-таки нахальный народ! — думал Кавадзи, выслушивая переводы объяснений Рида. — Пора бы уж, кажется, все самому понять!»

Недаром, как сказал Тамея-сама, очень устают наши агенты, которым поручается слежка за американцами. Иногда эти янки с «Каролайн» бьют по лицам следящих за ними.

— Прошу разрешить разгрузиться шхуне «Пилигрим», — сказал Рид.

— Мы не даем права открыть грогхауз в городе. Ввоз виски по трактату не разрешается.

— Они ждут военный флот, — сказал переводчик.

— Из-за виски флот не объявит войну, — ответил Исава-чин.

Рид еще что-то хотел сказать, но тут Эйноске перебил его.

— Где же ваши верительные грамоты президента и секретаря государства? — спросил он совершенно как западный человек.

— Пока еще нет. Я иду в Хакодате и там буду консулом.

— Консулом или торговать?

— В Америке это одно и то же. Каждый торговец может быть консулом.

«И наоборот! — подумал Кавадзи. — Путятин в таком случае сказал бы: «Америка остается Америкой». Говорят, что в Америке смолоду учат красноречию, как у нас сабельному бою. Главные у них не земледельцы, а адвокаты, ходатаи по делам».

— Шхуна по контракту отвозит русских, — сказал Рид.

— На Камчатку или в Хакодате? — спросил губернатор Исава.

— Сначала зайдем в Хакодате. Пока товары оставляем здесь на складе.

— По какому праву? Кто разрешил?

— Президент подтвердит мои права. Не могу уклониться.

«Ясно — Рид врет. Очень смело изворачивается. Что же будет, когда они все хлынут к нам! И при этом жалуются на нашу тайную полицию. Может быть, сюда идут те, кому нет места в Америке, как сказал Шиллинг? Иное дело русские. У них Крымская война. Туда все идут с именем императора. На смерть отправляют самых лучших».

— Мы все же просим разъяснить, — заговорил Накамура, — почему прибыли без бумаг?

Американец ответил, что в Америке мало значения придают бумагам и бюрократии. Важна суть дела. Торговцы — проводники культуры и цивилизации.

— Для Японии мое назначение консулом удобно и выгодно. Буду исполнять обязанности консула пока без бумаг, а утверждение придет после. К этому времени японцы ознакомятся и также узнают и увидят, как ведутся дела...

Кавадзи свернул бумагу и спрятал в рукав. Он понимал, что теперь ему придется брать кнут в свои руки.

— Пожалуйста, просим исполнить наше приказание, нужно разре-

шение из Эдо, чтобы ехать на Камчатку,— сказал Исава.— Благодарим мистера Рида. Пожелаем счастливого возвращения на корабль.

— Передайте капитану,— добавил Накамура,— пусть немедленно погрузит все товары на шхуну. Сразу же возьмет на борт женщин и детей.

— Но товары не мои, а мистера Доти и мистера Дотери. Шхуна не моя, а мистера Варда. Говорите с ними.

А мистер Вард вчера и разговаривать не пожелал с Мориамой. «Объяснитесь с консулом»,— заявил он, кивая на Рида, и вышел из комнаты.

Ни он, ни Доти, ни Дотери не пришли сегодня по требованию губернаторов. Один лишь Пибоди с висящим на веке глазом, немой, как рыба, простоял всю беседу подле консула.

— Придется опять идти к Путятину? — спросил Накамура, отпустив американцев.

— Нельзя так унижаться,— ответил Кавадзи.

Губернаторы «надели сандалии» и в сопровождении чиновников и воинов разошлись по своим квартирам.

— Какие женщины приехали, Кавадзи-сама! — воскликнул Посьет, войдя в храм к Саэмону.— Прелесть! Едемте знакомиться!

— Что? — Кавадзи растерялся.— Но... но..

Посьет знал слабости своего высокого друга.

Константин Николаевич тут же высыпал как из мешка поздравления с прибытием, пожелания здоровья от адмирала и себя, выказал все знаки глубочайшего уважения.

«Ну-ну, и что еще?» — спрашивал обиженными выпуклыми глазами Кавадзи.

— Путятин прислал меня с низжайшим поклоном,— говорил Посьет, сидя с Саэмоном за маленьким столиком на террасе.— Он уходит на шхуне в деревню Хэда. Очень занят.

— Прошу передать адмиралу и послу Путятину, что американцы должны взять с собой женщин.

— Об этом мы уже ответили его превосходительству Накамуре-сама,— сказал Посьет.— Идет война. Поступить иначе не можем. Это исключение, так не будет повторяться, адмирал низжайше просит спасти семьи американцев.

Посьет очень приятный собеседник. Он заговаривал зубы Саэмону и тянул время, но в главном твердо исполнял волю адмирала. Саэмон также помнит долг. Он сам бы хотел поехать к Путятину. Но Посьет уже сказал, что адмирал еще не уходит из Японии, ничто не меняется, время для разговора не упущено. Путятин всегда очень рад встрече с Кавадзи-сама!

Может быть, так лучше? Правительство строгое, но уж все разваливается по китайскому выражению: «Евнухи и женщины в почете!». Плохой признак. Теперь можно свободно клеветать на любого. Все воруют и все берут взятки. Так что же требовать соблюдения наших законов от Путятинина! Мы требуем, но не верим сами, что наши требования исполнятся. Япония унижена. Но душа ее жива, а унижение и поражение — залого победы.

— Еще одна повторная просьба, Посьет-сама. Наше правительство обеспокоено богослужением русских в Хэде..

— Об этом мы дали объяснения губернаторам, и я охотно подтверждаю вам, Саэмон-сама...

Русские очень часто совершают торжественные богослужения, но при этом не выходят из лагеря. Как было оговорено. А доносы в столицу идут непрерывно.

— Как можно, Кавадзи-сама, не заметить, когда такие роскошные дамы пришли в Японию! Грех вам не видеть! Они сделали бы честь самому высокому аристократическому собранию в Европе! Представляется случай изучить женское общество... Сиритай-дэс!³ Влияние женщин в западном обществе очень велико...

— Это плохо! — сказал Кавадзи.

— Вы только посмотрите на них. Приезжайте ко мне в гости... У нас был бал. Одна из американок прекрасно поет...

— Да, я уже слышал. Все японцы говорят о ней, — как-то покорно ответил Кавадзи.

— А как же вы поступаете с дамами? Да войдите в положение адмирала! Что бы вы делали на его месте? Если семьи торговцев были бы взяты в плен и — не дай бог — погибли, то какой позор вы навлекли бы на свое правительство. Хотя этого, конечно, не случится.

Когда Посьет ушел, Кавадзи послал письмо Накамуре. Приказал: завтра же отправляться в Хэду к Путятину, говорить с ним до отхода американской шхуны в Россию, предъявить снова наши требования, повторить, не уступать, держаться твердо. «Как и здесь», — добавил он.

И почувствовал, что стало легче. Это так! «Сегодня, в то время когда столько неприятностей и кто-то из темноты государственных недр угрожает, я все отшел и так обрадовался втайне, когда Посьет мне рассказал про американскую певицу. Кажется, по привычке, слыша про хорошенькую женщину и забывая возраст, я готов увлечься? Признак большой душевной и мужской силы; конечно, так». Признак презрения Саэмона к тайным врагам, хотя и убить могли бы. Или это что-то еще небывалое в его жизни, и в вознаграждение за неприятности судьба посылает такое загадочное знакомство. Ничего не бывает зря, высшие силы берегут Кавадзи и посылают ему заманчивый мираж счастья? Что-то еще неизведанное и прекрасное, что должно же прийти наконец в Японию следом за всеми пугающими нас трактатами, которые, едва подписав, мы стараемся уже изменить.

Дела закончены. Кавадзи взял меч и вышел в сад, чтобы упражняться. Сидя целый день, очень устаешь, мускулы ослабевают. На площадке среди больших деревьев, где он не раз занимался в прошлые приезды, Кавадзи поднял тяжелый меч и хотел размахнуться, но услышал, что кто-то совсем близко подсвистнул. Это не птичка. Кто смеет?

Саэмон шагнул в чащу сада, но остановился. Свистнули посильней с другой стороны.

А-а! Опять! Кавадзи — русский шпион! За ним надо следить! Ему надо напоминать, что за ним следят! В государстве все разваливается, все воруют! В конце прошлого года обворовали во дворце шогунa хранилище казенных драгоценностей. Многие готовы продать любые сведения американцам! А виноватым хотят представить Кавадзи! Кто-то пустил шпионов по ложному следу, желая отвести подозрение от себя? Ну что же, Кавадзи примет вызов. Посмотрим!

Саэмон мог бы приказать отряду своих самураев, готовых всегда к битве, изрубить на куски всякого, кто прячется в саду.

Кавадзи опустил меч и ушел в храм. Теперь тихо. Снова вышел с мечом, и опять услышал подсвистывание, и опять хотел отдать приказание своим воинам. Но врагам только этого и надо!

Этот способ называется «змея заползает в сердце». Саэмон — бывший министр береговой охраны. У него самого в подчинении были тысячи шпионов. Но он наблюдал за границами страны и требовал бдительности к иностранным кораблям.

³ Изучаем!

Кавадзи, прежде чем возвратился за деловой стол, взмахнул мечом пятьдесят раз. Это немного. Год назад здесь же по утрам он взмахивал по пятьсот раз. Государственные мысли являлись и не давали покоя, необходимого для упражнений. Мастера-виртуозы сабельных боев крепко спят, когда писатель Кавадзи пишет дневник и стихи, после того как обдумал политику родины.

...Накамура пойдет в Хэду. Мы должны действовать с Путятиним решительно, как приказано в Эдо. Как же? В Эдо не смогли придумать. Но в Эдо будет сообщено, что повеление исполнено. Хотя Япония еще бессильна, надо признаться. Путятин стремится как можно скорее уйти на войну. Кавадзи должен дать понять, что самовольные действия адмирала в Японии могут помешать его отъезду.

Наши требования к Путятину и американцам при всей глубине наших страданий в теперешнее переломное время нелепы и позорны, как тайное подсвистывание в саду.

Саэмон взял дневник и записал ваку:

Свистящие в саду — коллеги
Мастера всеобщих избиений...

Еще записал, что Посьет говорил про американскую красавицу. И в голову не приходило, что может явиться такая красавица, что глубокие служебные царапины в душе будут исцеляться лишь при мысли о ней. Жена — награда от двора для расторопного чиновника — с ее тактом, образованием и великосветскими привычками казалась лишь чем-то вроде антикварной драгоценности. Дар, подобный халату с государева плеча. «Я должен увидеть американскую красавицу!» — сказал себе Саэмон.

Где-то послышалась песня. Среди лесов и садов к морю шагали моряки Путятин. Шхуна «Кароляйн» готовилась к отходу на рассвете.

...У ворот храма Гекусенди прохаживается русский матрос с ружьем. Завидя офицера, подходившего с командой с берега, он вытянулся и звякнул оружием.

— Эйли! — воскликнула Сиомара, разгибаясь. Она полола цветы на грядке. — Разве вы не ушли на шхуне?

— Как я рад видеть вас, — вырвалось у Алексея.

— Я также очень, очень рада. Но где вы были?

— Я исполнял приказание адмирала. Ждем американскую гидрографическую экспедицию.

Сиомара сделала вид, что хочет взять его под руку, но не взяла, показала, что ее руки в земле.

За храмом, на заднем дворе, у кухни, тоскливо поют в два голоса молодые повара, напоминает протяжные песни стряпок и кухарок:

Неуже-ели полагала в сердце ве-ерн-ость на-а-авсегда,
Неуже-ели про изме-ену не слыха-ала никогда?

Стучат посудой. Слышно, как рубят мясо на колоде.

«Как тут хорошо!» — подумал Сибирцев. После свиста ветра и качки такая тишина. Волны цветов вместо волн моря.

Тишина, теплынь, пение где-то за домом, дети играют в саду. В храме Гекусенди жизнь после ухода «Кароляйн» сложилась и текла, как в глухой деревне.

— Сегодня господин Посьет приглашает всех обедать...

...Цветут рододендроны желтым, оранжевым, розовым.

Китаец гладит у террасы белье. На веревке сушатся детские платица, рубашечки и кружевные кофточки. Маленькая девочка-японка тянулась к щекам мальчика госпожи Доти.

— Чила-коу... чила-коу!..— смеясь и кивая на девочку, восклицает китаец.

— Что такое чила-коу? — спросил Алексей.

— Это исковерканное child cow, — ответила госпожа Вард. — То есть ребенок-корова, так он называет девочку. Это гонконгский жаргон. A child ox — ребенок-бык, это по-гонконгски — мальчик.

В храм, где жил Кавадзи, быстро вошел Константин Николаевич Посьет.

— Саэмон-сама... Вы ее сейчас увидите... После обеда она едет на остров погулять с детьми. Явитесь как бы для осмотра острова...

...Кавадзи перешагнул из красивой лодки с гребцами в голубых халатах и самураями со значками высшего представителя правительства в руках.

На лужайке посреди острова прогуливалась высокая американка в шляпе под вуалью.

Кавадзи был холоден, как скала.

По траве бегали ее дети — мальчик и девочка — в ярких курточках и чулочках. Степенно шагала гладкая и длинная собака в белых и коричневых пятнах на боках. При виде Кавадзи она насторожилась и немного склонила голову, словно сознательное и воспитанное существо. Все это в самом деле было как на цветных картинках, которые подарил Путятин.

Анна Мария подняла вуаль и почтительно поклонилась. Саэмон впервые в жизни увидел такие нежные, прекрасные синие глаза. Ее кожа свежая и белая, как мрамор или молоко. «Действительно... Накамура прав... Душа отлетает...».

Не будь он японцем, Анна Мария подошла бы поближе и хотя бы жестами могла объяснить. Но у них всюду глупости и предрассудки. Все же интересно увидеть грозного японца, который всех терзает и тиранит и хочет выселить. Но он не так уж страшен!

Господин Доти снял шляпу, но не наклонил голову почтительно, а вздернул ее вверх. Кавадзи приходилось слышать про такие бесцеремонные приветствия. Это американский джерк. Сам Саэмон еще не видел никогда. Так американские матросы здороваются друг с другом. С Кавадзи даже высшие американские дипломаты не позволяли себе ничего подобного, всегда были почтительны, никто не вздергивал вверх носа, становясь похожим на рыбу тай.

У Доти и на уме не было обидеть. И как бы ободряя японца от всей души и призывая его не вешать носа, торговец еще раз кивнул ему, опять вздернув вверх голову, и так весело, словно при встречах с полезными людьми или с поклонниками супруги. «Какой герой! Какой герой!» — подумал Кавадзи.

На другой день Саэмон заехал на лодке к Посьету в храм Гекусенди под предлогом, что обязан сам осмотреть все помещения. «Я с ней под одной крышей!» — думал он, поглядывая в сад.

Посьет берет кофейник и наливает Саэмону и себе, откидывает штору.

Саэмон, вместо того чтобы выселить и наказать всех иностранцев, ждет, ждет, как юноша. Хочет увидеть ее опять, только увидеть. Он сносит болтовню Посьета и пьет маленькими глоточками непривычный черный напиток...

...Кавадзи вернулся к себе взволнованный, вытирая лысину платком. Он еще раз видел чудесную красавицу, которая пленяет и побеждает всех, она была почтительна и вежлива.

Впервые в жизни говорил с европейской женщиной!

Опять пришел Посьет. Сидели на террасе храма и пили чай. По деревянным стойкам и перекладинам расползлись тонкие побеги с голубыми звездочками цветов.

— Вы прекрасно держались,— сказал Посьет.— Кажется, произвели на нее впечатление.

— Нет, я в душе испытываю неловкость. Я робел.

— Что же робеть? Когда вы, Саэмон, поедете в Америку или в Париж, ведь вам придется там разговаривать с дамами.

— Я бы хотел... в Петербург... и в Париж. После войны...

— Раньше ее звали Изабель.

— Изабель? — шире открыл глаза Кавадзи.

— Да, под этим именем она выступала на сцене в Америке и пользовалась большим успехом... Но сама она испанка... Католичка.

— О-о! Католичка? — испугался Кавадзи.

— Или, кажется, лютеранка,— поправился Посьет.

Его считали искусным дипломатом, а он делает оплошности одну за другой. Японцы боятся католиков. Они два века тому назад убили и сожгли всех португальцев и испанцев и обращенных ими японцев.

— Она очень красива! — сказал Кавадзи задумчиво.— И молода.

— Молода, но очень опытная.

— Что это значит?

— Она знает все. Везде бывала и все видела. Кроме бамбуков..

— О-о...— Саэмон поражен циничным ответом.

Он непрерывно получает донесения от своих чиновников о каждом шаге американцев. В том числе и об американской красавице.

Кажется, Посьет досадует на Саэмона. Он ревнует? Сам не рад, что познакомил! Поэтому сказал, что она католичка? Что она кокетка, что видела все! «Да, но это теперь мне уже безразлично!»

— Действуя умело, ты можешь сделать больше, чем все посольства Европы,— сказал Посьет вечером Анне Марии.

И муж ей намекал на что-то подобное, хотя он очень строг, очень любит ее. «Ах, слабые, ничтожные мужчины! Называется — я живу под вашей охраной в чужой стране!»

Глава 12. Когда цветет сакура

Сначала шпангоуты из розовых превратились в черные, в ясный день они отражали блеск солнца, как черные зеркала. Лесорубам с обрыва казалось, что это страшное чудовище, похожее на гигантского жука, повержено на деревянное ложе стапеля.

А лес вдруг стал светлым, по пословице — когда сакура цветет, она становится заметной.

Цветение сакуры продолжается недолго; одно мгновение, несколько дней или недель — какая разница! И опять станет мрачно, потемнеют ущелья и обрывы.

В эту пору крестьяне идут в лес на сакуру хотя бы ненадолго. Плотники сидят после работы, и не сразу угадаешь, куда смотрят и почему задержались.

Старик Ичиро нес гнутую доску на плече и на трапе встретил главного начальника полицейских Танаку. Не уступил ему дороги. Танака сам подошел и заговорил ласково и вежливо, похвалил работу. Полиция перевоспитывается! Как хорошо жить! Даже старику Ичиро.

После того как поставили первый шпангоут, работа пошла быстро. А с первым шпангоутом очень долго возились, казалось, что западный корабль никогда не построится.

Шхуну обшивали. Длинные и толстые доски держали над котлами с кипятком, а потом гнули, осторожно налегая на них и оставляя на

срок с грузом на концах. Гнутые доски пришивали к шпангоутам. Матросы и японцы начали конопатить, стук, много пил, волокна пеньки летают по всему стапелю.

Шхуна стала громадной, ее борта, казалось, выросли еще выше. Люди в шляпах, в косынках на головах или в фуражках военных морских солдат стоят на подставках, на лесах и все дружно стучат или плетут из пеньки длинные свитки, закладывают их в пазы меж досок.

Аввакумов, желтый и худой после болезни, смотрел конопатку и вдруг дал затрещину рабочему. Аввакумов вытащил всю пеньку из пазы, ткнул ему в нос и бросил.

— А ну, старый хрыч, иди конопатить! — позвал унтер-офицер старика Ичиро.

Дайкан Эгава Тародзаймон в эти дни почти не уходит со стройки.

Трап гнется. Таракити, сын старика Ичиро, несет наверх толстую короткую доску, гладкую как зеркало. Он в красной повязке над грязным лицом.

Многие молодые слегли после работы в воде, по целому дню и даже по два не могли выходить на работу, лежали на татами, жены и матери отпаивали их наварами из трав. Пока молодых было мало, Ичиро дорвался до работы. Старик давно уже не студился, он десятки лет продрожал на холодных ветрах и привык с детства к любой непогоде. Помнит время, когда у деревенских теперешней одежды и обуви не было, зимой работали с голыми ногами. Поэтому он не захворал после того, как поработал в воде.

За ночь ветром принесло тучи от Фудзи и выпал снег. Утром подул холодный ветер. В такую погоду кажется, что вся Япония дрожит под соломенными накидками или пляшет, отогревая озябшие колени.

— Давай-ка, кривой леший! — опять зовет Аввакумов старого мастера.

Вместе с Ичиро выворачивает смолу из бочки. Началась осмолка. Корабль, обшитый поверх шпангоутов досками, из белого понемногу превращается в черный. Все спешат и все боятся, что может не то получиться. Очень страшно.

Вот он! Западный корабль почти готов! Таракити перемазался в смоле, как будто работал у костра, варил грешников.

Дайкан Эгава опять пришел, смотрит так мрачно и холодно, словно снег выпал в его душе. На нем дайканская шапка из осоки и тяжелый ватный халат. Эгава немного сгорбился, словно хочет скрыть рост, казаться пониже. Его острое лицо с большим носом немного одрябло и кое-где покрылось мелкими морщинками. Длинные пряди черных волос, острые как ножи касатки, пущены от висков, на них проступает седина.

Только сам Эгава знает, как ему нелегко. Силы подорваны, всегда ноет сердце. Сегодня ночью оно заняло особенно сильно. Он смотрит на осмолку, на котлы и бочки, на костры, где над паром гнулись доски, и думает, что все это походит на тот ад, который двести лет назад изображали португальцы, пугая японцев. Уничтожив христиан, шогун, вельможи бакуфу и бонзы переняли от них некоторые картины ада, чтобы тоже немножко устрашить японцев к их же пользе.

Рождается Черный Корабль. Мечта Японии! Черные корабли Перри были такими же. Теперь мы сами построили. Путятин пойдет на этом корабле на свою родину и обещает, что потом вернет его, отдаст Японии.

Сам Эгава не смог построить как следует западный корабль. Уже второй опыт неудачен. Доложили правительству: не можем спустить в море, получилось плохо.

У Путятина хэдские плотники делают все очень основательно, стараются, чтобы научиться, как им и приказано свыше. Здесь уже заложили второй корабль для Японии. Своими силами закладывалось, но по указанию молодых офицеров. А корабль «Асахи-сее», построенный Эгавой, народ прозвал «Пустые хлопоты». Пословицы у всех народов похожие. Что за двумя гоняться — ни одного не поймать. Но и на что-то одно нельзя надеяться. Путятин говорил, что во Франции есть пословица: нельзя все яйца класть в одну корзину! Очень смешно!

Нельзя радоваться и успешной постройке шхуны «Хэда», которая уйдет в Россию. По примеру шхуны «Хэда» мы начали вторую, но еще неизвестно, как сумеем ее закончить, если уйдет Путятин. Третью начнем закладывать потом, будут строиться четвертая и другие.

«Но как же, как же все-таки ваш-то западный корабль, Эгава-сама, ваш корабль?» — спрашивают русские. Это они про «Асахи-сее». Обидно. В ближайшее время без замедления тут и там, в разных городах и княжествах появятся новые и новые стапели. Их начнут строить князья со своими инженерами кто как умеет. Никто не будет ждать. Все решили перевооружаться по-западному. Япония оживает!

У Эгавы болит плечо, и руку трудно поднимать. Тяжесть и боль не проходят, как раньше. Но Эгава не покидает дела. Он учится. Ему поручено, и он исполнит.

Эгава искоса поглядывает на Таракити. На молодого плотника есть доносы. Обвиняется в дружбе с западными людьми. Тайная полиция хотела бы добиться его показаний после ухода Путятина. Теперь это почти невозможно. Таракити награжден фамилией, стал самураем. Он один из самых лучших японских мастеров судостроения. Для полиции это не имеет значения, полиция еще не осознала пользы западных наук, верит только в небольшие ценные подарки. Эгава втайне гордится плотником Таракити и завидует ему. Уэда Таракити исполняет для Японии то, чего не смог Эгава. Уничтожить его, наказать? Или наградить? Что сильнее: зависть или патриотизм? Гениальный, всесильный ученый и художник, гордость страны, друг князя Мито! А сын старика в соломенных валенках его опережает. Иногда является что-то вроде ненависти. А иногда — гордости!

Да, вот уж по совету Колокольцова корабль «Асахи-сее», который строился в Ураге, близ столицы Эдо, очень быстро разобрали. У воды построили стапель, такой же, как в Хэде. Теперь корабль снова собирают на стапеле. Теперь особенно ясно, что до сих пор опять делали все неправильно.

А Таракити думал о том, что черный корабль, построенный в Хэде, настоящий. До сих пор такие корабли наводили страх на японцев. Но это наш корабль, сами сделали смело, никто не испугался. Только еще не совсем черный, полосатый, в пятнах, но уже быстро становится черным. Надо бы еще подсмолить, чтобы стал совсем как у Перри.

Таракити теперь награжден фамилией. Он Уэда Таракити. Он хочет, чтобы отец его был Уэда Ичиро. Пока еще нет разъяснения, распространяется ли награда на предков или только на потомков. При изучении точных наук все узнаешь точно. Но политика и управление народом, значит, еще не совсем точные науки, невозможно ничего узнать толком. Хотя законов много, но сейчас всем объяснений не дается. Теперь, наверно, Уэде Таракити никогда не смогут отрубить голову, и речи об этом быть не может. О нем уже, конечно, все известно в бакуфу! И об Оаке! Ведь каждый человек без фамилии должен быть очень покорным и послушным, каждый знает с детства, что ему очень быстро могут отрезать саблей голову за какой-нибудь проступок, или по навету, или из важного подозрения. Теперь посмотрим, как жить будем с фамилией! Конечно, лучше!

Как бушует сине море,
Как волнуется оно...—

раздавалась по утрам знакомая всей деревне песня шагающих на работу морских солдат.

В голубо-ом его просто-о-ре
Много жертв погребено...

Шагают бодро и поют весело, хотя и грустна их песня и лица угрюмы. Весь лес в цветах. И опять снег выпал. Холодно, всюду сугробы. Снега намело в улицы, к домам. Рабочие плохо одеты. Ежатся, жмутся перед работой. А кто не работает рубанком или топором, тот, как всегда, больше всего жалуется на трудности. Особенно тяжело чиновникам и шпионам тайной слежки. Конечно, им очень трудно!

Опять что-то новое. Пока Таракити был занят осмолкой, по обе стороны шхуны поверх нового устроенного вокруг нее настила поставлены полозья, две штуки, вытесанные из бревен очень гладко. На чертеже, Таракити видел, эти полозья посредством многих кильблоков и клиньев скреплены со шхуной.

Усатые матросы уже настилают палубу, стучат топорами и ползают по всей шхуне, как сивучи.

Душа Таракити радуется не от цветения сакуры, а от варки смолы и оттого, что бочки ее катят и катят. Шхуна стала совсем черная.

Сегодня жарко. Очень быстро, уже к обеду, вернулась весна.

Все перемазаны с ног до головы. После работы стали потешаться друг над другом.

— Ты, Никита, как обезьяна или как черная китайская свинья, — зло подсмеивается Хэйбей.

Хэйбею не дали фамилии. Но он не обижается: на правительство нельзя обижаться. Но скоро, наверное, дадут. На Таракити он тоже не обижается. Гордится своим товарищем. Но, как всегда, хочется посмеяться. А получается зло.

Настоящий жаркий весенний вечер. Откуда в холодные, весенние горы пришло такое тепло? Какой-то перелом наступил и в погоде, и в жизни, и на шхуне. И еще два стапеля кроются крышами, чтобы не помешали будущие грозы и ливни.

Таракити идет как пьяный от счастья, и такими же кажутся ему все его плотники, и все товарищи, и все матросы — весь мир чист душой, любим и в цвету...

— Выпейте, господин Таракити, — подносит чашечку старый японец.

Плотников, возвращающихся с работы, зазывают в дома как на праздник и угощают прямо на улице. Теперь в Хэде открыто множество сакай, где продают сакэ. Вечером хозяин выходит из дома и угощает прохожих, чтобы позвать, чтобы знали, что здесь открыто новое заведение, а не просто старый крестьянский дом.

Таракити выпил чашечку сакэ. Его посадили за столик, вся семья тут же, хозяин еще раз сам налил, поднес и попросил с поклоном взять из его рук. Отец сидит в другом доме, у соседа. Слышно, как он разговаривает. Дома построены очень близко друг к другу — все слышно. Там тоже угощают.

— Пенька! — орет отец по-русски. — Смола! Хлеб!

Хозяин слышал шаги на улице и вышел угощать и зазывать. Ввалились четверо матросов и унтер Глухарев. С ними Иосида. Его все знают: всем товарищ, веселый. Таракити, падая на колени, опустил ся ниц, кланяясь переводчику.

— Не бойся. Это шпион хороший! — сказал Сидоров.

— И выпить не дурак, — добавил Маточкин.

— Васька Букреев с ним приятель, — сказал Берзинь.

— Не знаем, что там у Васьки получилось. Не этот ли иуда виноват? — возразил Строда.

Матросы попросили Иосиду объяснить хозяину, чтобы сменил чашки, подал большие. Хозяин и хозяйка поняли, закивали. Хозяйка принесла чайные.

Еще недавно слово «пенька» искали в голландских и китайских словарях, но не нашли. Японцы не понимали, чего от них хотят. Иосида, живший когда-то в Иркутске, помог разобраться. В России его оставляли, предлагали учиться на православного священника. Но он возвратился в Японию. Чиновники пригрозили казнью, если не согласится быть шпионом. История эта известна матросам.

— Чем же человек виноват, — говорит Сидоров, — ежели его заставили? Тебя бы заставили — и ты бы старался.

Глухарев выпил сразу две полные чашки сакэ.

— Слабовата! — сказал он. — Не берет.

— Да, слабо берет. Вот виски, та покрепше...

— Сколько раз я тебе говорил, — пояснял Глухарев, клонясь через стол. — Осмолят пазы, уберут потеки смолы и обстрогают. Будет гладкое, как яичко. Это когда строится баркас. А на шхуне все высмолят. Потом обошьют медными листами...

Глухарев раскурил трубку. Иосида переводил и тут же что-то рисовал кистью на листе бумаги или писал японской азбукой.

— Для доноса записывает беседу, — сказал Строда и посмотрел на Таракити, как бы остерегая. — Преступления нет, а они привяжутся.

— А потом покроем краской. Вот тогда будет карафунэ! А мне надо идти.

— Да, ты унтер, тебе нельзя, — сказал Строда.

— Теперь лучше понял, как строится западный корабль, — молвил Таракити.

Всех матросов он знал хорошо, но сейчас не сразу мог разобрать, который Маточкин, а который Строда.

— Бывает пеньковая посконь, — объяснял Глухарев. — Ты должен знать, — обратился он к переводчику, — из нее хорошая одежда. Букреев вил на колесах пеньковые канаты, да его взял с собой адмирал в Симоду.

— О-о! В Симоду! Хоросё! — сказал Иосида.

Глухарев помолчал, пригляделся к нему и ушел.

— Смола! — орет у соседей отец.

Через дверь видны остановившиеся у фонаря люди в перемазанных парусинниках.

— Ребята, айда в кабак! — крикнул им Сидоров.

Вошли кузнецы с подмастерьями-японцами.

Иосида уронил голову на столик и горько всхлипывал.

— Ка-му щастье — каму не-ету, э-э-э! — заорал он и размахнулся в воздухе кулаком.

Вошла и поклонилась высокая девушка, лицо ее в меру нарумянено. Она в наколках на распущенных волосах, одета хорошо, в богатом шелке.

— Эй, Оюшка! — сказал ей Сидоров.

Из-за занавески выглянул Маточкин.

— Она спрашивает, не вернулся ли кто из Симоды, — сказал он.

— Нет еще никого, Оюшка, — ответил Берзинь. — Но слышали, что там творится. Садись с нами!

— Спасибо! — чисто ответила Оюки по-русски и ушла без поклона.

— Ее Алеша-сан там уж с другой! — засмеялся кто-то из кузнецов.

— Не дразни, — ответил Сидоров.

...Оюки пришла домой. В чертежной пусто и темно. Она зажгла фонарь. Оюки целыми днями сидит в этой комнате в одиночестве, с тетрадью, где рукой Ареса-сан написано: «один», «два», «пять», «четырнадцать», «не люблю», «далеко», «близко». Только любящее сердце может терпеть такую муку. Сегодня Оюки ходила к старику гадалщику. «Твой Ареса-сан сейчас с белой женщиной, высоко с ней прыгает и при этом обнимает». Это ужасно! Сердце рвется на части. И такая ночь...

Вся деревня Хэда в смоле, все пьют сакэ, как в праздник, в лагере наказывают матросов, но не могут всех найти.

Успех, весна, цветы, а Оюки всегда одинока. Оттолкнула Алексея, не позволяла к себе прикасаться, и теперь он обнимает другую женщину. Книги предсказаний все объясняют. С кем же, с кем же ты, Ареса, и почему ты ее обнимаешь?..

В сакайе не расходились.

— Ты сегодня сыт, пьян и нос в табаке, — говорил Сидоров.

— Пьющий Воду был нищий, кроме воды, у него ничего не было, — объяснял Берзинь, — а нынче разбогател и открыл кабак.

— Сакайя, — поясняет Иосида, с трудом подымая голову.

Как Путятин-адмирал
Свою «Диану» утоплял, —

запел Сидоров.

Эх, ох, ух, ха-ха!
Свою «Диану» утоплял...—

подхватили в соседнем доме.

Он «Диану» утоплял,
Слезы горьк проливал..
Эх, ох, ух, ха-ха..
А пришли американцы
И сбежались на шанцы.
Эх, ох, ух, ха-ха..
Русских в гости пригласили
И хлеб-виски выставляли..

Стуча сапогами, отряд шагал по улице. Самураи — с фонарями. За ними сверкают ружья и кивера. Японские и русские власти вместе шли наводить порядок...

Утром Эгава-сама читал полученные рапорты. Подумал — японцы тихие и старательные, а вчера разгулялись и некоторые попались вместе с эбису. Это, конечно, от радости. Но у нас радость не принято выражать так громко. Эбису портят наш народ. Надо принимать меры. Уже был получен сверху строгий приказ, но пока не удалось исполнить, хотя Эгава старался. Конечно, признаемся себе, что японцы тоже любяют безобразия, особенно если их хорошо угостить, то они живо войдут в компанию.

Много безобразий в Хэде. Надо пресекать. Было указание: принять строгие меры. Но кого казнить? Все работают с матросами. Лучше не трогать. Особенно теперь. Это предвидел Эгава. Одно ясно — что никто из тех, кто геройски осуществляет приказ бакуфу, не может быть наказан. Тут Путятин, потом и бакуфу заступятся.

Сначала решено было казнить Пьющего Воду как бесполезного.

Тихо и быстро шли в холодную весеннюю ночь. Без фонарей — как тайная полиция. Прибыли к месту и зажгли один фонарь. Все сразу вошли в дом Пьющего Воду. Он бесполезный. Его дом никому не нужен. Подлежит уничтожению. Но что это? Вывеска? Что за тряпка?

— О-о! — вдруг промычал Танака, начальник полиции.

На столике прямо в пятне света от фонаря лежала военная шляпа западного морского воина, узкая и высокая, с ремнем, околышем и кокардой. Тут же морской мундир...

А во тьме поднялись лохматые головы. Вот самый сонный, хозяин, глядит, как бы ничего не понимая.

— О-о!

Тут, значит, спит русский матрос? Если брать Пьющего Воду, матрос все узнает. Сразу сообщит Путятину.

Полицейские переглянулись. Танака с фонарем в руке вежливо поклонился матросу, который лежал где-то здесь, в этих же потемках, среди вшивых и нищих японских голов.

Пьющий Воду упал ниц и кланялся.

И полицейские кланялись, но не ему. И пятились. Ушли, закрыли дверь.

«Какой же там матрос? Кто? — думал Танака. — Может быть, в любом доме так? Зайдешь, засветишь огонь, а там кокарда и западный мундир? Возмутительно, но страшно. С соседней империей в эпоху изучения строительства западного корабля нельзя идти на конфликт». Так решил Танака. Так он доложил, явившись к Эгаве.

— Вы правильно решили, — сказал дайкан. — Но кого же казнить? Нам велят японцев припугнуть, а русских не беспокоить...

Танака полагал своей обязанностью узнать, кто и почему живет у Пьющего Воду. Кто из русских? Как узнать? Потом все пригодится. Как бы незначительны ни казались грехи сегодня, потом они будут гораздо значительней и подвиги выследившего высоко оценятся. В каждой эпохе такая деятельность оценивается высоко. Выслужиться можно!

Очень удивительно. Оказалось, все знали про Оки, дочь Пьющего Воду, и Ваську. А полиция совершенно не знала, хотя полицейских и тайных шпионов в Хэде теперь больше, чем рабочих, и они все изучают и записывают.

Начальник Танака сегодня узнал: Пьющий Воду достал бочку водки, заплатил налог полиции и повесил синюю тряпку с иероглифами.

Где достал деньги? Матросы ему собрали? Теперь он удачно торгует, там место людное, тысяча людей работает и столько же приезжает издалека. Семья оделась, никто не ходит голый. Едят хороший рис. Яся все еще в Симде. Берзинь им достал водки?..

Оаке Кикуги более опытен, чем Таракити и другие старшие плотники. Он озабочен. Шхуна строится — это хорошо. Но в деревне так много иностранцев и чиновников, что вся рыба идет для них. Рабочим нечего есть. Рабочий человек не может без рыбы, он хуже работает, если голоден. А глава рыбаков Ябадоо. И он же заведует судостроением, но не заботится.

Оаке осмелел. Случай был подходящий.

— Э-э... Э-э... — кивал Ябадоо, слушая его.

— Кроме того, рабочим платятся деньги, когда они работают у подрядчика. Теперь подрядчиком является наша власть. Денег совершенно не дается плотникам... люди голодны...

— Э-э... э-э... — как бы соглашался Ябадоо-сан. Но совета не дал, только кивал в знак согласия.

Оаке подумал дома: «Я теперь самурай. Может быть, Ябадоо не смеет решать. Меня мог бы выслушать представитель бакуфу Уэкава Деничиро. Теперь мы все начинаем жить западными обычаями. Я пожилой человек, знаю порядки и придерживаюсь их — сторонник старого и нового одновременно. Но у нас в деревне теперь все очень просто. Были случаи, когда Эгава говорил с крестьянами сам, не через пе-

реводчика. Ябадоо может не передать мою просьбу в канцелярию бакуфу». Оаке решил, что надо осмелиться и поговорить прямо с Деничи-ро. Он, как западный человек, очень умный, быстрый, без предрассудков, сам делает все, берет в руки мазилку для смолы и даже топор. К нему, наверно, лучше всего обратиться, как матросы обращаются к капитану и Путятину.

На следующий день после работы маленькому сынку Кикосабуро отец велел остаться на улице. Мальчик присел на корточки и стал ждать.

Кикути долго кланялся перед дверьми, потом кланялся на пороге и кланялся за порогом. Потом Кикосабуро увидел, что отец исчез в полутьме канцелярии. Там сидели особенные чиновники, с кистями. Каждый у своего столика.

Оаке Кикути подполз, обратился с всенижайшей просьбой. Он все сказал. Вдруг из соседней комнаты вышел Уэкава-сама.

Расторопный чиновник поступил чудесно, ново. Сказал:

— Встань! Скажи все просто, ясно, без поклонов.

Оаке все сказал.

Уэкава выслушал достойно и серьезно. На миг лишь задумался. Потом взял артельного старосту плотников за плечи, как бы желая обнять по-европейски, но целовать не стал, как Путятин, и не обнял, а крепко сжал своими железными руками.

— Политика! — сказал он и повернул Оаке, схватил за куртку и поволок к двери, отдал стоявшему там мецке.

Тот на миг отошел и с разбегу ударил просителя ступней ниже спины с такой силой, что Оаке, как птица, вылетел с крыльца и рухнул на улицу.

Сынок Кикосабуро смотрел безмолвно.

Все тело Кикути было разбито, похоже, что у него перелом в спине. Превозмогая боль, отец едва поднялся.

— Совершенно по-китайски меня выкинули, — сказал он. — Да, это китайский прием.

Прием был отечественный, самый старинный, но сыну лучше так не говорить.

«Вот я попал! — думал Оаке. — Я-то ведь просил о дырявых монетках, о горсти риса! Какая же политика! Никакого отношения к политике. Я только про еду для детей, чтобы растить их для правительства Японии! Чтобы не выросли пьяницами!»

На другой день на стапеле Ябадоо, свирепо скалясь, кивнул ему и протянул:

— Э-э... Э-э... Я похлопочу за тебя...

Все тело у Кикути сплошной синяк. Больно поворачиваться, поясницу ломит. Трудно работать, наклоняться почти невозможно. Вчера казалось, что полицейский сломал его, но они знают, как бить. Кому надо сломать спину — обязательно ломают. Сегодня очевидно, что перелома нет. Утром приходил знахарь и осмотрел. Но еще больней, чем вчера.

Ябадоо ослабился. Он знал, что Уэкава-сама уже сегодня очень умно приказал приготовить деньги для выплаты плотникам, как просил Оаке Кикуте. При этом Уэкава-сама строг и сумрачен. Распорядился сделать все быстро, чтобы плотники не голодали. Этому Ябадоо рад. Завтра начнется раздача мелких денег. Ябадоо — хозяин ломбарда. Можно будет взыскать долги с должников, заставить закладчиков выкупать вещи из ломбарда или платить проценты за хранение. А теперь ведь все дорожает.

Только мальчик Кикосабуро не мог забыть, как вчера его отца выбросили из канцелярии. И он никогда не забудет. Он чувствовал, что

должен в будущем отплатить. Мальчик каждый день вставал рано и ходил с отцом на работу, он так был горд за своего отца. А теперь?!

Глава 13. Америка в деревне Хэда

Колокольцову хотелось бы описать, что он видел в Японии. Как пришлось изобретать заново все, что давно уже известно. Сам за собой не знал таких талантов. А теперь, право, поверил в себя. Интересная история, как все начинали, что и как удастся осуществить. Надо все записывать, пригодится для Морского сборника хотя бы.

Елкин и тот пишет. Посьет пишет. Каждый о своем деле.

После того как поставили первые шпангоуты будущей шхуны, японцы стали работать с воодушевлением. До того, кажется, не уверенны были, что корабль получится.

В России, если благополучно вернемся после войны, не поступить ли на кораблестроительный завод? Адмирал советует, и самому в голову приходит.

Но если бы Александру Александровичу кто-нибудь посоветовал описать, как тут шла его личная жизнь, он бы, верно, смешался и не нашелся. К делу не относится, что-то такое, о чем потом вообще придется забыть. Не для публикаций офицера, тем более в Морском сборнике.

В ущелье Усигахора неподалеку от стапеля со шхуной и второго стапеля, заложенного для японцев, новая партия рабочих рубила откосы гор. Японцы рослые, не похожие на простых рисосеятелей или городских рабочих, все с новенькими инструментами. Снимали землю, ломали и дробили скалы, убирали камни. Одна за другой откатывались груженные тачки и по доскам мчались к берегу. Среди новичков мелькают и знакомые хэдские рабочие, но мало. Все происходит совершенно так же, как в первые холодные дни, когда наши офицеры и матросы, по выражению японцев, работали как ками⁴.

Каких-то два высоких молодых человека, видимо японские инженеры, не покладая рук, так же тщательно и аккуратно набив колышки, натягивали леера и определяли нужный уклон площадки, как это делали Можайский и Сибирцев.

Площадку трамбовали. Тяжелые свежие брусья устанавливали на каменном фундаменте выложенного основания. Настилались доски. Начали ставить кильблоки. Так за короткое время около шхуны «Хэда» появилось еще два стапеля, на них заложены корабли. Теперь на площадке Усигахора три шхуны строятся рядом.

...Некоторое время тому назад, из Эдо приехал переводчик Съоза, свободно говоривший по-русски. Путятин давно уверял японцев, что у них должны быть хорошие русские переводчики. «Кто?» — спрашивал Эгава. «Кто, кто! Вы сами должны знать кто! Вы не притворяйтесь казанскими сиротами!» Но Эгава не знал и не слышал ничего подобного. «Как же нет переводчиков? Головнин, сидя у вас в плену в клетке, был потом освобожден только потому, что стал обучать японцев русскому языку. Для кого же он русскую грамматику составил? Дай бог памяти... имена его учеников: Уехара? Съоза?» «О-о! Они уже умерли». «Не может быть, чтобы не обучали своих детей. До седьмого поколения, не меньше, в их семьях все будут знать русский. Поищите и найдете».

И вот образованный человек из Эдо, говорящий по-русски. В каких запасниках и зачем держали его до сих пор? И был ли он в самом деле

⁴ Боги.

Съюзой или его так называли из вежливости, чтобы приятно было адмиралу?.. Но как бы то ни было, явился японец с острым лицом, нестарый, читает по-русски отлично и все понимает, но неясно говорит. Гошкевич, часто заходивший к Александру, передавал, что про Съюзу ему все говорят, что он хорошо воспитан, совершенный европеец во всех отношениях. «Я на днях видел их европеизм, — отвечал Колокольцов. — Наш любимец и надежда, представитель западной школы, дружок мой Уэкава чуть не сломал спину отличному плотнику — тот посмел с просьбой обратиться к нему. Мне случайно пришлось увидеть, и я счел долгом вмешаться и потребовал, чтобы моих рабочих не морили голодом».

Пришел японец и сказал, что в море виден черный корабль.

Через два часа американская шхуна «Каролайн Фут» бросила якорь в бухте.

Уэкава Деничиро явился на «Каролайн». Он в коротком синем мундире с желтыми погонами, которые пришиты не вдоль, а поперек плеча и похожи на золотые квадраты. Новая форма японского флота? Штаны светлые, льняные, но не накрахмаленные, как хакама, а тщательно выглаженные, и туфли с высоким каблуком, как у женщины. Сабля и пистолет нового образца. Япония перевооружается? Создаются войска европейского типа? Путятин удивился больше всех. До сих пор он полагал, что никакая европеизация не происходит в Японии без его совета. Мне они утерли нос! Адмирал сам с невольным уважением смотрел на Уэкаву. Тот заговорил с Вардом по-английски:

— Пожалуйста, свидетельство. Навигационные документы. Ваше заявление.

Достал из кармана печать, обмакнул в коробку с сукном в красной краске и шлепнул на положенную перед ним на столе капитанскую бумагу. И написал по-английски: «Permission to go ashore»⁵.

Что делается! Боже мой! Американцы и в ус не дуют, довольны, но не показывают виду, привыкли, как и англичане, что во всем мире все говорят на их языке.

— Разрешается сойти на берег!

— Благодарим вас... Пожалуйста, виски... Разрешите, адмирал...

— За адмирала! За ваше здоровье, капитан!

Американцы выстроились в очередь. Деничиро, сидя за столом, выдавал на руки каждому the list of disembarkation⁶. Написано безукоризненно по-английски, кистью, но четко и аккуратно, словно напечатано в типографии: «Разрешается сход в порту Хэда, также прогулки на расстоянии две морские мили от места высадки».

Деничиро пожелал всего наилучшего, взял под козырек, на кокарде изображены три цветка оой — герб сиогуна, — и вышел на палубу, где его ждали переводчик и полицейские.

Адмирал Путятин пригласил Уэкаву в свой вельбот.

— Новая морская форма?

— Да, адмирал.

— Вы получили военный чин?

— Да, майора.

— Такого чина нет у моряков.

— Морской пехоты и береговой охраны, ваше превосходительство.

— Ясно. Поздравляю вас!

На берегу у причала двое полицейских в новой форме, но с красными погонами. Дейничиро сам спроектировал эту форму, составил эскизы

⁵ Разрешается идти на берег,

⁶ Виза,

и отсылал на утверждение в Эдо. Шил русский портной из Кронштадта Иван Петров.

— Америка, Америка! — орут по всей деревне дети и мусмешки.

— Да у вас тут целая верфь, капитан! — воскликнул Вард, когда Степан Степанович Лесовский привез американцев в ущелье Усигахора.

А мы еще сомневались, чему они обучают японцев! И могут ли! Американцы свободно ходят в Хэде! Японец в мундире дает the list of disembarkation. У русских кораблестроительная верфь в Японии. Никаких запретов и полицейских грубостей. К адмиралу, его капитану с офицерами и американцам одинаково приветливы. Никто не ходит по следу. Чувствуется расположение крестьян. Никто не убегает и не прячется. Вард видит вблизи все, что его интересует, может идти куда хочет, говорить, переводчики к его услугам.

Три шхуны! Три, а не одна! Три стапеля. Плаз как на хороших доках. Кузница. Шьют паруса. Вьют канаты. Гонят смолу. А где медники?

— Пожалуйте на шхуну «Хэда»! Медный двор на другой стороне бухты, обнесен глухой изгородью, — объяснял Лесовский.

— Медь у них ценится? — спрашивает консул Рид.

— Японцы огородили медную мастерскую и приставили вооруженную охрану. Медь у них очень ценится. Это их валюта.

На фоне лесов множество красных матросских рубашек и разноцветных японских халатов.

— А где гнете доски?

— Вот сухопарня... пойдете. Я покажу.

— Черт возьми... Ну что же, господа, — сказал Вард сопровождавшим его американцам, — вы видели? Три дока. Заложены шхуны примерно с нашу «Каролайн». Чего вы хотите? Три крытых эллинга, кузницы, целый завод. Если они так дальше пойдут, нам никогда их не догнать.

Все захохотали дружно — и американцы, и русские, и японцы.

— Смотрите, какие у них матросы. Очень хорошего сложения. Без исключения.

— А где вы набираете людей?

— Из рекрутов выбирают по жребию.

Вард подумал: «Одна шхуна скоро будет готова. Одну строят для себя. А еще две? Я понимаю, они строят для продажи японцам. Вот это коммерсанты! Это, видимо, концессия на паях с японцами. В таком случае Перри обманут и мы одурачены. Сами японцы очень довольны и стараются. И порт открыт без всяких трактатов. Дисэмбаркация дозволена. Никаких помех! Японец в военном мундире».

— Японцы заметно движутся вперед!

— Yes, in full swing!⁷ — ответил Шиллинг.

За ним идут двое юнкеров.

— Скоро праздник пасхи, — говорил Корнилов. — У нас уже грачи прилетели.

— А здесь я видел сегодня двух фазанов! Откуда, Татноске, фазаны?

— Да, в эту пору на Идзу прилетают фазаны... — таинственно и тихо сказал переводчик. И добавил: — Из Кореи...

— Кто же проектировал? — заинтересовался Рид.

— Молодой лейтенант Колокольцов, — отвечал Степан Степанович.

⁷ Да, полным ходом!

— Америка приехала! — говорили японцы друг другу, со страхом и любопытством оглядывая новых гостей.

С громадного амфитеатра гор, где таились караулы, со скал, окружавших бухту Хэда, из лесов, с крыш деревянных домов люди смотрели на черную шхуну. Многие говорили, что это для нас теперь совсем не удивительно. Гостям мы рады. Но любопытства не обнаруживаем. Никакого парада. У нас в Хэде строятся свои корабли. Хэда — единственное село в Японии, где построен черный корабль. И будет не один. Ничего особенного не произошло. Из пушек не палили. Шхуна безмолвно стояла среди бухты. Все видели, как Путятин с офицерами съехал на берег и, сразу отделившись с Кокоро-сан, отправился на стапель. А потом капитан повез туда американцев. Когда они шли по улице, многие трогали их одежду.

На американской шхуне совсем тихо. Кажется, там пришли хорошие, негромкие люди. Шхуна как бы подремывала на зеркальной глади хэдской бухты. Американцы не торопятся хватать и есть детей, соблазнять женщин, заглядывать в общие бани, все рисовать и покупать. Тихо и бодро прошли в Усигахору.

На берегу поставлена полиция. В новой форме и в сандалиях. Запрещается плавать по бухте в лодках и нельзя приближаться к американскому кораблю.

Адмирал пригласил американцев обедать и сказал, что завтра с утра будут грузить на шхуну сто тонн риса для Камчатки и что матросы привыкли к рису и охотно едят его.

...После обеда шхуну подвели к берегу, закрепили двумя канатами за деревянные кнехты на причале. У трапа и на борту стояли американские матросы, заговаривали и пересмеивались с проходившими мусмешками.

Каких только людей не видел Вард в своей жизни. Приходилось ходить с эмигрантами из Франции, с китайцами из Кантона в Калифорнию, с искателями счастья на золотые прииски. Адамс не зря хвалил моряков погибшей «Дианы» и, как шли слухи, подыскивал торговый корабль для вывозки их из Японии.

— Я ходил по верфи, смотрел и подумал: они тут, по несчастью, стали учителями японцев! — сказал Рид.

Русские все уехали на берег. На «Каролайн» нет больше и женщин. Одни американцы мужчины. Происходил мужской разговор.

— Надо их выбросить поскорей. Все, что они делают, мы можем сделать лучше.

— Жаль, что среди них у нас нет надежного союзника, — отозвался Дотери.

— Найдем! — сказал Рид.

«Да, наверное, мы их заменим», — подумал Вард, сохранявший молчание. При всей симпатии к Путятину и к его людям он не мог не согласиться, что практицизм американцев свое возьмет.

— Перри утверждал, что японцы не способны ни к чему, кроме церемоний. Судьба посылает нам возможность исправлять ошибки Перри. Как консул я смогу наблюдать этот народ ежедневно.

— Надо изучить все, что тут сделали русские, — сказал Дотери.

— Как консул я изучу, какие у них получены права и преимущества, что начато ими, и буду все продолжать уже от имени Америки. Говорят, они научили японцев доить коров. Пока пойдем по их следу, а потом быстро сами осмотримся. Во всяком случае, японцы не получают от нас даром никаких сведений о современном судостроении. Не буду их упрекать за коварство, но если захотят учиться, им придется непрерывно предоставлять нам новые права. До тех пор, пока мы не добьемся цели, которой Перри не достиг...

Виски уже подействовало.

— Русские главного не смогли — завести торговлю.

— А японцы — торгаши. Из выгоды пойдут на все. Доти остался в Симодэ, и он там обещал произвести переворот в их понятиях.

Доти, Пибоди и Байдельсмэн — целая компания из опытных авантюристов засела в сердце Симоды, чтобы искать лазейки и охранять семейства и товары. Рид колеблется, не вернуться ли туда. Пусть Вард идет на Камчатку. Дотери — туда же для изучения рынков. А Рид может купить японскую лодку и вернуться вдоль берега.

Будет ли Вард писать в американские газеты о русских, о Японии? Кажется, еще не решил. Он печатает статьи в Сан-Франциско.

Путятин сказал, что его посольство и команда корабля — потерпевшие кораблекрушение, не могут быть задержаны и захвачены союзниками. Повторил, что и шхуну «Каролайн» взять не смеют. Но все же нужна осторожность. Лучше избежать встречи с крейсерами союзников. У берегов Идзу ходил французский «Константин». Японцы предупредили об этом Путятину и пустили противников России по ложному следу.

Переход будет трудный и опасный. Капитан в море держит в железных руках команду. Должны чувствовать его власть и строгость. На русских моряков он надеется. Вард знает, что легких и неопасных переходов не бывает. Он отдыхал, отмалчивался, намерен сходить на берег посмотреть на цветущий сад, а в душе готовится к тяжелому плаванию...

— Адмирал! Шхуна готова к приемке риса и всех грузов! — доложил девятнадцатилетний гигант Джон, явившийся утром в Хосенди.

К причалу шагала небольшая колонна матросов в рабочих парусинниках. Японцы везли рис на двуколках, запряженных быками и коровами.

С «Каролайн» подали на причал стрелу с сеткой.

— Всего к погрузке две тысячи мешков риса, — сказал Варду незнакомый лейтенант по-английски и добавил, что по-английски не говорит. С ним юнкер-переводчик.

Матросы складывали мешки в сетку и подымали стрелой на шхуну. Американцы укладывали мешки в трюмы. Джон показывал куда и как. Распоряжались русский боцман с забинтованным ухом и американский с повязкой, закрывающей нос.

Подвели баржу с мешками риса. Перекинули трап.

— Грузим жалованье адмирала Путятина. Плачено как служащему Японии от правительства Эдо по государственному списку, — сказал Зеленой юнкеру. — Табель о рангах бакуфу! Рис полагается по степени пользы князя и по количеству воинов, но только князю, а уж дело даймио кормить своих подданных.

Матросы наваливают мешки на спины. Зеленой шагает в веренице грузчиков по трапу вверх и запекает:

Никого-о-о я не спрости-и-ила,
Кроме се-е-ердца сво-оего...

— Эх!.. — подхватывают матросы.

Увида-а-ла-а-а, полюби-и-ла-а
И умру-у, любя его-о...

То, что заметил Вард в этот день на прогулке, еще более возбудило его дух предпринимательства и любопытства. После леса шли улицей, заходя в магазины. Японец продал прекрасные изделия из лака: поднос, вазу, чашки, блюда и чайник. Послал мальчика, чтобы донес американцу на корабль.

Аппетит приходит во время еды. Вард опять видел: в бочках стоит смола, лежат бунты свитых здесь канатов. Два полуголых мускулистых матроса работают, поставив наковальню и горн на открытом воздухе, а японец качает им мехи.

Рид, кажется, прав. Русские уйдут и вряд ли смогут вернуться. У них руки связаны войной и внутренней политикой. Мы должны сами взяться тут за дело. Авантюра Рида, объявившего себя консулом, до сих пор совершенно не касалась Варда. Сейчас он готов был взглянуть по-другому на деятельность самозванного консула. В самом деле, не надо ждать и тянуть время, надо перенять с рук на руки от уходившего Путятин все что возможно. Опытный глаз Варда сразу видел, как быстро и умело можно продолжить дело, если возьмутся янки. «Мы можем строить в Японии. Путятин подает пример. Для этого у нас есть все, а чего нет — будет. Мы не воинственная держава, и все наши силы пригодны для практической деятельности. А что смогут все эти молодые адмирала, если снять с них военную форму? Явится ли у них предпринимчивость без приказа? Ради выгоды, а не по присяге идти и умереть на войне за своего царя? Мы могли бы построить в Японии современный док. Пока у них тут ничего особенного, не винтовые корветы строятся...»

Сегодня матросы устанавливали полозья гигантских саней на пристроенных к стапелю площадках и ставили столбы, на которых, видимо, будут рычаги, которыми шхуна будет стронута вместе с полозьями и заскользит.

На причал, где шла погрузка, пришел Мусин-Пушкин. Лейтенант Зеленой, разговаривая с ним, побледнел. Матросы столпились около них. Работа прекратилась.

— Что еще? — спросил Джон у юнкера.

— Погиб матрос.

— Кто погиб? — прыгнув со шхуны, спросил Черный и поправил повязку на голове.

— Букреев умер!

— Шабаш, братцы!..

— Что у них случилось? — спрашивали на шхуне.

— Переводчик говорит, матрос покончил жизнь самоубийством из-за японки...

...Янка Берзинь, сидя на чурбане, рассказывал про гибель товарища и так разревелся, что, не в силах сдержаться, стал хватать себя руками за лицо, как бы желая скрыть горе.

Матросы собрались вокруг. Время шло к обеду. Все занятия в лагере и на плацу прервались. Янку обступили земляки. Их было довольно много в команде: Лепя, Строда, Приеда, Мартынь, Лепинь — как называли их унтера. Мрачные и молчаливые, не мигая смотрели они на Янку. В отличие от большинства своих товарищей Берзинь был пылким и чувствительным. Зато хороший матрос, цепкий, легкий и верткий, мог кузнечить не хуже мастерового, шить. Первый из всех европейцев и американцев показал японцам, как доить корову. Недавно Ян Берзинь произведен в унтер-офицеры, а потом назначен на склад замещать заболевшего провиантмейстера. При этом, когда надо, он надевал старый, почерневший парусинник и фартук и ходил работать в кузницу.

В новую должность Янка всегда являлся в начищенных до блеска сапогах, стал поопрятней одеваться, выкручивал усы, отрастив их побольше, не улыбался, его глубоко запавшие глаза строго смотрели на каждого, являвшегося по делу. На него жаловались, что скуп и расчетлив к казенному добру, что за копейку и за всякую мелочь взysкивает и придирается. «Какой формалист оказался наш Берзинь!» — удив-

лялся Пушкин. Но в то же время все знали, что своего труда Янка не жалеет. И вдруг всю его строгость как ветром сдуло, и перед товарищами сидел не бездушный формалист, а разбитый горем товарищ. Брови выстрижены ершом, усы лихо выкручены, а лицо в слезах.

— Букреев вон за горой лежит... Там уж комиссия. Адмирал туда поехал. Нам велели уйти, — идя в казарму, пояснял Мартыньш матросам. — Сапоги у него украли.

— Кто?

— Неизвестно. Маточкин его увидел. Васька был еще живой и ползал и не мог найти.

— Откуда он шел?

— От япошки.

— А я ему давно говорил, что эту ягоду нельзя есть, — вмешался Иосида, — а он не слушал. Ягода ядовитая

— Ты, наверное, и подвел? — спросил Строд с подозрением.

Японец с обидой посмотрел на матроса, но ничего не сказал. Все же Иосида жил в России и что-то понимал! В душе он благодарен, плохого на чужбине не видел.

— Васька пришел из Симоды, — сказал Серега Граматеев, — он, видно, за ее отца боялся, ведь ночью приходила полиция, голову ему хотели рубить. Васька ночью перемахнул забор и ушел. Ночевал у нее и задержался. Шел домой, увидел ягоды — и хоть неспелые, а он наелся.

— У него уже прежде украли один сапог, — сказал Маслов, — и он на работу ходил в двух правых сапогах. А когда шел в Симоду, я ему дал свои, чтобы не срамиться перед Америкой.

— А в каких же он пошел вчера?

— Он свои старые надевал. Он мой отдал, как вернулся на шхуну.

— Кто польстил на такое отрепье?

— В двух одинаковых сапогах и вора можно найти по следу, — сказал боцман Черный. — Надо всем смотреть на следы, братцы, где бы ни были, куда бы ни шли — глядите под ноги.

— А что адмирал?

— А вот он, вернулся, подходит на вельботе.

«Это безобразие! Безобразие! — думал Путятин, идя к себе в храм. — Лучший матрос погиб! Ягоды наелся...» Доктор подтвердил, все признаки смерти от отравления.

Лежит Вася Букреев неподалеку от дороги в деревню, на лужайке, на полпути в Хэду с верфи. Шел откуда-то... Ясно, все ясно!

— Господа! — обратился адмирал к вызванным в храм офицерам. — Букреев в горах наелся ядовитой ягоды... Отец Василий около него и доктор. Но он уже... И мучался, господа, бился, сел и сидел, и пена шла изо рта, как показали выдавшие его матросы и японцы. Доктор уже не мог помочь. Отец Василий прибыл, когда он скончался. Японец Ябадоо сказал сегодня мне, что Яся был обречен на это судьбой, ему суждена была смерть в Японии... Но мы-то не можем верить гадалкам, мы не богаделки! Причина не та! Дисциплина пала!

— Надо принимать строжайшие меры, господа! Дисциплина! Наказывать, но беречь людей! В лесах тут много неизвестных нам растений. Я сам видел ядовитейший сумах. Не смей пускать людей в лес без местных проводников!

Маточкин и Селезнев принесли на носилках прикрытое тело во двор храма. Их сопровождал матросский патруль.

— Я еще застал его живым, — рассказывал в этот день Маточкин в казарме. — Он все говорил про сапоги и беспокоился. Он, видно, шел от своей и сказал мне, что сапоги не стал надевать — тепло, и он шел горой по солнышку разувшись, а сапоги связал веревочкой и перекинул

через плечо, как переметную суму. Его схватило, он упал, потом набрался сил, поднялся, а сапог уже не было. Он помирать не хотел, не отыскавши сапоги, и все кругом смотрел, но сапог нигде не было. Мы подошли — он просил Токарева и Федотова, мы все обыскали и не нашли. Кто-то взял.

— Кто мог?

— Наверно, за ним шел кто-то, следил.

— У них шпионы честные, они вещей зря не украдут. Только если по делу!

— Значит, кому-то понадобилось — и взял!

Букреева всем жаль; его кончина пугала. Природа тут чужая, неизвестная, повсюду могут оказаться ядовитые растения. При этом странным казалось дело с пропажей сапог.

— И как он мог отравиться?

— Он сам сказал, что ел ягоду, а она ядовитая. Японцы подтвердили, что эту ягоду нельзя есть, у них знают все.

— Как же она его не уберегла! — воскликнул Берзинь.

— А вот мы все ждали лета!

На ступеньках казармы в задумчивости сидел Иосида.

— Это не ты ли, сволочь, подстроил? — выходя, сказал Маточкин.

— Нет, я говорил не есть этой ягоды. А он не верил.

Через день под звуки духового оркестра, игравшего «Не бил барабан среди мутных полков», морские гренадеры внесли гроб Букреева во двор храма Хосенди.

Адмирал, офицеры у самой могилы. Шестьсот матросов выстроились во дворе и на улице. После чтения отца Василия вскинута ружья и грянули залпы. Вася Букреев на морских ремнях навеки опускался в чужую землю.

Его могила справа от ворот, когдаходишь во двор с улицы. Тут же корявое дерево сарубери с белой скользкой корой, по которой, как Ябадоо рассказывал Васе и его товарищам в первый день приезда, даже обезьяна не может влезть. Сейчас дерево в цвету. На могиле поставили крест. Строй моряков во главе с адмиралом в молчании отдавал последний долг. Дочь Пьющего Воду зажгла над свежим холмом душистые палочки.

— Яся... Яся... — шептали, подходя и кланяясь, жители Хэды.

...С тех пор кустарник, на котором вырастают ягоды, погубившие матроса Букреева в деревне Хэда, называют Яся-короси, что означает «смерть Яся».

Глава 14. Путешествие внутри путешествия

В храме Хосенди по всему двору сидят японцы с пиками и яркими значками на древках, все с саблями и в пестрых летних одеждах, как цветник.

— У адмирала — Кавадзи! — передавали друг другу офицеры.

В храме Лесовский, Гошкевич, Шиллинг, Пещуров, оттуда носа не кажут. Опять важные переговоры.

— Не явились ли японцы, чтобы прихлопнуть все наши надежды? — говорит мичман Михайлов.

Всех заботит — что-то будет. Но вряд ли адмирал уступит. Суть японских требований всем известна. Угроза их не выпустить адмирала из Японии в случае его несогласия тоже не секрет.

— Не впадайте в уныние! — прохаживаясь по комнате, говорит Мусин-Пушкин. — Все будет хорошо! — И сворачивает в свою каюту, садится там за стол.

«На родину!» — хочется закричать Елкину, он ждет не дожидается,

когда же наконец приедет в Россию, доставит туда коллекцию снятых им карт, которым цены нет. Только бы довести благополучно. Он как штурман знает, как нужны его описи.

В три часа пополудни доложили, что двор в Хосенди опустел. После обеда адмирал и Кавадзи поехали на шхуну.

Алексея Николаевича Сибирцева вызвали в Хосенди. Встретил дежурный адъютант Алексей Пещуров.

— Адмирал просит вас присутствовать... Скандал из-за американцев.

— Могут нас не пустить в Россию?

— Правительство требует от адмирала подписать обязательство, что русские после установления правильных дипломатических и торговых отношений не будут распространять в Японии христианскую религию.

— Ну и что же?

— Переговоры не закончились. Много говорили обиняками и намеками... Курите.

— Благодарю! Я не курю.

— То-то же! Сегодня американец забеспокоился. Адмирал не принял его, но просил передать, что все в порядке. Будет по-прежнему, только зря кровь друг другу портим... Толкуют не об одном богослужении...

Сибирцев рвется к познанию отношений на Тихом океане, предполагая тут мир будущего, изучает все. Недаром испанка сказала ему про цветок: «Это твой цветок, Эйли». Иностранцы вообще симпатизируют ему и липнут, как мухи на мед, в то время как Алексей Пещуров умеет держать их на почтительном расстоянии, как бы готовясь к тому времени, когда он станет, как и дядя, хранителем секретов государства и знатоком всех его тайных механизмов и иначе как строго по делу не заговорит с представителями других держав. Он будет задавать тон и линию, а не увлекаться. Он не художественная натура.

— Я никогда не видел Кавадзи таким жестким. Вы знаете, Кавадзи сказал: «Мы благодарны за шхуны. Но, пожалуйста, не придавайте этому лишнего значения при решении государственных дел. Шхуна есть шхуна. Законы государства есть законы. Они требуют от вас порядка и соблюдения всех условий. Вы обязаны исполнять наши законы повсюду в нашей стране» — и пошел и поехал. Евфимий Васильевич кряхтел и пыхтел... Я сотни раз был при их переговорах, но так, как сегодня, еще никогда не случалось. Кавадзи действовал решительно, не по-японски... Говорил прямо, логично. Евфимий Васильевич как-то не нашелся пока, что ответить. Мне кажется, что вся их логика при столкновении со здравым смыслом полетит прахом, и они это понимают.

Алексей подумал, что, видно, даже Пещуров не всегда доволен дядей, нелегко и ему адмирал.

— А вы знаете, что у них большие неприятности, как я узнал в Симодэ? Это касается Эгавы. Они новый свой корабль «Асахи-сее» разобрали, как советовали Лесовский и Колокольцов, и снова собирают, но без особой надежды. А их первое судно «Хоо-Мари» спущено на воду, но ходит плохо, только по спокойной воде и потихоньку.

— Может быть, поэтому Кавадзи сказал, что хочет видеть, как заканчивается постройка корабля, и как такие же шхуны строятся самими японцами, и как тут работают местные плотники... Путьтин и Кавадзи возвратятся в храм и продолжат переговоры. Кавадзи еще сказал, что желает видеть, как готовится спусковое устройство шхуны. Но главный скандал еще впереди... Дошлые они люди! Все изучают и все хотят знать! Адмирал все же с ними откровенен...

— Должно пройти время,— заговорил Кавадзи, когда совещание возобновилось.

— Зачем нам с вами толковать об одном и том же? — отвечал Путятин.— Мы переливаем из пустого в порожнее. У этого дела есть одна серьезная сторона — о консулах, которая, в случае если бы все было так, как вы требуете, может обернуться для вас трагедией.

«Обернуться трагедией», «серьезная сторона дела». Ну что же, будем так и записывать, решил Сибирцев. Евфимий Васильевич прибегает к чиновничьим выражениям не от легкой жизни. Обычно проще говорит, он воспитанный и образованный человек.

Кавадзи слушал насупившись и собрав морщины на лбу. «Я говорю не об Америке, а он отводит разговор, чтобы не дать прямого ответа, как хитрый варвар!»

— Вы знаете, что пока Япония слабей западных держав. Что же будет, если вы закроете двери для нас, для нашей торговли и консулов? Вы попадете под давление колониальных держав.

Кавадзи распустил морщины, и голова его начала медленно подыматься, принимая обычное гордое положение.

— Согласитесь, Саэмон-сама, что все эти годы мы, не имея в Японии сильного флота, одним своим присутствием побуждали других быть в отношении вас мягче.

— Да,— ответил Кавадзи,— без вас другие державы действовали бы грубей.

— Так зачем же вам закрывать доступ нашим консулам и как бы искушать и манить своей слабостью другие державы, под безраздельное влияние которых попадать вам нет никакого резона? Все это мои доводы для вас. А правительству вы можете сообщить, что я не смею менять статьи подписанного договора и категорически отказался разговаривать об этом... Теперь взгляните на дело с нашей стороны. Если в Японии будут консулы других стран, да еще враждебных нам, а нас не будет, то рано или поздно торговлей ли, другими ли средствами, нажмем ли или чем иным они превратят вас в своего союзника и в нашего врага. Ваши порты будут их портами в борьбе против нас. Поэтому не только из любви к японцам и из желания жить с соседями в мире я действую так. Я не хочу, чтобы вы, Саэмон-сама, были моим врагом, чтобы наши страны под влиянием кого-то третьего, может быть сильного и располагающего опытом, свергнуты были во вражду.

Большие ресницы Кавадзи полуприкрыли его мрачный опущенный взгляд. Но тут же, словно вспомнив приказ или оттолкнув колебания, он прояснил и положил руку на свой большой веер, как европейский офицер на эфес шпаги. Пока он мог защищаться только своим недюжинным умом... и этим веером.

— И еще, Саэмон-сама. Я пошел на уступки против моей воли. Не буду повторять. Поймите и вы меня. Я посылаю войска для защиты моей родины. Чувство, понятное вам, Саэмон-сама! Но как человек я вполне понимаю вас! Вопреки законам страны я оставил американцев в храме Нефритового Камня... Вы правы. Но разве вы разрешили бы мне это, если бы я обратился с покорной просьбой?

— Вам известно, что у нас есть строгие порядки. В случае неисполнения ваш выезд из нашей страны может встретить помехи... — Он раскрыл веер, обмахнулся дважды и шелкнул, складывая его легчайшие звенья.— Посол Путятин! Вы действуете так, как вам невозможно не действовать. Как человек я вполне вас понимаю и согласен с вами.

Путятин понял, что деловая беседа окончена. Все стали расходиться. В кают-компании остались адмирал и Кавадзи. Евфимий Васильевич попросил Алексея задержаться. Переводил Гошкевич.

Жена священника подала чай.

Кавадзи полагал, что сам он в своей стране личность более значительная, чем Путятин в России, где много таких вельмож. Но в разговорах с Путятиным ощущаешь тяжесть, словно познаешь давление всей их огромной империи. Путятин умел это выразить при всей своей деланной вежливости.

В Хэде за Кавадзи не следят. Только один день — сегодня — Кавадзи проходил с распрямленной спиной. Никто не напоминал ему о его мнимой тайной вине. За это он благодарен Накамуре. Иначе и не смог бы решить дела слишком сложного, его надо вести к концу умело.

— Скоро спуск шхуны на воду. Оставайтесь, Саэмон-сама, или приезжайте на спуск. Я еще долго не уеду из Японии, как вы знаете, и рад буду еще и еще видеть вас.

Кавадзи ответил, что дела гребуют возвращения его в столицу и вряд ли он сможет приехать на спуск корабля.

— Я был послан в Симоду, но, желая видеть вас, совершил путешествие в Хэду. Очень трудно. Получилось путешествие внутри путешествия!

— А что же мне тогда сказать? У меня все время путешествия внутри путешествия!

— Открытие Японии неизбежно, адмирал. Все этого ждут. Новое оказывает как хорошие, так и плохие влияния. Многим японцам сразу захотелось поехать в другие страны. Вы, посол, не берете с собой кого-нибудь из японцев в Россию?

Путятин слегка поморщился, кажется, не обращает внимания на суть вопроса и принимает его как упрек. «А не без причины сказано! — полагал Сибирцев. — Но в чем тут дело? Не сразу раскусишь!»

Кавадзи спросил, от чего зависят частые перемены политики западных держав. Пока мы трактуем с послом Путятиным, мы видим искренность. Останется ли все так же при преемниках Путятина? Евфимий Васильевич ждал этого вопроса. Он и сам часто о том же думал.

— Отношения дружбы между Японией и Россией не должны изменяться никогда, кто бы ни оказался нашими преемниками. Я сделаю все возможное для этого. Мы заплатим Японии за все расходы, понесенные вашим правительством из-за пребывания моего посольства и экипажа «Дианы». Также оплатим все материалы, пошедшие на постройку нашего корабля.

Он хотел бы сказать, что по прибытии в Петербург, если бог даст того, он непременно будет просить государя, чтобы согласился послать как подарок Японии от России шхуну «Хэда», построенную японцами и русскими. Он дал понять, что Японии будут сделаны важные подарки⁸.

Кавадзи догадывался, о чем речь. Путятин не много ли брал на себя? Он решал за своего государя? Его можно извинить. Он искренен. Ради обещания дружбы готов преступить обычай верноподданного царедворца. Это рыцарски, но может счестся слушанием в его столице.

— Шхуна «Хэда» является памятью нашей дружбы, которая никогда не должна иссякнуть, — сказал Кавадзи, понимая намеки. — Все разногласия мы будем решать мирно.

— Отношения наши должны быть соседскими, как у хороших крестьян, возделывающих свои поля, чтобы кормить детей. Мы завещаем им чувство преданности друг другу.

⁸ Возвратившись в Петербург, Путятин получил согласие на передачу шхуны «Хэда» японскому правительству в подарок. Ее привел обратно в Японию Александр Колокольцов. Одновременно японцам были уплачены долги, а также подарены все орудия с фрегата «Диана».

Много думал Путятин о событиях прошлого и много мог бы сказать. Сколько раз делались попытки завязать отношения с Японией. Близко подошли к Стране восходящего солнца сибирские промышленники и мореплаватели, описавшие и обжившие Курильские острова. Это в пору первопроходцев. Японцы, знающие историю, признают, что даже на Южных Курилах русские появились раньше.

Крахом окончилась попытка Резанова, пришедшего вместе с Крузенштерном в Нагасаки заключать трактат. Япония оставалась замкнутой и гордой, хотя сами японцы потихоньку объясняли нашим посланцам, что в их Верховном совете голоса разделялись при решении; двое из пяти были за подписание трактата. Впоследствии Кавадзи оказался учеником и преемником одного из тех членов горочью, который стоял за открытие Японии еще полстолетия назад. Были такие же попытки установить отношения с Японией и до того и после. Сам Кавадзи рассказывал, что на побережье главного острова Ниппон есть японская деревня, где поются русские песни и японские крестьяне танцуют по-русски. Хотя при всем этом на Курилах японцы вытесняли потомков наших промышленников и, как говорят, даже уничтожали крещеных айнов. А петербургское правительство, как всегда, занято было европейскими делами и своими заботами. Путятину тоже хотели женить на немке! Так он уж решил, что лучше на англичанке... Где сейчас его Мэри? Такая она стала истая православная, все, поди, молится за него!

А потом дело дошло до того, что знаменитый наш моряк Головин схвачен был японцами на острове Кунашир и просидел у них годы в плену. Даже в таком положении он старался им доказать, что пора установить дружественные отношения с Россией. Желая быть полезным и в неволе, рискнул учить японцев русской грамоте. На память написал учебник по русской грамматике с многочисленными примерами из поэзии. А вот говорят, что морские офицеры безграмотны...

Из храма Хосенди Кавадзи отправился в каго, которое несли четверо рослых молодцов.

Значит, Накамура не передавал распоряжение здешней тайной полиции следить за Кавадзи.

Накамура верил, что Кавадзи в конце игры победит. Накамуре не придется нести ответственности. Но если Кавадзи окажется побежденным? Вместе с ним готов ли погибнуть и Накамура Тамея?

Тигры берегут свою шкуру! Воины берегут свою честь!

Под боком горы соломенные крыши, окруженные апельсиновыми деревьями. Домики среди живописных лавровишневых гигантов, у подножия скал и лесов хиноки и сосны. Кавадзи не мог в этот золотой предзакатный час не любоваться роскошной грустной красотой. У поэта и писателя первая мысль о том, как среди такой природы счастливы простые люди. Но Кавадзи слишком опытен, чтобы любоваться безмятежно. Он знал, что во всех этих романтических деревенских гнездах в пору цветения сакуры трясутся, как и всюду, такие же глупцы и психопаты, запуганные тайной полицией, как и во всей стране, начиная с канцелярии Абэ и до нечистых нищих и неприкасаемых. А хозяева самых красивых особняков особенно трусливы. Им есть за что бояться. Все запуганы, на них доносят, как и на тех, кто сам доносит. Никто не счастлив. Но как и кто же тогда находит в себе силы создавать такую красоту, такую иллюзию счастья, сочетая любовь к жизни и искусству с красотой природы? Это тайна непобедимого человека, не подвластная никакому ведомству.

Перешли по мостику быстрюю речку, бежавшую к морю с гор по белому от камней ложу.

Вот и храм, в котором остановился Кавадзи. У ворот и за черными сводами кусуноки таятся его воины. А дальше, за цветущими садами, как пчелы, собирающие с них мед, живут мелкие тайные и явные полицейские. Они почти в каждом доме сеятеля и рыбака.

Так бакуфу строит западный корабль! С прибытием Кавадзи местным жителям придется кормить еще и его многочисленных подданных. Какая дивная картина! Какая живопись! Живописные гнезда уюта тайной полиции. Гнезда полицейского уюта!

— Лисовина выпустите, как решено,— сказал Кавадзи в храме ожидавшему его Деничиро.

«Я уступаю ходу истории, закономерным событиям, чтобы моя страна быстрее преобразалась. Но чтобы при этом мое согласие выглядело в глазах народа как временная уступка насилию и нахальству иностранцев... Чтобы подтверждалась незыблемость и правота высшей власти... Незыблемая правота всего, подчиняться чему обязывали нас веками: правота обмана, без которого нельзя управлять народом для его же счастья...»

— Сегодня выслушал, как Путятин готовит экипаж к плаванию. Сказал: вам, адмирал, трудно будет уйти...

Уэкава почтительно соглашался.

...Деничиро ушел. Очень искусный сыщик, подданный Кавадзи, донес, что видел сам, скрытно наблюдая, как бонза храма, проходя по комнате, читал дневник Кавадзи.

Подданные очень верны Саэмону. Они следят, чтобы волос не упал с головы их господина. Бонза захотел узнать, что пишет Кавадзи! Что же, ведь в своих записях Саэмон всегда хвалит правительство и дурно отзывается об иностранцах. Иначе нельзя! И не только потому, что вокруг много шпионов. Такие же шпионы в душе Кавадзи.

Выезжая на переговоры, Кавадзи решил, что Накамура прав, все должно кончиться тем, что Саэмону дадут в руки привычный меч. А пока его голова и его руки еще заняты...

Много принес ему только один вчерашний день свободы. Голова ожила. Он почувствовал себя верным слугой правительства... Он много сделал для правительства в этот день во время путешествия внутри путешествия!

Глава 15. Прощайте, товарищи, с богом, ура!

С вечера страстной субботы служителей японских храмов занимало предстоящее пасхальное торжество, величайшее из христианских священных таинств, как объяснял им отец Василий Махов.

Тайны враждебной религии опасны, поэтому необходимо их познать. Хотя есть и такие бонзы, которые в эту ночь запрутся и будут молиться и проклинать западных людей и западную веру!

Чиновники так старались всех жителей Хэды отвлечь от предстоящего христианского празднования в лагере и так разнесли весть о нем по всей деревне, что всех заинтересовало. Матросы, приятели хэдских мастеровых, ничего им не говорили про богослужение и торжество, приказано было наистрожайше не тревожить японцев и с ними про веру не поминать. Это не ваше дело, объясняли офицеры, надо будет — и скажут. Попы, а не вы...

Матросам все это было совершенно безразлично, и хотя многие по-прежнему называли японцев нехрестями, но на работе все свыклись с ними и сдружились и обижать их обычаи и веру никто не собирался, ни у кого в уме ничего подобного не было. Японец — он японец и у него все японское, свое, все наоборот нашему, этим он даже занятен и мил, добрый и славный, хотя палец в рот ему не клади.

Вся деревня потушила огни, но почти никто из взрослых не спал, все прислушивались к пению, доносившемуся из лагеря. А пение было красивым и торжественным. Его можно страшиться как сладчайшего соблазна.

Часто в лагере и прежде пели то грустно, то весело. Русские всегда и везде пели, у них множество песен ко всякому случаю и ко всякой работе. Все их любили слушать. Но так еще никогда не пели. Иногда густо, глубоко, так проникновенно, что казалось, в их согласном пении рокошет море.

Старик Ичиро долго сидел на крыше, пока с моря не потянуло холодом и он не озяб. Эбису пели внутри солдатского храма, а многие во дворе, поэтому хорошо слышно. И тихая ночь.

Вот почему, оказывается, правительство жгло христиан живьем! Вот это служба! Они хорошо поют и для себя и для бога.

Ичиро вообще удивляется: зачем их религию преследовать? У всех своя вера! Все по-своему чтят бога...

Старик улегся на циновку и, укрываясь ватным одеялом, еще долго бормотал. Если бы не озяб, еще сидел на крыше и слушал их пение. Вдруг он откинул халат и поднял голову.

— Танака-сан говорит: надо всех пугать, чтобы не взяли примера. Поэтому ты молчи. Будут большие строгости после отъезда русских. А как ты думаешь, они все уйдут на американском корабле?

Таракити пробормотал что-то, он почти спал. Но все слышал и не хотел отвечать. Отец толкует про пустяки. Конечно, пение доносится всюду. Его слышат и старосты, и полицейские, и бонзы, спрятавшиеся в тени огромных деревьев, и американцы на своей шхуне.

Таракити молод, до смерти ему далеко. Он поэтому и в буддийские и в шинтоистские храмы ходит редко, хотя богов почитает, и молится, и побаивается. Пословица говорит: как жениться — так буддист, как умирать — так шинтоист. А некоторые говорят наоборот. Таракити еще не собирался ни умирать, ни жениться, ни переходить в другую веру. Но он чувствует глубокую привязанность к своим новым друзьям, а их вера не имеет для него значения. Но под их далекое пение не спится. Ведь они готовятся к уходу. Скоро их не будет! Александр сказал, что надо учиться дальше, очень много. В душе Таракити гром и молния, сам же он лежит тихо на соломенном татами под бедной накидкой, под которой спал еще в детстве. Теперь ноги торчат из-под нее, он вырос... Но как дальше, что же будет? Мгновениями становится страшно. Неужели так пройдет вся жизнь? Таракити и сам понял, что знания ему даются. И не только знания. И самая трудная работа ему дается. Он приучен отцом к терпению и старательности, он не требует себе за это ничего. В его аккуратной работе выражена его гордость. Это не для того хозяина, кому он делает, а для себя. Ему платят — и все. Но красотой изделия, тщательностью работы он заслуживает всегда, как и отец, признания и благодарности.

Но вот теперь начинается что-то другое. Теперь оказывается, что, пока мы гордились совершенством своего мастерства, западные люди нас перегнали, их мир ушел далеко вперед. Наши умение и старательность и наша гордость прилагаются нами к устаревшему делу. Надо, сохраняя умение, применять его к новому. Где учиться? Как? Нельзя сказать: не уходите! возьмите меня с собой! Вот какой пожар зажегся в душе Таракити. «А пение... что же... отцу нравится!»

Но что-то страшное угадывается, глухое предчувствие одиночества и какой-то трагедии, может близких кровавых ужасов, угасания молодых надежд. В эти дни всем страшно и все боятся одинаково.

Таракити уснул и долго стонал. Очнувшись, вспомнил, что ведь после спуска русского судна остаются еще два, будет еще работа, без

него не обойдутся. На второй из шхун с трудом установлены первые шпангоуты, а на третьей заложен киль.

Ночь шла, а за частоколом в лагерной церкви пение не смолкало. От ночной тишины или от избытка любви к всевышним силам пение эбису становилось громче.

Полицейские зорко следят за всем происходящим с крыш храмов и домиков, а также с окрестных гор.

На заставах, в хребтах, куда поднимаются торжественные волны звуков, солдаты, конечно, тоже слышат. Все держатся при этом за оружие.

Вокруг частокола, как обычно, стоят ночные караульные с саблями.

Танака с крыши переступил на отломанный сук платана и спрыгнул на землю к бонзе Фуджимото, который стоял без шапки, лысина его блестела, как зеркало, в ночной тьме.

Видно стало, что множество эбису вышли во двор и пошли вокруг церкви со свечами в руках, другие что-то несли. Пение переменялось. Послышалось ликование, веселье, как будто победа одержана! Как все это понять?

В лагере наконец стихло. Но долго еще слышался общий говор, приглушенный, приличный, а иногда доносились радостные восклицания.

Наблюдатели доложили, что все целуются, даже матросы с офицерами. Многие держат в руках крашенные яйца. Садятся за стол и не вовремя едят, всем дают по чарке сакэ. В следующем донесении сообщалось, что все обнимаются.

Взошло солнце. В обычный час все морское войско построилось в лагере на подъем флага. Адмирал говорил что-то, и все дружно и в согласии прокричали много раз.

Капитан читал приказ, объявлял о повышении в чинах, о производстве мичманов в лейтенанты, штурманских прапорщиков в подпоручики, многих матросов в унтер-офицеры и о награждении деньгами всех остальных нижних чинов.

Грянул оркестр, и моряки замаршировали. Потом по команде разошлись.

А японцы рано утром отправились на работу на свои шхуны. Только на шхуне «Хэда» никого нет.

У лагеря, поодаль, ближе к берегу, закончена постройка двухэтажного дома. Строить начали две недели назад. Дом красивый, с видом из широких окон на бухту и море.

— Видно, порт откроется,— говорил Путятин.— Не правда ли? Ведь похоже, что построено в Хэде новое здание Управления Западных приемов.

— Да, весьма вероятно,— соглашался Пушкин.

— Как наш Уэкава-сан развертывает дело.. Быстро преобразует Хэду.

— Я им не раз говорил, что в Хэде надо сделать открытый порт. Тут, а не в Симодэ! Бухта гораздо удобней, чем там. Я всегда удивлялся, как Перри согласился на Симоду...

Старый разговор. У Лесовского думы не об этом. На него ложится теперь самая большая ответственность за годы службы на флоте. Война есть война, и все может случиться, хотя мы и уверяем американцев, что нас никто не тронет. «Господа офицеры! Братцы! — хотелось бы сказать Путятину.— Вот и все! Вот и закончились праздничные богослужения. Вот и наш прощальный праздничный обед. Катание яиц, песни. Пообедаем все вместе за нашим матросским столом, одной семьей!»

Это уже начало конца! Послезавтра часть экипажа уходит.

Японцы, заканчивая работы на постройке двухэтажного дома, поглядывают сверху на лагерь. Они знают: близится разлука моряков, работавших на стапеле, с уходящими товарищами. Сто пятьдесят человек морских солдат поплывут сражаться в море против Франции! Налет грусти заметен на заморских людях!

Капитан ходит в последние дни с юнкером Корниловым, и они как будто плачут. Юнкер хочет ехать на войну, где храбро сражается его отец, командуя всеми русскими императорскими войсками и флотом против англичан и французов.

Пуятин оставляет тут юнкеров в надежде, что война закончится и будет меньше опасностей, когда мальчикам придется идти домой.

Вот что узнали, о чем догадались и что поняли японцы деревни Хэда, наблюдая за подготовкой русских к плаванию.

А капитан и юнкер опять гуляют вместе по дороге среди полей и храмов, останавливаются и говорят.

На второй день пасхи адмирал, с утра помолившись в церкви, а потом на могиле Букреева, давал в храме Хосенди обед своим офицерам и американцам. Были Вард, Рид и Дотери. Говорили о России и Америке, о залежах угля в Сибири и на Сахалине, о будущей великой торговле через Тихий океан. «Мы — всегда идущие вперед! — хотел бы заявить Рид после первого бокала виски. — Может быть, мы и авантюристы, но в самом возвышенном и благородном смысле слова. И мы не стыдимся! Но это мы! И наш первый генеральный консул в Японии тоже будет авантюристом. Никто порядочный сюда не поедет. Все же мы идем с вами на Камчатку, рискуя жизнью и нашими семьями!»

— Как хорошо поют ваши матросы, — заметил Дотери.

Людям по договоренности с властями не разрешали выходить на вытоптанную площадку у лагеря, чтобы погулять, петь песни и познакомиться со знакомыми.

Пускай моги-ила меня нака-ажет... —

затянуло несколько голосов.

За то, что я тебя-я-я люблю-ю.

Трое молодых матросов проходят мимо двора храма Хосенди и могилы товарища. Идут и не боятся. Наверное, перелезли через забор.

Но я моги-и-илы не устра-шу-у-уся.

Кого люблю-ю я, с те-ем помру-у...

— Отставить! — выходя к воротам, приказывает дежурный офицер.

— Адмирал! Мы все с восторгом идем к вашим берегам! Храните наши семьи!.. — восклицает Дотери.

— Ни волоса не упадет с их голов!

— А мы перевезем за три вояжа всех вас...

Дотери сильно напился, и разговор пошел на откровение.

— А что бы вы делали, если бы не мы? Но дайте деньги! Хорошая оплата! Америка и Россия — друзья! И за хорошие деньги мы вас спасем всегда... Вечные друзья!

— И союз? — спросил Лесовский.

— Союз! Да!

— А если наши враги заплатят больше?

Дотери выложил оба кулака рядом с волосатым кулаком Лесовского. Потом посмотрел остекленевшим взором, развернул ладони и положил на стол обе руки крест-накрест, медленно опуская на них голову, и замолк не в силах придумать сейчас ясного ответа... В таких случаях надо уклониться, сделать вид, что мертвецки пьян. Лучше всего притвориться, будто уснул. Только неправдоподобный ответ мог

бы понравиться свирепому капитану, который, говорят, дерется умело и часто. Идет с нами!

...Сегодня праздник в России, праздник и у детей Путятин. И в Петербурге! Там миллионы уходят на выплату жалованья множеству генералов и чиновников. А по сути — зря. Но как избежать? Никогда прежде не думал об этом Путятин. И он сам может жить гораздо скромней и лучше. А то соришь деньгами по общему обычаю. «Пасхальный праздник — обиды одних и самодовольство других. Там сыплются ленты, звезды, ордена, награды, да не такие, как у нас. Я пятьдесят человек произвел! А там — пенсии! Сколько при этом интриг! Лесть, обмань... Мы здесь живем и рвемся отсюда, а ведь здесь мы почти без предрассудков, как независимые. А там живо укажут всем свое место... Мы тут отвыкли от подлости. А что же будет, когда опять придется входить в свою среду в Петербурге?»

— Японцы пришли! — появляясь, сказал Пещуров с недовольным лицом. — К вашему превосходительству Уэкава Деничиро...

— Просите...

«Неужели Уэкава явился поздравить?»

Во двор японцы вошли толпой. Уэкава с переводчиком прошли к адмиралу и почтительно поклонились. Уэкава смелый, острый на язык. Сегодня он не в мундире, а в старинной японской одежде из прекрасных шелков, тяжелых, с цветами, и о двух саблях.

— Посол и адмирал Путятин! Поздравляю вас со светлым праздником, — сказал он по-русски. — Очень радуемся, что вам весело и приятно.

— Спасибо, Уэкава-сама, тронут, благодарю вас... Садитесь с нами...

Уэкава продолжал по-японски:

— Мы видим теперь, что пост у вас окончился. Мы готовы сделать для вас все, чтобы условия жизни не были скудны. — Уэкава улыбнулся дружелюбно.

— Благодарим вас.

— Мы просим принять наше разрешение и повторить его вашим людям, чтобы не сидели за городьбой в дни праздника... Есть разрешение им дополнительно выходить на расстояние половины ри от ворот совершенно свободно и независимо, как вы найдете возможным, адмирал... К морю или в цветущий лес. Пожалуйста, получите...

Улыбка Уэкавы расплылась еще шире, и он набрался решимости по пословице — в улыбающееся лицо не пускают стрел! У него был такой радушный вид, словно он собрался христосоваться.

— Поэтому... вам... адмирал и посол... вашим людям, которыми мы все восхищены... и благодарны... и от японского правительства... как подарок офицерам и матросам за хорошую работу... мы прислали в подарок... публичный дом... бардак! — пояснил он по-русски. — Примите, ваше превосходительство...

— Что? — тихо спросил адмирал.

— Девицы все очень чистые и здоровые... Дело свое знают... Некоторые могут быть для офицеров...

Путятин на миг растерялся: «Вот тебе и пасха! И редька с постным маслом! Занятия батюшки с матросами и юнкерами! Неужели все напрасно! Пост, мол, закончился! Зачем же лицемерие? А я еще роздал награды, произвел в чины... Ну что тут делать адмиралу?»

— Здание уже построено.

— Где? — спросил Лесовский.

— Вот тут близко, гораздо меньше чем на расстояние половины ри от ворот лагеря. Уже открыто и оборудовано.

— Это двухэтажный дом?

— Да-да...

— Это вы с ним так спешили? Так ведь там дворец Управления Западных приемов.

— Да, да, дворец. Так точно. Дворец для... для западных приемов!

На улице раздались крики и топот бегущих детей. Быстро вошел Можайский. У него в руках бумажный змей, двухлопастный, а между плоскостями сидит, как в экипаже, фигурка человека в мундире.

— Только что запускали, и очень удачно, Евфимий Васильевич!

— Также имеется обширная гостиная для общества. Некоторые девицы еще не переехали в свои роскошные квартиры. Они находятся на корабле,— добавил Уэкава, не обращая внимания на змей-самолет.

— Да какие-то девицы сбежали и так радуются сейчас, смотрят, как наши пляшут, и сами хлопают в ладоши, совсем как барышни на параде,— не зная сути дела, сказал Можайский.

...С утра в этот второй день пасхи матросы, как всегда, не смели выходить за ворота, кучками сидели во дворе, глядя через ворота, как в тюрьме или в сибирском пересыльном бараке. Хорошо бы на траве полежать! А в лагере редкие травинки пробиваются лишь у самых столбов.

— Эй, мусуме!— кричали молодые, завидя проходящую девушку. Часовой не пускает, но матросы толпой вывалились из ворот.

— Мусуме, вот бери сато⁹!

Юная японка взяла, деланно улыбнулась, спрятала кусочек сахара в рукав и пошла прочь.

Жадные взгляды ищут. Вот идет женщина. Какая окажется? Красавица? Кокетка? Вдовушка? Нет, не тут-то было, обычная замужняя японка с начерченными зубами и губами, как в саже, как с провалом во рту.

— Эй, кусай сато!..

Всегда прячут угощение в рукав. Очень благодарят. Но едят или выбрасывают — неизвестно.

— Никто еще не видел, чтобы они на улице ели.

— Почему? Ты знаешь?

...Иосида уже тут. Значит, что-то будет.

— У нас на улице женщине неприлично есть.

— Так и у нас тоже. А в городах, бывает, едят и на улице, где торгуют блинами, квасом ли.

— Братцы, японцы с саблями идут и наши лейтенанты.

Зеленой с сонным видом, грузный, но расторопный, вызвал дежурного по лагерю:

— Объявите людям, что могут выходить на луг, играть в лапту, в чехарду, петь или сидеть на траве.

...Обед опять мясной и с двумя чарками.

...Слышатся бубен и гармонь. Топот ног. Хор поет на мотив плясовой. Из ворот под удалое пение гуськом вытанцовывают прямо на луг и на пустырь присядку, один за другим.

Эх, Тула, Тула, Тула я,
Тула — родина моя..
И-их..
Над яром Кострома,
А под яром кутерьма.
И-их..

— Э-эх... и-их... у-ух... и-и-и... — идет перепляс и поют самодельщину вперехват друг от друга.

На пустыре толпа хорошеньких молоденьких девушек в прекрас-

⁹ Сато — сахар,

ных затейливых прическах под прозрачными кружевными наколками. Они, хлопая в ладоши, вошли в круг пляшущих матросов.

Адмирал сидел на террасе храма с гостями и офицерами, и его самого тянуло посмотреть на матросское веселье, которое сам он заглушал, забывая за время великого поста. Но теперь уж ничего не поделаешь. Река прорвала плотину. Путьятина самого подбивало заложить руки в боки и пройтись молодым фертом. Аз и ферт! Да, кроме котильона и мазурки, пожалуй, не помнил ничего. И вдруг этот ужасный доклад: «Вам в подарок, ваше превосходительство... от японского правительства...»

Адмирал, простившись с гостями, ушел к себе и сел за письмо к Мэри и детям. Доставит в Россию Лесовский. Множество бумаг обычно шлет в столицу каждое посольство. Но в этот раз деловые бумаги еще позавчера закончены и запечатаны. Писано кратко. Со всей твердостью духа готов отвечать адмирал за допущенные им ошибки при заключении трактата.

...Японок, как детей, восхищала пляска, как танцоры шли волна за волной мимо, как все заплясали вдруг, как наиболее удалые лупили ладонями по сапогам и коленям, в грудь, по затылку, потом опять по пяткам и носкам сапог. Несся сплошной топот ног и перешлеп ладошек, словно заплескались тысячи звонких волн.

Таракашка на бегу,
А старикашка на ходу...—

пели плясуны, миную Глухарева.

Эх, Тула, чтоб те вздуло...
...Ой, ой, не могу,
Ступил комар на ногу,
Все суставы перешиб...»

Тут же Аввакумов. Он разглаживает степенно усы и тоже корячит-ся, пританцовывая слегка.

Молоденькие японки сбегали на свой корабль и, возвращаясь с кувшинами сакэ, наливали чашечки и с поклонами предлагали матросам.

Пляска прекратилась, и все столпились вокруг девушек.

— Поздно вас прислали!

— Они уезжают и жалуют, что вам не будет дела... Уходит сто пятьдесят человек. Останется только триста двадцать два человека,— переводил Иосида.

— Ты?— вдруг воскликнул Сизов.

Перед ним была Фуми, та девушка, с которой он встречался в деревне Миасима, где матросы жили после гибели «Дианы».

— Петя!— сказала она по-русски.

— Так, значит, и тебя?— спросил Сизов.

— Петя!— повторила японка.— Этого забыть нельзя!

«Я ее погубил»,— подумал матрос.

— Теперь повидеешься с ней!— сказал Сидоров.

За одну встречу с матросом ей придется теперь прожить в доме терпимости всю жизнь! Жена губернатора Симоды, спасенная от смерти во время цунами Петром Сизовым, устроила Фуми и Петру встречу в городе, перед тем как послать девушку в публичный дом. Все было богато — и еда и постель, да сами-то Фуми и Петя не прикоснулись друг к другу.

Девицы, подруги Фуми, обступили Петра, заглядывая на него снизу вверх, смеялись, трогали его руки и усы.

Фуми подала матросу глиняную чашечку с водкой. Девушки дарил Сизову цветы, как прославленному герою.

Вечером компания старших унтер-офицеров собралась в зале публичного дома.

- Тепло и весело! — говорил довольный Аввакумов.
 — И никто не ревнует! — подтвердил Глухарев.

На рассвете вся команда в истрепанных парусинниках, как волны яркой белизны, заполнила истоптанную площадку среди лагеря. Сто пятьдесят уходящих во главе с Лесовским стоят лицом к лицу с остающимися во главе с адмиралом.

— Товарищи! Братцы! Настал час возвращения на родину! — заговорил Евфимий Васильевич.

...На прошлой неделе списки зачитаны. Все уходящие знают, собрались уже давно. Разговлялись, христосовались, веселились и вот дождались дня, которого ждали. Но как ни ободряет адмирал, а что-то очень тоскливо. Одним тяжело уходить и оставлять товарищей на произвол судьбы. Другим тяжело отпускать друзей, с которыми сжились крепко.

— Братцы, поклянемся остаться единой душой, куда бы всех нас ни бросала судьба! С честью пойдем на врага, — говорил адмирал. — Мы встанем в ряды защитников отечества. В Севастополе идут кровавые бои...

«Все кончается. Скоро и мы спустим шхуну, — думал Сибирцев. — Прощай, Япония... Кто-то из нас погибнет... Не поэтому ли так тяжело расставаться? Враги нас в море ждут! Адмирал прав!»

— Прощайте, братцы! Вы идете на войну. С честью и славой... — В тишине отчетливо и гулко голос адмирала раздавался по всей Хэде, как на параде. — Прощайте, товарищи, с богом! — закончил свою речь адмирал.

— Ура-а! — грянул весь лагерь.

Загрузка корабля закончена. Заиграл оркестр. Белые колонны уходящих и остающихся зашагали под марш из лагеря. Опять шел Пуятин, и все видели его.

Оркестр стих. Запели моряки:

Дело было под Гангутом,
 Дело славное, друзья...
 Вышел флот наш в бой кровавый
 С славным знаменем Петра...

«У меня сердце разрывается. Я больше не могу выдержать!» — думал Ябадоо и прослезился.

В последние минуты офицеры и матросы уходящие и остающиеся обнимались и прощались, расходились и вдруг снова кидались друг к другу. Слезы выступали у гордых, усатых, смелых воинов, которые так величаво, с грозным пением вступали еще недавно в эту деревню.

— Прощай, Америка! — крикнул, кидая вверх шапку, корноухий боцман Черный.

— Бай-бай! — отозвался ему с борта «Кароляйн» безносый боцман в повязке через лицо.

На судне подняли якорь. На буксире шлюпок судно пошло. Слышно было, как, выйдя за косу из бухты, Вард приказал в рупор ставить паруса.

Вскоре американская шхуна «Кароляйн» растаяла в голубой мгле.

— Такое страшное прощанье! — сказал Ябадоо, возвратясь домой. — Я не мог выдержать!

— Они идут на войну! — отвечала жена.

— Нет, не только поэтому...

— А нам, господа, еще предстоит довести до конца начатое дело, — говорил адмирал Пушкину и офицерам, собравшимся в кают-компани.

— Еще живем, ребята, — толковали в лагере. — Маслов здесь, Сизов здесь, Янка Берзинь здесь. Шкаев ушел.

— А девицы плакали, все смотрели, а я им и говорю: не плачь, девицы, еще на вашу долю осталось, хватит... И смех и горе! Наша жизнь!

На другой день после работы новый переводчик Съоза пил чай у Ябадоо и между прочим спросил, хороши ли дальние стекла у Кокоро-сан. Ябадоо стал расписывать достоинства подзорной трубы Александра.

— Уэкава-сама получил приказ: раздобыть дальние стекла для государственного вельможи. Приказал Кавадзи-сама.

Новость ошеломляющая! Труба понадобилась для кого-то из высших лиц, это ясно: Кавадзи хлопочет и приказывает.

— Я понимаю, спасибо. Но Кокоро-сан не отдаст. У него стекла — подарок от императора России, строго будет наказан, если отдаст.

Позвали унтер-офицера Аввакумова.

— Не знаешь ли, у кого купить трубу?

Пошли к штурманскому поручику в храм Хонзенди.

— Вот переводчик просит продать подзорную трубу для кого-то в Эдо и обещает заплатить золотом. Может быть, у вас, Алексей Николаевич, есть хорошая труба?

— Кому?— спросил Сибирцев.— Имя его?

— Не могу сказать,— ответил, хихикая, Съоза, словно его защекотали.

— Тогда не продадим.

— Тогда я скажу. Но сначала дайте трубу.

Сибирцев подумал, сходил в соседний храм к адмиралу, посоветовался. Вернулся к себе в каюту и вынес трубу. Открыли окно, посмотрели в море на бухту, на горы и на облака.

— Проверили?

— Да, очень хорошая... Для самого,— Съоза говорил чуть слышно,— канцлера Японии.

— Денег не возьмем. Подарок канцлеру Абэ. Нижайше просим принять.

Съоза спрятал трубу в плетеную коробку. Сказал, что заплачено или отдарено будет щедро, и поспешно ушел.

— Каково, брат?— сказал Елкин.— Абэ лично! Видно, заело их... Берутся за дело яро...

— Адмирал велел. Сказал, что хороший признак — обращаются к нам как к своим, кому доверяют. Могли бы у американцев купить за золото.

ЧАСТЬ III. ШХУНА «ХЭДА»

Глава 16. Чайный клипер

На буксире японских лодок в бухту Хэда вошло пятимачтовое судно. Гигант, еще не виданный в здешних морях. «Чем только не удивляют нашу страну западные люди! — подумал Эгава. — Дальше так продолжаться не может. Америка здесь, в Хэде, или Япония?»

Эгава нездоров, много забот и дел с кораблем в Ураге, надо было оставаться там, но срочные дела вызвали дайкана в Хэду.

Путятин рад, это видно по его лицу! Пришел корабль большой, русские уедут все. Шиллинг в Симодэ уже договорился с капитаном-американцем. Сумеет ли мы сами, без Путятина достроить шхуну? А здоровье все хуже и хуже, боли в груди и плече повторяются чаще.

Деничиرو в мундире отправился на клипер для досмотра и переговоров. Он в фуражке с кокардой и в красных штанах, как у француз-

ского зуава на картинке. Объявляет, что команде клипера сход на берег запрещен. Капитану разрешается посещать посла России.

Огромное и величавое судно, какой стороной ни повернется, сразу видно, что оно большое. Почему такое большое и столько мачт? Путятин предупреждал, что придет клипер чайный, а чай легкий, его ящики занимают много места. Этот корабль возит чай из Китая в Европу. В трубу видно: на корме и на бортах надпись «Young America». Тяжелое, широкое, вместительное, с очень высокими бортами, с гордыми мачтами, одетыми парусами, судно издали, когда было в море, выглядело как белый замок из островерхих башен или как что-то воздушное и небесное, похожее на облака. Да, это настоящая молодая Америка!

Клипер встал среди бухты. Его обнаженные мачты — как толстые деревья на горе Амаги.

Путятин очень строг, зорек, устремленно смотрит вперед выпученным взглядом, как будто к обоим его белым глазам приставлены дальние стекла. Старый морской генерал многого ожидает от «Молодой Америки» и старается проникнуть в суть будущих событий. При этом добродушен. Покровительственно рассказывает, что в Европе любят пить чай. Вся Англия в пять часов вечера пьет чай, привезенный из Китая. При этом, как можно понять, ругают самих китайцев.

Для доставки чая в Европу строятся особые суда — чайные клипера, на них от пяти до семи мачт. Команда нанимается из настоящих англичан — предпочитают молодых высоких пьяниц. В Китае и в Гонконге берут индусов, китайцев и малайцев. Как только чай нового урожая доставлен в порты китайскими купцами, английские купцы — все они по большей части шотландцы — берут его нарасхват, загружают клипера. Корабли наперегонки идут в метрополию. Так начинаются знаменитые гонки чайных клиперов. Кто придет первым, получает наибольший доход: продает чай по самой высокой цене. Получает приз, как на рысистых бегах.

Эгава протислся с Путятиным и ушел из Хосенди. Ссутулившись, печально смотрел на бухту через открытое окно деревенской канцелярии бакуфу. Не мог сейчас победить самого себя, подавить свои недовольство и обиды. Здоровья нет. Можно поправиться, но для этого нужен отдых. А это невозможно. Японское правительство считает Эгаву героем труда и науки. Ленивые герои труда — большая редкость в Японии. Все время болит сердце. Иногда перестает, а потом опять кто-то сжимает его невидимой рукой. Не простые заботы и неприятности. Кажется, уже нет выхода, нельзя поправить дела. Очень задета гордость. А теперь уйдет Путятин. Как же без него достроить шхуну «Хэда»?

Эгава увидел, что русский вельбот с офицерами и гребцами в нарядных белых рубахах пошел к судну. Теперь уж никто не препятствует варварам из двух стран встречаться в Японии и обделывать свои дела. Клипер заходил в Симоду. Шиллинг был там и привел корабль в Хэду. Там сговорились русские с американцами.

По расчетам Путятина, «Каролайн Фут» должна вернуться с Камчатки. Но ее нет. Льды? Блокада? Может быть, захвачено судно? Адмирал поэтому, наверное, решил фрахтовать клипер и сразу всем уходить, если корабль надежный.

Сегодня на постройке шхуны старик плотник Ичиро нес доску, он одним взглядом не видит и не заметил, что мелкий полицейский на дороге чуть не задел его. Ичиро сбросил доску с плеча и рассердился:

— Я тебе выстрогаю нос и уши! Будет гладко!

— Хи-хи-хи,— вежливо согласился чиновник. Ему больше ничего не оставалось как отойти...

Один раз Эгава видел, как матросы поймали большую акулу и быстро ее разрубили. На море нужен глаз, рука, быстрота и находчивость...

Видно в окно: Путятин в старом длинном мундире без эполет, в котором был сегодня на стапеле, пошел в лагерь, наверное, чтобы помолиться за своего царя.

Хитрые варвары начинают одно дело, а думают про другое. Увидя американцев, сразу меняются.

Эгава вдруг почувствовал, что боль стихла. Он свободно поднял руку и легко вздохнул.

Лейтенант Крэйг одет в штатское. Он осунулся, лицо изрядно помято и поблекло. Что с ним? Болен?

— Очень, очень рад снова видеть! — жал он руку Посьету и офицерам. — Коммодор Адамс и капитан Мак-Клуни, вернувшись после встречи с вами из Японии в Китай, искали шкипера, который взялся бы вывезти посольство его превосходительства Путятина и русскую команду, — объяснял он Посьету. — Искали судно повместительней. Я послан от коммодора Адамса с письмом к адмиралу Путятину.

— Мистер Крэйг был нездоров, — сказал Шиллинг, — но у меня с собой оказались лекарства, и он поправился.

Лицо Крэйга бледно, нижние веки припухли, оболочка их красна. Он смотрит как-то странно, словно не совсем понимает, что делается вокруг.

— Как, братцы, дошли? — спросил Сибирцев матросов, стоявших у трапа с вещами.

— Алексей Николаевич, ветер помог, — ответил унтер-офицер Сысоев.

— Только грязно, — сказал Маточкин. — Чай пить не захочешь. Особенно после того, как поживешь в Гекусенди. Вышпарить надо клипер, выскрести, прежде чем грузиться. А самих их всех сводить в баню, выпарить вениками по-русски, одежду их выварить. Их бы на три дня дать всех Ивану Терентьевичу...

— Они не пойдут мыться! — ответил Сысоев. — А вам, Алексей Николаевич, американка кланялась и посылает гостинец, я на берегу представлю посылочку.

Разговаривая с Алексеем, Крэйг вынул из кармана револьвер и стал крутить пальцами барабан. Гнезда его были пусты. Американец приложил дуло револьвера к своему виску и щелкнул несколько раз, словно прислушиваясь, как бьет боек. Весело кивнул Алексею и исчез в люке. «Что с ним? — подумал Сибирцев. — Такой был блестящий офицер при палаше и кортике! Помятый джентльмен в пестром, как с американской Хитровки! Истощен болезнью? В уме ли он? Николай о чем-то умалчивает?»

В каюте заговорили о фрахте. Шкипер Бобкок запросил пятьдесят тысяч долларов.

— Пошел он к черту с такими деньгами! — возмущился Можайский. — Зачем вы его привели, барон? Это же пират...

Бобкок быстро и хмуро глянул на поднявшегося в рост Можайского, как бы хотел сказать: «Потише, потише!»

— Да, что такое бобкок? — насмешливо спросил Можайский.

— Кажется, обрубленный хвост, господа, — ответил юнкер Урусов, — или бесхвостый петух, что-то в этом роде.

У шкипера лоб приплюснут, маленькие глаза бегают. Челюсти выдвинуты, словно он схватил зубами кусок мяса, от этого на лице застыла гримаса злой и лукавой улыбки.

— Его привел не я, а мистер Крэйг. Шкипер Бобкок уверял в Симодэ, что цена будет умеренная.

— Он для начала запрашивает,— сказал Посьет,— надо сбивать цену.

— Какой-то страшный корабль,— сказал Сибирцев, выходя от шкипера после разговора.— Ты как, Николай, не боялся идти с ними?

— Да, что-то вроде «летучего голландца»...— молвил Шиллинг.

— Что за морды!— сказал Елкин, оглядывая разномастных матросов с бородами.

— Физии зверские,— подтвердил Можайский.

— Но делать нечего, надо идти,— сказал Посьет.— Только цену сбить. Сейчас Бобкок соберется и пойдет в Хосенди. Евфимий Васильевич их знает.

— Спеси ему сбавит,— сказал Елкин.— С пиратами мы еще не плавали.

— Это вы не плавали,— сказал Зеленой,— а нам пришлось на Янцзы на пиратской джонке вместе с Гончаровым.

— У нас четыреста человек, и мы не овцы!— сказал Сибирцев.— Будем приглядывать, а если понадобится — перевяжем.

— Да, если понадобится, доведем корабль,— согласился Посьет.

— Пора, господа... Эх... Пора в Расею!— воскликнул Зеленой.— Ну их к черту, всех этих японцев с их шпионами! Пусть сами достраивают, если жить по-человечески не умеют. И всех этих выроdkов, приклеившихся к Америке!

— Крэйг после сильного поноса? После холеры?— спросил Сибирцев.— Желтая лихорадка?

Шиллинг молчал.

— Запой?— тихо спросил Алексей.

— Да,— так же тихо ответил барон,— но бог миловал, пронесло... Легко на помине...

Из люка появилась всклокоченная голова Крэйга.

— Еще слаб и бледен, есть странности...

— Едемте с нами на берег, мистер Крэйг,— пригласил Сибирцев, когда лейтенант с «Поухатана» поднялся на палубу.— Берем его на берег и приведем в порядок?— обратился Алексей к товарищам.

«А заодно все узнаем!»— подумал Посьет.

— Сами вычистим клипер,— молвил Елкин.— Не оставаться же в Хэде дальше!

— А если у нас с ним что-нибудь случится?— спросил Зеленой.

— После болезни? Ничего не случится. Сейчас попросим доктора Ковалевского,— ответил Алексей.— Мои люди его выпарят, выстирают ему все, накрахмалят. Пусть выспится — и человек придет в себя. Мистер Бобкок,— обратился он к вышедшему шкиперу,— мистер Крэйг — наш друг. Мы берем его к себе.

— Берите,— ответил шкипер.

— За дело, господа,— сказал Сибирцев, сойдя на берег.— Пусть этот пират одумается. Крэйга беру к себе. Идемте, мистер Крэйг.

«А какой был элегантный офицер,— подумал Сибирцев, держа за локоть ослабевшую руку Крэйга.— Вот что значит военному моряку покинуть своих и попасть к купцу... Впрочем, тут хоть кого возьмет оторопь... Ради нас пошел на этом «летучем голландце»! Вообще все это в самом деле похоже на пиратскую историю».

— Я почти все время провел с Крэйгом,— сказал Шиллинг,— и постарался спасти его от болезни. Запой начался раньше, как только он снял форму... Да, простите... вам письмо, Алексей Николаевич.

— Откуда? «Сиомара Сэйди Джонс»,— прочитал он.— Спасибо, Николай. Это Сиомара... Как они там остались?

— Кавадзи — настоящий рыцарь. Он дал слово, что волоса не упадет с их головы. Он написал об этом Евфимию Васильевичу. Очень жалел Кавадзи, что расстается со мной,— добавил Шиллинг.

— У них команда — сброд,— докладывал Посьет адмиралу.— Потогонка у шкипера.

— Огромные трюмы. Брали ящики с чаем, но чая не хватило,— добавил Шиллинг.— Адамс послал их сюда. И предупредил, чтобы шкипер об этом ничего не говорил команде.— Шиллинг перешел на английский.— Места в трюмах достаточно. Мистер Бобкок согласен взять всех сразу.

— Да,— подтвердил американец.

— Никакой речи не может быть о пятидесяти тысячах долларов! — заговорил Путятин.

Бобкок пожал плечами и сказал, что уступить можно, но знает ли адмирал, какие расходы, какие убытки, какие опасности, какие последствия, какие страшные сомнения у команды?..

«Te'll it to tsar¹⁰,— подумал Бобкок, выслушав возражения Путятин.— Я не поп, а вы в ловушке, вас тут при первом удобном случае вырежут как христиан! Крэйг с вами любезен? Не пройдет трех дней — я сыграю с ним шутку! Ваши матросы голодные, в унынье, работают, рубят, пилят, таскают тяжести. Попались, господа!»

Адмирал сказал, что утром придет на клипер, хочет все видеть сам — прежде чем говорить о цене, надо осмотреть судно, трюмы, жилые палубы, каюты, камбуз.

Бобкока угостили ромом, как принято, и он отправился на адмиральском вельботе.

«Мои молодые офицеры понемногу мужают и становятся настоящими моряками»,— подумал Путятин. «Клипер и его команду вычистим и выскребем», «Если попытаются предать — перевяжем», «Сами доведем судно». Мысли верные. Так принято! Особенно в этих морях! Но до этого не дойдет. Никогда подобные намерения своих отважных спутников Путятин не дозволит осуществить. Есть иные средства. Иные, более твердые взгляды на все. Договорились, неукоснительно адмирал будет сам все исполнять, и людей обяжет, и со шкипера потребует по договору и закону.

— Во всяком случае, пока не надо отказываться,— сказал он.

Бобкок и ему не понравился. Плутовская физиономия. Адмирал перевидал на своем веку немало разных личностей. С кем не приходилось дело иметь! Нужда заставит калачи есть.

«Ах он драная курица! — засмаливая штурвальный трос, думал матрос Томсон, слыхавший в рубке, о чем шкипер говорил с русскими.— Вот это обман! Вот почему не пошли в Амой и в Фучжоу!»

В Гонконге не было чая, оказался большой недогруз судна, надо было добрать в Амое, где, по сведениям из газет, скопились огромные запасы чая, не вывезенные вовремя из-за небывалых тайфунов в Китайском море. Из-за этой взбесившейся бой-бабы чайные клипера по долгу простаивали в портах или уходили в океан. Из Кантона не успевали подвозить по реке, к тому же на Жемчужной опять английские пароходы с пушками, значит, будут стрелять. Потеха! Китайские власти стараются сопротивляться англичанам и французам, а китайские компрадоры, действующие в английских интересах и как бы вводящие европейцев в свою страну, обманывают и подкупают своих чиновников и делают что хотят!

¹⁰ Расскажи это царю.

— Идет война, ребята,— сказал Томсон товарищам в белом кубрике,— а мы повезем врагов Англии? Вообще нечего связываться! Мы с ними никогда не имели дела и не знаем, что за люди. Верно? Волк знает, кого собирается съесть. Надо знать, за что идти на риск.

Утром на клипер прибыли адмирал и офицеры, лейтенант Крэйг как чудом выздоровевший, одетый во все новое и чистое, в белом крахмальном белье, выглаженный, посвежевший, надушенный японскими травяными духами. Вчера вся семья Ота приняла участие в судьбе расхворавшегося американца, друга Ареса-сан. На складе нашелся новый костюм американского офицера из взятых на «Поухатане».

Адмирал спускался по трапам, осматривал помещения и вглядывался в лица янки. С ним приветливо здоровались. Но некоторые бычались, потуплялись; так у них не принято. Конечно, это не пиратский корабль. Настоящий чайный клипер и настоящий спекулянт капитан.

Бобкок, набрав воздуха, приподнял голову, процедил сквозь зубы: — Сорок восемь тысяч долларов за доставку в Декастри.

Условия продикувал, как инспектор в тюремном дворе с решетками. Он в самом деле поплеывал на кораблекрушение и на международные права, на их судьбу и на адмиральский чин, на страдающие семьи. Мало ли кто где гибнет! Деньги есть — платите, господа, и мы вас живо доставим. Без особого комфорта, но доставим. Денег нет? Как хотите...

— Я уступил две тысячи. Сколько даете?

— Десять тысяч долларов.

Бобкок приоткрыл клык.

Крэйг молчал. Возвратившись на судно, он как бы вспомнил что-то неприятное и понурился. Присутствие офицера военно-морского флота не могло не иметь значения для шкипера.

— Что же вы со мной хотите сделать! — воскликнул Бобкок. Его большой рыхлый живот выставился под красной шерстяной рубашкой. — Во время войны я рискую больше, чем вы. Вы же мне должны риск оплатить. Я рискую судном! Я вам могу одну тысячу долларов еще уступить.

— Десять тысяч долларов. Красная цена. Порт Декастри близок, отсюда рукой подать. Это не через океан, не во Фриско и не в Гавану. Мы соседи и друзья с японцами,— сказал Шиллинг.

— Прекрасно можем дойти в Россию по их островам без всякого риска военного столкновения,— сказал Посьет. — Но все мы предпочитаем идти на корабле дружественной нам державы как потерпевшие кораблекрушение. Никто не посмеет задержать клипер, спасающий команду,— так по международному праву. Вы не рискуете и за риск не получите ни цента.

— Возвращайтесь в Китай,— сказал Путятин.

Бобкок сморщил нос, словно слышал запах паленого. Бизнес его горел! Знакомый тип!

— Вы обязаны плыть. Иначе... иначе... вы, вы...

— Что «вы»?

— Иначе вы дезертир, адмирал,— с улыбкой сказал шкипер,— если остаетесь здесь во время войны.

Всякие доводы слышал Путятин на дипломатических и коммерческих переговорах. Шкипер торгового судна за то, что ему не дают цену, которую он ломит, осмеливается называть дезертиром адмирала императорской службы! Воротит морду и морщится, словно ему дают не деньги, а тычут в нос чем-то смрадным.

Алексей положил руку на плечо Бобкока:

— *Sorry!* Что за слово «дезертир»? А если у петуха вырвать последние перья из хвоста?

— Благодарю вас, — отозвался шкипер. — Sorry! — Его глаза быстро метнулись вправо и влево.

— Я с ним объяснюсь! — сказал по-французски Крэйг. Не удержался, чувствуя нелепость положения.

— Мы все едем с адмиралом на берег, — ответил Шиллинг.

— Какой же негодяй этот американец! — возмущался Шиллинг в вельботе.

А матросы загребли веселей. Наконец-то адмирал и офицеры раскусили прощелыгу. Да его сразу видно!

Путятин всю ночь думал и во сне и просыпаясь. Как же быть? Утром объявил Посъету, что согласен дать Бобкоку пятнадцать тысяч; отказываться нельзя и не надо придавать значения нахальству и грубости американцев.

— Нам с ними не детей крестить. Дойти до порта, расплатиться — и дай им бог! Японцы никому из них сходить на берег не позволяют, поезжайте к шкиперу сами и скажите про мои условия. Если согласен, то сегодня же начинать подготовку. Японцев же нельзя подводить: об этом особь статья.

— Сколько вы еще можете прибавить к пятнадцати? — спросил Бобкок у Посъета.

— Ни цента, — ответил Посъет.

— Идти сюда из Шанхая, а потом в Декастри! Нет! Где вы еще найдете такой пятимачтовый гигант? Ну, тридцать пять тысяч? — с отчаянием в голосе, как будто его обирают, вскричал Бобкок.

— Адмирал не меняет слова.

— Какая у вас вера! — раскидывая обе руки, укорял шкипер.

— Крэйг сказал мне, что у шкипера с командой неблагополучно, — доложил Посъет, явившись в Хосенди. — Четверо коноводов требуют за плавание во время войны в Россию по тысяче каждому, в противном случае грозят забастовкой всей команды и объявят себя защитниками прав человека. Если же Бобкок поделится с ними, то зажмут всю команду, никому пикнуть не позволят и пойдут куда угодно.

— Каков шкипер, такова и команда, — сказал Путятин.

— Клипер чайный — народ отчаянный, Евфимий Васильевич, — сказал Глухарев, когда Путятин вернулся на стапель. — Японцы рады, что мы не ушли, работают весело. Они американцам пресной воды не дали, не позволили налиться.

— Не берут нас, Евфимий Васильевич? — спросил Мартыньш, догадываясь о неудаче Путятинна по его невеселому лицу.

— Не берут.

— Много запросили? — осведомился Аввакумов.

— Сначала пятьдесят тысяч долларов. Я царскую казну берегу. Тут от силы десять тысяч. Я им давал пятнадцать.

— На них нет управы! — заметил Сизов.

Матросы, знакомые с адмиралом, столпились, никто не желал упустить случая и потолковать. Сам сегодня покладистый.

Адмирал поговорил и ушел в кузницу.

«Неприятно, что Крэйг оказывается бессильным. Неужели и наши военные моряки когда-нибудь попадут в зависимость к буржуазным дельцам?»

— Что, ребята, не берут нас? — спросил Синичкин, подымаясь на палубу шхуны.

— Просили пятьдесят тысяч, — сказал Глухарев.

— Ах, сволочи! Вот же сволочи!

— Смотри, братцы, пошел! — закричал Строда.

— Пошел, сволочь... С глаз долой! — отозвался Аввакумов.

При небольшом ветре, без всякой помощи буксирных лодок клипер вышел на одних лиселях.

— Идет красиво! — заметил марсовый Сойкикин.

Выйдя в море, клипер оделся массой парусов, дул крутой бейдевинд, его реи клонились к волнам. Стало видно, что в море штормит. Клипер шел, почти лежа бортом на волне, как яхта. Там помощник шкипера, он же рулевой — здоровенный дядя.

Вдруг вся масса парусов стала менять положение, клипер перешел на левый галс и лег на волну левым бортом. Кажется, американцы спешили ценой любых усилий убраться от этой земли, чтобы не глядеть в глаза брошенным ими морякам, потерпевшим кораблекрушение.

Глава 17. «Горелое мясо»

«Хотя законы остаются прежними, но теперь, мне кажется, прежних строгостей уже нет, — написал Гошкевич по-китайски. — Как вы думаете об этом?» Зная, что возможно подслушивание, Осип Антонович ведет беседы частью устно, а частью письменно.

...Месяц назад Гошкевич познакомился со странным монахом. Имя его Точибан Коосай. Но есть и другое — Масуда Кумедзаймон. Монах довольно молод, явно умен, кажется, любитель сакэ. Говорят, его видели оборванным, но сейчас он одет опрятно, в приличном, даже дорогом халате из темного шелка. Гошкевич просил его купить детские учебники географии Японии. Точибан вернулся вчера с главного государственного тракта Токайдо, все принес, что смог достать: детские учебники по географии и план Эдо. Карту Токайдо хотел достать, но еще не удалось. Пытался, но неудачно.

«Исповедование христианской религии до сих пор строго преследуется», — написал на том же листе Масуда. При этом он уловил взгляд Гошкевича и скривил лицо, как больной, явившийся с жалобой к зубному врачу. «Вспарывание живота почти исчезло и к этому более не принуждаются?» — написал Осип Антонович.

Опять бонза быстро и умело ответил иероглифами: «К приказанию о сеппуку правительство прибегает теперь редко. Все христиане беспощадно наказываются. Очень опасно совершать в Японии христианские богослужения». Как художник, легко, красивыми движениями набрасывал он черные столбцы иероглифов со щегольскими воздушными завитками окончаний. Любил монах и смысл и стиль письма. При этом лицо его оставалось невыразительным, и он все узил глаза, стараясь приглушить их живое выражение.

«Я вам могу рассказать про случаи, которые происходили недавно у меня на глазах».

Точибан отложил кисть и с удовольствием пригубил из чашечки.

— Я очень люблю сакэ, — сказал он, и лицо его смягчилось, глаза заблестели откровенно, теперь он не пытался скрывать их.

— Это то, что вы хотели рассказать мне прошлый раз? — спросил Гошкевич.

— Да... но я немного... ира-ира ¹¹...

«Очень боюсь, что узнают, что я передал вам книги и карты. Очень строго запрещено сообщать что-нибудь иностранцу про Японию. Даже эти карты из детских учебников — большой секрет», — быстро набросал он и огляделся по сторонам, на дверь, открытую в сад, и на растворенные окна. В маленьком шантоистском храме и в саду в этот час никого не было. Он продолжал: «При мне пытали восемь христиан, которые

¹¹ Нервность, возбуждение.

были пойманы в окрестностях Эдо... Восьмой была женщина, ее пытали многими средствами...» Лицо монаха стало совсем бесстрастным, а глаза почти закрылись.

— Все это было недавно?

— Да... восемь лет назад...

«Значит, у них существуют тайные общества христиан, несмотря на двести с лишним лет гонений. Расскажу адмиралу... Кто мог бы подумать! Видимо, народ видит в христианстве утешение от бесправия...».

«Сейчас совершенно невозможно принять христианство», — написал монах и с сожалением вздохнул. Глаза его открыты, желтый цвет их казался светлым и живым. Точибан понемногу опьянел.

— Есть порядочные люди... но любят сакэ... За сакэ все отдадут... и за женщин... И знаете... и... и есть такие, что убивают...

— Сегодня занимались, как всегда. Учил меня японскому, а я его русскому, — рассказывал Осип Антонович поздно вечером адмиралу. — Сказал мне имя шогунa, а также имя императора и перечислил и написал мне эры последних царствований, как они считаются по шогунам... Он знает китайских классиков, интересуется всем европейским. Рассказал про пытки христиан, и мне показалось, что он намекает, что и сам бы не прочь принять христианство...

Адмирал немало полезных сведений добывал для России в других государствах, опыт у него был.

— Говорит, что принадлежит к древнему и знатному роду. Молоду его готовили к военной службе, поэтому он хорошо изучил артиллерию, но потом в роду возникла вражда, он пытался помочь претенденту на главенство в клане, тот его очень любил, искал у него поддержки, намереваясь стать лидером, но их постигла неудача. Все это печально кончилось, Коосаю пришлось бежать, потом он стал монахом, уверяет, что всю жизнь пытается изучать западные науки. Сегодня сказал, что когда был артиллеристом, то стрелял из пушки, а потом командовал батареей. Образоваңней этого японца я не встречал, мне даже кажется, что я где-то видел его прежде. Странное, меняющееся лицо. Хотите видеть его?

— Нет.

— Он любитель сакэ.

— Как бы он ни любил выпить, но головы не теряет, судя по вашим рассказам. Раз он сюда явился, то значит — не зря. Ему что-то надо. Как вы полагаете?

— Да, мне тоже так показалось.

— Вы дали ему еще денег?

— Да.

— Монах-артиллерист!

Когда-то и у нас в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде все монахи были артиллеристами. Благодаря им не раз Россия спасалась от нашествия!

Ночью в Хосенди пришел матрос Синичкин, прибывший на японской лодке с запиской от мичмана Михайлова. С наблюдательного пункта у входа в бухту в густом тумане видны огни большого корабля и слышны подаваемые в трубу команды на английском.

— Тревога, господа! — объявил Путятин дежурному офицеру и Пешурову.

Вскоре в Хосенди собрались все офицеры и юнкера.

— Подымайте людей! — приказал Путятин.

Вооруженные отряды ушли во тьму.

Путятин всегда ждал нападения вражеских судов. «Но судя по тому,

что противник стоит с непотушенными огнями, наше убежище еще не открыто».

Адмирал, помолвившись истово, прилег.

...Шли гуськом, без фонарей. Туман в самом деле густой: когда проходили Хосенди, деревья в саду не были видны.

Вошли в лес, знакомой тропой поднялись на гору к старой сосне, в развилинах которой построен шалаш для наблюдений. Оставили пикет. Дальше небольшими отрядами заняли все скалы и спуски к морю. Цепь секретов рассеяли по всей косе, огибавшей бухту. Сквозь туман в море видны огни. Стоит какое-то судно. Матросы залегли за валунами и деревьями.

— Пусть шлюпка войдет в бухту — подпустим близко, Алексей Николаевич, — говорил унтер-офицер Маслов. — Жаль, зарядов мало.

— Пуля — дура, штык — молодец, — молвил Маточкин.

Светало. Ружья у всех наготове. Зарядов в самом деле мало...

Подул ветер. Туман рассеялся, и у входа в бухту Хэда в трех кабельтовых от косы, прямо напротив затаившихся секретов стала видна пятимачтовая громадина.

— Чур меня! — воскликнул Зелёной. — Это же «Молодая Америка»!

— И смех и горе! — сказал Глухарев.

Хохот разбирал и матросов и офицеров. Так мы собрались с духом, решились стоять не на жизнь, а на смерть... А оказывается...

— Ну что за народ, Алексей Николаевич! — весело возмущался Маслов.

— Вернулись, сволочи! — сказал Маточкин.

— Зачем же они вернулись? — размышляли матросы.

— Может, совесть взяла?

— Держи шире, — сказал Глухарев. — У таких — совести!

Бобкок и Крэйг явились как ни в чем не бывало, сняли шляпы и поздоровались приветливо.

— У острова Авама-сима, — сказал Бобкок, — мы встретили французский военный пароход, который полным ходом шел к югу. Поэтому, адмирал, больше нет опасностей. Мы вернулись, чтобы взять вас, адмирал, и всех ваших людей.

— Тридцать тысяч я дать не могу.

— Я согласен уступить. Поймите меня. Вы видите? Опасность миновала. Проезд будет дешевле.

— Моя цена известна.

— Я согласен доставить вас на Камчатку за двадцать тысяч.

Утром следующего дня согласились на восемнадцати тысячах, и договор был подписан в храме Хосенди.

— Крэйг держался в стороне. Но он тут много помог! Обуздал жадность шкипера, — сказал Посьет после ухода американцев. — Удалось ему обломать Бобкока. Французский бриг лишь как повод приплетен. Не в этом главная причина возвращения.

С площадки что-то светило, словно там всходило солнце и нестерпимым светом жгло глаза. Шхуна, стоящая на стапеле, превращалась в ряд гигантских зеркал, оттуда шли снопы лучей.

— Заканчиваем обшивку шхуны медными листами, — доложил Колокольцов приехавшему на стапель адмиралу.

— Чем же вы пробиваете дыры в листах?

— Дыры сверлим, накладывая лист на лист, чтобы были одинаковые размеры и не рвать медь. Японцы медь очень ценят.

Четверо японцев ставили одновременно два сияющих листа на черную смоляную обшивку корпуса. Сизов ударами кувалды загонял в дыру гвозди.

Путятин пошел дальше. Жаль бросать!

Матросы и японцы оставили дело и обступили адмирала.

— С прибытием, Евфимий Васильевич!

— Спасибо, братцы!

Поговорили о нагелях, из кореньев какого дерева делать их лучше, есть ли уверенность, что набухнут, как они закроются медными шляпками гвоздей.

В сарае на полу шили паруса из бумажной материи.

— Здрав... желаем, ваш...!

— Заканчивайте работы,— велел унтер-офицер,— завтра уходим!

Колокольцов повел адмирала на смоловарню, где трудились лишь японцы. Они гнали смолу для двух своих строившихся шхун. Прошли и на стапели, смотрели, как Глухарев и Аввакумов ставили чурбан на тесаную балку, смазанную черепашьим жиром. Японец Торо садился на все это верхом и съезжал по балке. Путятин смеялся от души. Черепаший жир не хуже свиного!

Все было хорошо. Давно тут не был Евфимий Васильевич. Соскучился по своим людям, по стуку, шуму. Теперь тут и звон меди и блеск ее на солнце.

— Они своими силами не смогут докончить, Евфимий Васильевич,— сказал Аввакумов.

— Да, пожалуй, не сладят,— подтвердил Глухарев.

Колокольцов стоял нем как рыба.

«Что у вас, язык отсох? — хотел бы спросить его Евфимий Васильевич.— Что с вами? На вас не похоже! Радоваться надо! Это счастье! А вы сомлели!»

— Надо, Александр Александрович, проявить все ваши способности и все объяснить японцам. Я не могу оставить тут людей... Ни офицеров, ни матросов.

— Японцы обидятся. Им будет очень неприятно. Их не удастся успокоить.

— Если бы не война — иное дело. Но я не могу оставить... Что бы вы предложили? Кого оставить? Кто согласится, когда все уходят?

— Да, пожалуй, не согласится никто.

— И требовать этого не могу. Вызвать добровольцев можно, если надеешься, что вызовутся... Но и тут я не имею права. Давайте думать, как быть.

Ночью адмирал мерз. На полу слабо горела жаровня. Денщик, спавший за бумажной стеной, проснулся по зову и вошел. Адмирал велел принести угля.

Пока сонный матрос выслушивал и соображал, в других дверях, ведущих в коридорчик и во двор, появилась японка с жаровней. Она заранее нагрела уголь и держала наготове. Матрос сходил в сарай и вернулся. Японка, выйдя от адмирала, встретила его в коридорчике, взяла уголь. Она всегда входила к адмиралу, обслуживала, помогала Витулу. Первое время Евфимий Васильевич всех их путал и считал одним лицом — женой священника. Но теперь знал, что это совсем другая женщина, племянница жены бонзы.

В храме тихо. Чуть шумит море за косой. Японка принесла грелку и положила под бок Евфимию Васильевичу. У нее умелые руки. Она подоткнула одеяло, потрогала его мерзнущие ноги и быстро спросила по-русски:

— Это-о... хоросё?

А ноги побаливали. С вечера принимал ванну, залезал в кадушку с горячей водой, в бане полегчало. Но в ночи опять стало ломить. И холодно сегодня, как зимой.

Но что это? Что такое? Опять тревога? Евфимий Васильевич приподнялся. Слышно, как кто-то бежит по горе. «Слух и зрение у меня

еще очень остры! Бежит, как турок. Что же это? Полиция за кем-то гонится? Или померещилось?» Кругом словно опять стало тихо. Кажется, беспокойно в эту ночь в деревне...

Чутьем находя в темноте знакомую дорогу, Точибан бежал с горы крупными шагами, громко шлепая старыми привязанными подошвами на изношенных веревочках. Он бежал, со страхом оглядываясь, тяжело дышал и, сбежав вниз, сгорбился, стараясь стать меньше и незаметней: С трудом нашел в кромешной тьме высокие камни и вошел в узкий проход между памятниками на могилах, трогая их руками и скользя от одного к другому, как рыба плыл и вынырнул на другом конце кладбища. От дерева к дереву перешел задний двор, проскользнул мимо храма Хосенди.

В комнатке за столиком Гошкевич и Елкин при свете свечей разбирали листья и цветы для гербария, перекладывали их бумагой. Гошкевич ставил западные цифры и писал японские названия на особый лист. Елкин записывал японские названия по-русски себе в дневник. Тут же придумывали латинские названия.

Оба не слышали, как в дом, в их комнату вошел чужой человек. Точибан несколько мгновений безмолвно стоял рядом с ними.

Оба враз вздрогнули и подняли головы. В темноте над собой они увидели широкое бронзовое лицо, освещенное пламенем их свечей. Черный халат бонзы пропадал на темном фоне, казалось, лицо отделено от тела и висит в воздухе, как загадочная маска.

Точибан тихо поклонился.

— Как они умеют выскальзывать и появляться словно из-под земли! — вымолвил Осип Антонович.

— Они еще нарочно стараются представиться нам именно такими, как мы воображаем, — ответил Елкин, стараясь приободриться, но и его продрал мороз по коже.

— Что с вами, Коосай-сан? — спросил Гошкевич, разгибаясь и вставая. — Что-то случилось?

— Гошкевич-сан... Гошкевич-сан... Спасите меня, — забормотал Точибан. — За мной гонятся... мне грозит смерть... Все открылось. Узнали, что я исполнял ваше поручение. Скорей спрячьте меня!..

Точибан сгорбился и сжался, как под занесенным ножом. Лицо, взмокшее от волнения, выражало мольбу. Он встал на колени.

— Узнали, что на Токайдо я купил карты и передал вам. Сейчас я сбежал из-под ареста. Я попросился в уборную. Вылез через дыру и убежал. Халат на мне очень грязный.

Елкин живо сходил в Хосенди. Пешуров велел поднять матросов дежурного взвода, удвоить караулы, никого во внутренние комнаты храмов и в офицерский дом не пропускать ни под каким видом и прислал унтер-офицера Маслова, чтобы помог спрятать беглеца.

Матрос принес японцу форменную рубаху, американские брюки, кивер и сапоги.

— Иди, Прохоров, к парикмахеру, — сказал матросу Маслов. — Разбуди его и вели, чтобы дал тебе парик-блондин, в котором ты в комедии Фонвизина играл Митрофанушку. И живо! Да тише воды, ниже травы!

— Вы завтра уходите на американском корабле? — спросил японец. — Скройте меня. Возьмите меня с собой в Россию!

Гошкевич взглянул в лицо Точибана. Оно опять «за занавеской». Испуга больше не обнаруживает.

Маслов проводил Прохорова и, вернувшись, сказал, что по деревне ходят люди с фонарями. Кто-то подходил к японской страже у ворот храма Хосенди, что-то там говорили, но сейчас тихо.

Утром у ворот Хосенди, как всегда, видны два буси с копиями. Мецке прохаживается по улице. Стража никогда не препятствовала верующим входить и молиться в храмах, где жили адмирал и офицеры. Но сейчас еще нет никого. Рано. Только какой-то карлик, несмотря на ранний час, прошел через дворик на кладбище.

Адмирал похвалил Гошкевича и обоих офицеров за расторопность и тут же добавил с досадой:

— Придется взять японца с собой. Где он сейчас?

— Сидит и дрожит как в ознобе. Еле съел чашку риса. Умоляет, чтобы не выдали его и взяли с собой в Россию.

— Сами вы это, господа, затеяли и сами извольте расхлебывать. Впрочем, такой человек нужен нам и будет полезен.

Эгава Тародзаймон шел крупным шагом так быстро, что толпе чиновников приходилось рысить. Войдя во двор Хосенди, он сбавил шаг и остановился, поклонившись сбежавшему навстречу со ступенек Мусину-Пушкину.

— Мы хотим осмотреть все помещение храма Хосенди,— сказал дайкан.

Тут же в числе других чиновников — начальник местной полиции Танака-сан, переводчик Сюза и Татноске. Комендантский обход и тревога по всем правилам.

— Пожалуйста, сделайте одолжение. Всегда рады...

— Со мной два строительных инженера, прибывших из Эдо,— сидя с Пушкиным на стульях, объяснял Эгава, пока его люди осматривали комнаты.

— У нас всюду суета и беспорядок, поэтому просим извинения, что не можем принять как следует.

— Говорят, что в бараках, где живут матросы, износились крыши и могут потечь. А при начале постройки новых шхун нам негде расселить большую партию новых рабочих. В деревне все дома крестьян уже переполнены.

— Почему же негде? Мы собираемся и уходим. Завтра надеемся закончить погрузку. Останется четыре казармы и подсобные помещения.

— Да, но бараки очень плохи.

— Крыши довольно исправны. Мы следим за этим.

— Да, это так. Но начинается сезон дождей, крыши окажутся плохи. Стены пока еще выдерживают. На днях ожидаются также сильные дожди. И землетрясение. Поэтому необходимо осмотреть все помещения, чтобы сегодня вечером отправить в Эдо отчет о том, какой ремонт потребует до начала сезона дождей.

Чиновники после осмотра храмов нагрянули в лагерь. Они не столько осматривали крыши и стены, как вглядывались в лица людей.

Матросы толпой переходили следом за чиновниками из барака в барак. Сбитые с толку, чиновники снова возвращались в уже осмотренные помещения. Матросы, как бы проявляя любопытство, ходили за ними, все время пряча в толпе Точибана, на которого надет белокурый парик из пакли и матросская форма. Японцы уже всюду побывали и всюду их встречали одни и те же лица.

— Вы, Уэкава-сама? — удивился Пушкин, увидя тут же представителя бакуфу.

— Это проверка,— пояснил таинственно Уэкава,— есть подозрение, не прячется ли где-то беглец... Конечно, это вас не касается... Совершенно.

— Спасибо большое. Да вы проверили деревню? А кто сбежал и откуда?

— В деревне осмотрены все дома до одного. И мы не знаем, на кого думать.

После обыска в лагере Пушкин явился к адмиралу.

— Японца не нашли,— доложил он,— все благополучно обошлось.

— Но какой скандал может быть! Вы уж держитесь стойко. Надо как-то постараться перевести его на корабль.

— Матросы сколачивают ящики для своего имущества и оружия. Иван Терентьевич говорит, что японец ростом мал и его можно уместить в такой ящик и внести на корабль, только придется ему немного скорчиться, да и ящик можно сбить подлинней.

— Разве нельзя в парике провести его в строю?

— Нет, уже известно людям, что японцы будут нас считать. Если один окажется лишним, то мы с ними до окончания века не разделяемся.

— Хорошо. Пусть сделают ящик побольше, чтобы его не изуродовать.

— Слишком большой нельзя, заметно станет, что ящик большой, и нетрудно догадаться, что в нем человек.

— Сделайте несколько таких ящичков... Для отвода глаз. Идите, Христом богом, и сами разберитесь с Иваном Терентьевичем. Унтера вам лучше моего дадут совет.

— Главное, не вздумайте делать руль по-своему,— объяснял на другое утро на стапеле Глухарев артельному плотнику Таракити.— Нельзя рубить дыру. Понял?

— Понял,— отвечал Таракити.

— Эй, Иосида!.. Сюда переводчика!

— Его нет,— отозвался голос снизу.

— Да ты понял?

— Я и так понял,— сказал Таракити.

— Вот тут. Нельзя.

— Да. Ясно.

— А где Кокоро-сан? — спросил Хэйбей.

— А кто его знает, где он. Он должен был сам объяснить, а его нет. Вам все оставляем. План, чертежи — все будет при вас. Надо на чертеже еще раз посмотреть руль.

— Вот, Никита, мы и уходим! — поднявшись на палубу шхуны, сказал Аввакумов.— Все, брат!

«Недоделали!» — подумал молодой плотник с сожалением.

Японские плотники все выслушали и ушли в новую сакаю к Пьющему Воду. На шхуну принесли кувшин сакэ.

— Адмирал наш рад, что это все прекратится,— сказал Аввакумов, выпил чашечку и крикнул довольно.— Он и не запрещает нам. С вами ведь лучше не связываться!

На палубе появились другие матросы. Русские и японцы, все вместе пили и разговаривали, а потом разлеглись на солнышке на шхуне и на стапеле. Русские полагают, что теперь уж поздно что-то объяснять и говорить, да японцы — народ смывленный, захотят — все сами поймут. Как-нибудь разберутся.

Японцы, опьянев, молчали из гордости, не хотели спрашивать. Из вежливости они со всем соглашались. К тому же люди уходят, у них голова не тем занята. Это очень невежливо — заставлять людей уезжающих заниматься делом, которое им уже не нужно. Да и самим уж не хотелось в этот день думать о работе. Поэтому все дружно захрапели. Без всякой охраны и без наблюдения.

Матросы велели Точибану залезть в ящик и лечь. Просунули ему подушки и одеяло под спину и плечи и закрыли крышкой.

Двое матросов взяли ящик на плечи, пронесли его во двор лагеря, там осторожно поворачивали, ставили на землю, приоткрыли крышку. Внесли ящик в барак и помогли японцу вылезти.

— Выдюжит,— молвил Синичкин.

— Трудное занятие! — сказал японцу Маточкин.

Точибан сел на корточки. «Да, трудная работа!» — понял он. Известен способ «горелое мясо». В стан врага, силы которого неизвестны, приползает человек весь избитый, обгорелый, в ранах, со следами пыток огнем и каленым железом. В ужасных слезах и страданиях — кусок горелого мяса. Проклинает своего властелина! Отказывается от него и от родины, проклинает и просит спасти. Рассказывает все тайны своего войска и царства. Но это лишь искусный лазутчик! Он пользуется полным доверием в стане врагов и вскоре узнает все их секреты. Излечивается и скрывается к своим. «Неужели и я лишь «горелое мясо»?!»

Глава 18. «Молодая Америка»

Погрузка на клипер шла полным ходом, лодки и японские суда стояли у борта под стрелами, подымавшими с них тяжести. По трапу с другого борта вереница матросов несла на себе тюки и ящики. Грузов было немного, и к вечеру предполагалось все закончить, когда в Хосенди, из которого уже вынесены были все вещи адмирала и Посьета, явился Бобкок.

— Адмирал,— волнуясь, сказал он,— не могли бы вы мне увеличить плату на четыре тысячи долларов? Это будет уже окончательно. Я знаю, вы скажете, что договор подписан. Но поймите меня. У меня появились непредвиденные затруднения.

— Какие? — сердито спросил Путятин.

— Очень жаль, но... но... — пробормотал Бобкок.

— У него неприятности, на этот раз в своей команде,— сказал Пушкин, вошедший следом за шкипером.— Шайка подступает с ножами к горлу. Его шантажируют.

Адмирал попросил немедленно пригласить Крэйга.

— Крэйг болен,— сказал Пушкин.

— Опять запил?

— Да, Евфимий Васильевич. Бобкок не может рассчитывать на помощь лейтенанта. Крэйг сидит в каюте в одном белье, сам с собой разговаривает и щелкает пустым револьвером, целясь в потолок.

— А где Сибирцев?

— Алексей Николаевич занимался весь день с ротой перед уходом... Штыковым боем.

Бобкок молчал. Погрузка продолжалась. Баркасы и японские лодки подходили к борту глубоко сидевшего клипера и передавали грузы на настил, устроенный из досок между двух сэнкокуфунэ.

— Их команда опять чем-то недовольна,— вернувшись с баркаса, доложил Берзиль боцману.

Черный пришел в Хосенди.

— А вы не перемените мнения, адмирал? — спрашивал Бобкок.

— Это вы изменяете слову,— сказал Шиллинг.

— Я дал честное слово и твердо сдержу его,— ответил Бобкок.— Какие бы опасности мне ни грозили. Это моя просьба, но не требование. Набросьте четыре тысячи... иначе очень трудно будет уйти.

— Переведите ему, Николай Александрович,— сказал Пушкин, — что даже японцы про него всем расскажут, что он жалкий трус...

— Я этого не буду переводить,— ответил Шиллинг.— Переводите сами, если хотите.

— Откровенно — я, адмирал, поддался вашим доводам. Все же я шел сюда из Гонконга и Шанхая, отказавшись от выгодной коммерческой операции. Проникнутый чувством долга моряка и человеколюбия... Команде тоже надо что-то заработать. Они идут на риск.

Стены храма затрещали, и с крыши скатилась черепица.

— Трясет, господа,— сказал Посьет, входя с бумагами в руке из соседней квартиры священника.— Ночью ожидается сильное землетрясение,— обратился он к Бобкоку.— Надо уходить как можно скорей, если дорожите судном. На этот раз может, как мне сейчас сказал ученый японец, опять нахлынуть цунами. Впрочем, трудно верить их предсказаниям. Однако опыт у них есть. Не правда ли, капитан?

Опять дом тряхнуло. Бобкок поднялся, поглядывая на собеседников. Адмирал сидел, не меняя позы. Посьет продолжал любезно улыбаться.

«В самом деле как перед цунами! — подумал Шиллинг.— Еще накличем на себя беду. Матросы сегодня все злые, работа на погрузке тяжелая, американцы неприветливы, сами не знают, чего хотят. Но, как говорит Леша, выйдем в море и там разберемся!»

— Согласиться не могу и говорить отказываюсь,— сказал Путятин по-русски,— если прибудем благополучно и без недоразумений, то могу дать премию, но таких обязательств брать не могу и не могу обещать.

По исполинскому борту чайного клипера, на длинном трапе и на помосте выстроились матросы с оружием, ящиками и мешками.

Точибан все слышал и понимал. Ящик его подняли и вынесли из лагеря. Заложили в баркас под другие ящики. У борта корабля японцы задержали грузы и о чем-то говорили с русскими. Ящик приподняли, но еще не понесли. Опустили. Несколько человек сели на ящик с Точибаном и закурили. Японцы помогали русским при погрузке. Посоветовали перевернуть ящик, поясняя, что так удобней. Точибан лежал, укутанный одеялами. Его вдруг быстро перевернули головой вниз, вверх ногами. Он больно ударился головой.

— Не гремит. Здесь не оружие,— сказал кто-то по-японски.

Точибан знал, что его не выдадут, но при каждом слове японцев у него замирало сердце. Русские что-то ответили.

— Там вещи адмирала,— пояснил переводчик.

Ящик понесли вверх.

Точибан стоял на голове. Ноги его были подняты. Дыхание перехватило. Он изо всех сил упирался локтями. Захотелось чихнуть. Это гибель! Он стал твердить себе, что теперь он не сам решает, он сделал все что мог, теперь зависит только от судьбы. Лучше гибель. Остаться в живых очень страшно. Японцы его сразу казнят.

Ящик медленно подымался куда-то ввысь. Вот и стук русских сапог о палубу. Он на американском корабле! Не в Японии! Но на душе больно и тяжело дышать. Никто, кажется, не заметил, никто не знает.

Русские окончательно уходят с этого берега все до одного. Они спешат на войну, чтобы сражаться, в этом их оправдание. Американцы уверяют, однако, что русские ничего не умеют и уходят от позора, шхуна их никуда не годится. И некоторые опытные в судостроении японцы тоже очень сомневаются. Все говорят: такая шхуна не сойдет со стапеля. Теперь Точибан лежит на боку, так легче.

Ящик поехал вниз. Теперь он лежит в трюме, на дне. А если забудут, что в нем человек?! О-о! «Вот судьба!» Точибана охватывает сильнейший припадок ненависти. Он готов грызть эти доски зубами.

Вот что получилось... Он в ящике подымался вверх ногами и, мо-

жет быть, погибнет вместе с вещами в глубине трюма, как жалкая мышь. Это за грехи? Или за лучшие несбывшиеся надежды? Если попался, то и подчиняйся кому-то, если зависим, то терпи, молчи и проклинай себя и свою судьбу! О-о!

Американские матросы столпились на палубе у трапа.

— Мы не пойдем! — заявил Дик шкиперу.

— Нет пойдете! — отвечал Бобкок.

— Эй, не пускайте их на палубу! А те, что прошли, пусть уходят! «Что там случилось наверху?» — беспокоился Сибирцев, стоя на трапе со своими матросами.

Движение приостановилось. Тьма вокруг, и не слышно, что американцы говорят. Не вовремя они свои права заявляют.

Спросили Авдюху, спускавшегося по трапу, он понимал по-английски.

— Ссорятся из-за денег, — сказал он.

Прошли наверх Посьет и Шиллинг.

...Бобкок увел коноводов бунта в рубку, и там долго говорили. Вдруг дверь рубки распахнулась и оттуда спиной вылетел матрос Томсон.

— Здоровый у них шкипер! — сказал Маточкин, стоявший с Синичкиным и Сидоровым.

Они принесли ящик с Точибаном и теперь вместе с другими матросами, работавшими на погрузке, стояли на палубе без дела.

Внизу на трапе что-то закричали, и матросы, стоявшие выше других, попытались войти. Двое рослых американцев преградили им дорогу:

— Ноу... Ноу...

— Ай сэй... сорри... ¹²

— Что там, асей?

Рослый, сильный американец, расставив ноги, сказал Янке Берзиню:

— Кам бэквард! ¹³

— Уай кам бэквард? ¹⁴

Матросы начинали терять терпение.

Вместо ответа американец сильно и умело толкнул Янку в грудь.

— Братцы!.. — испуганно завопил Берзинь, обращаясь к товарищам. — За царя! Вперед!

И вся масса матросов как по команде ринулась на палубу.

— Янка, Янка!.. Дай ему, дай! — крикнул Маточкин.

Поток матросов разливался по палубе.

— С ними надо, как они...

Бобкок с пистолетом бегал за своими матросами и, догоняя, бил их ногами, яростно ругался. Он выстрелил в воздух.

С трапа валили и валили матросы в полной уверенности, что валили в русских.

— Бунт! — орал Бобкок. Он кинулся к поднимавшемуся по трапу Путятину: — Прикажите, адмирал, своим людям укротить их... Все из-за четырех тысяч... Это они называют борьбой за права человека!

— Иди обратно! — орал негр у входа в жилую палубу.

— Братцы! — раздался зычный голос, какого никто еще не слышал от Евфимия Васильевича. — Унять команду клипера!

За бортом что-то бултыхнулось, словно всплыл и перевернулся кит, и сразу же это повторилось еще, как будто запрыгали дельфины.

¹² Я говорю (послушай)... извини...

¹³ Идите назад!

¹⁴ Почему — идите назад?

- К черту их! — Бобкок еще раз выпалил в темноту.
- Человек тонет! — кричали снизу. — Огня!.. Шлюпки!..
- Черт с ним! Пускай тонет! — отзывались сверху.
- Вяжите их, ребята!.. Сами доведем судно!
- Не держи, отпусти меня, дай ему смазать по скуле! Сволочь

этакая!

Во тьме опять послышалось бульканье. Еще кто-то из американцев прыгнул с борта в черную ночную воду. По всей бухте слышался плеск отплывавших в разные стороны, раздавались крики и шлепки о воду спешащих к берегу. Кто-то захлебывался и кричал отчаянно, видимо тонул. Как всегда, убежали не те, кто дрался. Драка американцев на палубе со своим шкипером закончилась, кого-то уже понесли на носилках.

— Пусть знают, как подличать... Эх ты, переметная сума! — ругался Маслов на Бобкока.

Путятин вынул платок и вытер руки.

— Евфимий Васильевич, вы тоже руку приложили? — спросил Берзинь.

И Путятин бивал. И он хаживал против турок врукопашную.

— Хуже турок, Евфимий Васильевич!..

— Сгружайтесь! — велел Путятин. — Толку не будет. Тут мокрое дело! — обращаясь к Пушкину, сказал он и глянул на матросов. Сам удивился, что заговорил на их жаргоне.

— Адмирал, я сейчас соберу команду — и пойдем, — подбежал Бобкок. — Я их найду всех...

— Теперь я рву контракт, — ответил Путятин.

— Что? Адмирал... Как можно? Вы пренебрегаете долгом, жалея денег.

Потоки матросов с ящиками потянулись на трап и в шлюпки.

— Мьютини!¹⁵ — качая головой, примирительно сказал старый моряк со свежей ссадиной под глазом.

— Бунт на клипере! — ответил ему Глухарев.

— Я тебе покажу! — поднося кулак под нос обидевшему его американцу, сказал на прощание Янка Берзинь.

По бухте еще плавали и кричали, а японцы с фонарями бегали по всему берегу.

«Что же со мной? Зачем меня на берег? Почему? Неужели выдадут японцам? Я погиб, — думал Точибан, когда ящик с ним подняли в сетке стрелой и поставили на палубу. — Странные западные люди! Что вы делаете друг с другом и с нами?»

«Конечно, это меня обратно привезли в Японию!» — подумал Точибан, выбираясь из-под крышки, поднятой матросами. Он опять в том же бараке, словно и не уезжал...

Утром отряды вооруженных самураев двигались в поисках беглецов по лесным дорогам.

Пятеро американцев спали в храме среди сосен, когда послышались крики и поднявшихся беглецов окружили копыта и поднятые сабли.

К каждому подошли по двое японцев. Хватая беглецов за плечи и заламывая им руки, японцы перевязали всех и вывели на дорогу.

— Переводчика! Я больше не могу! Развяжите руки, — просил рыжий американец.

Среди самураев шел Эйноске. Он долго молчал и наконец ответил:

— Здесь Япония, пожалуйста... Это не Америка! Тут вам не удастся бегать, как от своего правительства... как дома...

— Руки развяжите!

¹⁵ Мятсж!

— Невозможно... У нас в таких случаях, когда преступник возражает, полагается заткнуть ему рот тряпкой.

— Почему? За что?

— Запрещается спать иностранцам в Японии без приглашения.

— Ну погодите! — ответил американец. — Можно или нельзя ходить по вашей Японии — скажем мы. Дайте срок!

Пятерых голодных, оборванных и связанных янки привели в деревню, держа над ними острейшие наконечники.

Бухта под солнцем густо-синяя, а горы зелены от свежей листвы и хвои. На поверхности бухты нет сегодня сторожевых лодок и нет рыбацких. Чисто и спокойно стало в Хэде... Клипер вышел из бухты и стоит вдали на рейде.

Глава 19. Прыжок в будущее

— Я так и знал! Что же ты наделал?! — спросил Глухарев, поднявшись утром на палубу шхуны и обращаясь к смутившемуся Таракити. — Я же говорил тебе! Ах ты...

Глухарев постоял, потом нагнулся, осмотрел прорубленную палубу и дал Таракити изрядную затрещину.

— Чем ты думал? Где у тебя голова? — постучал молодого плотника согнутым пальцем по лбу.

«Если я виноват, то перенесу» — отвечал взгляд Таракити исподлобья, и не обида и не возмущение в его глазах, а вопрос: как же теперь?

— Иди сюда. Еще слава богу, что ты только палубу пропилил. Ну, брат, твое счастье. Кажется, обошлось! А ты, кривой черт, что думал?

— Ниче, — отвечал Ичиро.

— Вы зачем палубу прорубили?

— Рурь! — ответил Ичиро.

— Какой руль? Этому я вас учил? А еще все бегали на плаз и сверяли! Тебе такой руль в задницу вставить!

Что сказать в свое оправдание? Таракити обидно вдвойне. Он сам понимал, что поступил неправильно. Его заставили так сделать. Плотники спорили между собой, что и как делать дальше. Явились чиновники. Приходил сам Уэкава. По шее надо бить чиновника бакуфу, а не Таракити. Указали, что надо в палубе прорубить широкое отверстие, как делается у сэнкокуфунэ. Таракити не соглашался, но его не послушали. Представлялся удобный случай сбить спесь с молодого артельного. Таракити за все расплачивался.

— Это вы на своих корытах можете так делать, а не на парусной шхуне!

Подошел вельбот. На веслах сидели Колокольцов и Гошкевич, а на руле сам Путьтин. Осип Антонович выпрыгнул и закрепил конец за кнехт у каменной лестницы. Все прошли на шхуну.

Колокольцов покраснел, видя, что тут наделали его ученики. Он и сам чувствовал себя виноватым. Колокольцов вчера торопился, дел было много, все и не упомнишь. Велел матросам объяснить японцам, что и как доделывать. А японцы бросили работу и принесли сакэ.

Вчера вечером собрались чиновники и громко говорили, очень гордо, что шхуна теперь принадлежит Японии, можем делать что хотим. Советовались. Велели рубить палубу, иначе не могли представить себе устройство руля. Многие плотники поддержали их. «Ладно», — нехотя согласился Таракити. Сегодня опять все собрались на стапеле. Хотели рубить и обшивку, делать дыру в корпусе, но не успели.

— Хорошо, что только палубу успели прорубить, — пояснял Евфи-

мий Васильевич японским плотником.— На ваших судах руль проходит насквозь. Если бы пропилили корпус, могли сделать шхуну совершенно негодной.

Гошкевич переводил. Японцы, слыша, что шхуна еще не погублена, повеселели и стали смеяться.

— И ты, Хэйбей, тут старался? — спросил своего любимца адмирал.

— Да.

Хэйбей только назначен старостой новой артели, но пока об этом не сказал Путятину. Неприлично хвастаться. Узкое лицо плотника сияет.

— Вот ты и сочини песенку о том, как атама о болела бы не у Путятина, а у всех нас, как пришлось бы расплачиваться вам за порчу корабля... И не только атама о...

Путятин сошел со стапеля. По бухте мимо клипера прошла шлюпка под парусом. Штурманский прапорщик Семенов отправился в Симоду с отрядом моряков наблюдать за морем, ждать новых гостей, охранять храм Гекусенди и семьи американцев. Они еще там, а время идет! Письма Накамуре посланы прежде, когда договаривались с Бобкоком. Но где же «Кароляйн»? Почему так долго шхуна не возвращается? Что на Камчатке?! Надо баркас с Сибирцевым срочно послать в Симоду за пушками для шхуны. И будем рубить в фальшборте порты для весел. Шесть весел и шесть пушек. Одни заботы отпали и сразу нахлынули привычные. Теперь надо спешить, и так затянули дело...

— Вчера досталось американцам, Евфимий Васильевич,— встречая адмирала в кузнице, сказал Сизов.

— Да, конечно, прорвались все обиды. Сами же начали, пустили в ход кулаки...

— Что там было? — спрашивали матросы.

Не всем удалось побывать вчера на палубе. Половина людей так и простояла на трапах и на баржах, не видя, что происходит наверху. И не сразу поняли, что янки выбрасывались в море. Сообразили, когда люди закричали в воде.

— Двоих сразу спасли и передали наверх, их стал бить шкипер,— рассказывал Берзинь с гордым видом, как главный участник ночных событий.

Кузнецы пришли чуть свет, опасаясь, что японцы могут переделать горны по-своему. Но тут все по-прежнему.

— Смех, Евфимий Васильевич,— сказал Берзинь,— японцы ищут янков с клипера. Переполох, все разбежались по сопкам. И шкипер жалуется, что ему не с кем идти.

— Двое утонули, а других шкипер арестовал. Свои же их избил.

— Они теперь уйдут. Японцы живо их выловят и вернут. Пятерых нашли в лесу в храме и привели. Им стыдно теперь на берег глаза казать, уйдут поскорей.

Евфимий Васильевич плохо спал ночью. Несколько раз японцы тревожили, спрашивали у наших часовых, не было ли американцев, не проходили, не спрятались ли в храме или на кладбище. Разговоры в тихую ночь хорошо слышны через бумагу в окнах. Путятин выходил под утро.

— Может быть, японцам надо помочь? — осведомлялся Можайский, дежуривший по штабу.— Послать наших людей? Разгрузка закончена, и все на местах.

— Вы, Александр Федорович, японцев не учите. Они сыщут и без нас и приведут всех до одного. Сейчас всю Японию на ноги подымут.

И после такой потасовки, как обычно, утром сегодня молитва и завтрак. Погода свежа. Бодро все начнут работать, словно не было вчерашнего дня. Только дыра в палубе! Неприятное напоминание!

Видно, как вышла из лагеря большая колонна. Все в парусиновых штанах и красных рабочих куртках. А на гору над шхуной уже восходил другой отряд.

Шли по зеленой горе, образуя сплошную красную дугу из сливавшихся рубашек. У ног шагающих — море под скалами, а в воротах бухты, в далекой голубизне неба Фудзи сияла ослепительно белым. Это хороший признак, когда Фудзи открывается. Поживешь в Хэде и поверишь в здешние приметы!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней...—

голоса густели в этот ранний час среди гор, на летнем просторе, на свежем ветру.

Подходят, видны большие красные лица. В плоских рабочих фуражках, с топорами, пилами и рубанками вместо ружей и кинжалов. Унтер-офицеры развели людей по работам. Всюду красная россыпь, как мак в зеленых хлебах. Ударил молот в задымившейся кузнице.

Колокольцов приказал подкатывать к стапелю тяжелые лебедки. Полозья, тесанные из толстых бревен, можно поднять на стапель руками, в распоряжении Александра сотни сильных людей. Но хотелось не только полозья поставить, но и показать, как можно облегчить труд. Александр втайне гордился своими простыми устройствами, шкивами, блоками и таями, своим токарным станком, верстаками, кузницей.

Весь день пелись протяжные песни, означавшие, что снова началась тяжелая работа, требующая времени и терпения.

У колеса лениво ходил матрос в жестких больших варежках и быстро вил канат. В яму закладывали поленья, зажигали и замуровывали, чтобы томились без воздуха. Смола стекает по желобу. Шьют паруса. Густой черной краской покрывают листы меди на бортах. Шхуна на глазах превращалась из сокровища, сиявшего золотом, в настоящий черный корабль. Для жителей Хэды черный корабль больше не будет пугалом!

Люди приходили из деревни, подолгу смотрели, стоя под стапелем, приезжали какие-то знатные гости со слугами, с дорогими зонтиками. На пригорках всегда видны целые семьи любопытных крестьян. Сидят часами. Одни уходят, другие появляются.

Плотники изготавливают две мачты. К ним реи, стеньги. Объясняют через переводчика, что рангоут будет ставиться после, когда шхуна сойдет на воду, но изготовить надо все заранее.

Площадка, пристроенная к стапелю, должна быть удлинена и доведена до обрыва в море. Закончены полозья спускового устройства, как для саней небывалых размеров. С кормы и с носа шхуну чуть приподымут двойными рычагами и подведут полозья под борта.

Сибирцев получил приказ: в Симоду! за пушками! На «Young America» достал английский журнал. Помещен рисунок — «Долина смерти под Балаклавой». Ущелье между несколькими оголенными склонами. Лес, видимо, был, но уничтожен бомбардировками бесследно. В долине и по склонам сплошная россыпь русских ядер, как крупная галька, покрыла всю почву. Видно, противнику нелегко дается сидение в Балаклаве!..

— Она никогда не сойдет! — говорил плотник Ватанабэ, один из тех, кто советовал Таракити ставить японский руль на западном судне.

— Сойдет! — отвечает Таракити. Как судно пойдет в море — точно неизвестно. Но он уверен.

— Грот-мачта готова, можно принимать, — сказал Таракити, когда подошел Колокольцов с унтер-офицерами.

Аввакумов и Глухарев осмотрели мачту.

— Ну вот и все! — сказал Кокоро-сан. — Большой работы для тебя уже нет, только черная работа. Будь с людьми под рукой. На днях спуск шхуны. Мелкой работы еще много. Я скажу Евфимию Васильевичу, что ты закончил мачту.

— Спасибо, спасибо, спасибо...

— Это у них только присказка, а сказка впереди, — заметил Глухарев и пояснил, что плотники смотрели рисунки и планы устройства кают и просят сказать адмиралу, чтобы разрешил и доверил им всю внутреннюю отделку шхуны, постройку кают, поделку мебели.

— Скажи сам, что хотел! — обратился матрос к молодому артельному.

— Мы видим, — сказал Таракити, — вы очень хорошо сделали большую работу. Разрешите двум японским артелям плотников, мне и Хэйбею-сан, сделать маленькую работу.

— Какую? — спросил Колокольцов.

— Отделать шхуну внутри. Мы постараемся исполнить красиво. Вечером Путятин услышал от Колокольцова, о чем просят японцы. Почувствовал, как вянут, слабеют его глаза, как он тронут, поддается чувству...

— Только чтобы им никто не мешал, — сказал Путятин. — Понаблюдайте. А то опять прорубят что-нибудь и все испортят.

— Они теперь сами знают, что менять ничего нельзя, и просят лишь об отделке. Хэйбей уверяет, что составилось для этого художественное товарищество.

— Дай ему бог! Экий непоседа. А право, талант! Передайте им, что я разрешил и благодарю.

При свете фонаря Гошкевич писал столбцы иероглифов. Под диктовку адмирала писались письма уполномоченному японского правительства Кавадзи Саэмону но джо. Губернатору города Симода Накамуре Тамее. Исава-чину. Эгава-сама, дайкану округа Идзу. Высшие чиновники приглашались прибыть в деревню Хэда на спуск корабля «Хэда» со стапеля в море. Назначен день. Подписано: Путятин. Так на каждом письме. Утром Уэкава послал почту на «быстрой лошади».

Алексей Сибирцев прибыл в Симоду. Матросы должны погрузить за день шесть пушек на баркас. Артиллерийский полковник Лосев выбрал их из шестидесяти еще прежде для вооружения шхуны. Все шесть оттащили в сторону и приготовили заранее.

Японцы помогают матросам тянуть тяжелое орудие к берегу.

В храме Гекусенди опять у ворот ходит наш матрос в парусине.

— Вы вернулись, Эйли? — восторженно говорит Сиомара. — Мой лейтенант!

Пили чай на террасе. Алексей играл с детьми, клеил из бумаги судно.

...Чтобы посмотреть, что еще делается на шхуне, приходили целые толпы мусмешек. Колокольцов не подавал виду, что днем замечает Сайо. Вот она опять пришла, свежая и нарядная, опять во всем новом, даже не верится, что она. Совсем другая, веселая, бойкая, хохочет радостно. Дома никогда такой не бывает. За все это время, кажется, ни разу не улыбнулась. Но что же, как говорят, насильно мил не будешь!

— А что же Эгава-сама? Ему уже пора быть. Что он не едет?

— Он немного болен, — отвечал Уэкава.

— Опасно?

— Да, довольно опасно, но уже выздоравливает.

— Он ведь много своего труда вложил и забот в эту шхуну.

Во дворе храма Хосенди опять люди в шляпах, с пиками и значками.

У адмирала сидит Накамура.

— Кавадзи-сама не сможет прибыть на спуск шхуны. Он передает вам, адмирал, привет и свое поздравление. Он восхищен.

— Это и мой и его труд вместе. Спасибо.

Два полоза стояли по обе стороны готового шкива шхуны. Под корму и под нос ее подведено по два рычага, по две толстых, чисто обструганных балки, скрепленных железными угольниками с поперечинами.

— Раз... два... взяли! — командовал Глухарев.

Рычаги приподняли шхуну, и сразу же готовые блоки разных форм были заложены под ее борта. Теперь шхуна стояла уже не на стапеле, а на гигантских полозьях. Между полозьями и бортами шхуны заложены кильблоки. Они как кранцы, предохраняющие корпус корабля от повреждений. Подъемники со спаренными рычагами похожи на две рамы, заложённые под нос и под корму. Матросы могут свободно приподымать и приспускать шхуну.

Идет небывало веселый перестук топоров, словно деревянные колокола созывают на праздник.

Из груди гладко выструганных балок построен помост, продолжающий стапель до самой воды, до обрыва, укрепленного приезжавшими столичными каменщиками, как бы мост с двумя деревянными балками, ведущими к берегу, как деревянные рельсы, по которым поедут полозья с кильблоками и с самим черным кораблем.

С утра все окрестные сопки полны народу. Съехались торговцы пряностями, сладями, игрушками, ходят между крестьян, рассеявшихся на траве и на камнях. Вся Хэда и все окрестные деревни в сборе.

Множество художников сидят вокруг стапеля и на пригорках. Можайский, сбросив шинель на траву, энергично водит карандашом по бумаге.

Княжна Мидзуно поодаль на пригорке с дамами и слугами припала к европейскому мольберту, иногда подымает из-за него красивую голову в наколках. С ней ее старая компаньонка.

Японцы сидят с ящиками красок и с длинными кусками шелка и бумаги. На узких кокейдзику, обычно висящих вертикально, сегодня пишут по длине, чтобы весь стапель со шхуной на полозьях, вся деревянная дорога уместилась. Ждут, когда тронется шхуна и поползет. Но ждать устали, начались разговоры, торговцы разносят лакомства и корбочки бенто — готовые завтраки. Потихоньку предлагают сакэ.

Адмирал в старой шинели ссутулился, запрятал руки в карманы, усмехается в усы, покусывает их, иногда подымет руку и выкрутит ус. Рядом Накамура в теплых халатах, как старая барыня на вате. Японцы суют руки в длинные рукава как в муфты. Ветер.

Все матросы-мастеровые в красных фланелевых рубахах. Строевая рота — в черных шинелях и фуражках. Дождя нет. Отцветает сакура. Всегда в эту пору холодно.

Судно крепко удерживается двумя толстыми канатами, прикрепленными к перекладине на двух столбах под самым обрывом ущелья.

— Никогда не пойдет! — утверждают старики.

Матросы и японские плотники в толстых рукавицах захватывают из бочек черепаший жир и мажут помост деревянной дороги, стараются, как массажисты, растирающие спину даймио на горячих водах курорта Атами. Уэкава и Колокольцов ходят и все осматривают, подымаются на шхуну, прохаживаются по ней.

Появился во главе свиты князь Мидзуно, похожий на Афоньку-гиляка. С поклонами присоединился к Накамуре и Путятину. Все в сборе. Эгава не может приехать. Жаль! Сколько тут его забот и труда. И жир этот он доставлял.

Как всегда, с начальством и мелкими князьями наехало множество чиновничьей бюрократии. Но японские стряпчие и ярыги не толкают друг друга, а, как по плану художника, расположились цветниками, с зонтиками на случай дождя. Они по обе стороны от Путятина и Накамуры и выше — на пригорках. Сцена с декорациями равномерно заполнена действующими лицами.

По трапу на шхуну поднимаются Аввакумов и Глухарев. За ними с двумя знаменами — Сизов и Берзинь. Они держат древки, а старшие унтер-офицеры растягивают над кормой шхуны полотнища, чтобы всем были видны. С ними вошел японец Таракити в праздничной шляпе, кафтане и кушаке. Белое знамя с голубыми полосами накрест и наискось — флаг морского флота. Красный с черным полукрестом и золотым орлом на белом поле в углу — адмирала Путятина. Шхуна, как всем понятно, пойдет вперед кормой.

К перекладине на столбах идут двое усатых матросов с остро отточенными саблями. За ними боцман Карнаухов, как теперь называют Ивана Черного.

Вперед выходят адмирал, Накамура-сама, Уэкава. Чиновники стоят поодаль полуколемном.

«А шхуну надо будет еще освятить,— думает Путятин.— Дай бог, чтобы сошла благополучно!»

Колокольцов докладывает адмиралу, держа руку под козырек. Путятин что-то отвечает.

— С богом! — добавляет он громче.

Колокольцов подымается на ступень, оглядывает шхуну. Матросы убирают трап.

— Готовсь! — командует Колокольцов, подымая голову.

— У рычагов! — резко отдается команда в рупор.

Враз два острейших клинка подняты черными от смолы и загара руками матросов в красных рубахах.

— Ру-би концы!

Сверкают клинки, враз перерубают канаты.

Матросы, приподымая, сдвинули раму рычага под носом судна, потревожили его. Пока не всем заметно, а шхуна, освобожденная от канатов, струнулась. Путятин видит, что она пошла вместе со всем спусковым устройством и кильблоками.

Матросы еще чуть налегли на рычаги, и шхуна поползла быстрее.

— Ура-а-а! — грянули матросы.

На корме корабля выше подняли развернутые знамена.

— Ура-ра-а-а! — кричали красные и черные ряды, и множество фуражек, шапок и японских шляп полетело в воздух.

— Э-э! О-о! А-а! — закричали вдруг как в ужасе тысячи голосов.

Словно вздрогнув от этих криков, шхуна, выходя на насаленный помост, пошла быстрее. Она мгновенно пронеслась по всему настилу, прыгнула с обрыва вместе с полозьями, знаменами и людьми.

Послышался плеск и шум воды. Шхуна стояла на поверхности бухты. Рядом всплыли полозья. К шхуне подошли шлюпки и лодки. Матросы убирали всплывшие кильблоки. Шхуна на воде!

— Поехали впятером и все веселые! — говорили матросы в черной шеренге про своих товарищей.

На шхуне все целы. И японец и молодые матросы с древками знамен, старики Аввакумов и Глухарев с развернутыми полотнищами осклабились от радости, словно на масляной качаются на качелях.

— Ур-ра-а! Банзай! — как в безумии кричала тысяча людей.

Все прыгали, обнимались и целовались — и мусмешки, и дети, и воины с саблями, и морские солдаты.

Путятин гордо закручивал ус и трясся от счастливого смеха. На-

камура отвечал ему значительной улыбкой и сдержанными поклонами. «Знал ли я, думал ли два года тому назад, когда мы впервые всходили к послу на «Палладу!»»

В толпе на горах еще и ругались, кричали, жаловались, что не успели ничего увидеть. Думали, что шхуна поползет медленно, часами, как обычно шли на катках к воде большие суда местной постройки. А она пошла и прыгнула, и только послышался всеобщий крик, а она уж на воде! А мы надеялись, что пройдет день или полдня, и мы ели... И вот она сама в море, плывет, а матросы там корячатся от смеха и радости.

Оркестр грянул «Славься ты, славься...».

К стапелю подкатили бочки с сакэ. Гнездо, с которого ушла шхуна, застлали досками, появились козлы. На них опять свежие доски. Сверху закрывалось все скатертями. Тут же устанавливались дощатые скамьи для пирующих. Вспыхнули костры. За гигантским столом вперемежку рассаживались японские мастеровые и моряки. «Обед от адмирала Путятин!» А из сэнкокуфунэ к стапелю все катились и катились низкие короткие бочки, как толстые колеса с иероглифами на крышках, означающими, что это сакэ фирмы господина Ота.

— Жаль, что нет Эгавы-сама, — сказал Путятин.

— Да, его нет. Очень жаль, — согласился Уэкава.

«Неспроста это!» — подумал адмирал.

Г л а в а 20. Шхуна «Хэда» уходит из Японии

Высокие матросы в белоснежной одежде расставляли тарелки и японские чашки. Раскладывались деревянные ложки, вырезанные матросами в подарок каждому японскому рабочему. У котлов и костров хлопотали повара. Японцы варили рис и готовили морские лакомства, адмиральский повар жарил мясо, а матросский, из лагеря, любимое кушанье команды — рисовую кашу с солониной и зеленым луком. Японки двигались вереницей по трапу, приносили редьку, рыбу и раков на блюдах, соусы и приправы.

Медленно и с одинаковой степенностью по трапам подымались к столам усатые мастеровые в красных куртках и японские рабочие в коротких нарядных халатах, опоясанных цветными кушаками.

Таракити сакэ налили в матросскую кружку до краев, как и соседу его Глухареву. Из такой кружки чай сразу не выпьешь! А как быть теперь?

Во главе стола сидят Путятин, Уэкава в западном мундире и Кокоро-сан. Там же Гошкевич, Съоза, Татноске и офицеры, помогавшие Александру строить корабль. Все друг к другу наклоняются, весело разговаривают, и Путятин крутит ус.

Накамуру долго ждали, он появился, оставив своих самураев ниже трапов. Ему, наверное, не хотелось являться сюда. Путятин посылал за ним офицеров. Губернатору разве нельзя сидеть в такой компании? Бывает ведь, что на войне вожди задают войску пир победы и не брезгают, присутствуют. Плотники теперь возведены в военное сословие, хотя не все. Когда такие важные лица здесь, то не обращаешь внимания на Ота-сан и на Ябадоо Сугуро-сан, которые по обе стороны стола как бы являются перегородками между рабочими и высокими чинами. На них никто не смотрит, хотя от них бывают большие беды!

— Братцы и товарищи! — заговорил адмирал. — Друзья наши и помощники — японские мастеровые! Плотники, кузнецы, медники, столяры, землекопы, парусники, смоловары! Рыбаки и рисосятели, кормиши нас!..

Рядом с адмиралом — Накамура. Слыша перевод, он закрутился,

как на горячих углях. Колокольцов и офицеры чуть не насильно усадили его. Князь тут же — рядом с Накамурой. Обоим втолковывали, что был царь, который сам плотничал, пил и ел с рабочими и победил врагов на кораблях, которые сам построил.

Путятин закончил речь, сказав, что ради спуска на воду первого западного корабля в Японии надо всем выпить. Съеза переводил его речь слово в слово.

Матросы начали из кружек пить сакэ, как воду. Японцы пили из чашечек маленькими глотками. Старик Ичиро смотрел на сына и на свою кружку, потом, как бы решившись прыгнуть в прорубь, с яростью схватил ее обеими руками и припал губами как к смертному кубку.

— Ну как, ты понял теперь законы кораблестроения? — спросил боцман без уха.

Таракити понимал, что ему позориться нельзя. У каждого народа свои танцы и свои обычаи. Сперва, когда крестьяне видели, как матросы по утрам шагают, шеренгами перебегают, ложатся, потом вскакивают, бегут и машут ружьями, тычут ими в воздух, они не могли понять, что делается. Зачем? Как и все старики, Ичиро объяснял: это такие танцы. У всякого народа свои обычаи! Еще он говорит: бедность порождает воров. И еще: исполняй обычай того места, где находишься.

Таракити пил из кружки, как русские, будто бы не первый раз. Ичиро громко объявил соседям и просил передать всей заморской армии матросов, что очень благодарен и перед отъездом всех их точно так же угостит сам. При этом махнул рукой, как Глухарев, когда тот приказывал подкатывать лебедку к стапелю.

...«Тут бакуфу, посольство, плотники, мецке, матросы — все мы за одним столом. Русские зовут князя Мидзуно «старый гиллак Афонька». И тот сидит и не шелохнется. Тут же Ота, и Оаке, и старик Ичиро. Все перепуталось. Это уже революция». Так думает Накамура и уже не боится и не ерзает. Сакэ помогает всем занять правильную основную дружескую позицию.

Путятин замечал матросские хитрости. Приказывал поставить всем японцам маленькие чашечки, а его надули. Что за народ! Как же их не лупить! Что за отрада русского человека — обязательно спойть гостя! Видно, решили испытать и угостить по-свойски, из уважения — мол, посмотрим, сильны ли вы в главном. А, мол, работа — что! Дураков работа любит! Так?

Обед начался тихо, но понемногу все разговорились, и казалось, что вскоре уже никто не обращал внимания на адмирала и представителей наивысочайшего в мире правительства, словно не впервой пили с ними.

Поднялся Путятин, и вмиг все стихли, оставили стаканы и чашечки.

— Скажите, пожалуйста, как ваше имя? — спросил адмирал, обращаясь к Таракити.

— Встань... встань... — подтолкнули его матросы.

Таракити приподнялся.

— Таракити...

— Пожалуйста, Таракити...

— У вас ведь фамилия Уэда? — подсказал кто-то.

— Вот, Уэда-сан, спасибо за работу. Вам передается мой подарок от русского царя за помощь и старание.

Адмирал отстегнул от петли мундира цепочку, протянул плотнику свои карманные часы. Подозвал Таракити к себе, обнял его и поцеловал.

— Теперь вам надо учиться самому составлять чертежи, — тихо сказал Путятин и взглянул на Накамуру-сама. — А ваше имя? — обратился он к следующему.

- Кикиути,— отвечал пожилой плотник.
- Оаке! — раздалась голоса.
- Оаке-сан, Кикиути-сан... благодарим вас...

Пещуров передал приготовленный подарок — циркуль и набор карандашей.

- А ваше имя?
- Ватанабе...
- Спасибо, Ватанабе-сан...

«Дойдет ли до меня очередь? Упомянут ли меня? Наверно, нет. За мои песенки я не буду вызван. Это все же критика! — думал Хэйбей.— Путятин всем дает подарки и всех называет сан. Но меня он так не назовет, хотя знает, что я тоже назначен артельным старостой и что, если оправдаю доверие правительства, получу фамилию. Да, вот и мы, простые люди, делим славу и стараемся взять себе фамилии получше». Хэйбей решил, что если его утвердят в звании, то возьмет фамилию Цуди. Путятин, кажется, не всем дает подарки. Вот он смотрит прямо в лицо Хэйбея и улыбается как знакомому. Хэйбей просиял. Но так больно, так обидно, если не удастся утвердиться в звании. Ведь звание-то небольшое, самое низшее — пеший воин! А могут не произвести, хотя он работает не хуже других!

- Как ваше имя? — спросил Путятин.
- Твое имя? Встань! — заговорили плотники.

Путятин что-то сказал. Хэйбей не стал ждать перевода. Он гордо встал и громко, как матрос, отчеканил:

- Хэйбей-сан!

Раздался громкий хохот, начался визг, кто-то заикался. «Гиляку Афоньке» стало дурно.

- Ну, брат, сам себя произвел!

— Возвел в «сан»! — смеялись матросы, сообразившие, в чем тут собака зарыта.

- Хэйбей-сан... Хэйбей-сан! — повторяли японцы, давясь от смеха.

Сам себя назвал сан! Так еще никто и никогда не отвечал. Ну певец, сочинитель! Ну артист! Вот уж фокусник...

— Цуди-сан! — вдруг добавил Хэйбей, сообразив мгновенно, что отступить нельзя.

- Опять раздался взрыв хохота.

- Иди-ка, брат, сюда...

Адмирал обнял японца. Подали балалайку. Путятин взял ее, вложил в руки Хэйбею.

— Я буду беречь этот ваш подарок, адмирал,— кланяясь, сказал Хэйбей, но не выдержал и ухмыльнулся, и снова по стапелю взрывами и волнами заходил хохот.

- Отец Таракити уронил голову на стол.

- Ты чё? — спросил его Маточкин.

— Старика помирает,— отвечал пьяный Ичиро по-русски,— работа негу...

— А вам, Ябадоо-сан, вот... мой портрет...— На полотне изображен Путятин в сюртуке, веселый, закручивает ус, смотрит фертом.— На обороте я написал «на память».

— Господа, Михайлов-то каков! — заметил юнкер Лазарев.— Отличный портретист.

— Да это, Евфимий Васильевич, более карикатура...— сказал Зеленой.

- Нет, нет, это прекрасный портрет.

Хэйбей подошел к Ябадоо, вперил глаза в подарок, полученный старым самураем.

Ота-сан тоже получил хороший подарок — пластинку-дагерротип работы Можайского, где Путятин снялся вместе со всей семьей Ота, — то, что ему хотелось.

Но этот подарок мало интересовал Хэйбея. Это наука, а не искусство, это волшебство на основании законов природы, выделка «прибора, изображавшего натуру». Такие ценности нравятся фабриканту Ота, который спивает народ сакэ.

Утром в помещении канцелярии бакуфу Уэкава объявил остальным артельным старостам, что они утверждены в дворянском звании. Все прошли испытательный срок. Теперь фамилии закрепляются. Также присвоена Хэйбею фамилия Цуди. По просьбе посла и адмирала. С согласия представительства бакуфу!

В Хосенди явился Накамура, как было условлено.

— Теперь все самое трудное, будем надеяться, уже позади. Вы довольны, Накамура-сама? Ваши рабочие хороши, их надо учить, посылать в Европу, и будут в Японии прекрасные инженеры, — говорил Путятин.

— Вчера был исторический день! Японское правительство глубоко благодарит вас. Теперь наши мастера смогут спустить на воду заложенные нами две шхуны. — Но Накамура сумрачен. — Вы знаете... Путятин-кун... очень печальное и тяжелое известие... Трудно пережить.

— Что такое?

— Эгава-сан... скончался... Сердце не выдержало.

Накамура объяснил, что главным ответственным за постройку корабля на верфи в Ураге, вблизи столицы, был не Эгава, а губернатор. Верфи и город Урага не входят в округ дайкана Эгавы. Но Тародзаймона как особого сановника и ученого посылали всюду, когда дело касалось науки и техники. Эгава по совместительству являлся как бы чиновником особых поручений по западным наукам.

Долго говорили про Эгаву, о его достоинствах и заслугах, о том, как он помогал во всем и старался, заботился о русских с первого дня их высадки на берег после гибели «Дианы».

Накамура сказал, что срочные дела требуют его возвращения в Симоду.

Путятин просил выразить глубокое соболезнование от его имени. От имени России, он как посол это говорит.

Накамура поблагодарил.

— Но прошу помнить, что уходить из Японии вам пока еще не решено, — заметил он под конец.

— Да, я знаю.

Путятин ждал, что на прощанье ему еще что-то преподнесут неожиданное. «Не новость — не хотели пускать в Россию на собственном корабле. Какие же еще будут невероятные придирки? Но как аукнется, господа, так и откликнется. За отказ менять статью о консулах? Ну смотрите! Кавадзи говорит, что проще уступить в чем-то другом, но не в этом. Его винят, как и меня свои будут винить!»

...С утра на судне Путятин, офицеры и юнкера.

— А много из-за этой их глупости хлопот, — объясняет Колокольников, — хотя прорубили только палубу.

Он показывает, как заделана дыра.

— Вот и говорят, Евфимий Васильевич, что полработы не показывают, — замечает Мусин-Пушкин.

— Уходя извольте японцам все объяснить, как и что достраивать на каждой из двух шхун... А на «Хэде» ставьте весла! Чтобы как на японском судне. Мало ли чего случится... У нас нет двигателя, пусть будут весла.

Путягин с замиранием сердца предвкушал прелесть далекого плавания на собственной шхуне. Хотя загадывать еще рано. Без машины, но весла, весла...

— Что же за вид будет? Некрасиво, неприлично,— недовольно говорит юнкер князь Урусов.

— Нам, юнкер, не до красоты... Александр Александрович, ставьте шесть весел. Не до жиру, быть бы живу!

Через неделю адмирал осматривал каюты, жилую палубу, камбуз, пороховые камеры. Все отполировано, мебель изготовлена по рисункам Можайского.

В жилой палубе несколько матросов, уже назначенных на «Хэду», подвешивают свои постели на крюки.

— Все как прежде! — говорит Сизов.

Поставлены мачты. Протянулся под форштевнем и дальше выдался над водой бушприт и его продолжение — утлегарь. Установлены рей, стеньги; множество деревьев, тонких на вид, гибких, они, как линии чертежа, секут в разных направлениях голубой лист неба.

Утром привязаны паруса. На носовом штоке поднят гюйс. На кормовом флагштоке поднят Андреевский флаг, а на грот-мачте при ветре с Фудзи полощется и завивается длинный вымпел с косичками.

Когда адмирал окончательно взойдет на судно, чтобы идти в поход, адмиральский флаг взбежит на грот-мачту, а вымпел сойдет, спустится, как сменившийся верный часовой.

В кают-компании храма Хосенди, в лагере и на корабле вчера зачитан приказ адмирала: командиром шхуны «Хэда» назначен лейтенант Александр Колокольцов.

На палубе «Хэды» новенькими пеньковыми тросами принайтвлены шесть пушек, их жерла глядят в порты. Прорублены фальшборты и готовы шесть весел. Среди снастей, паутиной захвативших все пространство над кораблем до вершин мачт, отливают зеркальной белизной веревки, витые японцами из шелка.

Два малых якоря с «Дианы», добытые со дна моря, опять на службе. Правый отдан, а левый выглядывает над бортом из клюза как из ноздри.

— Отдать второй якорь! — командует боцман.

Загремела и закружилась цепь, и якорь рухнул в воду.

— Трави!..

Потом матросы дружно налегали грудью на деревянные вымбовки в гнездах шпиля, выбирая правый якорь; все проверялось по многу раз.

По-ош-ел шпиль...
Давай на шпиль... —

высоким и как бы страдающим голоском запел Маточкин.

Становимся вкруговую,—

поддержали его басы.

На вымбовку дубовую,
Грудь упри —
И марш вперед!
Шагай в ногу!
Давай ход!
Э-эх...

Очищенная до стального блеска цепь с родной «Дианы», своя, старая, поползла и поползла обратно в клюз, и шхуна тронулась, пошла навстречу якорю, пока его лапы не поднялись над водой.

...Матросы поднимаются на ванты. Надо заново учиться привязывать и отвязывать, привыкать. Вскоре согласные голоса запевают на баке и на мачтах:

Сто-ой, ребята!
 Сам идет!
 Унтера уж засвистали!
 Хо-ди живо, первый взвод.

«Матрос — он тоже не овца» — вспоминает Колокольников любившееся изречение Гончарова.

В Хосенди Уэкава, поздравляя адмирала, сказал, что очень красивая шхуна, все восхищены. Из Эдо получено письмо, в котором сообщается, что посол Путятин не должен уходить из Японии, есть спорный вопрос о консулах и сначала надо все разрешить.

Путятин ответил, что готов задержаться, что у него тоже есть спорные вопросы. Он недоволен некоторыми пунктами трактата с Японией.

— Какими? — настороженно спросил Уэкава.

— Я желал бы разрешить как можно скорей. Но война требует меня в ряды сражающихся! Поэтому, как только война закончится, я или другой посол немедленно прибудем в Эдо для разрешения всех спорных вопросов. Мы, конечно, не говорили бы об этом, если бы вы не объявили нам о своем недовольстве консулами. Переговоры продолжим после войны!

— О-о! — протянул Уэкава. — Большое спасибо, но-о...

— И вам большое спасибо, Уэкава-сама. Всегда буду помнить. Сегодня мы начинаем испытания шхуны. Я надеюсь, что все будет благополучно. Вот письмо для посла Кавадзи-сама и для губернатора Накамуры-сама. Я приглашаю всех прибыть в Хэду и вместе со мной совершить прогулку на шхуне по заливу Суруга. Мы также выйдем в океан. Я приглашаю вас, Уэкава-сама, со всеми вашими чиновниками и помощниками.

«Очень странное, очень опасное приглашение по старым понятиям!» — так подумал Уэкава. Ответил, что письма будут немедленно отправлены. Признался, что сам мечтает быть командиром одной из двух таких же западных шхун, которые он сам строит по типу корабля «Хэда».

— Брать ли с собой Прибылова? — спросил Путятин, когда ушли японцы. Так теперь звали Точибана Коосая. — Вам, Осип Антонович, надо стараться как можно дольше прожить в Японии.

— Я вполне согласен!

— Значит, и его оставить придется. Пусть он будет с вами. Я и так беру одного японца — Киселева, которого мы взяли в Хакодате. А Прибылов пусть идет с вами. Японскую полицию, чтобы отбить ей охоту, занять. Дадим пищу для ее воображения. Я велел сделать для вещей еще несколько ящиков такого размера, как тот, в котором несли Прибылова на чайный клипер. Пусть не знают, на что думать. Я их приучу к таким ящикам. Александр Сергеевич, если придет «Каролайн» или зафрахтуете другое судно, то погрузку людей производите без торжества, быстро и внезапно, грузите как обычно. А людей марш-марш — и без музыки прямо по трапу на борт. И если японцы предъявят, что, мол, людей больше чем надо, отвергайте. Отвечайте категорически — обсчитались, мол. Важное дело, как дальше быть с Прибыловым, сам пойдет в строю людей, как он любит, или в ящике. Смотрите по обстоятельствам и как удобней.

— Слушаюсь, Евфимий Васильевич!

На прощание все распоряжения адмирала казались особенно значительными.

— Пожалуй, в ящике будет спокойнее, — сказал Гошкевич.

— И я так полагаю. А то выхватят его из строя за руку. Они ведь тоже ребята не промах.

— Или зарубят! Мало ли чего можно ожидать...

— Прибылова сюда! — велел адмирал, явившись в лагерь.

— Прибылов! — крикнул боцман, входя в казарму.

Точибан вскочил и вытянулся. Боцман велел ему идти за собой.

При виде адмирала смуглый матрос взял под козырек. Он в парусиннике, в русом парике и фуражке с ремешком под подбородок.

— Обучаете его?

— Так точно! Учим в казарме, во двор не выводим... Смирно! — скомандовал боцман. — Напра-во! Кру-гом!

— Хорошо! — сказал адмирал.

— Учи его сам! — говорит Черный, обращаясь к унтер-офицеру Мартыньшу.

...Белоснежная шапка Фудзи открыта. Как говорят японцы, это к счастью. Сегодня легкий ветерок.

Эгава умер! Какой-то рок тяготел над всеми его делами! Гений не мог проявить себя в изоляции.

Колокольцов встречает адмирала у трапа.

-- Вот и у нас есть свое судно! — здороваясь, говорит Путятин.

Адмирал и офицеры на юте. Колокольцов подымает рупор. Матросы бегут на мачты. Паруса распускаются. Знакомый шелест их над головой — как забытый, родной шепот матери для всей команды. Шелест парусов обещает свободу и путь на родину.

Чиновники смотрят, стоя у канцелярии бакуфу. Шхуна, как черный лебедь, скользит по гладкой синеве и уходит за ворота бухты, в волны открытого моря. Видно, как ветер подхватил ее, как туго вздулись белые паруса и как она помчалась и вскоре стала исчезать в туманной дали чистого дня раннего-раннего прохладного лета. Но вот опять проступил и забелел ее парус, где-то там что-то гроыхнуло несколько раз. Они испытывают пушки. Шхуна мчится теперь против ветра, кренится, почти черпает бортом. Косые паруса ее перебрасываются матросами, смотреть жутко! Шхуна резко меняет направление, ложится другим бортом на воду, как шлюпка во время гонок, которые устраивали русские офицеры.

...Путятин и его молодые помощники смотрят в трубы на горы, на косу, где среди сосен выглядывает крыша храма.

«Ходкое судно! — думает Сибирцев, стоя у борта. — Жаль, что не придется на нем пойти!» Впрочем, он охотно подчинится судьбе. И приказу адмирала.

На судне ядра и несколько бочат с порохом. Все для дальнего и опасного плавания. Радовалась душа сегодня при громе первых выстрелов после глухого многомесячного молчания. Дым окутал борта, и запахло порохом. В тот миг Сибирцев почувствовал, что морской бой влечет и его.

— Поворот оверштаг! — командует Колокольцов.

Штурман записывает все в журнал. Испытания проходят по всем правилам.

Сизов с товарищами кидается к веревкам. Давно и слов таких не слышали: «Поворот оверштаг!» Словно что-то пробуждается в крови, слышится зов моря, заглушенный, забытый за все эти месяцы труда и напряжения. Втянутый в береговую жизнь, Петруха совсем забыл вольный ветер.

Снова слышится команда. Бежишь по вантам наверх. Стоишь на рее. Не на чужом судне, не на «Кароляйн» и не на «Поухатане», не на «Молодой Америке», на которую пробивались дракой, а на своем корабле! Петруха на рее чувствует себя птицей, вырвавшейся на волю.

Ему кажется, что будет легче. Он уйдет в плавание, и все забудется. «Ты, Фуми? — встретил он девушку через день после спуска шхуны. — Вас тоже отпустили сегодня?» «Петя!» — сказала она. У нее лицо в пятнах и в веснушках. Теперь она служанка при доме и к гостям не выходит. Она беременна. Сын или дочь вырастет здесь у Петрухи? У них ведь потом и не узнаешь!

...В Хосенди пришел Хэйбей и сказал, что к адмиралу.

— Войди, — пригласил Пешуров. — Адмирала нет. О тебе был разговор.

Накануне Хэйбей попросил Кокоро-сан узнать у Путятина, можно ли показать ему свою работу. Колокольцов передал просьбу: «Ко мне приходил ваш любимец Цуди-сан, говорит, что нарисовал ваш портрет, сделал копию с написанного Михайловым и дареного вами Ябадоо, просит позволения прийти и показать». «Хэйбей? Я знаю его. Он артист и певец. И художник, оказывается? Песню сочинил про меня, довольно смешную! Пусть придет завтра и принесет».

Портрет сделан, как полагает Хэйбей, вполне по-европейски, писан красками на холсте, вставлен в рамку и завернут в чистую материю. Хэйбей отказался открыть свою работу офицерам и сказал, что будет ждать Путятина, покажет только ему.

— Пожалуй. Жди!

Адмирал опять на испытаниях шхуны. Хэйбей прождал весь день. Наступили сумерки, и дежурный офицер сказал, что ждать больше нечего.

— Иди домой, Путятин нет.

Мог Путятин уйти совсем? Конечно! Об этом в деревне говорили каждый раз, когда адмирал уходил на испытания.

Хэйбей решил, что свое произведение, если адмирала больше в деревне нет, надо показать хотя бы его офицерам. Он убрал тряпку. Портрет в рамке, писан красками почти в европейской манере, хотя сам Путятин похож на японца.

Под вечер в деревню из Симоды снова прибыл со свитой губернатор Накамура и прислал самурая в Хосенди с письмом-приветствием.

Ночью адмирал вернулся, а утром в числе других сведений Пешуров сообщил и о портрете, писанном Хэйбеем.

— Мне показалось, что сделано весьма порядочно. Хотя вы, Евфимий Васильевич, похожи там на японца.

— Копия портрета Михайлова?

— Вам надо видеть самому. Получилась своеобразная работа. Я сейчас вызову Хэйбея.

— Сегодня не до художников.

— Шхуна испытана, и теперь я приглашаю вас, Накамура-сама, и вас, Уэкава-сама, выйти вместе со мной на корабле «Хэда» в плавание. Сожалею, что Кавадзи-сама нет с нами.

Так сказал Путятин прибывшим в Хосенди гостям.

«А он не увезет нас в Россию?» — подумал Уэкава и невольно взглянул на Накамуру. Тот смутился, но овладел собой, кажется, тоже самое подумал. Об этом и вчера говорили, но Накамура категорически отвергал всякие опасения. «Путятину я верю, — сказал он. — Зачем мы им? У них здесь остаются сотни морских солдат. Шхуна берет только десять офицеров и сорок нижних чинов. Губернатор слишком небольшая драгоценность для западных людей. А кого им надо, они, может быть, уже украли и спрятали...»

Вчера обо всем потолковали!

На борт «Хэды» по трапу поднялись пышно одетые японцы. Матросы оглядывали их насмешливо. Куда они в плавание разрядились? Один важней другого! Такими их на берегу редко увидишь!

Колокольцов, не зная почему, зол на всех в эти последние дни. Что-то уж очень плохо на душе и обидно. «Открытие страны началось, а мы уйдем и все будет запечатано, как в несгораемом шкафу! Ну погодите, я вас сегодня угощу!»

Шхуна легко вышла под парусами в ворота бухты и, как умное, живое существо, слушалась молодого капитана. Резко переложили руль. Качнуло сильно и сразу закачало на подходившей с океана волне. Никто не уходил с юта, хотя ветер рвал полы халатов, а шляпы приходилось держать обеими руками.

Колокольцов приказывал своему кораблю, своему детищу и отраде, заставляя делать чудеса.

— Поворот оверштаг!

Снова удары волн. Налетел сильный порыв ветра. Брызги обдали лица, волна окатила палубу. Берег далеко, почти не видно... Очень страшно.

Вдруг гик, с силой переброшенный с борта на борт, снес с головы Накамуры шляпу, и ветер подхватил ее и умчал в море, и туда же полетели и запрыгали в волнах шляпы Уэкавы, начальника полиции и светских чиновников.

— Не стоять под гиком! — заревел в трубу Колокольцов,

Гошкевич перевел и попросил всех скорей перейти.

...А на берегу все еще цвели сады и леса, и в бухте тепло, и так радостно вернуться на твердь.

Отпустив гостей, Путятин попросил задержаться Съезу.

Солнце еще не заходило, когда адмирал и офицеры сошли на берег. Путятин велел отправляться всем домой, а сам вдвоем со Съезой свернул в переулок.

Шли узкой улицей среди лачуг и садов, через всю деревню, тревожа население.

— Хэйбей здесь живет? — спросил Съеза у женщины, выглянувшей на стук.

— Здесь, здесь...

Женщина испугалась, увидев Путятину.

— Зайдемте к нему, — сказал Евфимий Васильевич.

Делать нечего. Неприлично посла вести к артельщику. Неприлично, но можно! Теперь все можно, так Путятин-сама желает, он приказывает!

Вошли. В доме переполох, все улеглись на пол. Путятин известное лицо не только в Хэде. Сколько о нем песен, рассказов, портретов. Все его рисуют. Путятин пришел!

Хэйбей обрадовался, словно явился товарищ, которого он долго ждал. Спohватившись, упал на колени и, кланяясь, простерся на полу, потом вскочил, и опять засияло его узкое длинное лицо.

— А ну, Хэйбей-сан, покажи мне портрет!

Путятин смотрел на портрет сумрачно и как бы с неодобрением. Но Хэйбей замечал, что это не жесткий взгляд, а очень грустный, с оттенком доброты. Они, все эти люди, бывают очень добрыми и даже мягкими, не такими, как полагается воину-буси.

Адмирал изображен в профиль, лицом похож на японца, а носом на перса или турка. При этом веселый, одну руку заложил в карман жилетки, а другой самодовольно покручивает ус.

А тетя Хэйбея набралась смелости и подала Путятину и его переводчику чай и сласти из водорослей — маленькие глянцевиные четырехугольнички цвета тины,

— Так ты мастер-живописец! — сказал Евфимий Васильевич.

— Не государственный! — ответил Хэйбей.

Он похож и на японца и на жителя Средиземноморья. Смолоду Путятину очень нравились такие лица. Кто тут повинен: Байрон, Лермонтов? Нравились ему и женщины Востока. И плавал и сражался он в Эгейском море и на Каспийском. Во всех наших новых романсах и песнях традиционная симпатия к чернооким красавицам. Гречанки, турчанки... итальянки и испанки особенно! А вот женился на англичанке. У Мэри овальное лицо с тяжелым подбородком, светлые глаза. Тут, конечно, и соображения государственные, и положение, и престиж! Но и любовь, конечно! И Мэри любит! Путятин не желал бы, чтобы дети его были с черными курчавыми волосами, походили бы на персов или турок. Но вкусы юноши еще не стерлись, не исчезли в его душе, и он с удовольствием смотрел на узкое живое лицо Хэйбея и выслушивал перевод его бойких речей.

Путятин подумал: присесть не на что. Хэйбей мгновенно принес табуретку — видно, сладил для дружков матросиков.

Путятин перевернул свой портрет. Съоза подал кисть. «Дорогому Хэйбею Цуди. Всегда буду помнить жителей деревни Хэда». Путятин подписался и отдал портрет.

— Я напишу тебе перевод по-японски, — сказал Съоза и опустил кисть в тушницу. «Дарю эту картину Хэйбею-сан. Навсегда оставляю свое сердце в деревне Хэда. Путятин».

«Теперь я женюсь!» — подумал радостный Хэйбей, принимая портрет...

— Пионы должна поливать красивая, нарядная девушка, а сливы — бледный, худой монах, — пояснял Ябадоо.

Офицеры вечером в гостях у Ябадоо-сан. Хозяин заплакал:

— Моя судьба — целовать розги!

— Что это значит? — спросил Зеленой.

— Это выражение означает — безропотно сносить наказания, — пояснил Гошкевич.

Полно, брат молодец,
Ты ведь не девица... —

пели в этот вечер в правом крыле самурайского дома.

Слыша мотив необычайной протяжности и горечи и не понимая слов, слушательницы чувствуют, что поется прощальная песня.

Пели и в лагере.

Матросы встали в огромный круг. К полуночи песня за песней становилась грустней и протяжней. Или пускались плясать, запевая удалую, с посвистом. Под уханье и ложки выскакивали плясуны. Бог шельму метит: безухий боцман с сумрачным лицом, тощий и смуглый, прыгал, держа круглые погремушки.

«Они прощаются с товарищами, уходящими на войну. Но зачем же такая чувствительность? Так сильно выражаются страдания, потом такое буйное веселье? — слыша все это, думал Ябадоо. — Если они так сердечны и привязчивы, то это может стать опасным. Если Кокоро-сан все узнает, не захочет ли он со временем явиться сюда снова? Не предьявит ли свои страдания как довод на отцовские права?»

Но Кокоро-сан, казалось, не таков и не замечал ничего. Его холодная жестокость воина к женщине была отраднa и восхищала Ябадоо. Ударили отбой.

С утра день был жаркий и безветренный. Весь пустырь покрылся полевыми тюльпанами, на горах проступали по вырубкам саранки, такие же, как в Сибири и на Амуре, в садах, не теряя цвета, держались красные камелии.

Матросы медленно выходили из лагеря.

Ты, моряк, уедешь в дальне море,
 Меня оставишь на горе...

В этот сияющий день трап перекинут на стоявшую у берега, у самого причала, красавицу «Хэду». Воздух, море и горы спокойны и чисты. Только Фудзи в вуали тумана и какого-то огорчения. Множество лотков и лавчонок раскинуто на берегу, любому из матросов торгаш даст что-то из мелочей, чиновники запишут, чтобы присчитать к долгу, который оплатит Россия потом. В этот час все напоминало матросу о том, как мы веселы, удалы, сильны и бесстрашны, прощаемся, идем на войну!

У трапа отряд матросов с мешками и оружием ожидает команды на погрузку.

У самого трапа со счастливейшей улыбкой сидит, поджав под себя ноги, старик Ичиро. Он в темном халате. Около него чашечки и бочка сакэ.

— Всех угощаю! Иди! Иди! — кричал Ичиро. Он сам подвыпил. — Иди! Сюда! — Лицо старика морщилось от умиления. Он угощает от всего сердца, бочку купил на собственные заработанные деньги и желает лично отблагодарить. — Всех угощаю! — кричал Ичиро. — А ты — дурак! — с пьяным злом тихо сказал старик плотник подошедшему к нему начальнику полиции Танаке.

Мецке сам изрядно выпил сегодня. Он очень зол на Путятину. Куда он спрятал монаха? Сколько японцев увезет, пока еще неизвестно. А высшее начальство еще и угрожает ему! Не задерживает Путятину! А он — уходит... Явно! Неужели японцы стали предателями?

— Зачем вы все браните полицию? — с обидой спросил Танака. — Разве полиция не нужна?

— Нужна! — согласился Ичиро. — Очень уважаем...

— Зачем же издеваться? Мы исполняем государственное дело.

— Мы любим полицию. Если бы не полиция, то разбойники могли бы убить мою жену, сжечь мой дом, грабить безнаказанно! Нарушать порядок. Тюрьма — это хорошо!

— Зачем же они тебя будут грабить? — с подозрением спросил Танака. — У тебя же ничего нет...

Ичиро хотел сказать, что если бы полицейские были богатыми, то хорошо. Еще бы лучше! А вы назначены для пользы, но всегда все перепутаете. Вас развелось слишком много, и вы потому стали опасны, получается не полиция, а сами разбойники. Ичиро этого не сказал и не мог подобрать слов, он подумал все это, выразительно глядя в лицо мецке, и спросил:

— Понял?

— Да, понял... Правда! — согласился мецке, так как не мог сказать по должности, что не понял, — он все понимал, все знал!..

На пристань подошел еще один отряд из лагеря. Вскоре всем позволили разойтись и смешаться с уходившими товарищами.

Танака не уходит. Ему даже очень удобно тут стоять: как будто спорит с плотником и тем временем наблюдает. Теперь, наверное, увезут Точибана. А надо бы поймать! Шестьдесят два полицейских приготовлены и ходят тут под видом крестьян.

Путятин с Можайским, Елкиным, Семеновым и Пещуровым, с Ябадоо, чиновниками и переводчиками зашли перед отвалом в домик Хэйбея. Позвали молодого Сабуро из соседнего дома «У Горы».

— Вызван по моей рекомендации, — заявил ему Ябадоо, — как лучший рыбак! Знающий море!

Этого молодого рыбака зимой избили в Доме Молодежи по приказанию Ябадоо. Теперь по его же совету как знатока моря его мило-

ство представляли послу России. Конечно, когда Путятин выслушает, то скажет: «Спасибо, Сабуро-сан!» — и даст подарок.

Путятин сказал:

— Я ухожу на шхуне «Хэда» в Россию.

Елкин выложил на столик пачку карт заливов и морей, заснятых им самим за все эти месяцы. Пока его товарищи, офицеры и штурманы, волочились за японками и тратили жалованье от бакуфу на забавы и удовольствия, Петр Елкин ходил в шляпочные походы, обошел все эти берега, делал описи, промеры. А на суше ходил с дружкой японцем Нодой по горам и собирал гербарий.

— Шхуна парусная,— продолжал Путятин,— выйдя из залива, я должен быстро уйти в океан, подальше от берегов.

— А-а! О-о!

Молодые японцы все сразу поняли. Путятин на парусной шхуне хочет быть недосыгаемым для паровых судов врага, которые проходят неподалеку от берега и ждут его. Хочет знать, какие ветры дуют в эту пору и как ими воспользоваться!

Большая честь для рыбаков! Ветры в эти дни известны. Путятин обратился не к охраняющим чиновникам и не к ученым бонзам, а к тем, кто все знает, но молчит. В последний час перед уходом старый роэбису вспомнил про рыбаков. Пришел к Хэйбею, где висит его портрет. Позвали Сабуро как лучшего. К самому нельзя войти — такая низкая, дымная лачуга, маленькая, как нора.

Опять происходят небывалые события.

— Вот здесь дует наш горный ветер моря Хэда,— говорил, показывая на карту, Сабуро из дома «У Горы».— От Фудзи в эту пору дует холодный ветер Фудзи. Они соединяются в заливе и усиливаются.

Сабуро выбрал отдельную карту залива и приложил к ней карты моря. Елкин достал и развернул огромную морскую карту. Сабуро, казалось, не удивился, словно понимал все эти линии и цифры. Он немного подумал, как бы сообразуясь с новыми для него масштабами, и продолжал:

— Но из Китая уже дует жаркий ветер. Вот здесь будет завихрение и воздух поворачивает обратно. Китайский ветер сильный, сталкиваясь с горным весенним ветром, немного ослабевает... А вот здесь надо резко менять курс и как будто идти на юг... но сразу поворачивать... Но бывает и не так...

Елкин записывал, хотя не ему идти на «Хэде». С адмиралом идет штурман Семенов.

Адмирал простился с остающимися и взшел на борт.

Запела труба, и раздалась громкая команда. Японцы и матросы хватили друг друга, обнимались.

Снова запела труба, уходящие построились и стали медленно подыматься по трапу. Ичиро каждому наливал чашечку сакэ и давал по куску редьки:

— Кусай!

Сбежались с кувшинчиками и другие японцы.

Матросы брали редьку и пили, некоторые обнимали старика, трепали его по плечу. Петруха Сизов вышел из строя и подошел к чиновникам.

— Ну, Накамура-сан, поцелуемся! Мусуме тут не обижай! Офуми! — Петруха показал себе на грудь, а потом протянул руку в сторону публичного дома.

— Ты не трогай его, это губернатор! — окликнули с трапа.

Жесткими, как железо, руками Сизов обхватил сановитого японца

и трижды поцеловал его крест-накрест, как бы вкладывая в это что-то значительно большее.

— Спасибо, папаша!

Накамура все понял. Он не разгневался. Его теперь ничем не удивишь. Сейчас все возможно. Порядок будем наводить потом. А пока путаница неизбежна.

Петруха заметил, что на миг глубокий взор губернатора смягчился, но как бы только для него, тайно, чуть заметно, и японец кивнул — мол, буду помнить... Человеческая же душа!

— Петруха! — окликнул Берзинь. — Счастливо тебе!

— Прощай, брат! — ответил Сизов.

— Видишь, и остался живой...

— И ты будешь живой!

«Вот я и в России! — подумал Можайский, ступая на палубу. — Наше судно. Сейчас спустим японский флаг вежливости и оставим свой. А задует с моря — уберем и его». Он, казалось, впервые увидел и судно и свои флаги, еще пока торжественно развевающиеся.

На шхуне у борта появился Путятин. Рядом Колокольцов.

Видя, что матросы на палубе готовятся убирать трап и ждут команды, старик Ичиро воскликнул:

— Пойду с ними! Я не хочу тут оставаться...

— Не пушу, — встал перед ним Танака. — Куда ты? Зачем?

Ичиро пытался молча пробиться.

— Опять молчишь?

— Кто знает, тот всегда молчит!

Танака яростно схватил его за воротник халата и с силой толкал, но старый плотник вцепился в полицейского, и оба они повалились в воду.

Смех быстро стих. В тишине слышно было, как трап закатывали на палубу.

— Отдать концы! — раздалась четкая и жесткая команда Колокольцова.

Судно стало тихо отходить. Ставятся косые паруса.

На берегу многие заплакали, как женщины.

Ябадоо чувствует себя победителем. Кокоро-сан гордо командует и не смотрит. Опасения Ябадоо ослабли и угасли.

Что-то зашуршало в тишине. Сайо! Вскинув руки и сжав кулаки, она вырвалась из толпы и выкрикнула:

— О, мой дорогой Кокоро-сан! Мой любимый! Навсегда уходишь! Как больно! Как горько! Покидаешь меня! .

Отец подхватил ее. При этом Ябадоо слегка смеялся. Да, он всех обманул! Очень забавно и смешно! И нельзя показать, что беспокоишься и как больно сердцу! Надо показывать, как будто так все сам устроил, это так нарочно...

Толпа остолбенела. Ясно все. А как же бакуфу? Что же смотрели столько сыщиков и полицейских-наблюдателей? Но жаль мусуме. Такая тихая, кроткая жила в своей семье!

Ябадоо словно хотел сказать: «Какая моя дочь молодчина! Как долго молчала! Об этом никто не узнал! Даже ее подруги молчали. Ее отец, Ябадоо, постарался...» Вид у него важный и самоуверенный, как будто он заранее знает, что не будет наказан. Да, всех обманул и ловко выиграл. Большого позора и нет!

Кокоро-сан приказал поставить еще два паруса. Отдавая строгие приказания в трубу, ходил по шхуне. На то, что происходило на берегу, не обратил внимания. На Сайо даже не посмотрел. Жестоко и твердо поступал. Таким должен быть воин.

— На брасы! — доносится с отходящего корабля его голос в рупор.

— Саша, дорогой Саша.. Я умираю. Ужасно страшно! — билась окруженная толпой маленькая женщина.

Ее взяли на руки и понесли домой. Сзади шел отец, кланяясь всем чиновникам и полицейским.

— Убейте меня... пожалуйста, казните, — придя в себя, шептала Сайо. — Я не хочу жить...

Сегодня с утра отец велел ей надеть рабочее платье и целый день никуда не выходить из дому, только работать. А она не могла вынести пения. Она оделась празднично, во все новое и яркое и пошла на пристань.

— Никогда! Никогда! — стиснув зубы, повторяла она по-русски.

— Если уж поехал на корабле, то обратно не сбежишь! — утешая ее, привел отец старинную поговорку.

...Шхуна «Хэда» быстро уходила в глубь океана.

Глава 21. Камень, который крутится

Умер Эгава, и в Эдо готовятся торжественные похороны. Эгава был другом и единомышленником Кавадзи. Кому покровительствует знатный князь, о том принято с благоговением в обществе упоминать.

Про единомышленников не говорят, ими не гордятся. Хотя иногда и не скрывают знакомства с ними. Основа государства в том, чтобы думать о высших, а не о равных. Все лучшие дороги в государстве ведутся от низших к высшим, а не между низшими. Кавадзи приходится срочно возвращаться в Симоду. Он не будет присутствовать на сожжении и погребении праха.

Замечено в Ураге и в обратной дороге, что слежка за Кавадзи прекращена. Никто не подсвистывает из тьмы леса, никто у него под носом не шлет гонцов, предупреждающих тайную полицию. О судьбе Эгавы приходится только сожалеть! Много лет Эгава губил свой талант ради дружбы с покровителем Мито Нариаки.

Ушел Путятин, и скоро уйдут американцы. Мы будем счастливы по-прежнему. Закончилась целая эпоха в жизни Саэмона. С чем же остаемся? Что будет? О-о! Мы остаемся с нашей тайной полицией, со слежкой друг за другом, с нашими подозрениями, с чиновничьим угодничеством и холуйством, с предрассудками, церемониями и наказаниями. Мы привычно обнимаем мечи друг против друга.

Прибыв в Симоду, Кавадзи остановился в храме Фукусэнди. Чиновники доложили, что губернатор Накамура-сама вышел из Хэды. Скоро будет. Американцы еще не ушли.

Американская красавица здесь! Всех удивляет. Очень много о ней говорят в городе.

Кавадзи втайне с жаром в душе ждал этих освежающих сведений. В дороге писал посвященные ей стихи.

В храме Фукусэнди Кавадзи увидел на одном из столиков арбуз. В это время года? Какая неожиданность! Кавадзи любил зрелые, красные арбузы. Приближенные всегда искали для него арбузы. Верный самурай приподнял арбуз, чтобы разрезать. За арбузом лежал маленький футлярчик, чуть толще соломинки. Кавадзи взял его и открыл круглую крышку. Внутри свиток из тонкой бумаги. Адресовано ему: «Вам пишут ваши тайные друзья, восхищенные вашей государственной деятельностью...»

«Все-таки меня не хотят оставить в покое! Есть поговорка: когда выходишь из дому, жди, что встретишь семь врагов. Во время путеше-

ствия — гораздо больше. Если не выходишь — они проникают в твой дом!»

«Вы помогли уйти к Путятину. Мы горячо благодарим вас...»

Тайные друзья? У Кавадзи никогда не было тайн от высших чиновников империи, которым он служил.

«Мы извещаем, что за вами всюду следят, и это нам больно видеть. Это делается по приказу свыше. Все вас винят, что вы попали в плен к иностранцам. Предали Японию, заключив договоры с Россией и Америкой, допустили эбису из этих стран в нашу империю, пренебрегли заветами предков. Поэтому вам в скором времени может быть тайно поднесен яд в красивых фруктах или из Эдо пришлют приказ о само-вспарывании».

«Кто же пришлет мне такой приказ? Шогун только что обласкал меня и наградил. Канцлер Абэ — мой покровитель. Он получил подозрительную трубу, посланную ему Сибирцевым, и очень рад и любезен со мной».

«Поэтому мы советуем вам, не дожидаясь осуждения, совершить самому традиционное сеппуку. Но будет лучше, если вы решитесь бежать на иностранном корабле в западные страны. Мы сами желаем покинуть Японию и поэтому не можем открыться вам. Но когда вы решитесь, мы немедленно появимся рядом».

Какие-то странные подписи, как будто бы «Ва-си-ре» и «Ви-то-ри»... Отец Васире есть у Путятин. Чьи это проделки? Старого князя Мито? Зачем же во всем подозревать старого князя! Он рыцарь смелый, говорит и действует открыто. Нет, это забавляется особая поросль японских мецке нового образца, бешено рвущихся вперед, делающих карьеру. Ради наград и успеха они чернят сторонников открытия страны. Кавадзи всю жизнь сам распоряжался мецке, и вот теперь взялись за него, роли переменялись!

Приписка: «Пожалуйста, как только прочтете это письмо, уничтожьте его в огне жаровни, стоящей у ваших ног».

Кавадзи спрятал письмо в рукав. Он вынул кинжал и разрезал арбуз. Вкусно. Прекрасно.

...Кавадзи полюбила красивейшая женщина Японии. Сато стала его женой. Это было пятнадцать лет назад. Она признанная первая красавица, хотя считается, что вторая, после жены шогуна. Велико-светский шепот в свое время называл ее сбытой с рук любовницей старого, ныне покойного... Она прекрасна! Служила при дворе! Конечно, тот, кому служат, никогда не упускает своего права. Кавадзи сам жил теми же законами! Но увлечение американской красавицей — это что-то еще небывалое и таинственное...

Когда-то, подымаясь от одной чиновничьей должности к другой, Кавадзи постепенно познавал прелесть власти. Перед ним раболепствовали, ему писали доносы и доклады. Это казалось чудесным! Поднявшись высоко, Кавадзи привык ко всему. Лесть и беспрекословное повиновение окружающих стали естественны. Он охладевал...

Встречи с иностранцами и усвоение некоторых их понятий открыли вдруг Кавадзи глаза на мир, которого он раньше почти не замечал.

Кавадзи исполняет много дел сразу. Можно лишь гордиться: камень, который крутится, не обрастает мохом!

Приказ бакуфу не выпускать Путятину из Японии оказался пустой угрозой. Путятин уже ушел. Кавадзи в это время, исполняя обязанности, был в заливе Эдо, в Ураге, потом в столице. На пути проверял, что же с постройкой западного судна «Асахи-сее». Кавадзи был справедлив. Осматривая судно, сказал: «Корабль лишь походит на западный. А внутри какая-то путаница, непонятно, что там такое. Не японское устройство и не западное». Жестокий удар. Эгава еще до его

ревизии уехал в Нирояму. Он тяжело переживал свою неудачу. Когда заговорил народ и донесли, что корабль называют «Пустые хлопоты», а самого Эгаву — посмешищем, Тародзаймон не выдержал. Сначала он хотел покончить жизнь самоубийством...

Правительство шлет Кавадзи одно поручение за другим. Он отвечает за американцев в Симодэ. Несчастья и неприятности сыплются на него и на бакуфу одно за другим.

Умер Эгава! Умерла подлинная гордость старой Японии, ее талант, даже гений, ее ум, энергия. Он ушел почти сознательно, как бы предугадывая появление нового поколения японских гениев, но не самоучек. Ученых, без которых Япония уже не может жить. Явятся люди нового поколения, с разными знаниями, которые не будут, как Эгава, изобретать то, что уже давно изобретено.

Вечером прибыл Накамура. Долго говорили. Русские ушли, чем-то обозленные. Не все. Путятин был добр и спокоен, как всегда. Передал письмо для Кавадзи-сама. Так, возвеличивая, адмирал всегда называл Саэмона. Письмо доброе, почтительное. Обещает после окончания войны прибыть в Японию. Благодарит за все. Просит правительство заботиться об остающихся в Хэде трехстах моряках. Уверен, что Япония быстро двинется, за год или два, вперед, поэтому многие споры потеряют смысл.

Путятин хочет сказать, что через год или два не будут нужны пустые разговоры об отмене статьи о консулах? Япония уйдет вперед? Да? Может быть, через несколько лет у нас будет парламент? Например, Ота-сан будет членом парламента? Либералом или консерватором? У него заводы сакэ, он, может быть, откроет верфь, торговый дом Ота славится в Осаке.

Шхуна «Хэда» построена и спущена, и это прекрасно, но это тоже тяжкий, жестокий урок и упрек всем нам! Путятин ушел самовольно при нашем молчаливом лицемерии. «Зачем же я не простился с ним как с другом!» «Перелет фазанов» — темное дело... Монах скрылся у русских. Путятин увез с собой на «Хэде» японского преступника? А разве это не наших же рук дело, не попытка лицемеров служить делу прогресса лицемерными средствами? И много подобных неприятностей почти ежедневно. Глупое и позорное дело с американскими семьями. За ними следили, как за паровым вражеским флотом. О кротких женщинах и об их детях губернатору докладывалось в день несколько раз. Сегодня подробно сообщено Саэмону об американской красавице. Единственная отрадная, утешающая новость. Чем больше Кавадзи узнаёт о ней, тем она кажется прекрасней. Его тайный интерес походит на настоящую любовь. Утром увидел в трубу, как она прошла с детьми по лугу. Сердце замерло, как у юноши.

Но еще удивительней и чудесней, что Саэмону кажется, будто и она ждет, испытывает такое же чувство, как он к ней. Да, Посыет ей что-то сказал перед отъездом, язык у него быстрый! Расхвалил напрасно и, наверное, все преувеличил.

Вечером Кавадзи дал распоряжение о посылке в Гекусенди фруктов, мяса, рыбы, птицы, яиц, об оказании всяческого внимания и при этом велел узнавать новые подробности о замкнутой жизни обитателей храма Нефритового Камня.

Американскую красавицу теперь знала вся Симодэ. Она жила в затворничестве, но ухаживала за собой и за детьми так, словно ежедневно у нее приемы и балы. Она ежедневно купалась и купала детей. Иногда вместе с двумя другими американками она купалась в море, которое еще не готово для летних купаний, вода еще не «созрела», но им кажется теплой, совсем как простым матросам Путятина. И она совсем не стеснялась наблюдающих полицейских, словно это были

камни. Американки плавали и подолгу ныряли, при этом американская красавица иногда плавала, размахивая руками, как мужчина.

Это просто удивительно, как она любила себя и своих детей и как ухаживала за ногтями, волосами. Еще она любила читать. Каждый день она выходила два раза гулять со двора храма. Утром до купания американки работали в саду, поливали грядки, пололи, сгребали траву. Младшая американка, жена рулевого, убирала комнаты, на завтрак досу́ха жарила яичницу с солониной и готовила кофе. Но ели все вместе, как подруги, хотя, кажется, младшая была бедней всех и выполняла обязанности служанки. Вечерами все читали. Часто вязали и шили. Играли с детьми в мяч, учили их плавать. Все женщины носили с собой пистолеты и кинжалы.

Невозможно сохранять спокойствие! Нельзя выдержать. Саэмон желал увидеть американскую красавицу. По его просьбе Накамура прислал лодку пограничной охраны. Кавадзи шел на осмотр берега и для наблюдения в трубу за морем.

Гребцы в праздничной голубой одежде мчали украшенную лодку Кавадзи мимо храма Гекусенди. Она играла с детьми на лужайке. Кавадзи подал знак держать ближе к берегу.

Американская красавица, одетая в оранжевое платье, в легкой соломенной шляпке, стояла под зонтиком. Дети бегли палкой и кидали маленький, кажется очень жесткий, мяч и перебегали. Она благородно взмахивала руками, отдавала им приказания. Увидела Кавадзи и смотрела на него из-под полей. Конечно, узнала его. И видно было, что обрадовалась, и смотрит дружески, наверное, хочет, чтобы подъехал.

Кавадзи, как школьник, не помня себя от радости, снял шляпу и поклонился ей, сидя в лодке, и покраснел при этом густо, не зная, верно ли поступил.

— Хелло! — воскликнула американка и махнула ему рукой. — Ты приехал? All соггест! — Она кивнула с оттенком сожаления, мол, я тебя понимаю, так ты и не сладишь со всеми вашими глупостями, но ты, право, прелесть! Не забывай! Как жаль, прекрасный рыцарь, что не зайдешь к нам! Как бы мы были рады! И госпожа Вард, и Сэйди, и госпожа Рид! И мой муж!

Кавадзи сам не знал, что произошло. Сняв снова шляпу, он дернул головой не книзу, а вверх, как американец, и джерк¹⁶ получился!

Анна Мария глядела вслед отходившей лодке и не могла удержать руки — они двигались, как у сигнальщика или у цветочницы, составляющей букет...

Утром доложили — в Гекусенди прибыл русский офицер Шиллинг. Теперь там двое русских офицеров и матросы живут для наблюдения за морем.

Прибыл по своим делам Ота — владелец торгового дома.

Кавадзи приказал купцу Ота явиться в храм. Будущий член парламента? Лидер либералов? Владелец столичного дока? Но, может быть, и он к тому времени окажется стар. Долговязый Ота похож на западного эбису. На длинных ногах вошел, как американец, но упал ниц, как японец. Ота теперь дворянин! Часто приезжает в Симоду. Но еще чаще — в Осаку. У него всюду склады и магазины. Перестраивает магазин в Симоду по западному образцу. Дверь будет со стеклом, без китайского колокольчика. У него в Симоду фабрика одежды, завод сакэ, открыта мастерская по выработке драгоценностей для продажи иностранцам. Совладелец банка в Осаке. Ждет открытия торговли с Европой и Америкой.

¹⁶ Кивок.

На государственную субсидию создал первый в Японии публичный дом для иностранцев, который для практики временно посылался в Хэду. Теперь все девицы возвращаются в Симоду, и дом скоро будет во всем великолепии встречать первого американского консула, научную эскадру, американских адмиралов и всех торговцев и ученых западных стран. Но все это заботы «заднего двора». Фасад торгового дома Ота чист. Его семья, его дело, служба правительству, его товары вне сомнений. Свою дочь он выдает замуж за сына знатного даймио, который будет изучать западный флот и артиллерию, видимо станет первым адмиралом японской винтовой эскадры.

Кавадзи велел Ота-сан доставить из магазина лучшие зонтики от солнца. Люди Ота немедленно принесли плетеные ящики с соломенными футлярами, в которых уложены шелковые, бумажные и соломенные зонтики.

— Еще нужны детские.

— Да, вот и детские.

Ота предвидел, что и детские потребуются разных размеров, от самых миниатюрных. И еще игрушки-зонтики для кукол.

Кавадзи вызвал Эйноске и показал на разложенные зонтики.

— Идет жара. Очень горячие дни.— Кавадзи бумажным платком вытер лицо.— Надо позаботиться о семьях американцев, чтобы у детей не болела голова.

Мориама сам явился из Гекусенди навеселе.

— Ваше превосходительство, не надо опасаться. Там ждут вас... красавица... очень...

Кавадзи решил пуститься во все тяжкие. Он поедет в Гекусенди.

Прекрасное утро. Слуги подают все свежее и надушенное. После купанья и завтрака Кавадзи, исполнив необходимые дела, послал письмо Накамуре и собрался идти на берег.

В храм вбежал переводчик.

— В Гекусенди привезли куриц в клетке... Повар-китаец будет резать и жарить для американской красавицы... но... но...— дрожащим голосом, лежа на полу, бормочет Мориама,— в порт идет шхуна... это... корабль...

— Какой корабль?

— «Каролайн Фут»... Возвратился из России...

В бухту Симода вошел парусный корабль и отдал якорь.

Тишина. Жаркий прекрасный день. Иногда налетает шквал, но быстро проходит, опять все успокаивается.

Кавадзи доложили — как только американский корабль бросил якорь, к его борту подошла шлюпка из Гекусенди. Все американки оставили детей на китайца и на жену священника и вместе с мистером Доти и его компаньонами помчались на шхуну. И залезли на палубу. Там ужасно кричат, все как безумные.

Опять полная перемена...

В Гекусенди пришли из Хэды еще русские. Шхуна Путятина взяла очень мало людей: только сорок матросов и десять офицеров. Русские так и ходят между Симодой и Хэдой, то совсем уйдут, то опять появятся, и все хотят уехать к себе, но их никто не берет. Как сказал вернувшийся на берег Мориама Эйноске, капитан «Каролайн Фут» не пойдет больше в Россию, разрывает контракт с Путятиным, хотя обещал пойти на Камчатку еще два раза и всех туда доставить; ему не понравилось в России. Плавание опасно. Боятся англичан. Посол Англии в Гонконге послал в русские воды эскадру. Англичане собрали много кораблей и ходят в море, стергут русских.

Прибежали чиновники с новостями. Уверяют, что очень важно.

Русский офицер Михайлов поехал на «Каролайн» в своей шлюпке с гребцами, все увидел и узнал.

Новость вторая: одну американку муж сразу увел в свою каюту, и они там заперлись. Это очень неприлично, так, у всех на глазах, среди белого дня. Все очень понятно. Скрыть невозможно, хотя дверь изнутри закрыта. Все американцы целовали своих жен прямо на палубе, без стеснения.

Все это больно и обидно выслушивать. Все очень грубо и вульгарно. Подобные сообщения оскорбляют Саэмона и возвращают его к низким и грязным понятиям, от которых он на некоторое время отошел.

Слежка за Кавадзи окончена, а стало хуже. Исчезло исцеляющее увлечение! Что же лучше? Может быть, пусть следят, только бы осталась любовь? Только бы американка не уезжала! Тот, кто уже привык, что за ним следят, без слежки скучает.

Сразу же сообщили: Шиллинг собрался на парусной лодке в Хэду, попросил позволения у губернатора. Оставшимся отрядом в Хэде командует Мусин-Пушкин.

Кавадзи сидел в одиночестве. Рамы в окнах не стучали. В воздухе душистая, насыщенная запахами цветов, сырая прель. Погода прекрасная. Солнце и цветы. Но для него все кончилось. Путятин ушел навсегда. Никогда, наверное, больше Кавадзи не увидит своего друга, который из далекой страны пришел, чтобы видиться с ним.

Теперь оставались дела пусты, бессмысленные возражения против всего, что бы ни сделал, чиновничья жизнь, законы.

Саэмон пережил смерть родного отца и отца приемного, обеих матерей. Кончину старого شوгуна. Но ничто так не заглушало в нем живой огонь, как весть о том, что Путятин ушел. Найдет ли он себя на своей родине? Кавадзи полагал, что нет, что Путятин там будет не нужен. В Японии он был как свой, он понятен со всеми слабостями, полезен и человечен. А там жизнь ушла далеко-далеко и никто ничего не прощает. Пламя внутренней борьбы забушует скоро и в Японии с еще большей силой. В судьбе Путятина, как казалось Саэмону, есть схожесть с его собственной судьбой, и обе судьбы близки к окончанию. Вряд ли кто-то из них сможет что-то сделать после того, как подписан небывалый договор между двумя империями. Но Путятин, как и Кавадзи, опытный чиновник, он не даст себя в обиду. Они исполнили дело, выше которого для них обоих ничего не может быть...

— Домой! — пылко восклицала Анна Мария.— Перри — лгун! Его договоры — обман! Никаких его трактатов японцы не признают! Больше мы не пустим вас в Россию, довольно! — сказала Анна Мария.

— Мы не пойдем! — ответил Вард.

После этого плавания капитан стал заметно поживей и поразговорчивей.

На следующее утро Вард, Рид, Доти и Дотери приходили к Накамуре и благодарили. От губернатора не предупредив пошли все вместе по улице, как будто гуляя, повернули в ворота Фукусэнди, посмотрели цветник и вошли к Кавадзи как к товарищу. Сказали, что уходят из Японии. Очень благодарили за внимание к семьям. Ответили на вопросы про Россию. Сказали про Лесовского и сто пятьдесят его моряков. Все здоровы. Ушли еще дальше на корабле. У Лесовского очень тяжелый характер, проявлялся одинаково к своим и к американцам. Кавадзи спросил:

— Заходили в Хакодате?

Эйноске об этом долго и подробно поговорил с гостями. Перевел так:

— В Хакодате заходили. Японские власти приняли Рида очень лю-

безно. Но не как консула, а только как американца и добавили, что если бы он потерпел крушение, то оказали бы больше внимания.

«Пришли проститься! Полагают, что так запросто можно со мной беседовать! Но Кавадзи сам уступает, сам задает вопросы!»

Письмо от Накамуры. Дел в управлении очень много. У Накамуры сейчас сидит Михайлов. Пришел с просьбой послать на японской быстрой лошади русское письмо в Хэду. Шиллинг одно увез, но необходимо послать еще одно, дополнительное. В Гекусенди переговоры русских с Вардом пока безрезультатны. Михайлов письмом просит прислать обратно Шиллинга или другого офицера.

— В море двадцать два французских и тридцать четыре английских военных корабля,— пояснил Вард.— Поэтому мы не возьмем русских и не пойдем с ними во второй рейс. Наше судно захватят англичане. О русских у нас хорошее мнение. Об этом мы напишем в американской газете в Сан-Франциско, в которой я являюсь писателем. Мистер Рид уже написал американскому правительству...

Рид побывал в Хакодате, но кроме конфуза, кажется, ничего не получилось, хотя держался стойко. Сказал хвастливо, что, уехав, предъявил строгое требование, чтобы ему построили дома, один для торговли, а другой для консульства, к началу действия трактата с Америкой. С Ридом опять спорили о консулах и торговле. Как Перри и Адамс и все американцы, Рид тоже пригрозил тысячей военных кораблей и войной, хотя не может уйти из порта без японских продуктов.

...От Сато прекрасное письмо. Она, оказывается, тоже слыхала про американскую красавицу. Просила мужа сделать все возможное, чтобы американским дамам было спокойно, хорошо, чтобы они были сыты и удовлетворены всем, чего только могут желать благородные молодые дамы, пока их мужья выполняют такое великое и опасное предприятие. «Очень мила, умна моя Сато! Она бы даже на корабль не пошла к мужу, а не то что обхватить его за шею, при всех завести в каюту и закрыться железным ключом! Сколько изящества и тонкой прелести в ее уме!..»

Хотя Кавадзи дал понять Риду, что ему следует удалиться из Симоды, но отношения с американцами хороши, «Каролайн Фут» грузится рисом и мукой. Берут апельсины, свежие овощи. Еще один ящик с курами, чтобы несли яйца для детей.

ЧАСТЬ IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Глава 22. Последний марш

Алексею иногда кажется, что живет он в средней полосе России. Такая же тишина и жара по утрам, чуть свет крестьяне идут на поле. Здесь, в Хэде, страшатся солнца как злейшего врага: и мужчины и женщины закутывают лица в черное до глаз и надевают черные халаты и штаны, работают босые на залитых водой полях, похожих на небольшие квадратные бассейны.

Во дворе Хосенди на дереве сарубэри, или «скользит обезьяна», над могилой Букреева распустились красные цветы. Сучковатое, с белым гладким атласом коры, с крутыми изгибами ствола, теперь оно все в больших бутонах.

Дочь Пьющего Воду вчера опять была на могиле и зажигала куренья. Приходила и сестра ее, лицом похожая на грузинку, с чуть припухлыми глазами, смягчавшими выражение лица. Обе чистенькие, скромные, как воспитанные благородные девицы. Отец их уже больше не был Пьющим Воду. Глухое ущелье, где жил с семьей сторож при

складе Ота, нанимавшийся за несколько чашек риса в день, теперь превратилось в бойкое, поторжное место, и Пьющий Воду становился залихватским кабатчиком. Ему было теперь во что одеть своих дочерей.

Казарма жила своей жизнью — с утренними и вечерними молитвами, со службами в церкви, с маршировкой, ученьями, со множеством работ, починок, поделок, с заботой о харчах, с наказаниями, с выставлением под ружье за своевольные отлучки, за перемахивание частокола по ночам. С баней, стрижкой, лупкой, стиркой, штопкой, тачанием и смазкой сапог, с ходьбой на работы, которые все больше японцы перенимали от матросов, и уже многие наши на стапелях становились не нужны...

И, видно, не только поэтому замечается отчуждение. В деревне говорят — русские осквернили храм.

Пьющий Воду встретил на днях Янку Берзиня, зазвал к себе в сакую, угостил и растолковал, что теперь все боятся. Хотя никто не верит, что виноваты русские. И что-то еще говорил очень таинственное и страшное, чего Янка не смог понять без толмача. А переводчики, как известно, все шпионы.

Вечера Осип Антонович проводит с Точибаном, они занимаются в лагерном лазарете. В Хосенди не встречаются, там всегда много японцев, могут заметить. Они наблюдательны и догадливы. Теперь Точибана приходится скрывать и охранять особенно тщательно.

Гошкевичу не раз казалось, что друг его Точибан тоскует и раскаивается, может быть, не прочь был бы переменить решение и остаться, но уж поздно. Выглядит пришибленным, жалким, словно не рад своему спасению. Ко всякому делу способен, да не всегда душа лежит! Крепки они во всех своих предрассудках после двухсотлетнего воспитания!

Гошкевич с Елкиным зашли в канцелярию бакуфу. Там полно чиновников.

Уэкава встретил вежливо, но не глядя в глаза. Этак бывает и у нас. Чиновник был хорош, а вдруг отвернется, едва войдешь к нему, избегает говорить. Обычно это значит, что дошла какая-то сплетня или донос или чего-то сам придумал и заранее струсил.

Ябадо ответил на поклон и объяснил, дружески смеясь, что кто-то нагадил на алтарь в шинтоистском храме на косе и есть следы русских морских сапог.

— Что их слушать! Так и будут нам глаза колоть на прощание! — сказал Елкин.

Оказалось, что Уэкава должен об этом написать отчет. Узнали в Эдо, требуют подробностей. Уэкава не может винить русских матросов, но и не может доказать их невиновность. Поэтому он в тупике.

— Но отчет, верно, должен об этом писать новый дайкан, молодой Эгава, а не вы, Деничиро-сама? — ответил Гошкевич.

Уэкава на миг смутился, тут же закивал и улыбнулся:

— Да... да...

Гошкевич напомнил:

— Мусин-Пушкин предлагал вам назначить комиссию для расследования. Что же вы? Поручик Елкин и Шиллинг в тот же день ходили обследовать остатки уже затоптанных вами следов. Оказалось — сапоги оба правые. Такие были у Букреева. А когда он наелся ягоды и умер, их кто-то стащил. Значит, это сделали не наши... Вот об этом и напишите, пожалуйста, в Эдо. Нижайше просим быть порядочными людьми. Это хитрость очень глупая и легко распознается. Мы вам об этом уже говорили, Уэкава-сама. Пушкин объяснялся с новым дайканом — молодым Эгавой. А что же вы?

Плотник Оаке, когда-то выброшенный ударом ноги из канцелярии

бакуфу, на днях сказал матросам, что нагадили сами мецке. О происшествии сразу заговорил весь лагерь. «Следы краденых сапог, братцы!» — толковали в казарме.

— Значит, шла подготовка к чему-то, чего мы сами не знаем и не ведаем! Наши друзья, как Нода, стали нас бояться,— сказал Елкин, выходя из канцелярии.

— Что значит «не знаем»? Это и надо властям, чтобы все нас боялись, чтобы хорошая память о нас была бы вычеркнута навсегда,— ответил Гошкевич.— Видимо, заметили, что слишком приветлив с нами простой народ. И так будет впредь. Поверьте мне! Мол, вот вам что оставили христиане, вам, шинтоистам, загрязнили священную память о предках, самое дорогое для семьи японцев. На прощанье! На самое заветное!

Тучи нашли. Море серо, и серы горы. Сеет невидимый дождь. Печальный день дождливого июня. Большое судно с голыми мачтами смутно проступает на поверхности бухты, как сквозь туман...

При штабе оставшихся русских моряков Путьятина всегда дежурит офицер или юнкер и стоит вооруженная охрана. Сегодня здесь, может быть, решится судьба трехсот матросов...

Ждут шкипера с немецкого судна «Грета». Наконец он является. Господин Тауло высокого роста, рыжий, лысый, разговаривает приветливо. Передал рекомендательное письмо адмиралу Путьятину от банкира Сайлеса Берроуза из Гонконга...

— Почему в Охотск? — удивился он.

— Вы же сами сказали моим офицерам,— объясняет Мусин-Пушкин,— что заходили в Хакодате, видели сильную английскую эскадру, которая направлялась на Амур для уничтожения русских крепостей.

На Камчатку нельзя и в Татарский пролив нельзя. Пушкин упрямо добывал сведения от американцев в Симодэ и от японцев, которые, как оказывалось, вели порядочное наблюдение за морями. В Декастри прохода не будет, а на Камчатку идти незачем. Единственно куда еще можно, вероятно, пройти — в Охотск. Не должно быть блокады охотского побережья.

— В Охотск, я вам сказал! — говорит по-немецки Пушкин.— Приходила «Каролайн Фут». На Камчатке нет никого, все ушли, и «Каролайн» передала Лесовского с матросами другому американцу, чтобы доставить их на Амур.

Кто они все? Один другого стоит! Мусин-Пушкин помнил, как оскорбились и разъярились наши матросы, когда уже все собрались в Россию, а на «Young America» вдруг стали их отталкивать, не пускать на судно. Неужели и с этими драться?..

На «Грете» комиссия из офицеров во главе с Пушкиным осмотрела каюты и трюмы для грузов.

— Вы, капитан, крыс выморите.

— Чем? — весело спросил немец.

— Серой,— сказал Шиллинг.— У японцев есть. Японцы вам живо все сделают.

— Трюм хорош, при случае можно спрятать всех матросов.

Пушкин сказал, что силами наших мастеровых придется в трюме настлать временную жилую палубу для помещения всей команды.

Съехали на берег, пошли в канцелярию бакуфу. Уэкава скрепил договор своей личной четырехугольной печаткой-миниатюрой и портовой печатью европейского образца. Заверил копии и одну попросил оставить для себя с немецкой и русской подписями.

— Теперь уже совсем? — спросил он.

— Да, совсем.

«Как же мы все чужды им стали! И чем дальше, тем будет хуже!»

Пушкину хотелось кое-что из вещей и книг оставить у Ябадоо. Есть и подарки для японцев, но если бы не этот обгаженный храм! На прощанье как в душу нагадили!

Две с половиной тысячи долларов — четвертую часть денег — сразу отдали шкиперу и получили расписку. Остальные обещаны чеками и наличными в порту назначения.

В храм Хосенди вызвали офицеров и юнкеров. Пушкин объявил приказ об уходе. Погрузку закончить как можно быстрее — за два дня.

Каждый почувствовал, что решающий час настает. Офицерам велено составить расписание сборов и немедленно отправляться по местам.

— Немец не американец! — сказал Пушкин. — Мнения своего не переменит! С богом!

Матросы принесли на могилу Букреева букеты саранок. На коленях у небольшой плиты, поставленной товарищами покойного под крестом, юная японка, маленькая, как девочка. Она помолилась и зажгла курения, как бы напоминая уходящим о вечной преданности и верности.

Молодой дайкан Эгава подъехал верхом к Хосенди с пешей свитой скороходов. Он отлично сидит на коне. Розовое лицо, черные брови вразлет, гордый взгляд. С такой осанкой Тамерлан въезжал в завоеванные страны! Спрыгнул с седла и поздоровался с вышедшим навстречу Сибирицевым за руку, которого знал по зимней охоте.

...Пьющий Воду зашел за скалу и забрел в море. Он нырнул под скалу и вынырнул в пещере. Пещера небольшая, ведет в глубину горы. Лезть туда очень страшно. Особенно неприятно, когда с трудом проталкиваешься под висющим сводом, который касается спины. Если в это время произойдет землетрясение, то так и останешься. Ногами к свету, а головой во тьму. Кто лазал в таких местах сам, тот знает. Дальше можно нащупать сокровище. Пьющий Воду протянул руку. Оно здесь! Быстро проскользнул обратно и вылез. Ночь, волна. Никому и в голову не придет что-то тут искать, под водой. Вот так прячутся средства для возмездия! Так же глубоко бывают спрятаны воинственные и мстительные мысли.

Оружие очень удобное, хорошее, сохраняется и смазывается. Испытано предками казненных родственников во многих бунтах, многократно. Их потом пытали и убивали, но оружие это удавалось спрятать. Очень счастливое оружие, старинное. Это пика с секирой наподобие алебарды. Но секира длинная и кривая, похожа на серп, отточена с обеих сторон, как бритва. Названа — «борьба насмерть, когда больше невозможно терпеть!». Надпись сделана на случай, если оружие попадет в руки властей. Пусть прочтут и подумают. И не изнуряют людей! Это оружие повстанцев. С князей легко снимает головы и так же легко отрывает ноги, если зацепить серпом, то режет само.

Пьющий Воду на соломенных подошвах шел, ступая по густой траве, держа свое оружие книзу и склонившись. Соломенные подошвы на траве не оставят следа. Трава к утру поднимется.

После происшествия в храме Джинджа посетителей в сакайе у Пьющего Воду еще больше. Все крестьяне приходили посмотреть следы сапог. Тысячи людей побывали в оскверненном храме и обсуждали целыми днями происшедшее, как назначенные полицейские добровольные комиссии. Вообще иногда у косы такой вид, словно там всенародный сбор, канун восстания и резни, мятежа.

Огромный корабль стоит среди бухты, иностранцы опять собираются, но не уходят. Неизвестно еще, все уйдут или опять лишь часть.

— Пусть скорей убираются! — говорят посетители, побывавшие в Джинджа.

Другие смеются, не верят, ругаются — кто тихо, а кто громко. Но

все зайдут в сакаю и выпьют. И приходится каждый день ездить в лодке к Ота-сан на склад за бочками сакэ. Денежки теперь полились.

С тех пор как ужасное осквернение произошло, Пьющий Воду велит обеим дочерям на валуны больше не ходить, на косе не появляться. Ходите каждый день на могилу Яси! Обе!

В тот страшный день они не от голода, а по нищенской привычке скребли водоросли в отлив. Хорошо, что успели спрятаться в валунах. А карлик прыгал по камням, по самой вершине косы. Отец сказал детям, что это Земляной Паук, он следит за кем-то, осквернившим святыню! Кто осквернил? Еще не знаем. Но за кем-то следили. В валунах свой мир, как в тайной пещере, сжимающей грудь и спину, или как в библиотеке священных книг в храме у Фуджимото!

...Эгава-сын остановился в том же храме за рекой, где останавливался его отец. В соседнем, еще более роскошном саду, в храме стоял во время двух пребывания в Хэде великий Кавадзи Саэмон но джо.

— Пусть сначала уйдут! — сказал дайкан.

— Да, да... — согласился начальник полиции Танака. — Они уже договорились. Копия документа на десять тысяч дору у Деничиро-сан как доказательство. Уже закончили вторую палубу в трюме... Уже грузятся. Уэкава-чин отправляет бочки с водой. Вчера уже попросили меня о буксирных лодках.

— Все будет доказано. Я представлю свидетелей и все сведения. «Все пригодится!» — полагает молодой красавец дайкан.

— За нарушение основных законов, за связь с иностранцами прежде всего должен нести наказание Таракити. Хотя ему дано звание и фамилия Уэда.

— Это не помеха! — Молодой дайкан засмеялся.

Кандидатура особенно нравилась. Любимец Путятина! А упрется в землю без головы! Уэда Таракити! Да, это он озаботил так отца. Только отец был скромный, его же хвалил... Таракити — враг злейший! Пусть только уйдут!

Танака понял, что совет удачен. Это хорошо. Неплохое начало. Рыбак рыбака видит издалека. Дайкану для начала деятельности нужна строгость, полезна в этом случае кровь выловленного ловкого обманщика. У Танаки есть покровители. А у Эгавы-младшего покровители еще более важные и высокие.

Конечно, известно, что Таракити очень преданный делу, всегда защищает полицию, что она нужна, власть любит, все законы исполняет, работает и учится старательно, но какое теперь это имеет значение, когда у власти мы!

Эгава опять тихо засмеялся, но тут же умолк и глянул свирепо. У него сильные руки и плечи. Отец приучал человеческой крови не бояться. Эгава седьмой хотел сам себе вспороть живот, но так разволновался, когда узнал, что его самого прозвали «пустые хлопоты», что умер от разрыва сердца. А до того просил сына, когда вспорет живот, чтобы помог и облегчил страдания — отрубил бы отцу голову. Сын дал клятвенное обещание. Но не понадобилось. А был готов! Но за «пустые хлопоты» Эгава-младший отомстит. И прежде всего хэдским плотникам. Статья подбирается отличная: за связь с иностранцами, за выдачу им тайн!

Таракити живо срежем голову! Не посмотрим на его западное ремесло! Он так живет хорошо, так всем доволен, счастлив, с подарками от Путятина и от бакуфу! Счастливый, самонадеянный! Крепко верит! Но мы докажем, что не так! Мы знаем, за что даются подарки. Даже самые дешевые!

«Сжимай зубы, Таракити, и нагибайся! — мечтал, в свою очередь,

Танака. — А то кляп в рот — и еще худшая мука! Когда казнят — будь покорен, сознателен, люби власть, целуй розги! Люби меч палача! Он ласков! Он утешает! А как присмирееет Хэда! И сразу вся округа, все деревни. Мол, вот какие были козни, какие ужасы! Враг-то куда у нас пролез, в список награжденных бакуфу попал, ложью добился, получил фамилию, на постройке шхуны присвоил себе заслуги честных тружеников и живо выставил себя первым! Пусть только уйдут!» Танака будет при отвале судна. Он ласково поговорит там с Таракити, ободрит его: «Не скучай...».

...Оюки низко кланяется и благодарит. Отец все видит и все понимает. Он опять заговорил о том же. На этот раз вовремя.

— Молодой человек из очень знатной семьи, будет адмиралом, человеком Запада. Он желает жениться на тебе как на западной женщине. У твоего мужа будет военный флот. Он изучает западные науки. А его братья — коммерцию...

Знатные роды не подпустят капиталистов к новой экономике без своего участия. Они хотят в новых банках стать совладельцами. Только при слиянии новых богачей и старой аристократии Япония выживет.

Поколения семьи Ота собирали сокровища и прятали, чтобы никто не знал, сколько их. Все лежало. А теперь отец Ота все выкопал. Теперь у него банк. Что же оказалось? Деньги стали расти, как рис из семян. Деньги нужны всем. И из денег вырастали деньги. Ота-сан — сеятель!

...Отец на днях рассказывал Оюки, что его предком был португальский монах, которого связали на корабле и выбросили в море, а японцы его спасли... Это было очень давно. У португальца был длинный нос и огромные глаза.

Но так это или не так — неизвестно.

— Твой жених очень похож на европейца. Он высок и красив. Настоящий западный моряк. Будет послан в Европу для обучения морским наукам. Кавадзи сказал мне, правительство отбирает десять молодых японцев. Они будут командовать японским военным флотом, после того как выучатся. Правительство приказывает мне открыть верфь. Мне дают деньги на постройку флота. Мы с ним, с зятем, будем строить японский флот. Первые суда я уже спускаю здесь. Но это лишь начало. Твой жених будет совершенно западный человек, красавец, умный. Он с товарищами сейчас изучает паровую машину по книжкам Путятина и голландцев.

...Слияние вынутых из тайников и выкопанных из земли сокровищ и аристократических имен! Новая эра! Может быть, рыцари рода Токугава со временем откроют многоэтажные базары в Эдо? Возникает, как полагает Ота-сан, одно из самых мощных предприятий.

Ота-сан придется еще раз сменить фамилию. «Аристократ — очень очень дальний, но все же родственник шогуну! Вместе я и он — фирма с отделениями по всей стране и с миллионными оборотами. Молодой человек — будущий японский адмирал флота западного образца, из кораблей с броней, пушками и паровыми машинами. Вот какой толчок дала развитию страны стройка военной шхуны в нашей деревне!»

...Оюки понимала возраставшее значение своего отца. Японцы видели в нем человека будущего и гордились им. Поэтому и сын князя женится на его дочери. Но отец уверяет, что не только из-за будущего Японии, что сын князя видит в ней западную женщину. Настало время, когда князь считает честью породниться с финансистом. А князь Мидзуно из города Нумадзу давно в долгу у отца. Сын его европеец на вид? Но Оюки видела суженого. Маленький, очень некрасивый, скуластый и особенно желтый. Ноги немного кривые. Наверно, толстые и волосатые, как у всех военных и мецке.

— Похож на европейца! — твердит отец. — До поездки в Европу будет учиться. Хотят открыть высшую школу в Нагасаки. Дружба с Россией — дело временное, дело случая: Но нам все стало понятно. Мы будем дружить с Англией, Голландией и Америкой! Я счастлив, что ты начала учить язык игирису...

— Когда все подымутся на борт, — попросил Гошкевич, — и Прибылов окажется на «Грете» в безопасности, то вы, Алексей Николаевич, подойдите, пожалуйста, к бонзе Фуджимото... За мной будут следить... А вы скажите Фуджимото что-нибудь про фазанов... Например, что перелет уже закончился.

— Что это означает?

— Условный знак, который просил подать Прибылов. Бонза посвящен, услышав, поймет, что Точибан ушел из Японии навсегда.

— Зачем же это? Не темное ли дело? Не кажется ли странным?

— Ни боже мой! Он говорит, что без этого не может уехать. Фуджимото передаст горячо любимым родным Прибылова.

— У такого злодея есть привязанности?

— Да, его последняя просьба. Да нам-то не все ли равно! Что бы ни было! Да и злодей ли он — может быть, только напускает на себя...

Остается неприятное ощущение из-за этого оскверненного храма. Особое уменье — напакостить на прощанье. А вчера, когда прибыл Накамура, пришлось благодарить за все.

Симодский губернатор явился провожать со свитой. Прием в Хосенди был скромный, но сердечный. От имени правительства Накамура Тамея благодарил Пушкина и офицеров, желая счастливого плавания и благополучного прибытия на родину, роздал подарки: самурайские кинжалы офицерам и Урусову как родственнику российского императора, коробки с лакированной и фарфоровой посудой, отрезки разноцветных шелков. В лагере матросы получили по коробочке из легчайшего дерева кири, легче ваты, в каждой по курительной трубке, по пакетику табака и душистой травы, лакомства из водорослей и рисовой муки с фруктовым сахаром и картинки — у всех разные. Изображены горы или домики, сады в цвету, сакура и скалы у моря, комические фигуры, гульба веселых нищих, а на некоторых голые женщины. Такой хохот стоял в лагере, что слышно было в Хосенди, и тронутый Накамура проследил, чувствуя, что на прощанье ему удалось развеселить матросов. Много хорошего было сказано друг другу. Поминали Путятину и Кавадзи и пили за них и прокричали «ура».

Сегодня отслужен торжественный молебен. Вывезено все, что нужно и можно взять с собой.

Представитель бакуфу Уэкава и молодой Эгава, чиновники и Ябадоо идут в ворота. Явились окончательно прощаться и принимать опустевший лагерь.

Сибирцев провел их по баракам, в кухню, на склады и в лазарет. «Сдаю наш лагерь. Как капитуляция!»

Пушкин и Накамура Тамея на корабле. Там же часть команды. Мусин-Пушкин поручил окончание всех дел на берегу Сибирцеву. Алексей чувствует, что входит в силу, ему доверяют самостоятельно проводить официальные встречи с иностранцами.

Часть зданий в лагере разобрана — доски пошли на палубный настил в трюме «Греты».

— Спасибо. Все в отличном порядке. Очень приятно, — сказал Уэкава. — Пожалуйста, не думайте, Сибирцев-сан, что мы тяготились вашим присутствием и что вы все нам очень надоели, так что теперь мы вздохнем свободно, когда вы уедете. Это совершенно не так, и прошу вас этого не подумайте!

«Каков комплимент!»

— Что вы, Уэкава-сан! Я знаю, как вам жаль нас отпускать! А вот придут после нашего ухода чиновники из Эдо, из бакуфу, из замка и начнут наводить порядок и, конечно, сильно обрадуют вас... С их отъездом вы действительно вздохнете свободно!

Уэкава смутился, хотел отшутиться, но глубокая тень пробежала по его лицу. После этого дружески и с чувством попрощались, как бы отпуская взаимно грехи.

Алексей щелкнул каблуками и вытянулся. Японцы поклонились низко и почтительно. Сибирцев выхватил палаш и, подняв его над головой, отдал прощальный салют. Ударил барабан, и рота пошла парадным маршем. Зимой в деревню Хэда входили под пение труб и дружные голоса моряков. Теперь уходили не менее величественно, под гром торжественных барабанов.

Хэда вышла провожать. Работ на шхунах сегодня нет. Все рабочие тут.

Моряки не поют. Барабаны бьют, выражая чувства воинов, идущих в битву.

— Спасибо! Спасибо! — кланялись жители деревни.

Зимой входили все в черном и ярко сияли их трубы. Уходят все в белом, это очень трагично, белый цвет опасен, печален, скорбен. Хотя их парусинники не совсем белы, есть оттенок льна, и это еще дает надежду на лучшие предчувствия.

Но так же твердо шагают их шеренги. Их усы не опали, их мужество не иссякло. Они оставляют нас спокойно, уходят все, поэтому не рыдают, кидаясь друг к другу, обнимая и выражая слабость. Сегодня мы видим, что они лишь временно огорчились, но сохранили волю и дух воинов.

— Идут, уже идут! — говорили в толпе.

— Все идут! Никто не остается!

Японцы с детьми стояли вдоль всей дороги к пристани. Много мы с вами поработали и погуляли! До свидания!

— Езжай еще! — крикнул старик Ичиро.

— Давай! Прощай! Хлеб! До свидания! — раздавались крики. — Янка! Санка! Водка! — неслось с обеих сторон. Пошли в ход все слова, какие кому удалось выучить. — Яся! Яська кароси!

Что-то кричали девушки и мальчишки по-японски и по-русски.

Узнавали среди этой стройной одинаковой массы знакомые лица товарищей по работе, с которыми вили канаты, пили сакэ в тот вечер, когда почувствовалось наступление весны и осмолка шхуны закончилась, а полиция была бессильна, когда Япония и Россия были с одинаково перемазанными смолой лицами. Когда все выглядели грязно, но цвела сакура и у всех на душе было чисто.

— Они входили с синими глазами, — укоризненно говорит старуха, проходя перед девушками, — а уходят с мрачными, как перед бурей!

Лицо Алексея спокойно, как и полгода назад, когда он впервые вводил в деревню колонны моряков и, обернувшись на ходу, скомандовал тогда: «Запевай!» И грянула песня.

Сейчас они уходили под грозный рокот барабанов. Палаш Ареса-сан вложен в ножны и не сверкает в руке. Он — ками, но ками уходящий, хотя и молодой, с загадочным будущим.

Когда он проходит близко, то видно, что свет счастья сияет на его окрепшем лице. Он не совершил здесь, конечно, ничего плохого, позорного. Многим женщинам хотелось плакать. Рыцарь из далекой и еще неизвестной страны уходил от них как родной, как муж их сестры. Где и что ждет тебя, Ареса-сан? Что ты уносишь от нас и что оставяешь здесь?

— Прощай! — закричал Таракити.

Молодой Уэда-сан назначен инженером на постройку второй японской военной шхуны западного образца.

— Прощай, Никита! — отозвались из рядов.

Чтобы избежать сцен прощания, Мусин-Пушкин велел сразу с марша из лагеря на борт. И без задержек и сантиментов подымать якоря.

Все уже на берегу. Накамура и провожавшие сошли по трапу. И японцы и русские постарались сократить прощание и не подпускать простонародье к матросам. Цепи полицейских стояли вдоль улицы.

Сибирцев подошел к Оюки. Ота-сан стоял с дочерью. Он высок, с длинным лицом, в халате, похожем на европейский сюртук, с каким-то матерчатым бело-желтым знаком на груди. Оюки протянула Алексею руку и взяла его за другую.

— Прощай! — сказала она по-русски.

Она протянула к нему губы, и они поцеловались при всей тысяче народа. Мгновение держали друг друга за руки, еще не понимая, что они почувствуют потом.

Отец сурово стоял рядом.

«Что их ждет? — подумал Мусин-Пушкин. — Сейчас им кажется, что разыгрывается блестящий спектакль!» Александр Сергеевич, глянув, с сожалением отвернулся. Русский офицер не должен унижать себя! Впрочем, личное дело! Проблема жизни!

Любой самурай мог бы сейчас подойти с обнаженной саблей и разрубить купца Ота-сан как отступника. Но ни один не найдется, не рубит, японские самураи поняли силу денег с помощью наведенных на них пушек Америки и Англии. Все понимают, что нельзя победить Америку саблями. Нужны гении экономики и финансов. Ни у одного патриота сабля не подымается, чтобы наказать финансиста Ота за то, что дочь его при всех пренебрегает законами предков, которыми давно пора пренебречь. Так полагают те, кто надеется на прогресс. А консерваторы молчат и выжидают.

Оюки-сан обнимает красивой рукой Алексея. Ее белые пальцы с овальными ногтями в красном лаке так романтически лежали на его белом погоне, у его розового уха, у волны светлых кудрей, и многие невольно почувствовали, что сделано новое открытие в понятиях о прекрасном.

Ота-сан их гордо оберегает.

Вопреки обычаям его дочь стоит не согнувшись. Она при всех разрушает древнейшую нравственность в деревне Хэда. Поцеловала эбису в губы!

Высокий длинноносый Ота-сан тоже стоял прямо и не боялся ничего, даже законов страны и заветов предков. Он охранял все это время преступное сожительство дочери с иностранцем.

— Ареса... Напиши мне... через Голландию. Я буду ждать... Потом Япония откроется, и можно будет писать... Через Голландию... Я буду ждать!

Ей хотелось бы сказать: «Знаешь... отец нашел мне жениха из новых японцев. Уж скоро свадьба!» Нет, нельзя ранить благородного воина, идущего на коварного и сильного врага. Зачем? Пусть он еще немного будет счастлив! Оюки могла сказать: «Я беременна!» — и тоже не сказала. Зачем тревожить воина перед битвой!

Нельзя из гордости. Она была у гадальщицы. По книгам вышло: Алеша встретит в море врагов и погибнет. Но и это ему не надо знать. К встрече с врагами воин готов. Пусть он будет спокоен. Алеша и не верит в гаданье, говорит, это предрассудок.

Только невесты и жены из погибающего, изолгавшегося и продажного народа забывают своих воинов! Она ничем не омрачит своего про-

щания. Предчувствуя, что в битве с врагами жизнь Алеши закончится, она любой ценой готова сохранить его жизнь в его сыне и будет вечно утешаться этим. Она выкормит его грудью и вырастит воином. Он будет жить снова с ней и около нее. Если ее будущий муж будет благодарен, он все поймет.

Сибирцев пожал руку ее отцу. Он пошел на корабль. На ходу вдруг сказал бонзе Фуджимото по-японски:

— Ну, как фазаны? Жаль, больше не покушаем!

Фуджимото глянул испуганно и сразу улыбнулся и поклонился формально много раз.

Канат с петлей пополз по борту. Борт стал тихо отходить, открывая узкую полоску темной воды.

— Аресей... напиши мне... через Голландию... когда окончится война!..

Голос Оюки дрогнул. Она видела, как отплывало его лицо. Он махнул рукой с отходившего борта.

Закричали лодочники, раздался плеск сотен весел, и «Грета» пошла на буксире.

Вскоре вокруг было широкое море, свежий ветер, первая соль на губах. Выросла и подняла над облаками свои снега Фудзи, как бы посылая прощальный привет мореплавателям с севера.

Алексей увидел, что на палубе стоит на коленях японец Точибан, вышедший из трюма. Теперь он свободен. Сегодня матросы опять пронесли его в ящике на корабль и в трюме выпустили. В глазах японца, всегда спокойных, закрытых «занавеской», сейчас была тревога.

На палубе почти пусто. Все внизу. Точибан смотрел на Фудзи с тоской и ужасом. Казалось, он шел не в отрадное путешествие, а на голгофу. Алексей видел, как он, глубоко погружившись в себя, стал молиться. А ведь сказал Гошкевичу, что решил креститься, что христианство — единственное для него спасение, истинная вера!

Фудзи скрылась. Вокруг жаркий и душный туман и почти невидимый сеющий дождь. Паруса чернели и временами повисали и снова хлопали и заполнялись, и опять «Грета» шла.

Из трюма наши матросы по свистку боцмана повзводно выходили помогать немецкой команде...

Сынок Пьющего Воду вбежал в сакаю и тихо сказал:

— Отец... в горе... там, где жил монах!

Пьющий Воду побежал лесом напрямик через гору.

— Со мной! Будь буси!¹⁷

Мальчик гордо вскинул голову. За отца он готов на все, на гибель! За него, и за мать, и за бабушку! Сражаться бесстрашно! Он — кровь и плоть отца, он — будущий продолжатель рода!

С горы стала видна вся бухта. Деревня Хэда пуста, все на берегу. Моряки уходят навсегда. Их лагерь пуст. Но душа Пьющего Воду холодна, потому что он должен выполнить свой долг.

Вот и аллея, прямая дорога к храму. Здесь княжеские крестьяне отбывают добровольную обязательную обязанность: усыпают свежим песком подход к храму. Тут жил монах. Он скрывался, храм долго был пуст. Теперь для пробуждения в народе патриотизма все старые шинтоистские храмы, говорят, велено привести в порядок. А будто бы буддийские под подозрением как очаги иностранной религии, привезенной из-за моря. Но это никого не беспокоит.

Сынок засвистел соловьем. Значит, преступник на месте.

Редко кому удастся увидеть Земляного Паука. Им пугают детей.

¹⁷ Воин.

Его замечали скользящим между плит во дворе храма. Он скрывался в цветочных грядках. Он быстрый. Он прятался в трюмах сэнкокуфунэ. Уже немолодой. Его появление предвещает несчастье. Да, рыбаки называют его Земляной Паук, Его все боятся. Никто и никогда не говорил с ним. Он всегда смотрит под ноги. Многие не верят, что это человек. На нем Ясины сапоги. Очень знакомые и родные.

Вот он старается оставлять следы поясной.

Деревня пуста.

Вдруг из-за кустов что-то выползает. Ему под ноги. Что-то очень сильно сверкнуло. Паук вздрогнул. О-о! Кривая сталь обхватила его ноги, и что-то ударило в них, как электрический скат в морской воде. Серп срезал их вместе с голенищами матросских сапог одним рывком. Земляной Паук упал навзничь и замахал руками, как птичка крылышками. Он похрипел, но недолго. Может быть, не успел понять, что случилось. Ведь невероятное, небывалое событие, в которое никто не поверит. Ведь никто же не поверит, что произошло невозвратимое.

— Когда-то я показывал эту драгоценность матросу Ясе, — сказал Пьющий Воду сыну, тщательно вытирая свое мятежное сокровище.

Пьющий Воду ушел к морю. Вынырнув в пещере, он затолкал свое оружие поглубже.

А следы сапог морского солдата в самом деле отпечатались очень ярко на песке. Сейчас заморосило, и следы сохранятся до утра. Надеяться, что еще одно преступление матросов станет очевидным, что деревня увидит еще раз их следы и навеки отвернется от эбису. Для этого песчаная почва на косе и на новой дороге к храму удобна. Следы — как неопровержимое доказательство.

Вот уж люди расходятся с берега, идут вверх, в дальние домики. Вот уже слышались крики! Что же там?

Маленькие ноги с обрубленными костями торчат из срезанных сапог! А все верили, что матросы, товарищи Яси-ей-ей-ей, ходили купаться на косу и оправлялись в храме. А сапоги те же, следы те же! Кто, кто наказал Паука? Высшие силы! Это кара от kami! Только они! Нигде никаких следов убийцы!..

Молодой дайкан вошел в канцелярию бакуфу. Он приказал Ябадоо идти в опустевший лагерь, все осмотреть, сосчитать, сколько там осталось бревен и досок и какие брошены вещи в бараках. Все записать. Завтра доложить.

Эгава вошел на половину дома, где жил хозяин. Он заглянул в комнату Сайо. Она тут. Эгава шагнул в дверь. Сайо низко поклонилась. Она знала, кто это.

— Иди сюда!

Сайо подошла.

Дайкан грубо схватил ее обеими руками и кинул плашмя на пол. Она не удивилась. Она стиснула зубы, в ее глазах были насмешка и гордость. Кинув ее на татами, молодой дайкан занес ногу. Сайо в ужасе сжалась. Она поняла, что он хочет ударить ее по животу. Стремится исполнить долг чиновника — убить ее ребенка. Оберегая живот, она подставила под удар лицо. Дайкан подпрыгнул еще раз, но его кто-то крепко схватил за ступню.

Ябадоо улыбался. Он держал ногу Эгавы в почтительном поклоне, смеясь как самому почитаемому другу, только пошутившему с его дочерью. В дверь заглядывали работник И Ваң и плотники.

— Мы вернулись... Найден мертвым тот, кто осквернял храм, — стал докладывать Ябадоо. — Уже вся деревня на горе у храма. Там с отрезанными ногами в русских сапогах лежит мертвый...

— Русский матрос?

— Нет... японец.

Эгава-младший затрясся от страха. Накамура здесь! Он узнает! Что делать? Смерть? Харакири?

— Полицию сюда! Схватить Танаку! Связать, сразу забить ему рот кляпом!

Молодой Эгава кинулся обратно в канцелярию.

— Да, я уже все знаю! — доложил он Уэкаве Деничиро. — Все расследовал. Велел схватить Танаку, связать и посадить в клетку.

Придется отрубить голову! Да поскорей! Чтобы не было разглашения.

Молодому Эгаве необходимо показать, что он прогрессивный человек. А то всегда будут говорить — сын не таков, как его отец. Ведь есть изречение: свет предков сияет в десять раз сильнее. Но он горячий патриот и докажет, что восьмой дайкан из рода Эгава не посрамит своих предков.

Эгава увидел в окно идущего по улице Уэду Таракити. Эгава вышел. Плотник нижайше поклонился ему.

— Хороша ли работа? — спросил Эгава.

Таракити глубоко и почтительно кланялся. Он вежливо поблагодарил.

Эгава очень искренне сказал:

— Построили очень хороший корабль! Не хуже, чем в Ураге. Там тоже строился западный корабль. Ты слышал? Довольно успешно. Теперь уже на воде. Большое достижение. Известно в Хэде? Ведь вы не первые! Слыхали: «Восходящее солнце». Все же сначала мы сами построили!

— Да, да... Очень, очень... Это-о... «Восходящее солнце»!

Глаза дайкана ехидно сощурились.

— А может быть, какое-то другое еще название дано? Вспомни-ка. Как? Да разве вы не повторяли? Другое название! А? А?

Таракити удивлен, никогда не слышал ничего подобного. Наверное, имеются в виду «Пустые хлопоты». Нет, Таракити знает только о достижениях и успехах правительства и всех его чиновников. Неудач у правительства никогда не бывает! Чиновники — руководящая сила! Их любим!

...А на песке близ храма лежал Земляной Паук. Тут же валялись два окровавленных морских сапога.

— Кто срезал? Откуда он шел? — спрашивали подходившие люди.

— Пойдите по следам вверх. В храме шинто, на горе... нагажено... и следы этих сапог по песку, отчетливые следы матросских сапог!

— Да, да, — шамкал какой-то старичок с палкой. — А считалось бы, что это морские солдаты, уходя, еще раз отблагодарили...

Ябадоо посмеивался, глядя на эту сцену. Теперь и самому Танаке отрубят голову. Так многие мецке кончают. Особенно тайные мецке, каким был Паук. Очень уверены в своей безнаказанности. Если не попадают, то получают награды. А перестареют, то всегда вот так получается.

Бонза Фуджимото в жаркий день прибыл на корабле в Эдо и, пешком пройдя город, «снял сандалии» в доме Кавадзи.

Всесильный Саэмэн но джо взглянул вопросительно строгими выпученными глазами.

— Фазаны уже перелетели!

Через день Кавадзи был у канцлера Абэ Исе но ками.

Мудрый тридцатисемилетний канцлер, необычайно разжиревший от неподвижной важности и от слабости сердца, сам полагал, что высших начальников тайной полиции надо сменять как можно чаще, а еще бы

лучше казнить, чтобы они не успевали подготовиться с помощью все тех же поднадзорных князей или князей из властвующего дома شوгунов Токугава государственный переворот.

Повеление Высшего о самовспарывании! Не обжалуется и пересмотру не подлежит! Совершается быстро. Никаких адвокатов не требуется. Бросивший тень на Кавадзи бросает тень на его покровителя. Чтобы втайне осталось дело с засылкой в Россию шпиона-монаха и для отведения подозрений от правительства и от самого Абэ, решено наказать начальника тайной полиции. За недосмотр и пособничество русским шпионам.

В стране было много мецке. Бывало, что знатного вельможу, князя, одаривали этим саном. Тогда считалось, что он сам следит за другими и за собой. Такой князь сам все контролирует. И все же к нему приставлялся опытный шпион-профессионал, который должен следить за тем, кто по своему положению сам мецке и освобожден от всякой поднадзорности.

Считалось, что в государстве для надзора за князьями имеется пять особых Оо-мецке. Они почти равны по значению и по доверию, обязанностям, полномочиям. За тысячи лет выработался опыт. Нельзя ведомство наблюдения поручать кому-то одному. Один, владея всеми тайнами и главенствуя, может усилиться и оказаться опасным. Так существовало как бы пять министров одновременно, они равноправны. Но всегда есть из пятерых кто-нибудь пособообразительней других, такой выдается своей полезной деятельностью.

Таким и был Оо-мецке, имя которого обычно не называлось. Имен у него много, в разные времена у него разные имена. Он еще молод, умен, коренаст, с квадратной головой. Сильный и умный человек, державший в своих руках многие нити тайного наблюдения. Однако сам он себя чувствовал так, словно ему закрыта дорога. Он обречен всю жизнь на одно и то же дело.

По многим причинам Оо-мецке возненавидел Кавадзи. Может быть, потому, что Кавадзи тоже не князь, а карьеру сделал. Кроме того, надо уничтожать всякого, кого есть возможность уничтожить, а для этого надо знать, кто на каком счету. Хотя считается, что всех надо беречь. Саэмон но джо! Какое это громкое имя! Как ведомству известно, прежде он был Найто Тосиакира, сын беднейшего самурая. После смерти отца его кормить нечем было, отдали приемышем в семью Кавадзи. Безродным чиновником-карьеристом теперь возмущены все князья за договоры, которые он от имени правительства заключил с иностранцами.

Оо-мецке догадался, что этим делом стоит заняться. Внимательно обдумывал все дела Кавадзи, изучал его прошлое, его знакомства. Отданы были тайные приказы о тайной травле и преследовании.

Но съест Кавадзи не так просто. Нелегко отравить ему жизнь. Нет людей, которые умели бы противостоять полуоткрытому наблюдению. Чем вельможа важнее, чем строже с другими, тем менее сам он к этому подготовлен, тем более жалок, несчастен и слаб, когда ему показывают, что он на подозрении, за ним приходится присматривать. Потому усиливаются все болезни. Старые люди часто умирают от этого. Старые тигры, могущественные по службе или в своих княжествах! Все летит прахом от движения невидимых волн, от руки Высшего мецке с выбритой квадратной головой и язычком из приклеенных парикмахером волос на темени. Народ, чиновники, самураи всегда в восторге, если о ком-то из всемогущих ползет злобный слух. Подхватывают и распространяют дальше. Народ к ним безжалостен, как и к даймио, он их ненавидит.

Кавадзи стар. Его трудно подточить. Оказалось, что не поддается. Доверие к нему крепко в бакуфу. Это ничего. Силы человека истощимы. Кавадзи гораздо старше, чем Высший мецке.

Поэтому если не удастся оклеветать Кавадзи при жизни, то уж после его смерти он твердо будет известен стране как хитрый предатель, русский шпион. Мертвых можно сделать средством блестящей карьеры. Раскрывать их страшнейшие заговоры! Разоблачать их и преследовать, ужасать тех, кто знал его, и вводить в восторг и шекотливое удовольствие тех, кто о нем лишь слышал как об удачливом карьеристе!

Не с живым, так с мертвым можно рассчитаться. Все внимание ненависти было направлено на Кавадзи. И вдруг — бац! Как грохот страшнейшего взрыва... Следили за Кавадзи, а под носом огромного штата полиции явной и тайной сбежал с иностранцами японец. Прохлопали настоящий шпионаж! Танака казнен! Хорошо. Но еще с американцами убежали несколько японцев. А еще двоих поймали в прошлом году в Симодэ. Но тогда на этом успокоились! Тут уж стало не до Кавадзи.

Доложили, что Кавадзи вернулся в Эдо.

И вдруг Оо-мецке получил письмо из замка Эдо. Приказание, утвержденное наверху. Обязательное сеппуку. За отсутствие должной бдительности.

К вечеру второго дня, исполнив все, что полагается в таком случае по ритуалу, бывший Высший мецке был мертв. Он лежал на боку с распоротым животом.

Начинается рубка тех голов, которые хотели срубить голову Кавадзи! Доберемся и до авторов подметных «дружественных» и «предупреждающих» писем. Кстати, письмо, приложенное к арбузу, цело!

Судьба, лишив Кавадзи новой любви, как бы вернула его к борьбе и битвам по службе.

Князь Абэ, конечно, сам приказывал подглядывать за Кавадзи, теперь можно себе признаться, провокации не происходят без его ведома! Наверное, на всякий случай это делалось. Кавадзи это понял, угадал, заметив, как охотно согласился Абэ наказать Оо-мецке. А если бы Кавадзи не удалось все исполнить? И на этот случай у гениального Абэ наготове оказалось бы другое решение? Чтобы самому остаться непогрешимым... Абэ знает, что Оо-мецке усилился за последние годы, а это опасно для правительства. Равновесие среди пяти одинаковых министров надо восстановить!

Рыбак Сабуро из дома «У Горы» пришел к Ябадоо вместе с Хэйбеем Цуди-сан. После всех обязательных выражений почтительности Хэйбей заявил прямо и бесцеремонно, как поэт в стихах:

— Выдайте за него вашу дочь Сайо...

— А у него деньги есть?.. Где и как ты стал бы жить с нею?

Как Ябадоо переменялся! Полгода назад он приказал бы подвергнуть и Хэйбея и Сабуро избиению за такие разговоры.

Сабуро уже наказан за продажу тайн Японии иностранцам, точнее, за то, что он дал им рыбу, а не сдал на питание чиновников. Сабуро болел больше месяца. Но он не обиделся. Напротив — свататься пришел.

— Деньги у меня есть.

— Где взял?

— Еще продавал рыбу.

«Опять!» — чуть не рассердился Ябадоо, но спросил вежливо:

— Достаточно ли?

— Конечно.

— Кому продавал?

— На корабли. И в лагерь. Но более своим. Мецке.

За это следует повторное, еще более строгое наказание! Но парень-то нужен не на шутку. Ябадоо улыбнулся и ответил, что сейчас еще трудно решить. Но можно. Попозже. Не сразу.

Конечно, больно все это слышать. Но невозможно отказаться!

Жениха для дочери нельзя упускать. Но и внука Ябадоо не хотел никому отдавать. Если родится мальчик, Ябадоо хочет сделать его своим наследником. Будет ему не внуком, а сыном. Поэтому нельзя ничего упустить ни с ним, ни с дочерью! Парень из дома «У Горы» был такой робкий, тощий и голодный, а стал смелее и поздоровел, приятно посмотреть на его лицо, обветренное, свежее. Настоящий рыбак! Для него большая честь жениться на дочери старосты рыбаков!

Хорошо бы, конечно, чтобы Сабуро стал самураем!

Глава 23. Мыс Лазарева

— Господа, идите все наверх! Виден лед в море и снег на горах! — крикнул Можайский с трапа, нагибаясь и заглядывая в дверь кают-компани, где собирались к завтраку.

— Где же мы? — спросил юнкер Корнилов.

— Россия, господа! Курильские острова! — встречая офицеров на палубе, сказал Колокольцов. Сегодня впервые за все плавание Александр надел полушубок.

Из океана поднимались еще далекие горы, перепоясанные полосами синих облаков и белых курившихся туманов. В трубу на тучной сопке виден лес, густой щетиной торчащий из снегов. Впереди в синем море длинная полоса льдов, гонимых из пролива, издали похожих на шугу на большой реке.

— Тут, говорят, множество морских котиков, — обращается к Посьету Колокольцов. — Право! Горячие источники не хуже, чем в Атами. Но холодновато.

Появился Путятин. Все отдали честь. Адмирал поздоровался и прошел в рубку. Поручик Семенов только что взял пеленги.

Из Японии, от входа в залив Эдо, ушли далеко в океан, чтобы избегнуть встречи с врагами, и теперь, поднявшись в северные широты, держали курс к своим берегам.

Вот и холодней стало. Казалось, наступает осень, а не весна. Расцветший летний сад уплыл от нас навсегда вместе с тревогами береговой жизни и трагедиями любви. Где эта страна? Затерялась, как риф в бесконечном океане.

Япония и японские впечатления давно растаяли в туманах раннего тихоокеанского лета, в военных тревогах. На Камчатку пошла английская эскадра из Индии и эскадра из Южно-Китайского моря. Туда же направились линейные корабли и корветы англичан из Южной Америки...

На «Хэде» шесть пушек. И шесть огромных весел. «Хэда» крепка и вооружена, как плавучая крепость. Никакая волна не была ей страшна. Толстые стекла закрывали рулевого. Все поднято с погибшей «Дианы». Только сейчас понимаешь, как много сделано за эти месяцы. Крепкое, остойчивое судно, легко, даже красиво, как гоночная яхта, всходит на океанские волны. Сегодня солнце яркое, чистое небо, но ветер холодный.

Мало построить в Японии шхуну «Хэда». Еще надо ввести ее в безопасную гавань!

...Далеко в море стоит английское судно. «Хэда» в Татарском проливе, но берегов все еще не видно. Может быть, с салинга трехдечного корабля увидели бы, но с нашего марса не видно. Англичане, конечно, просматривают в трубы весь пролив от материка до Сахалина. Не вой-

ти ни одному судну, не выйти. Пока трепали штормы, они пришли сюда и загордели все.

...— Я не могу надеяться на мои знания терминов на американском языке,— говорил Колокольцов.

За время войны, постоянно встречаясь с американцами, моряки Путятин привыкли, так же как и японцы, называть английский язык американским.

— Неужели вы, мой дорогой, не читали «Моби Дик»? В этом романе вся терминология китобоев! — удивился Посьет.

— Мне вести шхуну, Константин Николаевич! А со времен юности автора «Моби Дика» жаргон китобоев мог перемениться. Я всегда вслушивался, как говорят американцы... Но я никогда не готовился...

«Мне платить за перебитые горшки!» — думал адмирал.

— Я же говорил вам все время. Да хотя бы брали словарь английских терминов Бутакова! Там все верно.

— Что вы, Евфимий Васильевич! Когда же у меня было время читать словарь...

— Да, вот так с вами! На травлю ехать — собак кормить. Я встану на вахту...

— Ругайтесь покрепче, Евфимий Васильевич! — посоветовал Можайский.— Уж это верней всего. Иван Терентьевич умеет по-американски лучше всякого каптейна. Только пусть остережется, а то он такую русскую ругань ввернет...

Ночью, благословясь и помолившись, раб божий Евфимий указал курс. Опять туман. На бога надейся, но сам не плошай! Приказано держать прямо на огни парохода.

— Еще лево руля... И больше по-русски ни слова! Сизова сюда! Иван Терентьевич! Можайский! Колокольцов! Всех наших американцев наверх! Остальным убраться... Ол хэндс ап!¹⁸.

Легкий туман. Сырой холод. Все, кто наверху, закутаны в шарфы, в американских шапочках с наушниками и в блю-джакет на меху. Зябнешь. Время от времени раздается сиплый голос шкипера. Где он так научился, где слышал?

Борт парохода весь в огнях. Совсем близок. «Ярко, заманчиво светят огни у наших состоятельных врагов. И на вост и на ост видны огни их судов. Стоят поперек пролива. Ждут наших либо боятся выпустить их. Значит, им еще неизвестно, что у Татарского залива есть проход с глубоким фарватером, ведущим в лиман Амура. На картах всего мира показан перешеек. Вот и пригодилась наша секретность. Леша, друг души моей, сказал бы: «А что-то мне кажется, что их внимание направлено куда-то в другую сторону!» Евфимий Васильевич, как всегда, рассердился бы: «Откуда вы, Сибирцев, знаете, что думает другой человек?»...»

Колокольцов в засаленном блю-джакет и в смоленной парусине стоит на руле. Только послушаешь Евфимия Васильевича... Право, одарен русский человек, пока поблизости нет начальства. Сипло, скороговоркой сыплет Путятин бранью, и матросы понимают, забегали, взялись за веревки. «Не зря, братцы, жили мы с вами на «Поухатане», не зря Ване Черному после бала ссекли ухо долларом, не зря ходили с пиратами по Янцзы, жили с англичанами на Капском мысе, в Гонконге, Шанхае, не зря водились с торгашами с «Кароляйн» и «Молодой Америки»!».

А пароход стал подгребать винтом. Морось.

С парохода кричат. «Что они кричат, чего им надо? Я не сразу пойму, особенно когда волнуясь. Велят не подходить. Подальше, подальше, вонючая лоханка! Найди себе другой консорт...»

¹⁸ Всех наверх!

А вот наконец королевский язык из колледжа. Голос в рупор. Офицер спрашивает, воспитанный человек:

— Не видели русского фрегата «Аврора»?

— Ноу! — небрежно, словно ни до каких фрегатов дела ему нет, отзывается Иван Черный. Чем не боцман котиколова? «Игоян компания!» — говорят гонконгские китайцы.

На вопрос: «Куда идешь?» — Ваня отвечает: «С мели на мель!»

В такую зябь и натошак чужая палуба парохода в огнях кажется с низкой «Хэды», сидящей вровень волнам, чуть ли не раем небесным. Дай бог подальше и поскорей! Рай не свой! Пошли под кормой, и тогда с парохода крикнули что-то вроде:

— Нэйм зе шиип? Уот ис зе весслс нэйм? ¹⁹

— «Пегги Доти!» — хрипит Евфимий Васильевич. — Фриско-поо... Силэ боо... ²⁰

— Каптейн?

— Ваад!..

— Йес! — заключает голос наверху.

Англичане, как всегда, все знают — такое судно и такого капитана. Американские бродяги и на этом берегу все названия, конечно, переводят по-своему.

— Гоу бай! Лайтли... ²¹

Путятин что-то кричит. Набрался храбрости и сам задает вопросы. Отвечают. Кто-то из матросов добавляет от себя насмешку. Над шкипером лоханки можно потешаться. С парохода властный, но вежливый голос желает счастливого плавания и предупреждает, что слева по ходу большая мель, держите право руля. Путятин благодарит, голос его рвется, словно воздух в кузнице сквозь мехи, забитые копотью.

Ветер. Черт поberi! Заело. Матрос Авдюха Тряпичкин избегает на мачту. За ним Сизов. Черный кидается на помощь.

Треск, удар в борт! Еще одно землетрясение? Подъем дна?!

Тьма, ветер, морось, туман, волны — и все покрыла страшная ругань боцмана. Удар бортом о борт! Экое лукавство! Без огней стоит еще одно английское военное судно!

— Уот ис зе мэттер? ²² Откуда ты взялся?

Путятин отвечает:

— Силэ боо ²³... А кто ты такой?

Ответили, что можете не объясняться.

— Цела ли у тебя обшивка?.. Сейчас дадим огни.

«У них же особые фонари для ночного осмотра обшивки судна при возможном повреждении!» — подумал Александр.

— «Пегги Доти»? — прочел английский офицер на борту «Хэды».

— Американская красotka! Ах ты... — заржали матросы. — Какая вонючая! Ты не лопнула от такого поцелуя?

К обшивке шхуны «Пегги Доти» на веревках спустились фонари. Их провели вдоль всего судна от кормы до носа.

— Все в порядке! — крикнул англичанин.

Пока пароход, подгребая винтом, расхаживает между мелей с огнями, корабль безмолвно стоит во тьме!

— У тебя не разошлись швы после свидания? — К адмиралу обратился кто-то, конечно ниже чином: — Слышишь, старая обезьяна? Не лезь на мель... Кой черт тебя понес?.. Гляди, вот в лучах света выбегают белые волны. Туда не ходи. Иди к пароходу. Фарватер там. А тут мель.

¹⁹ Как называется корабль?

²⁰ Котиколов из Сан-Франциско...

²¹ Проходи! Живей...

²² В чем дело?

²³ Котиколов...

На носу зажгли сильный огонь перед отражательным зеркалом, и виден перебой волн на мели.

На корвете довольно много голов собралось над бортом.

— Смотри, у них весла!

Путятин поблагодарил. Можайский встал в рост, перекинул через борт на судно несколько свежих кетин.

— Отваливай поживей, старый мальчик, от тебя смердит! — сказали Путятину. — Не видели «Авроры»? Если узнаете про «Аврору» — будет вознаграждение!..

— «Аврору» все ищут, — говорил шепотом адмирал на рассвете, сидя с офицерами за пустым горячим чаем.

— Да вы что, Евфимий Васильевич, боитесь? Вы же на русском судне. Теперь навсегда перестанете по-русски говорить? — спросил штурман Семенов.

— Да, пуганая ворона... — согласился Евфимий Васильевич.

Он был кроток и покорен.

— А вы знаете, кто с нами говорил в рупор? — спросил он. — Это Чарльз Эллиот был... Я его узнал. Это он. Видный мужчина.

Где и когда он знал Эллиота? Чего только не хранится в памяти старого моряка! Или мерещится ему. Адмиралу ведь не скажешь «ври!» или «травишь!».

— Хорошо, что вы, Константин Николаевич, просидели внизу. Для сброда с котиколова не подходите, — заявил Можайский.

Посыет ответил, что скучал, когда опросы затянулись, решил — будь что будет, и уснул, как Гончаров в подобных случаях.

Путятин не сводил глаз с Колокольцова.

Александрю казалось, что адмирал желал сказать ему: «Я прошу вас больше в жизни с японками не возиться. Вы видите, как подготовлен должен быть морской офицер ко всяким неожиданностям! А в миг испытания ведь вы молчали... Надо было неустанно заниматься и готовиться, хотя бы по словарю Бутакова!» Впрочем, может быть, у адмирала на уме и нет ничего подобного!

...Весь день ярко сияло солнце. Из-за горизонта выступили горы с обоих бортов сразу. Они стали сближаться.

— Ну вот и не попались! — радовался Сизов, снова заступая на вахту. Он еще хотел сказать, что прошли благополучно, но не осмелился из суеверия: мало ли что еще может случиться.

— Убрать шкуры котиков? — спросил Тряпичкин у боцмана.

— В море их выбросить, такая пропастина! Смердит за милю! — говорит Аввакумов.

— В трюм! — возразил Черный.

— Сильный запах от них. «Хэда» такая чистая, а провоняла, — ворчал Глухарев.

— Не бухти, не бухти, — вмешался Колокольцов...

Ночью меж облаков засветила луна, и мыс Лазарева со скалами на горе в виде перегородивших море гигантских башен проступил на фоне светлого ночного неба. Высокий, почти мальчишеский голос, родной и беззлобный, окликнул с берега:

— Кто идет?

Колокольцов ответил в рупор:

— Шхуна «Хэда»! Адмирал Путятин прибыл из Японии!



ТАТЬЯНА АНДРОНОВА



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нас встречали знакомые ели,
полукружие лип у дверей.
Так же листья кругом шелестели,
иглы падали с темных ветвей.

В августовском томленьи застыли
гроздья яблок в заросшем саду.
И березы такие же были
и тропинка, которой иду.

И подсолнухи, зерна роняя,
белым глазом на землю глядят.
Добрый вечер, скамья голубая,
одичалый, густой виноград!

Добрый вечер, седые осинки,
лилий чопорных ржавый оскал,
старых пней потемневшие спинки!
Добрый вечер, наш милый привал!

Нет счастливее этой минуты —
возвращенья в отеческий край
из боев ли, из собственной смуты.
Добрый вечер, гостей принимай,

долгожданных гостей, запоздалых,
сладким чаем, покоем и сном...
И в глазах моих жестких, усталых
мир родной отразится теплом.

* * *

Вспомни родимую крышу,
милых людей голоса...
Ты так решительно вышел
в желтые, с ветром леса.

И приняла тебя смело
в умерших листьях тропа,
лишь отчужденно темнела
мокрых деревьев толпа:

Но оглянись на мгновенье,
ведь впереди поворот.
Я и в слезах и в смятенье
встала у синих ворот,

но в приоткрытые двери
не позвала тебя в дом.
Как торопливы потери,
как их жалею потом!

* * *

Мать, новошуйбинская крестьянка,
славилась красою и терпеньем.
Из Семипалатинска баранки
в праздник были лучшим угощеньем.

В немощи теперешней старуха
вспоминает цвет весны и тризны.
Все прошло — и войны и разруха,
не прошло одно: желанье жизни.

И со страхом объясняя судьбы
в тяжелой доле живших или убитых,
говорит: «Сколь мало было сытых...»
А теперь хоть десять лет вернуть бы...»

* * *

Вспаханное поле за окном
все в тумане сна и ожиданий.
Трепетно и на сердце моем —
время перемен, пора свиданий.

Как вокруг упавшая листва
обещает жизнь вперед, за днями,
так надежда светится едва,
чуть приметно дальними огнями.

Сладок ее бережный покой!
Я ловлю приметы дорогие:
Будапешт — за дымною рекой,
здесь в лицо глядит уже Россия.

И ее равнинная земля
открывает вдруг свои объятья.
Никогда осенние поля
не дают мне нежности и счастья.

Но сейчас промокшие кусты,
стылые, предутренние дали,
выдвигая ширь из темноты,
будто бы привет свой прошептали.

А вдали над крышею избы,
может, первый снег давно мелькает.
Тихий огонек моей судьбы
только там горит, не затухает.

* * *

И стук колес, как сердца стук,
на миг короткий не смолкает,
и поле зимнее вокруг
веселым серебром сверкает.

Слепит глаза, стучит в стекло
луч света будто зов к виденью,
и будто снегом замело
не поезд, а мое селенье:

и вдруг мерещится вдали
знакомый бор, и сосен тени
среди сугробов пролегли,
а я в санях — к родным ступеням.

И дым навстречу из трубы,
и двор с телегой посередке,
бегу в переднюю избы —
отец сидит в косоворотке.

Он молод, пуговицы в ряд,
блестят наивно, как снежинки,
мне наливает старший брат
парное молоко из кринки.

И пахнет белая струя
чуть слышно мятою и тмином.
И сплю как будто тоже я
под ярким стеганым сатином.

На ноги шерстяной платок
наброшен: «Так-то, бог с тобою...»
И материнский говорок
как дуновенье надо мною.

И небыль видится во сне:
зимой ручей звенит в овраге,
мерцает галечник на дне,
как веер, брызги у коряги.

На круче солнечной цветы.
И голос птицы вольный, дикий.
Через ручей, через кусты —
там в согре топкой ежевика.

Но гром ударил над листвою,
и туча темными кругами.
Скорей размокшею тропой!
Вон палисадник с тополями,

как очи детские, следы
у деревянного колодца,
большими каплями воды
в них дождик синий долго льется.

И лампа низенькая мне
горит уютным, мирным светом,
лук золотится на стене,
сплетенный в гроздьа прошлым летом.

Но слышу шепот: «Не буди...» —
И шелест праздничной одежды.
И жизнь, вся жизнь — впереди,
любви преддверье и надежды!

И прежний ласковый покой
мне душу счастьем наполняет.
А поезд за Иртыш-рекой
все к дому, к дому приближает,

оставив юность за окном,
на берегах лесных и плоских.
Мой неизменный, взрослый дом
в Москве, на людном перекрестке.

* * *

Со всеми бедами,
со всею болью
иду к тебе, любимое раздолье,
к тебе, земля,
что родиной пришлась,
где первый дом
и длинный путь по дням,
мои дороги по твоим полям,
моя звезда над крышей поднялась!

Твои надежды
смотрят мне в глаза,
когда меня как уголь жжет слеза.

И вот опять к тебе
с больной душою,
лишь с тенью слабой
жизни за спиною
я добрела
по травяным следам.
Едва дыша,
с протянутой рукой,
к ветвям зеленым — бледною щекой,
ладонями — к изогнутым стволам.

И ты, не помня
ни обид, ни зла,
свой добрый нрав для счастья отдала.

* * *

О земля, ты сосной и березой
пахнешь в эти апрельские дни!
Но туманы — вчерашние слезы
(будто тихие думы они,
стариковские, мутные грезы) —
наплывают в овраги, как сны.

И недоброю тайной ночью
все тропинки у леса полны;
травы залиты стылой водою,
под луной, на раздолье видны.

А рассветом своим, облаками,
первым теплым лучом на полях,
непрожитыми летними днями
ты зовешь меня к жизни, земля.
Манишь-кличешь большими годами.



М. БАСМАНОВ



ЗАКАТ

Не бывает без дыма огня —
Так пословица говорит.
Но как раз напротив меня
Лес бездымным огнем горит.

Не горит — полыхает он.
Нет, не он, а что-то еще...
Там, на западе, небосклон
Жарким заревом освещен.

Неподвижны деревья в снегу.
Изумленные галки на них.
Да и сам я застыл на бегу,
Палки лыжные уронив.



Горизонт пунктирной строчкой
Обозначили журавли.
Осень скорую напророчив,
Протрубили и скрылись вдали.

Окунулись как будто в небыль,
Тишину расплескав за собой.
Лишь звенит высокое небо,
Будто колокол голубой.



Сажая все деревья
И не могу понять:
Инстинкт ли то издревле —
Потери восполнять,
Иль тайное желанье
Оставить в жизни след,
Когда ты сам на грани
Седых холодных лет?..
К чему об этом мысли! —
Деревья пусть растут,
В срок распускают листья,
В урочный час цветут!




ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ

★

РИСУЙТЕ, ДЕТИ, НА АСФАЛЬТЕ!

Отрывок из «Сегодняшней поэмы».

Без ухищрения, без фальши,
за совесть,
вовсе не за страх
рисуют дети на асфальте
в больших и малых городах.
Рисуют мотыльков и заек,
дома, заводы, теплоход...
Из этих маленьких мозаик
планета Детства предстает.
Занятия важнее нету!
Вот кто-то папу удивил —
и канареечного цвета
заулыбался крокодил...
И, отцепившись вдруг от фалды,
без мамы сделав первый шаг,
малыш рисует на асфальте.
А что?
Нам не понять никак...
Такое вольное смешенье
сюжетов, красок, форм и тем.
Рисуют дети без смущенья,
и каждый то, что захотел.
Ландшафт Луны.
Хребет Памира.
Ракета.
Просто — колесо...
А вот и новый голубь мира.
Так здравствуй, юный Пикассо!
Сияет солнышко на смальте,
полет — движение руки...
Рисуют дети на асфальте.
Крошатся хрупкие мелки.
Вокруг пылает разноцветье —
зеленый,
красный,
голубой...
Ревет двадцатое столетье
сверхзвуковым над головой...
Кружит над площадью Вивальди.
Пребудет в мире мир, пока
рисуют дети на асфальте...
Пусть праздник тянется века.
Рисуйте, дети, на асфальте!



НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ



МЕТАФОРЫ КАМАЗа

Затмит ли память нервная усталость,
я все равно запомню на века,
как, вызревая, Время развивалось
блистательной метафорой цветка.
Гадай ли до метафоре, но помни:
железная пчела качает мед.
Давно обрел пространственные формы
двухмерный набчелнинский сверхзавод.
Не различая верха или низа,
я и в разрезе верил чертежу,
но по железным коридорам РИЗа
как по глубинам образа брожу.
Давно ль не придавал я смысла звеньям
метафоры, разъятой на куски;
но вот — конвейер оживил движеньем
всех плоскостей стальные лепестки...
Как внутрь предмета в зависти извечной
я прохожу уверенно туда,
где мнет, и гнет, и давит цех кузнечный,
где возникает таинство труда.
Кузнечный жар вздымает столбик ртути.
Метафора цветка глядит в траву.
Но для того, чтобы не видеть сути,
я слишком жив, покуда я живу.
Ведь равно среди травы и жаркой стали,
с пространством и звездой накоротке —
и Время, воплощенное в металле,
и Время, воплощенное в цветке!



О Ч И Р К И И А Ш И Х Д Н И Е Й

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ



МОРСКИЕ ВОРОТА БАМа

Случилось так, что событие, которого в этой далекой бухте ожидали все, совпало с новогодними праздниками. Строители досрочно сдали в эксплуатацию самый мощный в нашей стране угольный перегрузочный комплекс. К огромному глубоководному пирсу, который на пятьсот шестьдесят метров врезался в водную гладь, подошло океанское судно. На пульте управления оператор нажал несколько кнопок — и уголь лавиной хлынул в трюмы теплохода.

На торжественном митинге выступил первый секретарь Приморского крайкома партии Виктор Павлович Ломакин. Он особенно отметил, что строительная площадка здесь стала своеобразным полигоном передового опыта.

Под гром аплодисментов строители вручили символический ключ от готовых сооружений начальнику нового порта Виктору Андреевичу Васяновичу, и тот, принимая подарок, дал обещание: портовики с честью продолжат эстафету, начатую ударными бригадами строителей.

Весело и шумно было в те новогодние дни в бухте Врангеля. Но особую радость, особую гордость за достигнутые успехи вызвало у жителей молодого порта поздравление, поступившее из Москвы. Его читали вслух на собраниях в трудовых коллективах, в семьях за праздничным столом. 8 января этого года газеты опубликовали поздравление под крупным заголовком «С трудовой победой».

«Строителям, монтажникам, проектировщикам, эксплуатационникам, партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, всем участникам строительства первой очереди Восточного Порта.

Дорогие товарищи!

С большим удовлетворением воспринято в Центральном Комитете КПСС сообщение о вводе в действие уникального автоматизированного угольного перегрузочного комплекса мощностью 5 миллионов тонн в год и завершении тем самым сооружения первой очереди крупнейшего в стране глубоководного механизированного Восточного Порта. Сердечно поздравляю вас с этой замечательной трудовой победой.

Ввод в действие первой очереди Восточного Порта значительно улучшает транспортные связи северо-восточных районов, создает благоприятные условия для дальнейшего развития внешнеэкономических связей страны...»

Подписал поздравление Леонид Ильич Брежнев.

Это душевное послание словно бы подвело первые итоги большой работы, которая развернулась в суровом краю. У создателей нового порта были все основания радоваться. Ведь к этим счастливым дням шли они нелегкой дорогой, преодолев множество трудностей.

Нет надобности перечислять крупнейшие стройки, развернувшиеся теперь на огромных просторах за Уральским хребтом, за Енисеем. Речь идет лишь об одной из них, причем самой-самой далекой. На берегу Тихого океана, где тайга спускается к воде, где бьются о крутые утесы волны, где странствовал когда-то неутомимый пу-

тешественник Владимир Клавдиевич Арсеньев с верным проводником Дерсу Узала, где героически сражались красные партизаны, воспетые Александром Фадеевым, — на этом берегу создается теперь глубоководный порт необычайных размеров. Там, в пустынной ранее бухте Врангеля, высадился весной 1971 года первый десант молодых строителей, громкие голоса и стук топоров встревожили семью тигров, обосновавшуюся в сопках.

17 апреля состоялся на берегу митинг, медленно пополз по свежоеструганному флагштоку красный флаг Всесоюзной ударной комсомольской стройки.

Узнав об этих событиях из газет, я обрадовался и разволновался. Еще бы — места знакомые, дорогие по воспоминаниям юности. Было время — служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне с Японией. Сколько раз в непогоду, в туманные, промозглые ночи наш сторожевой корабль «Вьюга» нес дозор возле мыса Поворотного, неподалеку от бухты Врангеля. А в самой бухте мы отдыхали, высаживаясь со шлюпок, ловили крабов, трепангов, собирали грибы. И там теперь такие свершения!

В общем, первый раз оказался я на этой стройке в самое тяжелое время, когда все только начиналось. Много было там хороших дел, трудового героизма, но хватало и неурядиц и острых проблем. В «Правде» появилась тогда большая статья о гаванях Дальнего Востока. А в июне 1974 года журнал «Новый мир» опубликовал мой очерк «Порт в бухте Врангеля», который затем вышел отдельной книжечкой.

В связи с выступлениями печати бюро Приморского краевого комитета КПСС обсудило положение, сложившееся в далекой бухте. Были намечены меры для устранения недостатков, и меры эти, надо отметить, оказались весьма своевременными и довольно действенными.

Вроде бы не так уж много лет минуло с тех пор, но сколько событий!

В семьдесят третьем году бухта Врангеля приняла лишь одно судно: отправили лес в Японию. А в семьдесят восьмом портовики обработали там около 500 судов.

Очень хотелось самому увидеть, понять, почувствовать, как изменилась жизнь в знакомой бухте. И вот снова отправился туда в те дни, когда завершалось строительство первой очереди порта! Что там сделано? Где? Как?

С Юрием Ивановичем Островским мы знакомы давно. Настолько давно, что даже не смогли припомнить, когда нас представили друг другу. Одно не вызывает сомнений — в ту пору он был еще без усов. Однако эта точка отсчета оказалась не очень надежной: свои черные короткие усы он принимался отращивать несколько раз. Во всяком случае, я знал его еще начальником порта в только что родившейся и быстро строившейся Находке — начальником того самого порта, который стремительно выдвинулся по грузообороту на одно из первых мест в стране. Вот он, Юрий Иванович того времени: худощавый, высокий, полный веселой энергии, быстро шагает по крутому откосу, морской ветер треплет полы его расстегнутого черного пиджака. Внизу десятки судов возле причалов и на рейде, разноцветье иностранных флагов. Порт велик, но Юрий Иванович отрывисто говорит на ходу:

— Тесно. Очередь. Задохнемся через несколько лет.

— А что делать?

— Строить поря. Вон там, — показывает рукой в сторону бухты Врангеля. — Только не все еще осознали. Будем добиваться, доказывать.

И дальневосточники просили, доказывали, добивались...

Помню Островского уже во Владивостоке заместителем начальника пароходства. В кабинете — капитаны судов, старшие помощники, портовики. Звучат соленые шутки. И тут же решаются самые серьезные вопросы. Коротко. Без нотаций и наставлений. И вот уже кто-то встает, надевает большую капитанскую фуражку:

— Все ясно, будет сделано.

А в ответ на прощанье традиционное:

— Счастливого плавания!

Теперь Юрий Иванович сам возглавляет Дальневосточное пароходство. А это тысячи людей и сотни судов на всех морях-океанах. Это десяток портов по всему Дальнему Востоку и в восточной Арктике с громадным грузооборотом, со сложными

условиями эксплуатации. Это несколько международных линий, на которых работают наши суда. И наконец — лавина больших и малых дел, заниматься которыми надо без всякой задержки, немедленно. Что у него сегодня с утра? В Певеке позарез нужен груз, но успеет ли судно проскочить туда, пока не сдвинется наглухо полярные льды? Отправлять или не отправлять?.. На одном из сухогрузов заболел капитан, сняли перед самым рейсом, надо сейчас же назначить другого. Но кого? Ведь сухогруз уходит за границу на несколько месяцев.

Думает над этим Островский, а глаза невольно обращаются к карте тихоокеанского бассейна, где отмечено местонахождение судов пароходства. Вон там, на юге, небольшой островок. Мимо него следует наше судно с грузом для Вьетнама. А за судном не отставая движется военный корабль государства, известного своим стремлением к провокациям. Чего ждать от этого корабля? Как там наши моряки?

Должность начальника пароходства сама по себе нелегкая, а для Юрия Ивановича новая работа осложнилась двумя обстоятельствами. Он тут свой: как окончил четверть века назад Институт инженеров морского транспорта, как приехал на Тихий океан, так и трудится в одной организации. Со многими коллегами работал вровень, у некоторых был в подчинении, со всеми давно на ты — и вот теперь адмирал, можно сказать, руководить надо, не ломая прежних товарищеских отношений, но и не делая уступок, поблажек.

Это одно. А второе — очень авторитетным начальником был предшественник Островского Валентин Петрович Бянкин, пользовавшийся у моряков заслуженным уважением. Мало того что дело знал досконально, еще и всю душу вкладывал в работу, не считался со временем, не щадил своего здоровья и от других требовал полной отдачи. Решительно требовал. Было с ним трудновато, но люди видели: не ради себя — ради общих интересов старается человек. А каков новый?

У Островского совсем другая натура. Он не из тех, кто сосредоточенно несет свою ношу, стараясь не показывать, как ему тяжело, и при этом давит на окружающих не столько справедливой требовательностью, сколько постоянной озабоченностью. У Юрия Ивановича этого нет. Деловитость, быстрота решений — и неистощимый юмор в любой ситуации. Он нескольких минут прожить не может без шутки, без острого словца, которое иной раз действует сильнее и вернее, чем нудная полчасовая беседа.

Один из его принципов: ни в коем случае не подменять людей и не мешать им работать, проявляя самостоятельность. Вот дословно записанный разговор. Островский — работнику пароходства: «Общая точка зрения тебе известна, а решай сам. Исходи из конкретных условий». «Но, Юрий Иванович!..» «Да, знаю, что трудно. А ты ищи, ломай голову, думай... Творчески думай. Как ты решишь, так и будет. Любое твоё решение поддержи».

Надо крепко верить в людей, чтобы выдавать подобные «авансы». Но зато как воспитывает человека такой подход, как обостряет инициативу, чувство ответственности. Это, вероятно, сказывается на всей деятельности пароходства. В том числе и в бухте Врангеля.

Все-таки очень далеко она расположена, эта бухта. Из Владивостока до Находки поезд идет целую ночь — успеваешь выспаться. Если автобусом — часов шесть по живописной горной дороге. «Крета» летит на своих подводных крыльях всего два часа. «Литературную газету» прочитаешь от последней до первой страницы — и выходи. Но такая роскошь только при хорошей погоде.

От Находки до бухты Врангеля тоже теперь можно добираться различными способами вплоть до маршрутного микроавтобуса, но я по старой привычке отправился на катере. Тем более что и катер сейчас ходит комфортабельный, с удобными салонами, с многообещающим названием «Шторм».

Горячие лучи утреннего солнца быстро растопили туман, сквозь белесую истаяющую дымку все отчетливее проступали характерные очертания трехглавой сопки, замыкающей глубоководную бухту, почти на четыре километра врезавшуюся в лесистый берег. Это когда смотришь с воды. А с высоты птичьего полета весь залив напоминает рукавицу, причем бухта Врангеля похожа на оттопыренный большой палец.

От временного причала тот пассажир устремился мимо каменных глыб к но-

вой широкой бетонке, на остановку автобуса. В поселок торопились люди, на угольный комплекс. А я решил: туда еще успею. Угольный район — это ведь только часть первой очереди порта. Есть и другие достопримечательности. Свернул влево, где над штабелями бревен, под блестящими — из светлого металла — стенами огромных щеголеватых складов высилось ни с чем не сравнимое сооружение. В общем-то я знал, что это такое: щеповой комплекс, творение единственное в своем роде. Но одно дело знать, а другое — увидеть своими глазами ажурные опоры, ровные ряды труб-пневмотранспортеров, сложные; вознесшиеся ввысь металлические конструкции.

На большом бетонированном пространстве ни одного человека. Лишь нарядно одетый мальчик лет шести носился по ровному простору на взрослом велосипеде. Приглушенно гудели мощные моторы. Сильно, как в лесу, пахло смолой, хвоей. Высились огромные конусы, напоминающие конфигурацией угольные терриконы, только не мрачные, а, наоборот, приятные глазу: желтоватые и почти желтые. Это и есть технологическая щёпа.

Сколько гибло, да и сейчас гибнет на лесосеках, в лесопунктах, на деревообделочных предприятиях нестандартной, некондиционной древесины! Кривые стволы, верхушки, сучья, обрезки, старые доски и даже целиком деревья «малоценных» пород. Пропадает добро, гниет, горит в кострах. А ведь все это важнейшее сырье, все можно пустить в дело. Количество такого сырья по Сибири, по Дальнему Востоку просто не поддается учету. А сколько его будет в недалеком будущем, когда, к примеру, начнутся лесозаготовки в зоне Байкало-Амурской магистрали! Пора уже позаботиться об отходах, как это начали делать в Приморье. Их дробят в щепу — все, кроме гнилья. Получаются пластинки размером со спичечный коробок. С разных мест щепу доставляют в бухту Врангеля, на механизированный комплекс, который производит все операции по обработке, сортировке и погрузке этого ценного сырья.

К причалу подходят большие океанские суда. Специальное приспособление нависает над трюмами. Могучие воздушные насосы с силой тайфуна гонят технологическую щепу по трубам. Причем «с силой тайфуна» не преувеличение. На комплексе самая мощная в мире воздуходувная станция. Щёпа летит вместе с воздухом по трубам, диаметр которых 600 миллиметров. Считанные часы — и погрузка судна закончена. Далеко, на заводах Японии, отходы дереводобывающей и деревообрабатывающей промышленности превратятся в целлюлозу, бумагу, ткани, строительный материал, в другую разнообразную продукцию. Валютой оборачиваются отходы при разном хозяйствовании.

В этот раз над причалом возвышался аспидно-черный борт теплохода «Григорий Алексеев», который приспособлен для перевозки щепы и совершает челночные рейсы по линии бухта Врангеля — Япония — бухта Врангеля. А у меня в руках была свежая газета «Дальневосточный моряк», в ней рассказывалось об успехах экипажа этого теплохода. Слушая, как гудит в трубах ураган, перегоняющий технологическую щепу в трюмы «Григория Алексеева», я искал в корреспонденции цифры, говорившие о достижениях экипажа. Так: теплоход из месяца в месяц, из квартала в квартал приносит прибыль, которая под силу лишь пяти (пяти!), вместе взятым, судам-лесовозам. За четыре года эксплуатации он в 2,5 раза окупил свою стоимость. Это тоже своеобразный рекорд.

Вот ведь какая выгода и в перевозках и в сбережении деловой древесины: не поленюсь повторить, что технологическую щепу делают из отходов, считавшихся прежде бесполезными.

Какую-то особую приподнятость ощущал я на берегу бухты в тот по-летнему светлый и жаркий день. Радость встречи со знакомыми местами, удивление, вызванное большими изменениями, — это понятно. Однако было еще что-то, создававшее особое настроение. Может, это зависело от того, что все вокруг дышало свежестью и новизной? Хотя бы краски. Их, наверно, подбирали специально, обдуманно, со вкусом, в контраст. Светло-зеленые, скорее даже нежно-салатные стойки — и голубые пневмотранспортеры на них. Оранжевые краны на фоне больших ярко-синих дверей пакгаузов. Медовая желтизна щепы и ультрамарин бухты — природа тоже внесла свою лепту в это праздничное многоцветье. Особенно расщедрилась она для тайги. Склоны сопок пылали красным, розовым и даже лимонным пламенем. И над всем

этим ярким миром — чистейшее небо с единственным белым облаком, неподвижно прилепившимся к голубой эмали тоже небось для контраста.

Большее разнообразие красок трудно было представить себе. Куда уж больше-то, куда еще ярче? И все-таки было! Причем совсем близко, в этом я убедился, пройдя несколько сотен метров. За аккуратной проволочной оградой открылось бетонированное пространство, значительно превосходящее территорию щепового комплекса. Вроде бы несколько слитых воедино футбольных полей. Никаких построек, лишь козловые краны да пара громадных перегружателей — портайнеров — у края причала. И на всем просторе — многие сотни гигантских «кубиков» каждый величиной этак с летний домик кооперативного сада.

К упомянутым краскам прибавьте еще эти «кубики» самых разнообразных цветов, причем перемешанные вроде бы без всякого порядка, а точнее — в романтическом беспорядке. Каждая торговая фирма, каждая зарубежная компания старалась, чтобы ее «кубики» выделялись среди других, были заметнее, привлекали внимание. И конкуренция сказывается и простой здравый смысл: обнаружить легче. Каких только ухищрений, каких только оттенков здесь не было! Нежно-лиловые и резко-багровые, сиреневые и серебристые, спокойно-стальные и рыжие, почти черные и под цвет хаки.

Завершало всю эту картину большое, подчеркнуто аккуратное судно с надстройками идеальной белизны, с бортами, которые не боцман, а художник, наверное, разделявал. Просто слов нет, чтобы выразить колер. Вроде шаровая краска, как на военных кораблях, только более глухая, серая, и в то же время отливающая под солнцем голубишной и даже легкой зеленоватостью. А загружено судно разноцветными яркими «кубиками». Но самое, пожалуй, главное: труженик-теплоход носит имя замечательного нашего поэта, человека красивой души и щедрого сердца. «Александр Твардовский» — начертано у него на борту.

Прямо как в сказке, честное слово! Хотя, ежели смотреть с чисто практической точки зрения, многое покажется более простым, прозаичным. Ничего особенного: специализированное судно грузилось возле площадки, которая именуется контейнерным терминалом. Словосочетание — язык слэмаешь. Когда шла ожесточенная межведомственная борьба за эти самые терминалы, когда энтузиасты не жалели сил и здоровья, доказывая выгоду и удобство контейнерных перевозок, о названии особо не думали. Вот и прижилось это словосочетание, вошло в официальный и разговорный язык.

Доставка грузов на большие расстояния в специальных металлических ящиках — способ удобный, надежный, быстрый. Двадцатифутовые и сорокафутовые контейнеры международного стандарта не требуют складов для хранения, надежно укрывают свое содержимое от непогоды. Перегружать их легко, места они занимают немного. Где-нибудь в Соединенных Штатах или в Японии уложат в эти ящики детали машин или зонтики, игрушки или мотки мохера — и пошел путешествовать контейнер по указанному адресу. С океанского теплохода попадет он на железнодорожную платформу, прогремят колеса по всей Сибири, по всей Европе. Получат груз во Франции или в Бельгии. Или в наших западных городах. От склада до склада. Или, еще точнее, от двери до двери. Рационально, не правда ли?

Одним из первых и одним из главных приверженцев нового метода оказался бывший начальник Дальневосточного морского пароходства Валентин Петрович Бякин. Выступал, доказывал в разных инстанциях. Против самой идеи мало кто возражал, кому охота прослыть рутинером? Но и раскачивались не быстро. А для того чтобы превратить задумку в действительность, требовались новые специализированные суда — контейнеровозы, особые железнодорожные платформы, требовались деньги для строительства терминалов. Нужны были устойчивые деловые связи с заинтересованными организациями, с иностранными компаниями. Вместе с Валентином Петровичем сражался за контейнеризацию секретарь парткома Павел Константинович Черныш, ныне сам возглавляющий соседнее Приморское пароходство. Немало сил вложили в это дело председатель профсоюза дальневосточных моряков Владимир Михайлович Ефимов и, конечно, Юрий Иванович Островский.

Не год, не два потребовалось, чтобы контейнеризация получила заслуженное

признание. И вот результаты: контейнерный терминал в Находке и новый, большой терминал в бухте Врангеля. Но это лишь начало. В новом порту планируется 9 таких площадок каждая размером до двадцати гектаров.

В беседе с Юрием Ивановичем Островским я поинтересовался:

— Проблема контейнеризации теперь решена?

— Наизнанку вывернулась. Все партнеры, и наши и зарубежные, убедились, что в контейнерах возить выгоднее. Теперь требуют от нас: давай, мол, давай.

Индустриальные и культурные преобразования в Магаданской области, на Камчатке и Чукотке, на всей огромной территории от Японского моря до Таймыра начинаются с причалов Приморья. Эта старая, с довоенным стажем, формулировка не утратила значения и в наши дни. Наоборот. Количество грузов, идущих из Находки и Владивостока, увеличивается с каждым годом. И по внутренним линиям и по внешним. Доке-ры работают с полным напряжением, но увы — возможности любого порта не безграничны. А если говорить точнее, оба названных порта расширяться практически больше не могут. Некуда.

Подъездные железнодорожные пути во Владивостоке заполнены вагонами, которые превращаются в своего рода склады на колесах — порт не успевает перерабатывать грузы. Осенью 1978 года ежедневно простаивало до 800 вагонов. Находка в этом отношении не лучше. Десятки судов постоянно «дремлют» на рейде, ожидая места у причала.

Это сейчас. А ведь близится время, когда хлынет к Тихому океану невиданный поток грузов из районов, пробужденных к жизни Байкало-Амурской магистралью, и поток этот будет настолько мощным, что затопит все существующие причальные линии. Вернее, затопит бы, если бы одновременно с прокладкой магистрали не начали строить новый порт, к которому приковано внимание многих моряков и у нас и за рубежом. И не простой порт, а такой, что о нем не упоминают без слова «самый». Он самый глубоководный в нашей стране, способный принимать суда больших размеров, самый механизированный и в будущем, вероятно, крупнейший по грузообороту.

В печати у нас не часто увидишь похвалу в адрес планирующих органов, гораздо чаще их критикуют: там не учли, там не предусмотрели, там не увязали. А ведь дело-то трудное, требуется заглянуть вперед, увидеть то, что временем сокрыто, принять порою рискованное решение, и надо отдать должное плановикам: возведение нового порта в бухте Врангеля было предусмотрено весьма своевременно.

Нет нужды говорить о том, какую огромную роль сыграет Байкало-Амурская магистраль в освоении нетронутых еще богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока. Транссибирская железнодорожная магистраль, проложенная восемь десятилетий назад, до сих пор оказывает значительное влияние на экономку, на размещение населения, вообще на всю жизнь тех мест, где она пролегла. А каково же будет значение БАМа, призванного сыграть не только экономическую, но и социально-политическую роль! Он даст возможность сформировать несколько новых крупнейших промышленных районов. И все они так или иначе будут связаны с портом в бухте Врангеля.

Вот только один из этих районов, Южная Якутия, в глубину которой устремилась ныне железнодорожная магистраль. Этот регион давно известен своим золотом, слюдой. Обнаружен там каменный уголь. А километрах в ста к северу от угольных залежей тянется целый каскад крупных месторождений Алданского железорудного района. Недавно геологи обнаружили богатые залежи железной руды прямо на трассе Байкало-Амурской магистрали. Вполне возможно, что в Восточной Сибири будет создана новая база черной металлургии.

И это не все. Давно, сразу после войны, геолог Елизавета Бурова обнаружила на Удоканском хребте месторождение меди. Причем количество меди в пробах было на редкость высоким. От 4 до 27 процентов. Но лежало это месторождение так далеко от обжитых мест, в такой недоступной горной глуши, что сообщение об открытии не вызвало особого энтузиазма. Взять оттуда медь казалось настолько же трудно, как с Луны или Марса. Теперь через Удокан пройдет северная часть Бай-

кало-Амурской магистрали. В тех местах выявлено ныне даже не месторождение, а целая меднорудная провинция.

А геологи между тем радуют новыми открытиями. Дальше к северу обнаружены промышленные притоки нефти, найден газ. Очерчиваются границы Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции. Вероятно, быть в Южной Якутии и коксохимии и нефтяной промышленности.

Лишь в общих чертах сказано здесь об одном из новых производственных районов. А сколько их вырастет на всей магистрали от Байкала до Тихого океана, какое количество грузов выложат они на причалы нового порта?

В связи с Южной Якутией хочется назвать две даты, два события, они упоминались в печати, но особого внимания не привлекли — много важных и интересных дел вершится постоянно в нашей стране.

2 ноября 1976 года за несколько тысяч километров от бухты Врангеля строители центрального участка БАМа, которые вели трассу от Тынды на Беркамит, уложили первые рельсы на якутской территории. Как раз там, где Якутскую АССР и Амурскую область разделяет Становой хребет. Из путеукладчика, находившегося на амурской земле, выдвинулось двадцатиметровое звено железнодорожной колеи, покрытое золотой краской. Ровнехонько легло оно на заранее подготовленное полотно... Теперь там, на разьезде Якутский, открыт монумент в знак дружбы народов и для увековечивания трудового подвига. А с «золотого звена» пошла дорога к мощным залежам каменного угля, пласты которого протянулись на сотни километров вдоль северного склона Станового хребта. Причем уголь коксующийся, хорошо качества. По прогнозам — запасы до 40 миллиардов тонн.

Освоение новой угольной кладовой началось с Нерюнгринского месторождения. Вот еще одна памятная дата: 26 октября 1978 года первый эшелон угля ушел от туда по новой магистрали на предприятия Амурской области. Пока и путь недлинный, и уголь, взятый с поверхности, далеко не лучший. Однако начало положено. Теперь вполне вероятно, что Южная Якутия в ближайшем будущем станет основным поставщиком угля для зарубежных стран Тихоокеанского бассейна. А пойдет уголь через бухту Врангеля, где для его перевалки создается специальный район, включающий в себя глубоководный пирс и целый ряд крупных сооружений. Этот комплекс, как мы знаем, уже сейчас способен перерабатывать 5 миллионов тонн угля в год. Следующая очередь рассчитана еще на 10 миллионов тонн. Для сравнения приведу такую цифру: за весь 1978 год все угольные причалы Дальневосточного пароходства смогли переработать лишь 2 миллиона тонн угля. Ошутимая разница!

Выгоден угольный комплекс еще и тем, что суда будут простаивать под погрузкой минимальное количество времени. Спросите опытного моряка, какой срок требуется, чтобы загрузить углем океанское судно средних размеров. Ответит — суток пять, если не больше. А на угольном комплексе судно сможет принять в свои трюмы несколько тысяч тонн в час. Не среднее, а огромное океанское судно водоизмещением до 100 тысяч тонн будет обрабатываться за сутки. Приходи, загружайся, отчаливай. Одна проблема: когда морякам отдыхать между рейсами?

Со временем только угольный комплекс бухты Врангеля будет перерабатывать такой объем груза, какой перерабатывает сейчас крупный порт. Стоимость нового угольного района, пожалуй, не меньше, чем стоимость всей теперешней портовой Находки.

Кроме прямых выгод, угольный комплекс принесет еще выгоду, так сказать, косвенную. Например: все угольные операции сконцентрируются в одном хорошо оборудованном пункте, появится возможность использовать для челночных перевозок специализированные суда. А причалы, освободившиеся в других портах, будут целенаправленно переоборудованы для других работ. Ну хотя бы для того, чтобы круглый год принимать такой деликатный груз, как свежие фрукты из Вьетнама.

Хоть и располагал я всеми этими выкладками, представление об угольном комплексе и глубоководном пирсе было у меня, признаюсь, довольно смутное. Бывал я там в самом начале работ. Запомнился только скрежет землечерпалок, углублявших дно, да каменный хаос на берегу. Развороченная, искореженная площадка — и только.

Совсем иная картина открылась теперь с палубы катера. И самое первое, самое

общее впечатление — грандиозность творимого. Еще не все строения завершены, еще лишь кусками готова бетонка, еще озаряется огнями сварки помещение вагонопротидывателей, но уже не остается никаких сомнений — техническое чудо свершилось.

Один из героев Бориса Горбатова, комсомолец 20-х годов, мечтал, помнится, о том времени, когда даже шахты будут белыми, блистать чистотой. Ему не верили, с ним не соглашались. Да и как поверишь, если с каменным углем испокон веков ассоциируется грязь, чернота, изнуряющий труд. А здесь — сбывшаяся мечта. Не знаю, как будут выглядеть сооружения комплекса после длительной работы, но пока вид у них превосходный. Пересыпные станции, судопогрузочные машины — все радует глаз стройностью форм, яркостью красок.

Мне как бывшему моряку особенно интересно было увидеть глубоководный пирс. Его тогда еще полностью не завершили, продолжали создавать — слово «строить» как-то слабовато звучит по отношению к этому исполинскому сооружению. На готовой уже части причала по краям его поднялись над бетоном гигантские, никогда и нигде не виданные кнехты для швартовки судов. И каких! — здесь будут останавливаться великаны водоизмещением до 130 тысяч тонн. Опять же для сравнения скажу, что современные морские пассажирские суда, которые мы часто именуем белоснежными лайнерами, рассчитаны человек на 300, в лучшем случае на 500, и имеют водоизмещение до 4—5 тысяч тонн.

130 тысяч тонн или 5 тысяч? Каково?

У этих океанских великанов и осадка соответствующая. Поэтому и глубина у причала должна быть немалая, чтобы судно не царапало килем дно. Чем дальше уходил пирс в бухту, тем трудней становилось работать строителям. На месте каждой будущей опоры вбивали в дно 8 металлических свай. Вокруг них возводили шпунтовый редут диаметром двадцать метров. Получался этакий цилиндр. С помощью копров нижняя часть металлического цилиндра вдавливалась в морское дно, в плотный грунт. Внутренность заполняли песком. Ближе к поверхности от опорного цилиндра отсвечивалась металлическая арматура для мощного железобетонного оголовка причала. Всего таких опор 26. Этим атлантам предстоит держать над морской пучиной угольный пирс с различными сооружениями. Именно здесь, над этими опорами, закончит свой путь по суше поток угля из Южной Якутии, с других месторождений. Отсюда только одна дорога — океанская, голубая. Поэтому уже сейчас величают новый порт морскими воротами БАМа. И красиво это и правильно. А мне на угольном комплексе бухты Врангеля припомнились слова Александра Фадеева: «Вы представляете себе, что такое дальневосточный край в перспективе развития страны через десяток лет? Там сейчас растут новые города, например, Комсомольск-на-Амуре. Я уверен, что в месте выхода Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на Тихий океан тоже будет огромный мировой порт». Знаете, когда это было написано? Еще в 30-х годах. Предсказание точное, как в воду глядел Фадеев. Только в сроках ошибся: слишком много было причин, отодвинувших начало строительства.

И вот — свершилось.

Кстати, морские ворота БАМа имеют теперь официально утвержденное название: Восточный Порт. По аналогии с Советской Гаванью оба слова пишутся с большой буквы. Но к этому еще не привыкли. Пишут «порт Восточный» или «Восточный порт». А пора бы уже перейти к единообразию.

Что прежде-то здесь было, какова история этих мест?

Много лет существовала на Дальнем Востоке красивая легенда, передавалась из уст в уста, упоминалась в книгах. Я тоже рассказал в прошлой публикации, как застигнутый штормом русский пароходно-корвет «Америка» повернул к неизвестному берегу, как гряда сопок словно бы разомкнулась перед ним, открыв просторный залив, а в том заливе глубинную спокойную бухту. «Это же находка для нас!» — воскликнул один из офицеров. Так и появилось на географической карте новое название — Находка. Потом «окрестили» и соседнюю бухту.

Это, разумеется, лишь суть легенды, без интересных романтических подробнос-

тей. А совсем недавно выяснилось, что и суть ошибочна. Наука теперь набрала такую силу, что против нее никаким легендам не устоять. Действительный член Географического общества СССР товарищ Масленников разыскал в Центральном архиве ВМФ вахтенный журнал пароходо-корвета «Америка», а затем опубликовал статью, в которой поставил все на свое место. Оказывается, 15 июня 1859 года пароходо-корвет «Америка» вышел из японского порта Хакодате, направляясь к берегам Приморья. На судне находился генерал-губернатор Муравьев-Амурский, намеревавшийся осмотреть побережье. Через двое суток вечером моряки увидели сопки. Погода держалась обычная для этого времени: туман, дождь. Обогнув мыс, названный позже мысом Поворотным, корабль оказался в большом заливе. Здесь возле горы Восточной (теперь сопка Сестра) на глубине восемь сажен отдали якорь. Подпоручик Астафьев записал в вахтенном журнале: «Ветер свежий, облачно, густая пасмурность с дождем...».

Так что никакого шторма не было. Просто увидела берег, бросила якорь.

На рассвете 18 июня вахту принял подпоручик корпуса флотских штурманов Красильников. Он, в свою очередь, отметил в вахтенном журнале: «В шесть часов снялись с якоря и пошли к осмотру берега... Заметив к юго-западу углубление, открыли бухту, имеющую положение от северо-востока к юго-западу около 3 миль. Глубина везде ровная, от 4 до 5 сажен. По приказанию его сиятельства (Муравьева-Амурского. — В. У.) эта бухта названа Находкой»...

Что значит обыкновенная случайность: если бы пароходо-корвет повернул тогда не на юго-запад, а на восток, он открыл бы другую бухту в том же заливе. Ту самую, где строится теперь новый порт.

Впрочем, и в это дело внесена полная ясность. На борту пароходо-корвета находился подполковник корпуса морских штурманов Василий Матвеевич Бабкин. Он в следующем году подробно исследовал побережье и в своем отчете написал, что во вновь открытом заливе, кроме бухты Находка, «найден превосходный рейд Врангеля, который назван мною в честь Бернгарда Васильевича, бывшего моего уважаемого начальника».

Такова истина. Жалко, разумеется, расстаться с привычной легендой, но ведь главное не в этом: новые факты отнюдь не умаляют достижений российских мореплавателей, которые первыми открыли и освоили далекие восточные земли. Слава им за это, нашим предкам, нашим предшественникам!

К вечеру потянул с сопки ветер, сразу напомнивший об осенней поре.

Возвращаясь к пассажирскому причалу, я замедлил шаги возле неброского кирпичного здания в два этажа, затерявшегося среди мощных портовых сооружений, высоких кранов, штабелей леса. Неужели это блок подсобных помещений, которым так гордились ребята из лучшей комсомольско-молодежной бригады?! Мгновенно возник в памяти этот же берег без всяких построек, без четкой линии причалов: огромный строительный полигон с каменными глыбами, горами песка, ползающими бульдозерами. Магазинчик стоял деревянный. На склоне сопки столовая, общежитие. И все. А на берегу только вот этот дом, казавшийся тогда большим, солидным. В пустом еще дверном проеме — бригадир Володя Карпинин, по пояс голый, бронзовый от загара, со счастливой улыбкой. Рядом с ним увалень — сибиряк Саша Копылов, комсорг бригады, известный не только трудовыми успехами, но и богатырской силой и еще единственной на всю стройку шляпой с огромными полями.

Капитальными парнями, капитальными строителями величали тогда ребят из бригады Карпинина. Они из тех немногих, кто перенес все трудности первых месяцев, первых лет в бухте Врангеля, и не покинул ее. И холод и голод перенесла дружная бригада, сложившаяся из демобилизованных пограничников и моряков. Зеленые фуражки и флотские бескозырки висели у них над койками в общежитии.

Поблизости, в той же Находке, умелые руки тоже требовались позарез. И работок приличный и условия городские. Но ребята, приехавшие строить порт по комсомольским путевкам, не поддались соблазнам. А ведь в штормовую погоду, отрезанные от внешнего мира, по несколько суток сидели без хлеба, без курева.

Нет, не сидели — работали.

Этой безотказной бригаде долгое время не везло с объектами: бросали в прорыв — «доводить до ума» то, что было начато другим. В основном доставались крыши. Пожалуй, все крыши были тогда тут карпининские. На механических мастерских, на складе, на столовой. Помнится, ребята даже ворчали: не кровельщики мы, дескать. Бригада комплексная, широкого профиля, а на одних крышах можно дисквалифицироваться.

Хотелось «капитальным парням» возвести свое здание полностью — от фундамента до навески дверей. Чтобы память осталась. Заслужили они такое право, вот и доверили им построить блок подсобных помещений — это самое здание, которое выглядело тогда столь внушительно, а теперь почти затерялось среди портовых великанов. Сколько радости-то было у ребят!..

Я спросил пожилого мужчину, по виду сторожа или кладовщика:

— Не знаете, кто строил этот дом?

— Нет, — ответил он, показав редкие, взброд зубы. — Оно давно стоит.

— Сколько же лет?

— Да я уж тут года четыре, а оно еще раньше. Вот старá моя верняком скажет, она тут спервоначалу, все помнит.

— Фамилия-то какая?

— Иванова, отделчица.

— Бригадир штукатуров?

— Была бригадиром, теперь на пенсии, — махнул рукой мужчина.

Иванову я видел несколько раз, знал, что хорошо работала. Этим и исчерпывалось знакомство. А вот судьба Володи Карпинина интересовала и продолжает интересоваться меня. Одаренный парень, прирожденный строитель с явными организаторскими способностями, он был, как говорится, на виду. Заботливые руководители предложили ему учиться. Володя не очень-то рвался, хотел поработать еще, но главный инженер (теперь начальник) плавстройотряда Владимир Иванович Крайнев убедил его. Стройка только разворачивается, сооружения будут сложные. Если уж на простом объекте, на блоке подсобных помещений, у Карпинина возникали трудности, то что же будет дальше?..

В общем, отправили Володю в Хабаровск на факультет промышленного и гражданского строительства, определив ему соответствующую стипендию. Естественно, связь с бухтой Врангеля он не теряет. Приезжал сюда сам, потом со студенческим строительным отрядом. Думаю, что после учебы возвратится он в плавстройотряд квалифицированным специалистом. Уж кто-кто, а Карпинин сумеет рассказать жителям нового поселка, как прокладывали тут первые дороги, как возводили первые здания, как начинался Восточный Порт, известность которого быстро растет.

— Какая проблема в новом порту сейчас самая острая? — спросил я Юрия Ивановича Островского.

Он ответил без малейшей задержки:

— Все та же — кадры. Люди и жилье, жилье и люди. Так и тянется с первых дней.

Да, ошибка была допущена в самом начале, а последствия ее сказываются до сих пор. Моральный и материальный ущерб, который она причинила, подсчитать нелегко. Но если бы кто-то взялся за это, результат оказался бы ошеломляющим. В него вошла бы стоимость жилых зданий, которые строились медленно, с низким качеством и влетели в копеечку, вошла бы задержка с пуском щепового комплекса, вошли бы утраченные надежды, разочарование людей и многое, многое другое.

Давно всем известно: не экономь в мелочах, если рискуешь потерять в большом. Давно все знают: прежде чем начинать строительство, создай нормальные условия для жизни рабочих, подготовь производственную базу. Тогда дело само пойдет. Ну ладно, этим правилом можно в какой-то мере поступиться, если стройка начинается в обжитых местах, где есть возможность как-нибудь расселить людей. А в бухте Врангеля ничего не было.

Элементарная логика подсказывала: в первую очередь следует возвести хотя бы несколько домов, проложить дорогу до Находки. Но ни того, ни другого сразу не

сделали. Два министерства спорили, кому брать на себя такие заботы-хлопоты. Не вмешайся самым решительным образом партийные органы, спор этот тянулся бы, наверное, до сих пор, люди так и ютились бы где придется. Спорят же вот уже четыре года различные ведомства, кому строить город Тынду, перекаладывают эту обязанность с одних плеч на другие, а тем временем на месте предполагаемой столицы БАМа выросли самостийные, внеплановые поселки, кособочатся хибары, сколоченные на скорую руку. Первый секретарь Тындинского городского комитета партии товарищ Есаулков даже по всесоюзному телевидению выступал в этом году, призвал в программе «Время» Министерство путей сообщения и Министерство лесной промышленности: разберитесь же наконец, перейдите от слов к делу... Да ведь действительно пора: 70 процентов территории будущего города застроено временками. А из опыта известно, что временки живучи. Значит, не пошли впрок некоторым руководителям уроки прошлого, в том числе и свежий печальный урок Восточного Порта.

Добровольцев, желавших приехать в бухту Врангеля, было в свое время хоть отбавляй. Весьма условно, разумеется, но весь поток приезжавших сюда можно разделить на три волны. Первая — энтузиасты, высадившиеся на пустой берег, оттеснившие со стройплощадки тайгу. Они выдержали недолго, самые упорные проработали зиму. Сейчас на стройке их практически не осталось. Вторая волна была помощней и понадежней, состояла она главным образом из демобилизованных воинов, ребят, кое-что повидавших. И еще девушки были в бригадах отделочниц. И небольшое число квалифицированных специалистов — костяк плавстройотрядов.

Размещалась молодежь в нескольких бараках и на старом пароходе «Приморье», который превратили в общежитие. В каюте четверо: получалось полтора квадратных метра на человека. Однако не жаловались люди, работали, строили дома для себя, надеясь на лучшее будущее. Только надежды многих — увы! — не сбылись. Характерна в этом отношении судьба одного из главных персонажей моего прошлого очерка, молодой женщины Кати (фамилию она просила не называть). Всем она взяла: и симпатичная, и умная, и трудолюбивая. Не сложилась у нее личная жизнь в большом городе, приехала в бухту Врангеля, к новым людям, на новое место. Она техник-станкостроитель, но по специальности работы не оказалось. Пошла подсобницей в бригаду отделочников. Через несколько месяцев освоила все приемы так, что опытные штукатуры и маляры за ней едва поспевали. Года не прошло — Катю выдвинули бригадиром, вчерашние наставницы охотно подчинялись ей. Оценили ее умение трудиться, тактичность, заботу о людях.

А потом она стала мастером на строительстве большого жилого дома. И сама Катя и многие ее подруги, которым осточертела теснота старого парохода, очень надеялись получить квартиру или комнату в новой пятиэтажке. Или хотя бы освободившееся место в береговом общежитии. А тут как раз вступил в строй первый причал. Было торжественное открытие. Люди чувствовали себя именинниками. Радовались, гордились, что преодолели все трудности, сумели в срок сделать главное. Однако вскоре настроение многих строителей было испорчено неожиданной новостью. Впрочем, не такая уж она неожиданная. Случилось то, что рано или поздно должно было произойти: сказалась позиция, занимаемая по отношению к новому порту Министерством Морского флота (заказчик заботился о своих нуждах, о «своих» людях) и Министерством транспортного строительства, которое заботилось, вероятно, только о выполнении плана, но отнюдь не о закреплении и сохранении кадров.

И вот готов причал. В бухту приехали специалисты-портовики, которые должны эксплуатировать возведенные сооружения. Жить и работать приехали. Их надо обеспечить нормальными бытовыми условиями на длительное время. Но где взять жилую площадь? Выход один — поселить портовиков в только что возведенном многоквартирном доме. И поселили — не оставлять же приезжих на улице. Тем более портовики — это постоянные кадры, а строители — временные.

На что дальше могла надеяться Катя, ее друзья и подруги? На следующий дом? Но где гарантия, что и следующее здание не займут портовики? Ведь количество причалов росло, увеличивался персонал.

В бухте Врангеля и без того велика была текучесть среди строителей. Поработает человек полгода или год, освоит специальность, перестанет ошибаться, давать

брак — ему бы только трудиться с полной отдачей, а он уезжает. Терпение иссякает. И знает, конечно, что везде есть дело для умелых рук. А место уехавшего занимал зеленый новичок, от которого не жди ни количества, ни качества. Прямо заколдованный круг получается. Одна надежда на «капитальных» рабочих. Но после того как не оправдались их надежды на новый дом, не выдержали самые терпеливые. Заявления об уходе подали квалифицированные специалисты, бригадиры. И многие покинули новый порт. Остались лишь те, кто получил комнаты или квартиры. Это в наше время закономерно: хочешь иметь хорошие кадры — создай соответствующие условия. К сожалению, простилась с бухтой Врангеля и Катя. Второй раз круто переменялась ее жизнь. По слухам, работает она теперь на одной из новостроек Сибири.

Сейчас проходит испытание еще одна, самая, пожалуй, большая и разнообразная волна строителей порта. Отсев пока тоже велик, хотя положение с жильем заметно улучшилось. Около 4 тысяч строителей имеют ныне надежную крышу над головой. Но этого мало. Вдвое бы увеличить эту цифру. А пока вместо постоянных квалифицированных рабочих приходится зачастую использовать случайных людей без специальности.

В феврале 1977 года «Комсомольская правда» опубликовала статью члена ЦК КПСС, первого секретаря Приморского краевого комитета КПСС Виктора Павловича Ломакина «На Дальний Восток» с подзаголовком «Размышления у карты ударных комсомольскихстроек Приморья». Надо сказать, что Виктор Павлович живет и работает в тех местах давно, хорошо знает заботы и тревоги строителей. Поэтому размышления его особенно интересны.

Дальний Восток был и остается краем суровым, с присущими ему трудностями. Тем не менее, считает Ломакин, следует строго разграничивать трудности, возникающие из-за природных условий, и те, причина которых — неумение организовать дело. Сегодня приходится говорить о строительстве как об участке хозяйствования, на котором еще далеко не все вопросы управления, организации труда, бытового устройства молодежи четко отлажены. Порой жизненный путь молодого строителя начинается неровно... Неуютно, лишенное удобств общежитие, ничем не оправданное простои людей и техники — ничто так не способствует выветриванию запаса энтузиазма и воодушевления, с которыми комсомольцы ехали на стройку.

Почему же это происходит? Ведь государство не жалеет денег для заботы о людях, для создания им нормальных условий. Вот что пишет по этому поводу Виктор Павлович:

«К сожалению, отдельные министерства и ведомства, осваивающие природные ресурсы Приморья, так спешат скорее получить продукцию, что выделяют средства только на производственное строительство, упуская из виду социально-культурные и бытовые объекты... Крупнейшим в стране должен стать Восточный Порт, заложенный на голом месте в 1969 году... Сегодня действуют лесной, контейнерный, щеповой причалы, оснащенные самой современной высокопроизводительной техникой. И в то же время сдается лишь первый дом в постоянном поселке портовиков и строителей. Не удивительно, что нехватка жилья, столовых, магазинов, школ, клубов затрудняет комплектование кадров сначала для стройки, а потом и для действующего предприятия. Затягиваются сроки строительства, затем освоение производственных мощностей и как следствие — невыполнение государственных планов.

Социальная направленность развития нашей экономики в десятой пятилетке, намеченная XXV съездом КПСС, объявляет «вне жизни» узковедомственную ограниченность в планировании и организации капитального строительства».

Сказанное в этой статье имеет прямое отношение не только к бухте Врангеля, но и к положению, сложившемуся в Тынде, на некоторых других стройках. Если ошибка повторяется, нужно говорить и писать о ней снова и снова. До тех пор, пока ни одно ведомство, ни один руководитель не станут, не осмелятся допускать ее.

Среди тех, кто особенно заинтересован в создании постоянного поселка, а затем и города в Восточном Порту, я назвал бы прежде всего Василия Ивановича Бобракова. И заинтересован не только по должности (он начальник ОКСа — отдела капи-

тального строительства), но и чисто по-человечески. Новый порт стал для него главной заботой, итоговым делом всей долгой, трудной и интересной жизни.

Вырос Василий Иванович в Сибири, в одном из тех районов, которые принято было называть глухими углами. В начале 30-х годов окончил в Барнауле школу ФЗУ, получил специальность дорожника-строителя. На работе заметен был: добросовестный, старательный паренек. Присмотрелись к нему заботливые люди, отправили учиться за счет предприятия в Томский автодорожный техникум. Оттуда опять вернулся в родные места, его назначили техноруком райдоротдела. А потом, как у многих его сверстников, началась долгая армейская служба. Предвоенная и военная. Попал на Восток. Привычными и дорогими сделались самые отдаленные края нашей земли. Аж до Мукдена и еще дальше прошел он в победном памятном августе.

Демобилизованный инженер-подполковник Бобраков приехал домой только в 1947 году. И сразу включился в работу. Сначала райком партии направил его главным инженером в промкомбинат, но проработал он там недолго — выдвинули председателем райисполкома.

Все бы хорошо, да отвык, видно, Василий Иванович от налаженной жизни. Звали к себе дальние берега, где требовались люди крепкой закалки. И силенку в себе чувствовал и дело знал.

Вместе со всей семьей раз и навсегда перебрался он на Дальний Восток. Строил большой поселок Тихоокеанский, трудился в молодой Находке. Однако полное удовлетворение получил лишь в Восточном Порту, который начал с самого первого колышка.

В обширной бухте Врангеля было лишь несколько старых избушек. Тайга, скалы, вода незамутненная. Курорт! А в одной избушке две женщины, одной лет пятьдесят, другой под тридцать: мать и дочь. И почти десяток ребятишек.

Когда Яценко, тогда еще предполагавшийся директор будущей стройки, и Бобраков сказали, что скоро здесь железная дорога пройдет, вырастут большие дома с отоплением и даже с ванной в каждой квартире, женщины их на смех подняли. Нисколько не поверили. А теперь живут как заправские горожане — со всеми удобствами. В одном из первых домов им, аборигенам, дали квартиры.

Яценко, проработав в бухте Врангеля несколько лет, уехал во Владивосток. Он сейчас заместитель начальника Дальневосточного пароходства по строительству и развитию портов, объектов у него много, но главная забота по-прежнему о Восточном, он бывает здесь при первой возможности, раза два в месяц. Но приезжать — это одно, а постоянно трудиться — другое. Вот и получается, что Василий Иванович Бобраков держит теперь пальму первенства: он работает в бухте Врангеля дольше всех. Частица его души вложена во все сооружения, во все причалы и комплексы нового порта. Но есть у него и такие заслуги, которые нигде не отмечаются, хотя отнимают больше нервов и сил, чем обычные обязанности.

С первого дня и до сих пор борется Бобраков (и с начальством и с подрядчиками) против всяческих времянок. Категорически борется. Соблазн велик: сляпал на скорую руку дощатый барак, склад или подсобку — вот и выход из положения. А потом видно будет. Но Василий Иванович этих времянок на своем веку насмотрелся, хватит! Пришла пора строить только всерьез, прочно — на долгие годы.

Это одна заслуга Бобракова. Есть и другая, более существенная. Дело вот какое: работа в бухте началась, а проекта постоянного поселка, который должен развиваться в красивый город, город будущего, пока не было. Но строить-то надо, жить-то надо? Деньги отпущены, материалы тоже. Поэтому строители заложили для себя первые дома там, где им было удобно. На втором участке, откуда до всех объектов примерно одинаковое расстояние. Выросла одна пятиэтажка, потом вторая, третья, четвертая. А дальше пошло — как снежный ком, и виновных в таком случае не найдешь. Обстоятельства виноваты? Или проектировщики? Или те лица, которые заказывали проект? Попробуй-ка разобраться.

В самочинном поселке, естественно, появилась котельная. Детский комбинат. Магазины, отделение связи. Ребятишек учить надо, время не ждет — отгрохали школу. Затем Дом культуры и даже баню. В ванне-то не попаришься с венником. Месяц за месяцем, потихоньку-полегоньку, в совершенно случайном месте вырос маленький, но вполне современный и даже уютный городок.

Между тем для постоянного строительства несколько лет назад отвели очень удобное место на берегу бухты. И проектная документация готова и деньги отпущены. Но скажите, где легче строить: в новом районе, где нет ни подъездных путей, ни коммуникаций, ни электрической линии, ни котельной, или на освоенном участке, где только расширять да расширять вполне сложившееся поселение? И быстрее, и затрат меньше, и работа видна: раз-два — и рапортовать можно.

Такой точки зрения придерживался, например, заместитель министра Морского флота, приехавший в порт вместе с Яценко, чтобы решить наболевшие вопросы.

— Почему бы действительно не расширить имеющийся поселок? — сказал он.

— А будущий город? — насторожился Бобраков.

— Станет легче с жильем, тогда и начнем строить по проекту.

— Во-первых, вопрос с жильем долго еще будет острым, а во-вторых, начинать-то все равно будет нужно. Чем скорее, тем лучше. Иначе город вырастет там, где его не должно быть. Мы покатаемся по пути наименьшего сопротивления. Будущие жители конца этого и начала следующего тысячелетия не вспомнят нас добрым словом. Вас за сиюминутничество и торопливость, а меня за мягкотелость, за то, что не был настойчив, не добивался...

— Ну, в отсутствии настойчивости вас не обвинишь, — холодно произнес заместитель министра. — Этого у вас, пожалуй, больше чем требуется. Но веских аргументов настойчивостью не заменишь.

Яценко, сидевший напротив Бобракова, глазами ему сигналил: помягче, дескать, поосторожней, у высокого гостя нрав известно какой. Но Василий Иванович только рукой махнул и опять свое:

— Конечно, можете приказать, распорядиться. Вам-то что, вы во Врангеле жить не будете. А каково тем, кто навсегда здесь? Зачем их хорошего места лишать?

Яценко аж за голову схватился: ну, конец начальнику ОКСа! Такой знающий, такой надежный был человек... Сейчас рубанет заместитель министра!

Но тот не рубанул. Подумал, сказал вроде бы примирительно:

— Построим же город. Не сейчас, позже.

— Если не сейчас, то никогда, — заверил Василий Иванович. — Примеров достаточно, были уже подобные случаи. Про поселок Тихоокеанский знаете?

— Слышал. Это не по нашему ведомству, — ответил заместитель министра. — Проезжал там, вид вполне современный.

— Только место голое, ветреное да пыль столбом. Красивой бухтой с верхних этажей любят люди, а искупаться, позагорать, порыбачить захотел — часа полтора или два ножками топай. Или в машину садись. А ведь какой проект был, разве что малость похуже нашего!

— Все-таки похуже? — усмехнулся гость.

— Наш новей, все достижения учитывает, в рельеф хорошо вписан. Но и там неплохой проект был, — повторил Бобраков. — И вот приехали первые строители. Зимой, в стужу. Остановились у перекрестка дорог, где несколько построек имелось. Бывшие конюшни наскоро переоборудовали под временные бараки, печки поставили. И здесь же заложили первый пятиэтажный дом, чтобы было где жить для начала. Ну а если дом — значит, и котельная. А где котельная, там еще здание за зданием... В общем, все шло, как у нас. И стоит теперь Тихоокеанский там, где никто его не планировал. Люди живут, привыкли. Только могли бы гораздо лучше жить. А ведь мы в третьем тысячелетии смотрим...

— Ладно, — кивнул заместитель министра, — убедили! Особенно третьим тысячелетием...

Теперь уже нет сомнений — новый город вырастет там, где ему намечено быть: на берегу бухты, в окружении леса. Он уже строится: проложены коммуникации, возведены первые дома. Назад, как говорится, ходу нет. И в этом, может быть, самая главная заслуга Василия Ивановича Бобракова.

Внешне он всегда сдержан, спокоен. Голубые, выцветшие, много повидавшие глаза. Голубой берет. Неторопливые движения, ровный голос. Его никак не назовешь резким, колючим. Но за этим спокойствием, за сдержанностью угадывается твердый характер, способность иметь свое мнение и безбоязненно отстаивать его. Такие вот

обкатанные, закаленные кремни — фундамент любой новостройки, любого трудного начинания.

До сих пор речь шла о Бобракове-старшем, но не менее известен в новом порту и его сын Сергей Васильевич, чей портрет красуется на Доске почета, причем на самом видном месте, среди лучших производственников и рационализаторов. Несмотря на разницу лет, у отца и сына много общего. Бобраков-младший прошел (на новом, конечно, уровне) точно такие жизненные спирали, какие выпали когда-то на долю Бобракова-старшего.

Сергей изъездил с отцом весь Дальний Восток. Куда переводили работать Василия Ивановича, туда отправлялась и семья. Достаточно сказать, что в первый класс Сергей ходил в трех разных школах. А вообще за одиннадцать лет учебы сменил одиннадцать школ и при этом умудрился иметь хорошую успеваемость по всем предметам да еще всерьез занимался радиотехникой. И в кружке, и дома, и на заводе у шефов. Вместе с аттестатом зрелости получил свидетельство о присвоении ему квалификации радиомастера второго разряда.

Сразу за школьным порогом начался его трудовой путь. Поступил работать дежурным радиотехником. И вскоре, как когда-то отца, торговый порт Находка направил Сергея, хорошего производственника, во Владивосток получать новые знания.

Как и Бобраков-старший, прошел Сергей строгую армейскую выучку, служил на точке, которая считалась отдаленной даже на очень далеком острове с суровым климатом. А когда после долгого отсутствия приехал Сергей в бухту Врангеля с дипломом инженера-электрика, специалиста по автоматизации промышленных предприятий, то стараниями отца готов был для него весомый «подарочек» — вступал в строй щеповой комплекс. Молодой инженер сразу стал заместителем начальника комплекса, а через некоторое время и начальником, возглавил работу по отладке и пуску сложнейшего сооружения.

— Да уж такой подарочек — врагу лютому не пожелаешь, — смеется Сергей. — Хорошо хоть, что свежа была закалка армейская и студенческая. Где ума не хватало, терпением брал. И личным примером доводилось, а то и горлом — всякое случалось. Но интересно было. Хоть и выматывался тогда, а с радостью те месяцы вспоминаю. Если бы не чрезмерное внимание со стороны руководства...

— Помочь, наверно, хотели вам?

— Намерения-то, разумеется, были самые лучшие. Только вот какая штука: управление порта было уже укомплектовано полностью с расчетом на все действующие комплексы, а в его распоряжении только щеповой, да и тот в процессе отладки. Вот и сосредоточили все внимание. Не столько рабочих, сколько разных начальников и руководителей — едва успевал от указаний отбиваться. — С лица Сергея не сходила улыбка. — Вот и нужно было иной раз по армейской привычке голосом браться.

— Судя по конечному результату, все это неплохо у вас получалось.

— Не у меня. У коллектива, — уточнил Бобраков-младший. — А когда запустили комплекс на полную силу, у меня к нему интерес пропал. Действует нормально, неполадки мелкие, все по регламенту. Радоваться надо бы, а мне скучно. Разогнался, скорость набрал, свои возможности понял — и вдруг тормозить приходится, вполсилы колеса крутить.

— Потому и ушли с комплекса?

— Заманчивое предложение получил.

— Дело у вас сложное будет, суперсовременное, как выразился один мой знакомый.

— Вот и охота попытаться. Возраст пока позволяет пробовать.

Ссылаясь на возраст, он, конечно, поскромничал. Суть не только в молодости, здоровье, способности выносить большие физические и умственные нагрузки, суть скорее в том, что Сергей и его соратники по новой, необычной для них работе, о которой я еще скажу, вооружены глубокими техническими знаниями, самой новейшей методикой, верят в эти знания, в эту методику, верят в себя.

Мы, литераторы, часто рассуждаем о достижениях техники, о научно-технической революции (модная тема!), но всегда ли четко представляем те конкретные формы, в которых она выражается? Я лишь теперь понял, как мне повезло:

наблюдая все это десятилетие за строительством в бухте Врангеля, своими глазами увидел, осознал, насколько стремительно развивается научная мысль, с какой решительностью шагает технический прогресс по крутым ступеням времени.

Вспомним: совсем недавно, в конце 1973 года, был сдан в эксплуатацию первый причал. Достался он нелегко, хотя вообще это было самое обычное гидротехническое сооружение, возведенное известными, традиционными способами.

Всего два года потребовалось строителям Восточного Порта, чтобы подняться на новую ступень — ввести в строй сложнейший щеповой комплекс. Не все удалось сразу, были задержки, но наладили, запустили, справились.

Накопленный опыт очень помог строителям в дальнейшем при создании угольного района, ни с чем не сравнимого по своей мощности и техническому оснащению. Ведь один угольный комплекс заменит собой целый порт. Там все продумано до мелочей, все пришлось делать с абсолютной точностью.

Новая техника — строгий экзаменатор, далеко не все способны успевать за ней, подниматься все выше и выше. Значительное число людей в силу различных обстоятельств (возраст, слабая подготовка, укоренившиеся привычки) просто неспособно да и не проявляет желания шагать в ногу с новейшими достижениями. Они остаются на простых, но, в общем-то, не менее важных работах. Все это естественно.

В наступающих войсках, как известно, боевые порядки строятся глубоко, есть первый эшелон, есть второй, есть далекие тылы. Без них не обойдешься, но основную нагрузку, разумеется, несет первый, головной эшелон, действия которого определяют успех операции. Так и на стройке. Все подразделения, все специалисты важны. Однако окончательный результат зависит прежде всего от тех специалистов, которые находятся на самом острие научно-технического прогресса. Как правило, это люди еще сравнительно молодые, от тридцати до сорока лет, имеющие не только хорошую теоретическую подготовку, но и практический опыт. Такие, как Сергей Васильевич Бобраков-младший.

Новая ступень в бухте Врангеля — создание ЕКСУДСа: единой комплексной системы управления движением судов. Название длинное, сложное и, главное, не выражающее, на мой взгляд, всей сути этой самой системы. Ведь она будет управлять не только движением судов, но и распределением их по причалам, контролировать ход грузовых операций.

В обширном заливе, противоположные стороны которого занимают бухта Находка и бухта Врангеля, уже и сейчас тесно. Движение такое, что хоть регулировщиков ставь, как на опасном перекрестке. Особенно в туманную погоду. А что будет через пять и более лет, когда количество судов значительно возрастет? «Дирижировать», управлять без специальной аппаратуры окажется попросту невозможно. Как на крупном аэродроме, где самолеты взлетают и садятся один за другим. Без автоматики не обойтись. Для этого и создается в Восточном Порту ЕКСУДС с электронной машиной последнего поколения. Всего 16 компьютеров.

Схематически это выглядит так. Каждое судно, входящее из открытого моря в залив, засекается с трех точек и получает свой код, который закладывается в электронный мозг. С этой минуты судном занимаются компьютеры. Ведут к причалу, указывая безопасный курс, следят за тем, какие грузы и в какой срок окажутся в трюмах. В общем, опекают судно, пока оно не покинет залив.

Система эта новая, аналогов, как принято говорить, в нашей стране не имеет, создать и наладить ее нелегко. Тем более что инженеров и техников по таким системам в Восточном Порту нет. Еще в 1976 году секретарь Приморской писательской организации Лев Князев, хорошо знакомый с заботами порта, поднял на страницах «Литературной газеты» вопрос: почему высшие учебные заведения Морского флота не готовят специалистов, способных монтировать и эксплуатировать электронные установки нового типа? И не пора ли Министерству высшего образования больше заботиться о будущем, планировать подготовку таких специалистов, которых требует быстрое развитие науки и техники?

Разумеется, подобные специалисты и обучаются и перспективными планами предусмотрены, только маловато их, оседают в городах, в крупных научных центрах.

— Обходимся своими силами, — сказал мне Юрий Иванович Островский при последней встрече. — Выкручиваемся как можем.

А вот мнение Бобракова-младшего:

— Бывали у нас тут варяги. На вычислительном центре контейнерного терминала работали. Положенное время после института отбывали. Даже документацию не вели как следует, после них едва разобрались что к чему. (Кстати, электронной машиной на контейнерном терминале заведует инженер Виктор Елкин, который до Сергея был начальником щепового комплекса. Тоже один из тех, кому нести эстафету строительства в будущее.)

Без варягов, значит, хоть и труднее, но надежней, верней. Руководителем ЕКСУДСа назначен Олег Дмитриевич Баранов. Он дальневосточник. Окончил во Владивостоке Политехнический институт, факультет радиоэлектроники. По своей специальности работал в Высшем мореходном училище, в вычислительном центре. Ездил в Киев на курсы усовершенствования. Человек он веселый, компанейский, что не мешает ему быть настойчивым, даже упрямым. Занимается боксом.

И Баранов и Бобраков-младший с горячей заинтересованностью относятся к новому делу, к своему ЕКСУДСу, и в этом, вероятно, главный залог успеха, хотя трудностей самых различных было и будет много. Вот хотя бы одна из них, проблема чисто формальная и теоретически вроде бы неразрешимая. Здравый смысл подсказывает, что будущие работники системы (хотя бы основные) должны участвовать в ее создании, пройти весь цикл от подготовки помещения до монтажа и наладки. Чтобы самим прощупать каждую деталь, каждый узел. Ан нет! По существующим правилам, неизвестно когда и кем изобретенным, штат станции укомплектовывается лишь после установки аппаратуры. Приходи на готовенькое, приступай к работе, а что там, внутри, знает лишь господь бог да уехавшие монтажники. Опять старая болезнь временщиков: сэкономить сегодня на грошах, не думая о том, какими потерями это обернется в дальнейшем.

Теоретически, значит, преграда непреодолима. А на практике дело обстоит так. На мысу Каменском растет большое трехэтажное здание. Место здесь, пожалуй, самое красивое во всей округе. Под крутым обрывом плещутся волны, прямо к будущей станции подступает лес. И бухта Врангеля как на ладони, и Находка, и весь залив с отдыхающими на его глади судами — океанскими великанами.

Это здание основное в ЕКСУДСе. Два выносных пункта будут созданы на других мысах, а здесь самое сердце системы, ее мозг. Установка монтируется в специальном экранированном помещении, где будет поддерживаться определенный температурный режим. По соседству различная вспомогательная аппаратура, пульты управления, комнаты для работы и для отдыха сотрудников. За перегородкой метеорологическая станция. В общем, целый комбинат, начиненный сложнейшей техникой. И при всем том здание само по себе будет служить украшением местного пейзажа. Легкое, ажурное, с балконами и витражами, вознесется оно над водой, выделяясь белизной на фоне темных сопок, зеленой тайги.

Строители понимают свою ответственность, но ведь они не застрахованы от ошибок, просчетов. Глаз специалиста обязательно нужен. Вот почему часто навдывается сюда Сергей Васильевич Бобраков. Следит за ходом строительства, за монтажом. И не только следит — сам участвует в этой ответственной работе. Но каким образом?.. Тут мне придется выдать один маленький секрет. Известно, что параграф — как телеграфный столб: не перепрыгнешь, а обойти можно. Так вот: Сергей Васильевич Бобраков переведен на должность морского инспектора, даже, если не ошибаюсь, старшего морского инспектора. По долгу службы он обязан проверять и контролировать. Он этим и занимается, уделяя основное внимание сложному и важному объекту — ЕКСУДСу. Это закономерно? Вполне! Попробуй придерись, бюрократ! Да и зачем придирается-то, если польза очевидна!

Мы приехали на мыс Каменский троим: Бобраков-старший, Бобраков-младший и я. Сергей Васильевич человек улыбочивый, понимающий шутку, а тут вдруг посерьезнел, потускнел.

— Что случилось?

— Вот полюбуйтесь, — показал он.

— Обычная проводка, — пожал я плечами.

— Ее не должно здесь быть. Только скрытая допустима в этом помещении. Может, проектировщики ошиблись или строители поспешили... Переделывать придется, опять разговор неприятный. Ладно хоть бригадир здесь с пониманием. На совесть старается, не ради одних денег.

Действительно, бригадир и на меня с первого взгляда произвел самое хорошее впечатление. Молодой, долговязый, с крупным носом на худощавом лице, он весь был словно прокален, продублен солнцем, ветром и морем. Кожа почти коричневая, а волосы белесые, выгоревшие. Длинные, сильные, широкие в кистях руки. Но особенно длинными казались его ноги — наверное, потому, что узкие, линялые солдатские брюки были заправлены в кирзовые сапоги с очень низко отогнутыми голенищами. Наряд его дополняли тельняшка и какая-то экзотическая безрукавка, не имевшая на груди застёжек. И если сапоги были покрыты окаменевшим слоем грязи и пыли, то тельняшка идеально чистая (это в строящемся здании, где я, к примеру, быстро испачкался). Каждый день он меняет тельняшку, что ли?

— Познакомьтесь с ним, — посоветовал мне Бобраков-старший. — Он приехал сюда недавно, но надолго, если не навсегда.

— Почему?

— Причины достаточно. Он не из тех, кто готов сорваться с места по первому зову. Имеет несколько специальностей, знает себе цену. У него семья. Такие, прежде чем ехать, спрашивают о квартире, о яслях, о льготах. Если уж надумают переселиться, то чтобы наверняка осесть, корни пустить. Таких немного, мы встречаем их с особой охотой. Говорят, что из каждых пятнадцати человек, приезжающих в дальневосточные края, на постоянное жительство остается только один. Не беруеь утверждать, насколько это точно, однако похоже на истину...

Зовут бригадира Валерием, фамилия Ковалев. Ему скоро исполнится тридцать. Я ходил с ним по стройке, слушая, как быстро решает он затруднительные вопросы. Постоит, подумает, качнется — длинный — вперед и назад. «Прокладывайте трубы вот так». «Ах, черт, как же мы сами не сообразили!» — почесал затылок парнишка.

— Техникум закончили? — спросил я Валерия Ковалева, когда остались с Бобраковым и с ним в бытовке.

— Восемь классов.

— И никаких затруднений на стройке?

— Всяко бывает. Иной раз мозги поломаешь, иной раз Бобраков поможет.

— Он ведь не каждый день.

— Опыт кое-какой есть. Сам-то из Ашхабада, а в армии в Москве служил, в строительном подразделении. Освоил сантехнику, жестянщиком был. Потом произвели в сержанты, бригаду доверили. На столичных объектах по высокому классу работали, без скидок. Там научился кое-чему. После демобилизации пошел в депо слесарем. Тоже бригадиром выдвинули. Но строить все-таки интереснее. Разнообразия больше. Вот и двинули на Восток. Жена у меня украинка, сам наполовину русский, наполовину туркмен, а забрался вот куда, — засмеялся Валерий. — Дочки у нас маленькие, Инна и Валерия, так они уж коренные дальневосточницы. Нравится нам здесь. Квартиру бы попросторней — живи да радуйся.

— А климат? Широка крымская, но долгота колымская...

— Ветры начнутся — на этом мысу хоть привяжись, чтобы не сбросило, — согласился Ковалев. — Трудностей намного больше, чем в обжитых местах. Знали, куда ехали. Другое меня мучило спервоначала, пока бригада складывалась. Халтурщики были, лодыри, пьяницы. Одних отсеивали, других переламывали, перевоспитывали. Теперь у нас строго. Коэффициент трудового участия. Как поработал, так и получишь. Порядок установили и зарабатываем неплохо. Но вот я Бобракову всегда говорю и еще раз скажу: больше и лучше можем. Только материалы давайте в срок. Или металла нет, или бетона, или кран не подгонят, сейчас за витражами задержка. Переставляем людей, маневрируем...

— Не горячись, Ковалев, — произнес Бобраков-старший. — Видел ты где-нибудь стройку без мелких неурядиц?

— Не видел.

— А у нас тут каждую деталь, каждую плиту нелегко достать и доставить, сам знаешь.

— Все равно, — упрямо сказал Валерий. — Есть люди, которые обязаны заботиться и снабжать. Пусть добросовестно выполняют свой долг. И у нас и везде, если повсюду задержка, — не за самими строителями, а за организаторами. Тогда и с нас спрашивайте на всю катушку. А мы можем работать и быстрее и лучше.

В бухте Врангеля два хозяина: строители и портовики. Раньше строители царствовали здесь почти безраздельно, однако теперь положение быстро меняется. Вступают в строй причалы, комплексы, портовики «овладевают» новыми сооружениями, новой территорией, быстро растет их численность, усиливается влияние на все стороны жизни.

Если до недавнего времени начальник порта Виктор Андреевич Васянович был «королем без королевства» и лишь из окна поглядывал на изрытый строительный полигон, то теперь дел и забот у него столько, что успевай поворачиваться! Это ведь ему вручили на новогоднем торжестве символический ключ от вступившего в строй угольного комплекса, это он дал обещание, что портовики, приняв эстафету от строителей, приложат все усилия, чтобы досрочно вывести комплекс на проектную мощность.

Бывая в бухте, я много слышал о Викторе Андреевиче. Люди рассказывали о нем. В газетах читал. Известны мне были даже такие подробности: человек он рослый, крепкого телосложения, начавший полнеть. В общении прост, умеет создавать непринужденную атмосферу, работает с удовольствием. Любит музыку, хорошо играет на пианино, аккордеоне и даже сам музыку писать пробует, хотя об этом предпочитает скромно умалчивать.

Однако случилось так, что пути наши не перекрещивались. Вот и на этот раз я дней пять лазил по стройке, побывал на всех объектах, увидел старых приятелей, обзавелся новыми, а встретиться с Васяновичем не удавалось. В субботу и воскресенье неловко было человека тревожить, у него законный отдых. Потом Васянович уехал во Владивосток получать руководящие указания начальника пароходства Островского. И даже в тот день, когда, казалось бы, ничто не могло помешать встрече, свидание наше чуть было не сорвалось.

Еще на рейсовом катере внимание мое привлекло необычное трио. Люди ехали на работу — переговаривались, подремывали, газеты читали. А эти трое в импортных куртках чувствовали себя путешественниками-первооткрывателями. Я сразу смекнул, что это киношники, причем документалисты. Они почему-то держатся иногда, мягко выражаясь, безапелляционно. Куда они проследовали первым делом? На нос катера, хотя пассажирам туда вход запрещен, о чем оповещает специальная табличка. Во-первых, посторонние мешают там команде, во-вторых, опасно: может смыть какого-нибудь ротозея.

Киношники, разумеется, твердо убеждены, что они никому не мешают и что их не смоеет. Они геройски красовались на открытой палубе, стараясь не отворачиваться от ветра и брызг, с некоторым высокомерием поглядывали на пассажиров, сидевших в салоне, за толстым стеклом. Однако вскоре носы у отважных путешественников посинели и они вынуждены были присоединиться ко всем остальным гражданам. Заняли первую скамейку, громко обмениваясь впечатлениями и выражаясь в том духе, что вот какие они молодцы, из самого Ленинграда забрались в такую даль, где, наверно, есть места, куда не ступала нога цивилизованного человека.

Мне было неловко за них, как, впрочем, бывало неловко и за некоторых братьев-литераторов, впервые попавших на Дальний Восток, возомнивших себя землепроходцами, способными просветить и осчастливить аборигенов. И невдомек таким «первооткрывателям», что смешными выглядят они в глазах местных жителей, не менее образованных, столь же сведущих, как и залетные гости.

Из разговора я понял, что направляются киношники к Васяновичу. Значит, у

начальника порта мне сейчас делать нечего. Виктор Андреевич будет знакомить приезжих со своим хозяйством, излагая известные мне сведения. Нарушив свои планы, пошел туда, где клевали острыми желтыми носами высокие краны, перегружавшие на судно круглый лес. А к Васяновичу попал позже. Встретил меня Виктор Андреевич радушно. Он, оказывается, читал мою книжечку о бухте Врангеля.

В кабинет Васяновича входили люди с разными заботами, продолжались будничные дела, и это было для меня особенно интересно. Начальник порта работал, а я, стараясь не мешать ему, устроился в дальнем углу на диване. И чем дольше слушал, тем сильнее удивлялся: непосредственно о нуждах порта, о подходе судов, их разгрузке и загрузке здесь почти не упоминалось или упоминалось вскользь. Речь шла о недостатках в торгмортрансе, об оформлении школы, о сдаче овощехранилища. О браконьерах, которые хищнически добывают красную икру. О том, что портовые специалисты, выделенные в помощь совхозу, быстро и хорошо убрали картофель, но сверху добавили 70 гектаров. Надо нажать, надо еще наскрести и направить туда людей. Попутно выяснилось, что Восточный Порт держит первое место в районе по заготовке сена и силоса и что при всем этом даже свой производственный план хоть и с натугой, но все же выполнил.

Тут я и спросил Виктора Андреевича, сколько же времени у него остается непосредственно для того, чтобы руководить портом. Задумался начальник, усмехнулся:

— Не прикидывал, но вообще-то процентов тридцать, не больше.

— Рационально ли это?

— А что поделаешь? — развел он руками. — О быте, питании, культуре, медицинском обслуживании кто заботится? Местные органы советской власти. А у нас они пока далеко, в Находке. Мы только рождаемся, создаемся. Вот и приходится думать об отоплении, о том, чтобы в школе уютно было и учебных пособий хватало.

— А на работе порта это не сказывается отрицательно?

— Думаю, пока нет. Порт — главное, для него не жалеем времени, если нужно. Но забот с каждым днем все больше...

Оставалось только посочувствовать Васяновичу, тем более что от секретаря партийного бюро Александра Анатольевича Киселева известно мне было еще об одной утомительной обязанности, отнимающей у начальника порта много времени. В шутку Васяновича называют здесь главным экскурсоводом. Размах стройки растет, соответствующим образом увеличивается число различных делегаций, как наших, так и зарубежных, количество всевозможных представителей и корреспондентов, приезжающих в Восточный Порт. За 1978 год таких посещений было более 200. Практически каждый рабочий день или делегация, или корреспондент из центра, и все хотят побеседовать с самим начальником. Помогает, конечно, секретарь партийного бюро, но у него, во-первых, есть и свои заботы, а во-вторых, за год сменилось три секретаря, не успевали в курс дела войти: один не справлялся с работой, другой уехал по семейным обстоятельствам. Вот почему у «главного экскурсовода» выражение обреченности появляется на лице при виде гостей: снова ведем на причал, в тысячный раз излагай набивший оскомину общий обзор, терпеливо выслушивай элементарные вопросы и даже советы...

Впрочем, от неприятной нагрузки, от разжевывания прописных истин я Васяновича избавил, хотя время драгоценное у него все же отнял. Разговор зашел о том, что местная печать, телевидение часто и охотно упоминают о внедрении в Восточном Порту новшества — так называемой пакетной перевозки древесины. По договоренности с портом прямо в леспромхозах бревна определенной длины связываются стальными стропами. Кран подцепил, поднял — и в вагон. Из вагона таким же образом на причал. С причала на судно. Не по бревнышку, а сразу охапкой.

Эффект, конечно, солидный. Теперь до 70 процентов леса порт перерабатывает в пакетах. Превышена годовая пропускная способность лесного причала. Все это хорошо, только дело-то не очень новое, насколько я помню. И десять лет назад и еще раньше эти самые пакеты использовали.

— Верно, принципиального открытия мы не сделали, — согласился Васянович. — Но кое-что свое внесли. Раньше стропы были не совсем надежные, дохо-

дило до чрезвычайных происшествий, поэтому пакетизация глохнуть начала. А теперь мы усовершенствованные стропы освоили. Изменения не ахти какие, а надежность повысилась, докеры наши уверенно работают. Видели, каким потоком лес отправляем?

— Видел, глаза бы мои не смотрели.

— Почему? — вскинул брови Васянович.

Рассказать ему, как часами стоял на причале, готовый кричать от душевной боли: что же вы делаете, люди добрые? Да кто там услышит в грохоте и лязге? А если и услышат — не они, не эти люди решают, кому и что отправлять.

Лесов у нас пока еще много и торговать древесиной вполне можно. Только вопрос — какой? Лиственница занимает большие пространства, ее бы и вывозили. Березу, осину — эти деревья возобновляются быстро. Может быть, какое-то количество сосны, пихты — по строгим рекомендациям ученых. Но лучшее-то наше богатство, которое веками не восстановишь, — его беречь надо.

К глубокому сожалению, суда, уходящие в заморские государства, увозят самую ценную древесину. Двухметровые в комле великаны кедры видел я в стальных стропях.

— Старые деревья, — словно оправдываясь, произнес Васянович.

Ничего подобного! Я не поленился, посчитал годовые кольца. Для точности — на двух десятках стволов из разных пакетов. В самом расцвете убиты эти царственные гиганты, украшавшие тайгу. Им от ста до двухсот лет. Как раз тот возраст, когда кедр входит в силу, начинает обильно плодоносить. Эти деревья просто-таки бы еще столько же и даже больше, давая корм и приют зверю и птице, принося радость и пользу людям. Но их заготавливать легче. Свалил такого великана — сразу и кубометры, и план, и деньги в карман! Вот и калечат заготовители дорогую нашу тайгу. Хотя и понимают: не вырасти больше таким красавцам в наше скоротечное время, терпения не хватит позволить молодым кедром возмужать и окрепнуть. Лет двести ждать надо. За это время сменится три-четыре человеческих поколения...

Чтобы подкрепить свои эмоции фактами, приведу пару цитат из статьи директора ботанического сада Дальневосточного научного центра Академии наук СССР А. Журавкова. По поводу обоснованных норм вырубки он пишет: «На Дальнем Востоке у отдельных лесозаготовителей стало правилом не считаться с этими нормами. Так, в 1975 году в наиболее обжитых местах Приморья переруб расчетной лесосеки по хвойным породам составил 297 тысяч кубометров, хотя в крае она использована всего на 45 процентов». Брали, значит, где скорее и легче можно было схватить, оставляя после себя жалкое подобие единственной в мире уссурийской тайги, которая, кроме всего прочего, служит незаменимым поставщиком лекарств. Только здесь произрастает женьшень и его ближайшие родственники — элеутерококк колючий, аралия маньчжурская, заманиха. Разумеется, после того как вырубят в тайге лучшие деревья, искалечат подлесок, сдерут гусеницами плодородный слой почвы, никакой женьшень с родственниками и без родственников произрастать не будет.

И еще цитата: «Многие наши таежные массивы нуждаются в переводе из второй группы в первую. К таким, в частности, относятся дальневосточные кедровые леса — это орех и пушнина, ягоды и грибы, заросли лекарственных кустарников. А главное — они незаменимый природный регулятор уровня богатых рыбой таежных рек и ручьев. Настало время ограничить промышленные рубки леса в бассейнах нерестовых рек и также отнести их к первой группе».

Статья эта была опубликована «Правдой» в декабре 1977 года. С той поры мало что изменилось в уссурийской тайге. Доказательство? Горы кедровых стволов на лесном причале Восточного Порты. Наше народное богатство, в буквальном и переносном смысле уплывающее по волнам в чужие заморские страны.

Обидно! И преступно.

— У нас теперь больше двухсот томов технической документации по бухте Врангеля, — объяснил мне Юрий Иванович Островский. — Целая библиотека. Чертежи, технологические карты, расчеты основных строительных конструкций. В об-

щем и целом перспектива ясна до двухтысячного года. Это срок полного завершения строительства. А пока — вторая очередь порта, задача на предстоящие десять лет... Заглянем в будущее? — весело предложил Островский.

— С удовольствием. Но не в эти двести томов, из них только к двухтысячному и выберешься...

— Нет, мысленно.

И мы заглянули. Что там ближе всего вырисовывается по плану? Ага, профтехучилище, рассчитанное на выпуск квалифицированных докеров. Крупнейшая база для подготовки кадров. Не только Восточный, но и другие порты тихоокеанского побережья будут обеспечены специалистами.

— Так, посмотрим немного подальше. Теперь уже скоро по Байкало-Амурской магистрали хлынет сюда нарастающий поток каменного угля. Вот и хорошо, пусть нарастает: в предстоящие годы мощность угольного района намечено значительно увеличить. Расширится и контейнерный терминал.

Начнется возведение причалов для перевалки так называемых генеральных грузов — руды и зерна. Еще — для обработки химических и огнеопасных грузов. Разовьются службы, которые обеспечивают быструю, бесперебойную приемку и отправку судов. Ну и, конечно же, будет расти красавец город, о котором мечтают нынешние строители порта.

На отсутствие фантазии я не жалею, но все же трудно представить себе бухту Врангеля в завершающие годы нашего столетия, когда будут готовы все 64 причала, весь запланированный жилой массив на 50—60 тысяч человек. Очень хотелось бы самому увидеть все это...

Уложены последние кубометры бетона, отделочники навели последний лоск. Первая очередь порта пришла к финишу. И сразу же, без малейшего перерыва стартовала вторая очередь. Для стройки это переломный момент, начало подъема на следующую крутую ступень. Смена объектов, перестановка людей. И очень важно на этом переломе не растерять накопленный опыт, бережно сохранить крепкие коллективы строителей, которые успели сложиться здесь за прошедшее время.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ



КОРНИ ДУБА*

Впечатления и размышления об Англии и англичанах

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Запах сена и запах водорослей. Мычание коров и крики чаек. Узкие, извилистые, непривычно пустынные дороги. Вместо чадающих грузовиков — только повозки с молочными бидонами да гурты скота. И каждый встречный приветливо машет кепкой. Чувствуется, что увидеть человека в этих местах — радостное событие.

Западная окраина Европы встречается тут с Атлантикой. Это Ирландия, где чувствуешь себя после Англии в совершенно другом мире, где даже само время течет по-иному. В отличие от умеренности и упорядоченности английской природы все вокруг изобилует чрезмерностями и в то же время хранит в себе какую-то доисторическую первозданность.

Если не считать моря и неба, в портрете Ирландии преобладают две краски: свежесть травы спорит с сединой камня. Даже изгороди из серых камней, разделяющие пастбища на склонах, кажутся такими же неподдельно древними, как развалины средневековых крепостей и сторожевых башен.

Ирландская природа поражает тем, что донные выглядит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие века, когда последователи святого Патрика строили монастыри и воздвигали на возгорьях каменные кельтские кресты. И в этом безлюдье, как и в том, что лишь в отдаленных селениях атлантического побережья сохранил свои последние корни местный язык, отражена трагическая судьба ирландского народа.

Ирландия была для Англии не только близким соседом, но и серьезным соперником. Накануне промышленной революции, когда население Великобритании составляло 13 миллионов человек, в Ирландии оно приближалось к 10 миллионам.

Просту не укладывается в голове, что за неполных два столетия соотношение это могло измениться столь разительно: 56 миллионов в Соединенном Королевстве и только 3 миллиона в Ирландской Республике. Даже если добавить к ним 1,5 миллиона жителей Северной Ирландии, получается, что если население Великобритании выросло вчетверо, на Зеленом острове оно за то же время сократилось более чем вдвое. Пожалуй, лишь народ Конго понес столь тяжелый урон от колониального ига, утверждает прогрессивная публицистка Бетти Синклер. Если бы не драконовская политика порабощения, население Ирландии, по ее словам, составляло бы ныне около 34 миллионов человек, а может быть, и больше, учитывая высокую рождаемость в этой стране.

Для поездки по Зеленому острову я избрал тот самый маршрут, о котором Энгельс писал в письме Марксу в 1856 году:

«Путешествие наше по Ирландии шло таким образом: мы поехали из Дублина в Голуэй на западном берегу, потом двадцать миль к северу в глубь страны, потом

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

в Лимерик, потом вниз по Шаннону в Тарберт, Трейли, Килларни и назад в Дублин. Всего около 450—500 английских миль. Мы видели, следовательно, около двух третей всей страны... Ирландию можно считать первой английской колонией, именно такой, которая в силу своей близости к метрополии управляется все еще по-старому. И здесь прекрасно видно, что так называемая свобода английских граждан основана на угнетении колоний».

Вся история англо-ирландских отношений подтверждает эти слова Энгельса. Примечательно, что начало заморским завоеваниям будущей Британской империи было положено как раз в пору пребывания на ватиканском престоле первого и единственного за всю историю англичанина — папы Адриана IV. Именно с его благословения Генрих II Плантагенет снарядил в 1171 году 400 кораблей и вторгся на Зеленый остров.

В том, что мечи рыцарей-крестоносцев разили христиан, папа не усматривал греха. В Западной Европе только ирландская католическая церковь была тогда независимой от Рима. Так что найти повод для кровопускания было нетрудно.

По заказу Адриана IV и Генриха II угодливый богослов Гиралдус Камбрэнсис состряпал «Историю завоевания Ирландии». Он изобразил ее жителей дикарями и язычниками, которые лишь притворялись христианами, людьми коварными и невежественными, необузданными и суеверными. Сие писание стало на последующие века некой индульгенцией для палачей Ирландии, создало стереотип предубеждений, нужный колонизаторам для оправдания своих действий. Стереотип оказался универсальным. Он одинаково исправно служил и завоевателям-католикам, ссылавшимся на волю папы, и тем воинствующим протестантам, которые усматривали потом в любом выступлении против английского ига «длинную руку Рима».

Подобно тому как Ирландия стала первой британской колонией, стереотип предубеждений в отношении ирландцев явился зародышем имперской идеологии. Именно отсюда берет свое начало представление о народах колоний как о существах иного сорта, к которым неприменимы общепринятые моральные нормы; именно из этого стереотипа выросла впоследствии идея о том, что «десять заповедей не имеют силы к востоку от Суэца».

Лондонские либералы брезгливо отмежевываются в наши дни от южноафриканских расистов. А между тем именно система апартеида была излюбленным орудием завоевателей с первых же веков их господства в Ирландии. Полоса восточного побережья, прилегающая к Дублину, и сейчас заметно отличается от остальной части острова, всем своим обликом напоминая английское графство. Эта донныне зримая географическая граница совпадает с цепью крепостей и сторожевых башен, которые начали возводить для защиты первых английских поселенцев еще во времена Генриха II. Тем самым для ирландцев была очерчена запретная зона. Они могли селиться лишь «за оградой». И это понятие было юридически закреплено «Статутом Килкенин», узаконившим апартеид во всех его типичных формах и проявлениях. «В ограде» ирландцы могли лишь работать, но не жить. Они не имели права говорить на родном языке и носить национальный костюм. Строжайше запрещались смешанные браки между ирландцами и англичанами.

Именно на ирландской земле аграрный термин «плантация» впервые обрел новый, социально-экономический смысл, став символом колониального рабства. После неудачи одного из очередных восстаний в эпоху Елизаветы I земли северо-восточных графств были провозглашены собственностью британской короны и проданы англо-шотландским колонистам.

Массовое изгнание коренного населения с наиболее плодородных земель северо-востока, начатое именем британской короны, было с еще большей жестокостью продолжено противником монархии Кромвелем. Его политика в отношении ирландцев сводилась к словам: «К чертям в пекло или в Коннот!» Эта западная провинция с бесплодными каменистыми взгорьями, обращенными к Атлантике, должна была стать для изгнанников либо голодным гетто, либо дорогой еще дальше — на чужбину.

Англо-шотландские поселения создавались на ирландской земле точно теми же методами, что и первые табачные или хлопковые плантации в Америке.

В Лондоне не любят вспоминать, что английские работорговцы (чьи барыши

во многом помогли Британии стать владычицей морей и мастерской мира) начали поставлять живой товар плантаторам Нового Света отнюдь не из Африки, а из Ирландии. Оттуда было вывезено в Вест-Индию более 100 тысяч мужчин, женщин и детей. Этот факт символично олицетворяет собой конечную цель британской политики в Ирландии: поработить завоеванный остров, превратить его жителей в рабов.

Топор пресловутых «карательных законов» подрубил корни ирландской экономики, разорил ее земледельцев и скотоводов, ремесленников и торговцев. Ирландских крестьян лишили не только наделов, но и вообще права покупать землю и даже арендовать ее на длительный срок. Не зная, когда их сгонят с участка, они теряли заинтересованность в повышении плодородия полей. Ирландским ремесленникам было запрещено иметь более чем по два подмастерья, передавать свое имущество по наследству.

Та самая Англия, которую принято считать неизменной поборницей свободы мореплавания, бесцеремонно отрезала Ирландию от экономических связей с внешним миром. Несмотря на обилие удобных портов для торговли с Европой и Америкой, прямой товарообмен с зарубежными странами, и в частности вывоз ирландской шерсти на континент, был запрещен в угоду английским купцам.

- Та самая Англия, которая привыкла кичиться незыблемостью гражданских свобод, похвастаться терпимостью к инакомыслию, не позволяла жителям завоеванного острова говорить на ирландском языке, обучать детей родной речи. За голову подпольного учителя в XVII веке выплачивалось вознаграждение как за убитого волка.

«Карательные законы» были нацелены на то, чтобы обескровить страну, лишить коренное население не только каких-либо политических прав, но и доступа к знаниям и профессиональной карьере. Вплоть до «эмансипации» католиков в XIX веке ирландец не мог стать ни учителем, ни врачом, ни юристом, ни чиновником. Ему оставалось лишь быть временным арендатором клочка земли, мелким ремесленником или... эмигрировать на чужбину.

Эмиграция на века стала для Ирландии кровоточащей раной. Причем поистине массовый характер придал ей Великий голод 1845—1847 годов. С тех пор как из Нового Света на Британские острова был завезен картофель, он стал единственным спасением для многочисленных ирландских крестьян. Ни овес, ни ячмень не могли бы прокормить мелких арендаторов, согнанных с плодородных земель своих предков на каменистые взгорья западной части острова. Поэтому картофельный неурожай, постигший Ирландию три года подряд, стал для нее поистине национальной трагедией. В результате бедствия население острова за несколько лет сократилось вдвое — с 8 до 4 миллионов. Причем хотя от голода вымирали целые селения, все это время продолжался вывоз зерна и скота в Англию: землевладельцы требовали причитающуюся им ренту. Поток беженцев за океан достиг четверти миллиона человек в год, хотя смерть от истощения и эпидемий косила тысячи людей и на судах, прозванных плавучими гробами.

Последствия Великого голода поныне дают о себе знать. Ирландия представляет собой единственную страну в Европе, население которой с середины XIX века не возросло, а сократилось. До Великого голода большинство жителей острова говорили на ирландском языке. Вопреки репрессиям колонизаторов родная речь оставалась для них главным средством устного общения. К 1900 году число говорящих на ирландском языке сократилось до 600 тысяч, а ныне составляет менее одной трети этой цифры.

Язык, задушенный поработителями, не удастся возродить и после обретения независимости. Хотя преподавание его введено в школах, им пользуются жители как разговорной речью лишь в отдаленных селениях атлантического побережья, главным образом в провинции Коннот, которая по воле Кромвеля должна была стать зоной сегрегации, ирландским гетто.

Эта же западная часть острова наиболее обескровлена эмиграцией — среди многих других шрамов трагического прошлого она доныне остается для ирландцев самой болезненной, неза рубцовывающейся раной.

Именно об этом опустошенном крае Энгельс рассказал в письме Марксу, которое приводилось выше. «Характерны для страны развалины... Древнейшие — все только церкви. С 1100 г.— церкви и замки. С 1800 г.— крестьянские дома. На западе, особенно в окрестностях Голуэя, повсюду встречаются такие развалины крестьянских домов, покинутых жителями по большей части до 1846 года. Я никогда не думал, чтобы голод мог иметь такую, так сказать, осязательную реальность. Опустели целые деревни» («Маркс и Энгельс об Англии», стр. 435).

Проезжая по маршруту Энгельса более столетия спустя, вновь и вновь убеждаешься, что серые камни развалин по-прежнему остаются столь же характерной чертой портрета Ирландии, как и ее зеленые луга. Чем-то роковым веет от этого безлюдья — словно ходишь по древнему погосту или по полю брани. Тут и там среди кустов боярышника и пышного многотравья проглядывает каменная кладка навсегда оставленных человеческих гнезд. Давно сгнили и солома крыши и дерево стропил. Но прямоугольники стен по-прежнему возвышаются над зеленью словно памятники исчезнувшему обитателю. «Дюжина развалин, дюжина заколоченных домов, полдюжины пивных — вот что такое ирландская деревня», — с горькой иронией говорят в народе.

«Англия веками поработала Ирландию, доводила ирландских крестьян до неслыханных мучений голода и вымирания от голода, сгоняла их с земли, заставляла сотнями тысяч и миллионами покидать родину и выселяться в Америку... Ирландия вымирала и оставалась неразвитой, полудикой, чисто земледельческой страной, страной нищих крестьян-арендаторов» (Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 365). Перечитываешь здесь, на безлюдных просторах Голуэя, строки ленинской статьи «Английские либералы и Ирландия» и дивишься исчерпывающей полноте этих слов.

История завоевания и поработки Ирландии беззастенчиво отмечает те либеральные идеалы, которыми благонамеренная Англия привыкла кичиться как своим вкладом в цивилизацию. Чтобы оправдать эту вопиющую несовместимость, вот уже целых восемь веков используется тот самый стереотип предубеждений об ирландцах, который был создан еще во времена Генриха II Плантагенета.

В читальном зале Британского музея можно добраться до журналов и газетных подшивок, которыми, вероятно, пользовались еще Маркс, Энгельс, Ленин, много занимавшиеся ирландской проблемой. Если верить этим газетным статьям, ирландцы не только сами повинны в собственной бедности, но якобы даже не страдают от нее. «Разве Британия виновата в том, что ирландцы предпочитают есть картошку, а не хлеб; что они способны жить в условиях, каких не вынесли бы даже их свиньи? Пребывая в нищете из поколения в поколение, ирландцы стали во многом нечувствительны к ней», — утверждала «Таймс» 8 декабря 1843 года. Даже в годы Великого голода в лондонских гостиных не хотели верить, что сотням тысяч семей действительно грозит смерть от истощения: слишком много говорилось о том, что ирландцы бедны потому, что ленивы.

Законопослушному английскому обывателю изо дня в день внушали, будто ирландцам органически присуща склонность к насилию, будто каждый из них потенциальный правонарушитель (хотя присущее ирландцам презрение к законам было, разумеется, наследием веков колониального ига, когда законы олицетворяли для них тиранию).

«Ирландцы ненавидят наш процветающий остров. Они ненавидят наш порядок, нашу цивилизованность, нашу предприимчивость, нашу свободу, нашу религию. Этот дикий, безрассудный, непредсказуемый, праздный и суеверный народ не может питать симпатий к английскому характеру», — писал в «Таймс» 18 апреля 1836 года будущий английский премьер-министр Бенджамин Дизраэли.

Разумеется, в Лондоне, в том числе и в палате общин, во все века находились люди, которые видели подлинные причины бед Ирландии в британском иге и открыто говорили об этом. Но их одинокие голоса не могли воздействовать на политику или даже существенно повлиять на предвзято настроенное общественное мнение.

Для ирландцев ковали все новые цепи. Но первая из британских колоний всегда оставалась мятежным островом, народ которого так и не удалось покорить до конца.

Мы держим ирландцев в темноте и невежестве, а потом удивляемся, как они могут быть столь суеверными. Мы обрекаем их на бедность и невзгоды, а потом удивляемся, откуда у них склонность к смуте и беспорядкам. Мы связываем им руки, лишая их доступа к предпринимательской деятельности, а потом удивляемся, почему они так ленивы и праздно.

Томас Кэмпбелл (Англия), «Философские исследования юга Ирландии» (1778).

Все, что выходит за рамки конституции, кажется англичанам неправомерным. Ведь полномочия, предоставляемые законом, обычно оказывались достаточными, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией. И может показаться жестоким и несправедливым рекомендовать в отношении ирландцев то, что мы сочли бы неприемлемым для самих себя. Но будем руководствоваться обстоятельствами. Если преступления оказываются не английскими и если английские средства для пресечения их не срабатывают, почему бы не применить другие, не английские меры там, где насилие не удается поставить под контроль?

«Таймс» (Англия), 2 декабря 1846 года.

«Я прибыл из Ирландии, милорды,
Вам сообщить: мятежники восстали,
Подняв оружие на англичан...»

Эти слова произносит гонец в трагедии «Генрих VI». Вряд ли во всем творчестве Шекспира найдется реплика, которая столь часто обретала бы злободневное политическое звучание с английских театральных подмостков. Национально-освободительная борьба принимала то одну, то другую форму, но не утихала никогда.

Ирландия — наглядное пособие для урока политграмоты по империалистической политике «разделяй и властвуй». Когда английское господство зашаталось под ударами национально-освободительной борьбы, Ирландия была в 1921 году расчленена Лондоном с таким расчетом, чтобы потомки англо-шотландских поселенцев, составляющие на острове меньшинство населения, оказались на отторгнутой его части в положении большинства. В результате раздела около 3 миллионов человек стали гражданами независимой Ирландской Республики, а 1,5 миллиона остались подданными Соединенного Королевства. Этот вероломный маневр расколол страну надвое и обрек на обострение межобщинной вражды население ее северной части.

«Северная Ирландия насчитывает примерно полтора миллиона жителей. Большинство из них — около миллиона человек — это потомки англо-шотландских колонистов, поселившихся там в начале XVII века. Они традиционно являются юнионистами, то есть сторонниками сохранения унии с Великобританией. Как правило, они принадлежат к протестантской религии. Меньшинство — примерно полмиллиона человек — является ирландцами по происхождению, католиками по вероисповеданию и чаще всего республиканцами по политическим взглядам, то есть в той или иной степени поборниками воссоединения с Ирландской Республикой».

Как много недоговорено в этой официальной исторической справке! Именно с целью обеспечить за протестантской общиной двукратный численный перевес под властью британской короны была оставлена не вся северо-восточная провинция Ольстер, а лишь шесть ее графств из девяти (на берегах Темзы опасались, что, если отторгнуть Ольстер целиком, из-за многодетности ирландских семей численность обеих общин может со временем сравняться).

Северную Ирландию в обиходе часто называют Ольстером, хотя термин этот неточен как географически, так и политически. Его скорее употребит юнионист, тогда как республиканец предпочтет сказать «шесть графств», давая тем самым понять, что не признает раздела Ирландии.

Когда лондонскому политику приходится растолковывать сложности северо-ирландской проблемы иностранному журналисту, он назидательно поднимает палец:

— Прежде всего не следует забывать, что Ольстер не Родезия, где права большинства узурпированы меньшинством. Раз протестантов в Северной Ирландии больше, чем католиков, им и держать бразды правления. Другое дело, если они в чем-то злоупотребили своим большинством. Но в ответе за это Белфаст, а вовсе не Лон-

дон. Наша цель — прекратить кровопролитие, прийти к справедливому разделению власти между общинами. Для этого и находится в Ольстере британская армия..

Угрюмые остовы взорванных домов, которые давно перестали восстанавливать. Заколоченные витрины. Бетонные надолбы на проезжей части. Как в городе, занятом противником, движется патруль парашютистов. Одни крадутся вдоль стен с автоматами наизготовку. Другие страхуют их из укрытий, совершая короткие перебежки. А на середине улицы, словно не замечая их, судачат женщины с хозяйственными сумками, возятся шумные ватаги ребятишек. Таким предстает глазам Белфаст. Кажется, будто некий кинооператор заснял на одну и ту же пленку и фронты и тыл. Грохнул за углом взрыв, промчались санитарные машины. Дымящиеся развалины привычно отгородили оранжевой ленточкой. И опять своим чередом идет жизнь. Жизнь на грани смерти.

Где начало и где конец этой необъявленной войны? Не может же религиозный фанатизм так раскалить межобщинную вражду, чтобы католики и протестанты в наш век стреляли друг в друга лишь из-за споров о том, надо ли осенять себя крестным знаменем или кого почитать главой церкви — папу римского или английскую королеву.

Нынешний этап трагических событий в Северной Ирландии начался 5 октября 1968 года, когда королевская полиция Ольстера учинила расправу над мирным шествием в Дерри. Чего же требовали участники этого первого массового выступления борцов за гражданские права? —

чтобы местные выборы проводились по принципу: один человек — один голос; чтобы был положен конец махинациям при разграничении избирательных округов;

чтобы были приняты законы против дискриминации при найме на работу и распределении жилья;

чтобы был отменен закон 1922 года о чрезвычайных полномочиях и распущена военизированная полиция — «специальные силы — Б».

Вздыхая о злосчастной судьбе Северной Ирландии, английский либерал не перестанет посетовать, что движение за гражданские права лишь подлило-де масла в огонь, породило тот порочный круг насилия, который никто не может разорвать. Не уместнее ли задуматься: что же породило само движение за гражданские права на территории, которая с 1921 года считается составной частью Соединенного Королевства?

Лондонские политики любят вставать в позу противников насилия и произвола, ревнителей свободы и справедливости в любой части света. Как же они не заметили, что сотни тысяч их соотечественников лишены гражданских прав и подвергаются дискриминации? Как на территории страны, которая не прочь выдавать себя за образец демократии, могло возникнуть требование «один человек — один голос», актуальное в наши дни разве что в Родезии?

Да, под сенью британской короны в автономной провинции Северная Ирландия до второй половины XX века дожил имущественный ценз, который лишал участия в голосовании четверть избирателей (в большинстве католиков), давая по несколько голосов крупным владельцам недвижимости и капиталов (как правило, протестантам). Даже в тех городах и графствах, где преобладает католическое население, в местных органах власти оно зачастую оказывалось в меньшинстве. Красноречивый пример — город Дерри, который был так поделен на избирательные округа, что 20 тысяч католиков могли провести в городской совет лишь 8 депутатов, а 10 тысяч протестантов — 16. За всю историю существования автономной провинции полумиллионная католическая (т. е. ирландская) община ни разу не была представлена в местных органах власти пропорционально ее доле в полуторамилионном населении Северной Ирландии.

Самовоспетая английская демократия никогда не распространяла себя на Ирландию — ни до, ни после ее расчленения. Молчаливо предполагалось, что в Ольстере нет нужды обременять себя показными атрибутами парламентаризма, видимостью свободной борьбы политических сил, что для расправы с инакомыслящими там годятся более примитивные средства.

Со времени раздела Ирландии управление Севером неизменно основывалось на репрессивных законах. В августе 1969 года в автономную провинцию были введены британские войска. В августе 1971 года была начата практика интернирования, то есть произвольных арестов и заключения людей в концлагерь без суда. Однако подобные меры не только еще больше накалили обстановку, но и вызвали международный скандал. На судебном процессе в Страсбурге Великобритания была признана виновной в нарушении Европейской конвенции о правах человека, запрещающей пытки, бесчеловечное и унижающее обращение с заключенными.

Ольстерский нарыв — этот болезненный чирей на самовлюбленном челе британской демократии — открылся взорам мировой общественности во всей своей неприглядности. Он напомнил, что под носом у ревнителей свободы с берегов Темзы, не где-нибудь, а в Соединенном Королевстве более полувека существует колониальный режим с присущими ему методами подавления.

Но британскую общественность тревожит и другое: Северная Ирландия становится опытным полем, где испытываются новые средства и методы репрессий, предназначенные для применения на всей территории страны.

Завывая полицейской сиреной, мигая голубыми огнями, по улицам Белфаста проносится армейский бронетранспортер. Символический штрих в портрете Северной Ирландии! Британская армия не просто набирается там боевого опыта. Она осваивает новую роль, или, точнее говоря, старую роль в новых условиях.

Вмешательство военных в гражданские дела издавна было распространенной практикой в колониях. Однако именно в Северной Ирландии британской армии впервые довелось взять на себя жандармские функции в условиях европейской страны, на территории Соединенного Королевства.

Лондонское телевидение однажды передало репортаж о занятиях в военной академии Сандхэрст, посвященных использованию войск «для поддержания внутренней безопасности». На учебном поле был создан макет города, охваченного беспорядками. Толпа бунтовщиков, роль которых выполняли курсанты, швыряла камни и строила баррикады.

Однако никакая имитация не может сравниться с реальной действительностью такого полигона, как Ольстер, где новые средства и методы подавления «подрывной и повстанческой деятельности» могут отрабатываться в подлинной боевой обстановке, по существу в условиях гражданской войны.

В свое время в армиях некоторых государств были сторонники раздавать на маневрах по одному боевому патрону на тысячу холостых, чтобы заставить солдат относиться к учениям серьезно. В Северной Ирландии такой необходимости нет. Звуковых эффектов здесь меньше, чем на маневрах. Зато каждый выстрел или взрыв предназначен нести смерть. Не случайно «школу Ольстера» поочередно проходят все боевые части страны.

Параллельно с этим идет разработка новых видов военной техники, специально предназначенных для различных стадий борьбы против «подрывной и повстанческой деятельности». Именно в Северной Ирландии были испытаны в боевых условиях более 300 технических новинок в постоянно обогащающемся арсенале репрессий. Так, например, водяные пушки, примененные при разгоне первой демонстрации борцов за гражданские права в Дерри, были впоследствии дважды усовершенствованы. К водяной струе стали добавлять несмываемый краситель, чтобы «метить» демонстрантов, а затем — раствор газа «си-ар», позволяющий создавать заграждения из ядовитой пены. В сообщениях из Белфаста часто упоминаются каучуковые и пластиковые пули, нейлоновые сетки для «выхватывания зачинщиков из толпы», полицейские дубинки с электрическим разрядом.

Наконец, помимо роли полигона для обучения войск и испытания карательной техники, Северная Ирландия служит для Лондона лабораторией репрессивных законов. Под предлогом борьбы с терроризмом, говорит заместитель Генерального секретаря компартии Ирландии Джеймс Стюарт, армия, полиция и суды создали целый комплекс жестких репрессивных мер, которые дают правящим кругам новые возможности для подавления политической оппозиции. «Закон о предотвращении терроризма», действующий на всей территории Соединенного Королевства, позволяет держать

семь суток под арестом любого подозреваемого. А бывают случаи, что в ожидании суда человек находится под стражей несколько месяцев. Именно в Северной Ирландии положено начало новым методам судебного разбирательства — на закрытых заседаниях, без участия присяжных, без выступлений свидетелей обвинения в присутствии подсудимого.

Более века назад, в 1870 году, Маркс в одном из своих писем предостерегал, что ирландский конфликт дает британскому правительству повод содержать армию, которая при необходимости может быть использована против английских рабочих, после того как пройдет военную подготовку в Ирландии. Эти пророческие слова перекликаются с современными тревогами демократической общественности. Она опасается, что сегодняшний день Белфаста может стать завтрашним днем Бирмингема, что жандармские функции армии в североирландской столице окажутся репетицией карательных операций в общебританском масштабе.

Нельзя забывать, что именно стереотип предубеждений об ирландцах послужил зародышем имперской идеологии, представления о том, что к народам колоний неприменимы общепринятые моральные нормы. Именно из этого стереотипа выросла идея о том, что «десять заповедей не имеют силы к востоку от Суэца». Не удивительно, что принципы джентльменского поведения, показательные атрибуты либерализма перестают действовать и в отношении британских трудящихся, как только классовое господство их правителей оказывается под угрозой.

Британцы искренне осуждают порабощение в других частях мира, оставаясь слепыми к его существованию на собственном заднем дворе. Страдания алжирских феллахов, польских батраков или жертв еврейских погромов в дореволюционной России пробуждали в британцах сочувствие, но они оставались сравнительно равнодушными к стонам ирландцев. Революции в Греции, Польше, Венгрии, Италии привлекали их поддержку и разжигали их воображение. Однако восстания ирландцев вызывали у них лишь непонимание и гнев.

Ричард Лебоу (США), «Белая Британия и черная Ирландия» (1976).

Писать книгу об Англии и англичанах без главы, посвященной Ирландии, — значит пропустить фазу в английской социальной и политической истории, которая проливает много света на английский характер.

Англичанин должен управлять, должен управлять один, не допуская, чтобы какая-то низшая раса посягала на его главенство, причем все расы для него считаются низшими. Полная невосприимчивость, полная слепота ко всем другим качествам, кроме собственных; холодное упрямство и полная неспособность изменить свои методы или приспособиться к другому темпераменту — все это разительно бросается в глаза в отношениях Англии с Ирландией.

Самое поразительное в англо-ирландских отношениях — это то, что англичане воспринимают их как должное. Разве мы не самый богобоязненный, самый справедливый, самый христианский народ? — спрашивают они себя. А раз так, возможно ли, чтобы мы убивали, грабили, обрекали на голод и изгнание нашего брата-ирландца?

Ничто, судя по всему, не может затушевывать черты британского характера, проявляющие себя в отношении к Ирландии: преклонение перед успехом и владычеством и холодное безразличие ко всему, что оказывается для англичанина помехой к их достижению.

Прайс Кольер (США), «Англия и англичане — с американской точки зрения» (1912).

Порой кажется, что излюбленное занятие англичан — разглядывать соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном. Они полны весьма добродетельного негодования по поводу того, что в Америке продолжает существовать рабство (хотя именно они его там насадили), и в то же время без всякого труда не замечают рабства сотен миллионов индийцев. Они читают другим нравоучения о добродетелях и долге миролюбия, но без колебания спускают с цепи своих военных псов всюду, где возникают какие-то помехи для их суко́н и их ситцев.

Уильям Уэйр (США), «Скетчи европейских столиц» (1851).

«РАЗЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО»

«Впечатления и размышления об Англии и англичанах» — сказано в подзаголовке этой книги. Пора, пожалуй, предостеречь читателя, что население страны, о которой идет речь, вкладывает в эти понятия несколько иной смысл, чем мы.

Если на первых страницах лондонских газет замелькают заголовки «Англия вырвалась вперед», «Соперники Англии остались позади», «Англия снова побеждает», не следует думать, что родина промышленной революции вернула себе утраченное положение мастерской мира. Можно не сомневаться, что речь в подобных случаях идет либо о футболе (зимой), либо о крикете (летом). Слово «Англия» как таковое чаще всего употребляется в этой стране лишь в спортивном контексте.

На наш взгляд, слова «Англия», «Великобритания», «Соединенное Королевство» различаются лишь тем, что первое из них наиболее обиходно, а последнее наиболее официально. Мы привыкли называть жителей Соединенного Королевства англичанами, так же как мы привыкли называть жителей Соединенных Штатов американцами.

Однако пожив в Лондоне и тем более побывав в Эдинбурге, Кардиффе или Белфасте, начинаешь понимать, что каждый из трех приведенных выше терминов имеет свой, отнюдь не равнозначный двум другим смысл, свои географические, экономические, наконец, статистические рамки. Скажем, корреспонденция из Лондона начинается с фразы: «По только что опубликованным официальным данным, уровень безработицы в Соединенном Королевстве достиг 6 процентов рабочей силы».

— При чем тут королевство? — поморщится дежурный редактор, готовя материал в набор. — Не проще ли сказать — в Англии?

Однако если внести подобное исправление, станет непонятной следующая фраза: «Как явствует из той же сводки министерства занятости, аналогичный показатель для Великобритании составляет 5, а для Англии — 4 процента». Для лондонца, однако, такая градация вполне привычна и ясна: Великобритания — это Соединенное Королевство без Северной Ирландии (где процент безработных, как правило, наиболее высок), Англия — это Великобритания без Шотландии и Уэльса (то есть юго-восток страны, где проблема занятости обычно наименее остра).

Все эти нюансы мне довелось испытать на себе. Из Москвы я уезжал как корреспондент «Правды» в Англии. В Лондоне коллеги тут же предостерегли, что такое удостоверение сойдется отнюдь не везде. Если предъявить его, скажем, в Эдинбурге, может последовать саркастический вопрос:

— Корреспондент «Правды» в Англии? Что же вы тогда делаете в Шотландии?

Дабы застраховать себя на сей счет, я решил заказать визитные карточки с надписью: «Корреспондент «Правды» в Великобритании».

— А разве вы не собираетесь бывать в Северной Ирландии? — спросили меня в пресс-клубе.

— Разумеется, собираюсь!

— Тогда, — вновь поправили меня, — аттестуйтесь как корреспондент «Правды» в Соединенном Королевстве.

Привычка говорить об Англии и англичанах, имея в виду Британию и британцев, присуща отнюдь не нам одним. В любой из зарубежных столиц лондонцу куда труднее, чем парижанину или токийцу, найти в телефонном справочнике номер своего консульства. Он даже не представляет себе, на какую букву искать собственную страну: то ли на А — как Англию, то ли на В — как Великобританию, то ли на С — как Соединенное Королевство.

Обычай произвольно смешивать понятия «британский» и «английский», пожалуй, столь же распространен за пределами туманного Альбиона, как присущая западной печати склонность путать слова «советский» и «русский». Выражение «английский парламент» так же режет ухо шотландцу, как нам рассуждения о «русских пятилетках». Кстати, когда футбольная команда «Арабат» выступала в Шотландии, в одной из местных газет появился заголовок: «Русские забили нашим два гола». На что капитан команды гостей резонно заметил: «Это не русские, а армяне забили вам два гола. — И дипломатично добавил: — Русские, может быть, забили бы и больше, а может быть — меньше».

Короче говоря, огульно именовать всех подданных Соединенного Королевства англичанами значит допускать такую же неточность, как называть русскими узбеков, грузин или эстонцев или говорить о немецкой экономике, имея в виду германскую.

Считается, что слово «британец» первым употребил Шекспир в своей трагедии «Король Лир». Произведение это было создано вскоре после знаменательного для англичан и шотландцев события — объединения двух престолов.

В марте 1603 года королевский гонец сэр Роберт Кэрей проскакал, меняя лошадей, 400 миль от Лондона до Эдинбурга за 62 часа. Этот конный марафон был совершен, чтобы известить Якова VI, что после смерти бездетной Елизаветы он унаследовал английский престол. Шотландец из династии Стюартов был наречен королем Великобритании Яковом I.

Еще столетие спустя — в 1707 году, при королеве Анне, — согласно Акту об унии произошло объединение парламентов двух стран. Новым государственным флагом Великобритании стал «Юнион Джек», объединивший английский флаг святого Георга (белое полотнище, пересеченное прямым красным крестом) и шотландский флаг святого Андрея (синее полотнище, пересеченное наискось белым крестом, — кстати говоря, тот самый Андреевский стяг, под которым со времен Петра I ходили военные корабли российского флота). На футбольных матчах между командами Англии и Шотландии, которые здесь принято считать международными встречами, шотландцы бурно негодуют, завидя в руках английских болельщиков «Юнион Джек».

Акт об унии 1707 года подвел черту под почти девятивековой историей Шотландии как независимого государства. Однако, как не преминут подчеркнуть в Эдинбурге, Шотландия не была завоевана. Она сохранила свою собственную церковь, свой свод законов и судебную систему (так что термин «английское право» является точным, тогда как вместо «английская внешняя политика» правильнее говорить «британская»); не случайно В. И. Ленин употребляет в своих произведениях термин «британский империализм»).

За Шотландией донны сохранено и право выпускать собственные денежные знаки, которые имеют хождение «к северу от границы» наряду с обычными фунтами и пенсами, а также свои почтовые марки. Этот типичный для Лондона компромисс служил безопасной отдушной для национального самолюбия вплоть до недавней непредвиденной вспышки страстей.

К двадцатипятилетию восшествия королевы на престол была задумана единая для всей страны юбилейная серия марок в честь Елизаветы II. Однако шотландцы решительно воспротивились тому, чтобы имя монарха сопровождалось римской цифрой: «Елизавета времен Шекспира была королевой лишь для англичан, а раз так, нынешняя королева не может быть для шотландцев Елизаветой II». Чтобы предотвратить нежелательный накал эмоций, спорная цифра была снята с королевского вензеля на территории Шотландии, причем не только с марок, но и с оформления юбилейных торжеств вообще.

Последний сеанс в лондонских кинотеатрах, последняя передача по телевидению и радио изо дня в день завершаются государственным гимном «Боже, храни королеву». В четвертом куплете его, который ныне деликатно пропускается, идет речь об усмирении непокорных шотландцев (гимн сочиняли в разгар борьбы против якобитов — поборников независимости). Подобным же образом перед закрытием любой шотландской пивной по традиции звучит народная песня, зовущая на бой против английских завоевателей.

Межнациональная рознь не новость на Британских островах. Достаточно вспомнить о Северной Ирландии. Однако в последнее время все более серьезной проблемой для Лондона становится вдобавок неуклонный рост шотландского и уэльского национализма. Гамлетовский вопрос наших дней: «Великая Британия или Малая Англия?» — отражает не только потерю заморских владений, но и обострение националистических, даже сепаратистских тенденций в самой бывшей метрополии. Лишившись империи, Лондон вынужден теперь с тревогой оглядываться на королевство.

Штаб-квартира Шотландской национальной партии в Эдинбурге увешана плака-

тами с цветком чертополоха. Как роза у англичан, цветок этот считается у шотландцев национальной эмблемой.

— Подъем шотландского национализма,— говорят там,— порожден упадком британского империализма. Одно дело — быть пасынком империи, которая правила когда-то четвертой частью мира, и другое дело — быть пасынком «большого человека Европы». Пришла пора вспомнить, что Акт об унии тысяча семьсот седьмого года был своего рода браком по расчету. Он имел для Шотландии определенную цель: получить доступ к заморским владениям Англии. Имперские горизонты действительно открыли шотландцам новый простор для применения сил и способностей. Но не стало империи — и они вновь почувствовали себя прежде всего не британцами, а шотландцами. Тем более что чертополоху теперь достается куда меньше ухода, чем розе...

По площади Шотландия составляет две трети Англии. По населению же — немногим больше одной десятой. Причем 95 процентов жителей — почти 5 миллионов — сосредоточены в Низинах, то есть в юго-восточной половине Шотландии, и лишь четверть миллиона человек приходится на ее северо-западную половину, которую называют Взгорья.

Между Взгорьями и Низинами всегда существовал разительный, причем не только географический, контраст. Горцы, эти бедуины Шотландии, скотоводы и воины, привыкли свысока смотреть на более зажиточных обитателей Низин — земледельцев, ремесленников, торговцев. Именно Взгорья с их клановой системой были средоточием шотландского национального духа; именно они послужили оплотом якобитов; именно они же в наибольшей степени пострадали от карательных походов англичан, в особенности от жестокой расправы, которую учинил над непокорными кланами герцога Камберлендский. Однако даже тогда, в XVIII веке, Взгорья насчитывали 25 процентов жителей Шотландии. Ныне же их осталось лишь 5 процентов.

Подобно обезлюдевшему западу Ирландии, пустыньность шотландских Взгорий напоминает об участии народов, ставших первыми жертвами английской экспансии. (Лишь здесь, как и в ирландской провинции Коннот, еще сохранился местный язык, на котором говорят всего 70 тысяч шотландцев.)

Население современной Шотландии сосредоточено главным образом в Глазго и долине реки Клайд. В конце XVIII века именно там, как и в прилегающих районах Северной Англии, у месторождений антрацита и железной руды, возле морских заливов, удобных для строительства верфей, набирала силу промышленная революция. Но именно эти традиционные отрасли британской индустрии — угольная промышленность, черная металлургия, судостроение — переживают в послевоенные годы наибольший упадок из-за нежелания предпринимателей вкладывать деньги в их модернизацию.

Развитие новых, перспективных отраслей явно тяготеет к юго-востоку страны, к Лондону. Шотландии же выпала участь периферии, которая особенно болезненно ощущает свою чрезмерную зависимость от шахт, домен и верфей. Именно в долине Клайда находится 115 из 120 официально зарегистрированных в Британии «зон упадка». По критическому состоянию жилого фонда, или, проще говоря, по количеству трущоб, Глазго не имеет себе равных среди городов Западной Европы.

Средний доход на семью в Шотландии почти на одну треть ниже, чем в Юго-Восточной Англии. Жизненный уровень одного миллиона человек, то есть каждого пятого жителя, вплотную соприкасается с официальным рубежом бедности. Еще один миллион шотландцев за послевоенные годы эмигрировал на чужбину (за пределами родины проживают более 20 миллионов шотландцев).

Все эти социально-экономические трудности Шотландии, помноженные на общие для всей Британии последствия распада колониальной империи, давно уже подогревали националистические чувства, рождали толки о том, что лондонские власти слишком далеки от шотландских проблем и решение их способны найти лишь сами шотландцы. Но когда разговоры о какой бы то ни было самостоятельности доходили до коридоров власти в Лондоне, там лишь скептически кривили губы:

— На чем же думают прожить без нас эти шотландцы? На экспорте виски?

И вот 70-е годы вдруг влили в шотландский национализм совершенно новую струю: началось освоение нефтяных богатств Северного моря. Причем большинство месторождений в его британском секторе оказалось именно у берегов Шотландии.

Само собой разумеется, что поток черного золота породил в Лондоне и Эдинбурге весьма различные планы и намерения.

— Прежде англичане твердили нам, что для независимости мы слишком бедны. Теперь же оказалось, что мы для этого слишком богаты,— иронизируют шотландские националисты.

В своих лозунгах о черном золоте националисты явно делают ставку на своекорыстие обывателя: «Лучше богатая Шотландия, чем бедная Британия!», «Если нефть сулит что-то для 56 миллионов британцев, значит, она может дать вдесятеро больше 5 миллионам шотландцев!»

Выступая за независимость Шотландии, националисты имеют в виду создание конфедерации британских государств наподобие Северного союза, объединяющего скандинавские страны, или Бенилюкса. Шотландцы тогда остались бы британцами в такой же мере, в какой норвежцы считаются скандинавами. Итак, «твидовый занавес», как окрестила пресса амбиции шотландских сепаратистов, стал все более настораживающим видением на британском политическом горизонте.

Надписи «Англичане, убирайтесь домой!» можно увидеть и в Уэльсе. Но там рост националистических настроений имеет не столько политическую, сколько культурную окраску. Он проявляется, в частности, как движение за распространение языка (на котором говорят 600 тысяч из 2 800 тысяч жителей Уэльса), за сохранение народной песни и других форм самобытной национальной культуры.

Уэльс стал частью Англии еще в средние века. Чтобы закрепить свою власть над завоеванным горным краем, английские короли возвели там немало замков. Но местные вожди то и дело проявляли непокорность. И в 1281 году Эдуард I решил, по преданию, перехитрить их. «Если вы присягнете на верность английской короне,— сказал он,— обещаю, что княжить вами будет человек, который родился на земле Уэльса и не знает ни слова по-английски». А когда местные вожди клятвенно признали власть Англии, Эдуард I показал им своего младенца, родившегося накануне в Орлиной башне замка Карнарвон. (С тех пор наследник британского престола по традиции носит титул принца Уэльского.)

Уэльс был когда-то британским Донбассом. В его индустрии доминируют сталь и уголь. Но сейчас именно эти отрасли переживают упадок, который, как и в Шотландии, сказывается там особенно болезненно. Уэльс, правда, богат водой, снабжая ею главные города и промышленные центры Англии. Но хотя местные националисты стараются усмотреть в этом некую аналогию с шотландской нефтью, для сепаратизма в Уэльсе попросту нет экономической почвы.

Тем не менее рост влияния национальных партий в Шотландии и Уэльсе способен серьезно сказаться на соотношении политических сил в общebritанском масштабе. Лейбористы считают эти национальные окраины своими традиционными оплотами, без которых им трудно добиться большинства над консерваторами в палате общин, а значит — быть правящей партией.

Чтобы сохранить за собой голоса избирателей, а также приглушить националистические и тем более сепаратистские тенденции, лейбористы пообещали предоставить Шотландии и Уэльсу больше самоуправления, в частности создать там нечто вроде местных парламентов — выборные ассамблеи, в Шотландии из 150, в Уэльсе из 70 депутатов. Замысел состоит в том, чтобы передать в ведение таких ассамблей деятельность местных органов власти, вопросы здравоохранения, народного образования, жилищного строительства, местного транспорта, а также позволить ассамблеям по своему усмотрению распределять средства, которые выделяются данным районам из государственного бюджета.

Однако верховная законодательная власть целиком остается за Вестминстером. Парламент в Лондоне имеет право вето над решениями ассамблей в Эдинбурге и Кардиффе и к тому же сохраняет полный контроль над вопросами обороны, иностранными делами, финансовой и экономической политикой, а значит, и доходами от североморской нефти, поступающими в британскую казну.

Способно ли расширение местной автономии разрядить накал националистических страстей? Или же выборная ассамблея, наоборот, окажется желанной трибуной для сепаратистов, позволит им приписывать себе каждый успех, а каждую неудачу

объяснять недостатком переданных на места прав и требовать их расширения? На сей счет на берегах Темзы идут жаркие споры.

Однако как бы ни кипели страсти, большинство населения Шотландии не склонно к отделению Англии, что сделало бы страну легкой добычей межнациональных корпораций.

— Мы сторонники самоуправления, но противники сепаратизма, — заявляет шотландский конгресс тред-юнионов. — Интересам трудящихся, как шотландцев, так и англичан, отвечает укрепление сплоченности британского рабочего движения, а не подмена классового единства национальной рознью.

«Разъединенное королевство» — это пока лишь хлесткий заголовок, кочующий по газетным и журнальным страницам: из французской «Нувель обсерватёр» в американский «Тайм», а оттуда в британскую «Санди телеграф». Но это и напоминание о проблемах политической, экономической, социальной, эмоциональной, которые нельзя сбрасывать со счетов.

Итак, не будем забывать, что на Британских островах обитает не один, а четыре народа, что, кроме англичан, там есть шотландцы, ирландцы и уэльсцы, национальное самосознание которых весьма обострено. Так что, оказавшись на родине Роберта Бернса, не следует называть его своим любимым английским поэтом или, опустившись в шахту Южного Уэльса, выражать радость по поводу встречи с английскими горняками...

Когда люди говорят «Англия», они иногда имеют в виду Великобританию, иногда Соединенное Королевство, иногда Британские острова, но редко Англию как таковую.

Джордж Микеш (Венгрия), «Как быть иностранцем?» (1946).

Англия, Шотландия и Ирландия объединяются, чтобы держать в повиновении колонии. Англия и Шотландия объединяются, чтобы держать в повиновении Ирландию. Англия объединяется, чтобы держать в повиновении Шотландию. В самой Англии верхи общества объединяются, чтобы держать в повиновении низы.

Ральф Эмерсон (США), «Английские черты» (1846).

Дилемма Британии состоит ныне в том, как осуществить подлинную местную автономию, не превратившись при этом, по сути дела, в «разъединенное королевство».

«Тайм» (США), 27 октября 1975 года.

ДЖОН БУЛЛЬ: СЛАГАЕМЫЕ И СУММА...

«Что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы, совершенно открытое чужому взгляду?»

Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. Нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее...»

Эти слова Маризетты Шагинян уже приводились в первой главе впечатлений и размышлений об Англии и англичанах. К ним же хочется вновь вернуться, берясь за завершающую главу.

Спору нет, мы в целом знаем об англичанах гораздо больше, чем, скажем, о японцах. Тут и общность корней европейской цивилизации с ее античным греко-римским фундаментом и христианской моралью. Тут и давнее знакомство наших народов с культурным наследием друг друга, и прежде всего с литературой, способной раскрывать в художественных образах черты национального характера.

Но близко столкнувшись с англичанами, чувствуешь, сколько еще в них нам неведомого, по нашим понятиям необъяснимого, как много предвзятых, а подчас превратных представлений о них порождается привычкой подходить к другому народу со своими мерками, мерить все на свой аршин. С другой стороны, живя среди англичан, убеждаешься, что, если постигнуть грамматику их отношений, выявить корни их

обычаев и привычек, разобраться в системе их взглядов и представлений, в обитателях туманного Альбиона нет ничего загадочного, парадоксального.

Мне доводилось немало общаться с англичанами в Китае и Японии, в их бывших колониях к востоку от Суэца. Но после четырех прожитых в Лондоне лет приходишь к выводу, что по-настоящему узнать англичан можно только в Англии.

Выше уже говорилось, что в палисаднике перед своими окнами англичанин становится совсем другим, чем в уличной толпе. Подобное же сопоставление правомерно и в более широком смысле. Многие привлекательные стороны своей натуры англичане раскрывают лишь на родине (они как бы предназначены для внутреннего потребления и не экспортируются за пределы страны), тогда как те черты, которые менее всего нравятся иностранцам, становятся особенно заметными именно за рубежом. Думается, что подобная двойственность порождена все тем же эгоцентризмом, представлением о том, что «туземцы начинаются с Кале». Находясь среди соотечественников, англичанин может поднять забрало. Он не сомневается, что все вокруг знают правила игры и будут следовать им. Но, попав в незнакомое окружение, оказавшись среди неведомых и непредсказуемых иностранцев, англичанин как бы разворачивается в боевой порядок, жестко реагируя на все непривычное. И эта настороженно-оборонительная поза часто дает повод отрицательно судить о нем.

«Чопорные англичане» — вот привычное словосочетание, которое давно стало стереотипом. А между тем куда уместнее, пожалуй, говорить не о чопорности, а о щепетильности, причем в лучшем смысле этого слова. Эта щепетильность основана на умении и готовности уважать человеческую личность, оберегать человеческое достоинство как в себе, так и в других людях. Именно этим себялюбие англичанина отличается от эгоизма, именно по этой причине его индивидуализм не подавляет общественного начала.

Разумеется, эта же щепетильность рождает обостренную боязнь вторжения в чужую частную жизнь, заставляет англичан быть замкнутыми и необщительными, особенно с незнакомыми людьми.

Сталкиваясь с подобной чертой, поначалу сетуешь, что она делает процесс вживания в британскую действительность долгим и мучительным. Затем убеждаешься, что наряду со сдержанностью англичанам присуща не только вежливость, но и взаимная приветливость — правда, приветливость без назойливости. И наконец, приходишь к самому важному выводу: замкнутого англичанина, к которому вроде бы нельзя подступиться, не так уж трудно «раскрыть» с помощью простой и безотказной отмычки. Нужно обратиться к нему за помощью или хотя бы косвенно показать, что нуждаешься в ней.

Попытка разговаривать с незнакомыми людьми в поезде Лондон — Эдинбург скорее всего окажется бесплодной (особенно если по привычке начинать разговор с вопроса, куда и зачем случайные спутники едут, есть ли у них дети и сколько они зарабатывают). Опыт свидетельствует, однако, что разбить лед отчужденности не так уж сложно. Нужно перво-наперво декларировать свою беспомощность, как бы передать сигнал бедствия, на который английская натура не может не откликнуться.

— Просту простить меня, но я иностранец и плохо разбираюсь в британских делах. Не смогли бы вы объяснить мне, почему в Шотландии пошли разговоры об отделении от Англии и насколько серьезны такие настроения?

После такого обращения от молчаливых вагонных спутников можно услышать не то что реплику, а двухчасовую лекцию. Причем отличительной чертой ее будет не только достоверность фактов и серьезность аргументов, но и непредвзятость, сбалансированное изложение различных взглядов на данную проблему.

«Я иностранец. Не поможете ли вы мне...» Этой фразой можно остановить на улице первого встречного и быть уверенным, что он окажет любую посильную услугу. Этими же словами можно вызвать на дискуссию по какой угодно теме соседа в пабе. Нужно, впрочем, иметь в виду, что при своей приветливости и доброжелательности, готовности помочь, пойти навстречу, выручить из беды англичане остаются абсолютно непоколебимыми во всем, что касается соблюдения каких-то правил, а тем более законов. Здесь они не допускают снисхождения ни к себе, ни к другим. Сколько бы турист ни

пытался разжалобить контролера лондонского метро, сколько бы он ни ссыался на то, что у него на родине нет нужды сохранять билет до конца поездки, ибо его проверят только при входе, его все равно не выпустят на улицу, пока он вторично не оплатит проезд, и любые просьбы сделать для него исключение или поблажку по незнанию ни к чему не приведут.

Это, разумеется, не умаляет сказанного. Сочетание щепетильности с отзывчивостью бесспорно хочется отнести к привлекательным чертам англичан.

Другим их достоинством можно считать уравновешенность, уживчивый характер. В повседневном быту они умело избегают болезненных столкновений, принаравливаются и приспособляются друг к другу, проявляя взаимную предупредительность, сдержанность и терпимость. Они считают ссоры неразумной и бессельной тратой нервной энергии, поскольку подобные стычки, на их взгляд, лишь обостряют разногласия, вместо того чтобы преодолевать их. Они способны сохранять самообладание в споре, оставаться объективными и к себе и к другим, признавая, что, поскольку любая истина имеет много сторон, о ней может быть много различных суждений.

Бережливость — вот качество, которое англичане проявляют и к деньгам, и к словам, и к эмоциям. Они врожденно недемонстративны, они не только предпочитают недомолвку преувеличению, но и неприязненно относятся к любому открытому выражению чувств, будь то любовь или ненависть, восторг или гнев.

Порой хочется сделать вывод, что англичане флегматичны от природы: их эмоции пробуждаются медленно, почти никогда не выходят из-под контроля и быстро иссякают. Их врожденная недемонстративность к тому же подкрепляется боязнью вторжения в чужую частную жизнь. Близкие друзья человека, которых он знает по школе или университету, по спортивному клубу или военной службе, могут быть совершенно незнакомы его жене. Пожалуй, даже само понятие «друг» имеет здесь своеобразную трактовку, более близкую к тому, что мы понимаем под словом «знакомый». Людей сближает определенный круг общих интересов, причем чаще связанных с досугом, чем с повседневным трудом. Личная же жизнь обычно остается за пределами этого круга.

Следующая примечательная черта англичан — их способность быть скептиками в минуты радости и стойкими в минуты горя. Они принимают жизнь такой, как она есть, умеют ценить ее улыбки и игнорировать ее гримасы, не драматизируя ни того, ни другого. Даже серьезные проблемы редко поглощают англичанина целиком, тем более надолго. Он каждодневно демонстрирует умение отключаться от забот, спеша то ли на футбольный матч, то ли на кружок филателистов, то ли в свой излюбленный паб, где с величайшим удовольствием забывает обо всем, что беспокоило его несколько часов назад.

Недемонстративный в радости, англичанин, напротив, демонстративен в беде, точнее в умении ее игнорировать. Именно в трудные минуты проявляется его окрашенный юмором оптимизм. Он не прочь поворчать, пока все идет хорошо. Но если ему не повезло, он не станет жаловаться, докучать другим перечислением своих невзгод. Англичане обладают поразительным даром преуменьшать неприятности, а если они очень велики — вовсе не замечать их. Они как бы убеждают себя: не смотри на это, не говори об этом, не думай об этом — и, может быть, это в конце концов пройдет стороной. Способность встречать трудности юмором и оптимизмом — бесспорно, источник силы англичан. Но склонность игнорировать все неприятное, выдавать желаемое за действительное подчас толкает их к самообману и становится источником их слабости.

В своей книге «Английский юмор» Джон Б. Пристли признает, что большинство зарубежных путешественников пишут об обитателях туманного Альбиона как о людях угрюмых и мрачных, склонных к пессимизму и меланхолии. Фраза о том, что «англичанин приемлет наслаждения с печальным видом», повторяется на все лады, как и модное в прошлом веке выражение «английская тоска». По словам Пристли, гости из-за Ла-Манша заблуждаются, подходя к разным народам с одинаковой меркой. Жизнь во Франции, подчеркивает он, замешана на остроумии, тогда как жизнь в Англии замешана на юморе. Но французское остроумие расцветает в общественной атмосфере. Даже путешественник, не знающий языка, ощущает его искрометность на многолюдных бульварах, наблюдая оживленные группы за столиками кафе.

С другой стороны, английский юмор представляет собой нечто сокровенное, частное, не предназначенное для посторонних. Он проявляется в полузаметных намеках и усмешках, адресованных определенному кругу людей, способных оценить эти недомолвки как распливчатые блики на хорошо знакомых предметах. Вот почему юмор этот поначалу чужд иностранцу. Его нельзя ощутить сразу или вместе с освоением языка. Его можно лишь отфильтровать как часть аромата страны, причем как самую трудноуловимую его часть.

Англичане, считает Пристли, шутивы в мыслях и серьезны в чувствах. Они не обращаются к рассудку с просьбой найти нужный ключ, если инстинкт подсказывает им, что двери и так открыты. Поэтому когда они думают, они не боятся быть «шутливыми в мыслях». С другой стороны, англичане считают эмоции ключом к их заветной крепости — внутреннему «я». Потерять контроль над собой значит для них рисковать неприкосновенностью этой цитадели. Поэтому когда они переживают, они склонны оставаться «серьезными в чувствах».

Английский юмор как раз и представляет собой умение быть шутливым в мыслях, оставаясь серьезным в чувствах. Он предполагает недосказанность, способность смеяться над собой, а также склонность игнорировать неприятные стороны жизни, подчас порождая оптимизм, построенный на самообмане.

Европа вообще знает об англичанах несколько больше, чем об Англии, хотя об этом народе существует больше распространенных заблуждений, чем об этой стране. Картина, сложившаяся в сознании образованного европейца, изображает англичанина человеком спортивным, практичным, немногословным, деловитым, консервативным, дисциплинированным, склонным или к пуританству, или к эксцентричности, а также к меланхолии. Такова, я думаю, общая сумма представлений, оставленных немногочисленными английскими туристами и еще более малочисленными английскими романами в большинстве умов. Там, где было меньше туризма и больше чтения, к этому портрету может быть добавлен поэтический или лирический дар.

Пьер Майо (Франция), «Английский образ жизни» (1945).

Что же управляет англичанином? Безусловно — не разум; редко — страсть; вряд ли — своекорыстие. Если сказать, что англичанином управляют обычаи, возникает вопрос: как может тогда Англия быть краем индивидуализма, эксцентричности, ереси, юмора и причуд?

Англичанином управляет его внутренняя атмосфера, погода его души. Когда он после прогулки пьет чай или пиво и раскуривает свою трубку; когда он усаживается в удобном кресле у себя в саду или у камина; когда он, умытый и причесанный, поет в церкви, отнюдь не задумываясь над тем, верит ли он хотя бы слову в этих псалмах; когда он слушает сентиментальные песни, которые его не трогают, но и не раздражают; когда он решает, кто его лучший друг и кто его любимый поэт; когда он выбирает политическую партию или невесту; когда он охотится, стреляет дичь или шагает по полям, — им всегда руководит не какой-то точный довод разума, не какая-то цель, не какой-то внешний факт, а всегда атмосфера его внутреннего мира.

Джордж Сантаяна (Испания), «Монологи в Англии» (1922).

Англичанам присуща равнодушная прямота насчет их наиболее очевидных недостатков. Мы не стыдясь, в полный голос признаем себя немзыкальными, нелогичными, неспособными к иностранным языкам, не умеющими варить овощи. Ни один англичанин не станет оспаривать, что он недостаточно образован. Справедливо ли это обвинение? По сравнению со многими народами континента мы действительно скорее недостаточно, чем чересчур образованны. Как нация мы несколько стыдимся «учености», избегаем обретать слишком много познаний, нарочито демонстрировать их, а порою даже признаваться в том, чем мы обладаем. Наша слабость состоит в том, что слово «интеллектуал» вызывает среди нас недоверие.

Вайолет Картер (Англия), из сборника «Характер Англии» (1950),

В Лондоне часто дивисься тому, как англичане переделывают старые дома. От первоначальной постройки не остается решительно ничего, кроме фасада. Но фасад этот с превеликими хлопотами и дополнительными затратами заботливо сохраняют в неприкосновенности, хотя здание от фундамента до крыши возводится заново.

В этом суть английского подхода к жизни. Вместо того чтобы до основания сломать старое и на его месте воздвигнуть нечто совершенно новое, англичанин, как правило, старается многократно перестраивать, подновлять, приспособливать к новым условиям то, что уже есть. Любой старый дом носит тут следы многочисленных перестроек, отнюдь не делающих его планировку разумной и удобной.

Подобный же метод лежал в основе восстановления британской экономики после второй мировой войны: возвращали к жизни разрушенные предприятия, возрождали старую промышленную структуру, вместо того чтобы создавать новые, перспективные отрасли индустрии, как это сделала, например, Япония. Послевоенная реформа английского народного образования не ставила целью отменить явно отжившую систему, а была направлена лишь на то, чтобы частично ее подправить.

Если англичанин скажет о своем доме: «Пусть неудобный, зато старый» — в его словах не будет и тени той иронии, которую мы вкладываем в шутливый каламбур: «Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным». Само понятие «старый» воспринимается им как достоинство, способное компенсировать сопутствующие недостатки. Сказать о фирме, что она самая старая в своем деле, значит одарить ее высшим комплиментом. Нелепый обычай, причиняющий уйму неудобств, остается незыблемым лишь потому, что существует с незапамятных времен.

Москвичу привычно считать, что раздражающие его житейские неурядицы представляют собой болезни роста, побочный продукт недавнего и быстрого развития. Лондонцу же свойственно смотреть на это иначе. Несовершенства жизни чаще воплощают для него наследие прошлого, нечто исконно английское, а коль так — волей-неволей достойное уважения.

У англичан даже само слово «консерватор» наряду с негативным несет в себе и позитивный смысл: это не только противник перемен, но и тот, кто консервирует, то есть оберегает наследие прошлого. Среди превеликого множества различных добровольных обществ наибольшим уважением пользуются общества сторонников сохранения чего-то или противников разрушения чего-то. Они появились еще задолго до того, как защита окружающей среды стала модной и актуальной проблемой. Даже будучи родиной промышленной революции, Англия все же сумела в большей степени уберечь свою природу от побочных отрицательных последствий индустриализации, чем это удалось, скажем, послевоенной Японии.

Английский консерватизм произрастает на почве уважения традиций. Именно они скрепляют брак настоящего с прошлым, столь присущий английскому образу жизни. Где еще питают такое пристрастие к старине — к вековым деревьям и дедовским креслам, старинным церемониям и костюмам? Трудно сказать, почему именно стражники в Тауэре одеты так же, как и во времена Тюдоров, почему студенты и профессора в Оксфорде носят мантии XVII века, а судьи и адвокаты — парики XVIII века?

Англия явилась родиной почтовой кареты, почтового ящика и почтовой марки. Стало быть, к числу ее изобретений относится и современный письмоносец. Однако лондонский почтальон выглядит иначе, чем ожидаешь его увидеть по четверостишиям Маршака. Он до сих пор ходит не с сумкой, а с большим холщовым мешком на спине. Примечательный штрих! Он свидетельствует, что с архаичными предметами и явлениями в Англии можно встретиться всюду — даже там, где ей по праву принадлежит честь новатора и первооткрывателя. Другие страны, которые переняли и усовершенствовали английскую систему почтовой службы, давно уже снабдили письмоносцев более удобными сумками. А тут, можно сказать у истоков, в силу традиции сохранился мешок из дерюжной ткани.

Англичане не просто питают пристрастие к старине. Прошлое то и дело служит им как бы справочной книгой, чтобы ориентироваться в настоящем. Сталкиваясь с чем-то непривычным и незнакомым, они прежде всего инстинктивно оглядываются на прецедент, стараются выяснить: как в подобных случаях люди поступали прежде? Если

новое приводит англичан в смятение, то пример прошлого дает им чувство опоры. Поэтому поиск прецедентов можно назвать их излюбленным национальным спортом.

Живя в Лондоне, нетрудно подметить своеобразную склонность англичан ходить на концерты ветеранов сцены, чтобы аплодировать артистам, давно прошедшим зенит своей славы. Эти поклонники бывших знаменитостей отнюдь не лишены художественного вкуса. Они отлично сознают, что потускневший талант их любимцев уступает блеску только что взошедших звезд. Но их аплодисменты искренни, ибо выражают присущее англичанам чувство привязанности, верность чему-то уже сложившемуся и потому прочному.

Англичане уважают возраст, в том числе и возраст собственных чувств. Убеждения у них вызревают медленно. Но когда они уже сложились, их нелегко поколебать и еще труднее изменить силой.

Приверженность традициям старины, любовь к семейным реликвиям, настороженное отношение к переменам (если только они не происходят постепенно и незаметно) — во всем этом проявляется дух консерватизма, свойственный английскому характеру.

Несколько упрощая, можно сказать, что англичанин склонен быть консервативным по взглядам и прогрессивным по наклонностям. Он с подозрением относится к новшествам и в то же время жаждет перемен к лучшему. Однако при этом он инстинктивно следует словам своего соотечественника Бэкона, который учил, что время — лучший реформатор. Рискованным ставкам ва-банк он предпочитает осторожное продвижение вперед шаг за шагом при безусловном сохранении того, что уже достигнуто. Проще говоря, ему чаще всего присущ консервативный реформизм.

Эксцентричные в увлечениях и забавах, англичане не доверяют крайностям, когда речь идет о главной стороне жизни. Еще в прошлом веке говорили, что их консерваторы либеральны, а либералы консервативны.

По словам немецкого социолога Оскара Шмитца, англичане питают пристрастие к тому, что является средним и, хочешь не хочешь, посредственным. Именно по этой причине, утверждает он, английская конституция служит не столько трамплином для творческой индивидуальности, сколько страховкой для посредственности против посредственности.

Тяга к золотой середине проявляется в склонности к компромиссу, которая органически присуща английскому характеру. Именно этот постоянный поиск примиряющего, осуществимого, удобного, именно эта туманность мышления, позволяющая пренебрегать принципами, логикой и одновременно придерживаться двух противоположных мнений, создали Англии репутацию «коварного Альбиона», сделали ее столь уязвимой для обвинений в лицемерии.

Эта черта английского характера имеет много корней. Помимо воспитанной в народе склонности к компромиссам, она поощряется и двойственностью английской действительности. Культ старины, стремление увековечить прошлое в настоящем создает смешение теней и реальности, потворствует самообману. «Иностранцам трудно понять, — утверждает писатель Гарольд Никольсон, — что наше лицемерие происходит не от намерения обмануть других, а от страстного желания успокоить самих себя».

В консерватизме англичан многое смыкается с практичностью. Они не доверяют умственной акробатике, предпочитая твердо стоять ногами на почве здравого смысла. Их больше привлекают не абстрактные идеи, а утилитарная сторона вещей, не теоретические обобщения, касающиеся универсальных принципов, а руководство к действию, которое непосредственно вело бы к конкретному результату. Предвыборную программу той или иной партии англичанин оценивает не с теоретических позиций, а прежде всего как ответ данной партии на определенные практические вопросы, особенно те, которые затрагивают лично его.

Однако так ли уж англичане рассудочны? И так ли уж безраздельно господствует в их мировоззрении здравый смысл? По мнению Джона Б. Пристли, суть английского характера, путеводная нить в его лабиринте, ключ к его загадкам кроется в том, что барьер между сознательным и бессознательным в нем четко не обозначен. Англичане настороженно относятся ко всему чисто рациональному. Они отрицают всеислие логики и деспотическую власть рассудка. Они считают, что разум

не должен доминировать всегда и во всем, что на каком-то смутно обозначенном рубеже он должен уступать дорогу интуиции.

Англичане предпочитают истины «с открытым концом», то есть нечто недосказанное, невыраженное, оставляющее простор для домысливания. Смещение сознательного и бессознательного, приверженность к инстинктивному и интуитивному нередко толкает их к самообману, а через него к лицемерию.

Подозрительная к новшествам и чурающаяся крайностей, английская натура склонна к выжиданию и неторопливым поискам компромисса между сомнением и верой. И это неустойчивое равновесие делает ее одновременно скептической и доверчивой, неспособной к фантазии и склонной верить в чудеса.

Врожденная неприязнь к красноречию, к четким и законченным формулировкам на фоне общей флегматичности и замкнутости нередко создавала за Ла-Маншем представление об англичанах как о людях ограниченных, даже недалеких.

Пожалуй, правильнее будет сказать, что английскому джентльмену в наследство от лучших времен досталась некоторая лень ума, умственная малоподвижность. Эта инерция былого благополучия и стабильности сказывается в его неторопливости и неповоротливости, в его неспособности к быстрым решениям, в самоуверенной нелюбознательности, в его приверженности к традициям и привычке оглядываться на прецедент.

В основе его суждений о вещах и явлениях лежит универсальный критерий: это по-английски, а это не по-английски. К критическим замечаниям иностранцев англичанин относится с поразительной терпимостью. Он готов признать, что его кухня примитивна, что его художественный вкус оставляет желать лучшего, что он привык ставить знак равенства между понятиями «интеллектуальный» и «заумный». Но под этой самокритичной скромностью кроется непоколебимая уверенность в собственном превосходстве. Англичанин вряд ли способен объяснить, на чем она основана. Тем не менее фраза «это так по-английски!» звучит в его устах лишь как высшая похвала. Замкнутость обитателей туманного Альбиона, которые, по словам Джорджа Микеша, «даже будучи членами «Общего рынка», остаются ближе к Новой Зеландии, чем к Голландии», во многом связана с такой подспудной самоудовлетворенностью.

Это врожденное чувство собственного превосходства, этот своеобразный эгоцентризм, воспитываемый в семье, в школе, в общественной жизни и особенно в прессе, служит одним из корней английского консерватизма и одновременно одним из корней английского национализма.

Англичанин почти беспредельно терпим. Он приветлив, человечен, выдержан, честен. Он обладает серьезным чувством долга, общественного порядка и готов идти на практические жертвы ради того и другого. Он добродушен, учтив и к тому же свободен от зависти, горечи и чувства мести.

Но вы должны уважать его темп. Если вы не будете торопить его; если вы найдете к нему должный подход, апеллируя к его доброй воле, а не к его эмоциям; если вы будете подносить ему факты, которые он может разжевывать медленно и старательно, вместо того чтобы вдруг осыпать его каскадом страстных идей, — вы почувствуете, что его немалым достоинством является рассудительность. Он становится вполне способным поворачиваться в вашу сторону, причем не только ради того, чтобы понять вас, но и чтобы пройти полпути вам навстречу. Глубоко врожденный инстинкт предписывает ему брать и давать, жить и давать жить другим. Он обладает природным чувством справедливости (жаль лишь, что он так редко проявляет его при управлении своими колониями!).

Одетта Кюн (Франция), «Я открываю англичан» (1934).

Их прославленной любви к животным противоречит их любовь к кровавым видам спорта. Их прославленному общественному духу противоречит их безразличный индивидуализм. Их врожденной отзывчивости противоречит золотое правило не вмешиваться не в свои дела... С одной стороны, эксцентричность находится у них в почете; с другой стороны, все необычное или незнакомое встречает неприязнь, опасение, презрение. Их замкнутость сочетается с мессианством, пуританство идет рука об руку с рас-

пущенностью, либерализм и консерватизм в равной степени считаются их национальными чертами — так же как нелюбовь к регламентации и пристрастие к очередям.

Страна, которая создала, возможно, лучшие стили в архитектуре жилища, известна несравненной убожеством своих трущоб. Страна, которая славится самой отвратительной погодой, остается предвзятой противницей таких нововведений, как двойные рамы или центральное отопление.

Эдит Симон (Англия), «Английский вклад в цивилизацию» (1972).

Встретить англичанина в центре Лондона становится нелегко, а уж на страницах английской истории, среди королевских имен это всегда было трудным делом, шутит французский сатирик Пьер Данинос. Плантагенеты, напоминает он, были французы, Тюдоры — уэльсцы, Стюарты — шотландцы. Разделавшись с ними, освободили престол для голландца, за которым последовал немец из Ганноверской династии, не знавший ни слова по-английски...

Хотя островное положение страны предопределило своеобразие английской истории, к ней приложили руку многие народы, каждый из которых оставил свой след в английском национальном характере.

Коренными жителями Британских островов принято считать кельтов. Одна их ветвь (галлы) осела в Ирландии и Шотландии, а другая, более близкая к обитателям французской Бретани, в Корнуолле и Уэльсе.

Бретонская ветвь кельтов смешалась с потомками более ранней волны завоевателей. Это были иберы, выходцы с Пиренейского полуострова. Дорогу им, возможно, проложили еще финикийские мореходы, совершавшие в Корнуолл рейсы за оловом. Иберы поклонялись солнцу. Это они возвели на южных равнинах загадочные ритуальные сооружения из камней. О них, предшественниках кельтов, напоминают черноволосые коренастые люди со средиземноморским профилем, встречающиеся среди жителей Корнуолла и Уэльса.

Кельтское начало присутствует в характере всех народов, населяющих ныне Британские острова, хотя и в неодинаковой степени. Оно дает себя знать в мечтательности, иррациональности и мистицизме ирландцев; в музыкальности жителей Уэльса, этого края народных певческих праздников; в поэтическом воображении обитателей Корнуолла с их суевериями и легендами. Наиболее полным воплощением кельтских черт можно считать натуру ирландца с ее богатством фантазии и пренебрежением к логике, с ее художественной одаренностью и недостатком делового инстинкта, с ее фанатической одержимостью и неспособностью к компромиссам.

Однако кельтское начало подспудно заложено и в английском характере, порождая некоторые вроде бы и несвойственные ему черты. Например, склонность ставить интуицию выше разума, умышленно скрывать дымкой неопределенности четкую грань между сознательным и бессознательным. Представление об англичанах лишь как о людях рассудочных, прозаических, холодных неполно и неверно хотя бы потому, что в каждом из них сидит что-то от кельта.

Примерно через тысячелетие после кельтов на берега туманного Альбиона накатилась новая волна завоевателей. Это были легионы Юлия Цезаря. Кельты сопротивлялись упорно, но в конце концов были оттеснены в глубь страны. Сделав Англию своей провинцией, римляне принялись строить крепости и прокладывать дороги. Их владычество длилось три с половиной века, то есть почти такой же срок, какой отделяет нас от времен Шекспира. Римляне, впрочем, держались особняком от местных жителей. Они требовали лишь беспрекословного повиновения, не вменяясь в образ жизни покоренного народа. Видимо, именно поэтому римское владычество не оставило в английском характере заметного следа. На кельтский фундамент легла не римская, а англосаксонская надстройка.

После того как накануне распада империи Рим был вынужден отозвать свои легионы, на английское побережье стали все чаще совершать набеги племена германского и датского происхождения: англы, саксы и юты. Именно они дали Англии ее имя, основы ее языка, наиболее существенные черты характера ее народа. Новые пришельцы постепенно завладели юго-востоком страны, оттеснив кельтов на взгорья

Шотландии, Уэльса и Корнуолла. Первым английским королем принято считать Альфреда (849—899), правителя княжества Вэссекс со столицей в Винчестере, где ему теперь поставлен памятник.

Отвоєванные у кельтов земли активнее всего заселяли саксы. Это был народ земледельцев. В противоположность фантазерам и мечтателям кельтам они отличались трезвым практическим умом. Именно от крестьянской природы саксов английский характер наследует свою склонность ко всему естественному, простому, незамысловатому в противовес всему искусственному, показному, вычурному; свою прозаическую деловитость, ставящую материальную сторону жизни выше духовных ценностей; свою приверженность к унаследованным традициям при недоверии ко всему неизвестному, непривычному, тем более иностранному; свое преувеличенное пристрастие к домашнему очагу как символу личной независимости.

Саксонские черты английского характера более других открыты внешнему миру. Именно они нашли свое воплощение в стереотипном образе Джона Булля, фигуры самоуверенной и независимой, рассудочной и деловитой, незатейливой и прозаической. И все-таки Джон Булль олицетворяет собой лишь одну сторону английского характера, пусть даже более заметную, чем другие.

Пока англы, саксы и юты, сменившие римлян, продолжали оттеснять кельтов все дальше на север и на запад, у восточного побережья появилась новая волна завоевателей — скандинавских викингов. Эти профессиональные мореходы внесли в английский характер еще одну существенную черту — страсть к приключениям.

Англичанин любит землю: сельский покой, зеленые луга, разделенные живыми изгородями, мирно пасущиеся стада. Но в душе этого домолюбивого сельского жителя есть окно, открытое морю. Англичанин всегда чувствует его манящий зов, романтическую тягу к дальним берегам, что лежат за горизонтом. Вся история Англии, ее торговля, политика, искусство пронизаны морем, насквозь просолены им.

Наконец, последней волной завоевателей, достигших английских берегов, были норманны. Выходцы из Скандинавии, они осели сначала на севере Франции, в Бретани, где смешались с местными кельтскими племенами. С тех пор как войско норманнского герцога Вильгельма пересекло Ла-Манш в 1066 году, Англия больше не знала чужеземных вторжений.

Главным из того, что норманны привезли с континента, была развитая феодальная система. Она была основана на строгой социальной иерархии, которая кое-что сохранила свою силу вплоть до наших дней. Вильгельм Завоеватель поделил страну между своими баронами и создал аристократию, основанную на крупном землевладении. Рыцарский кодекс чести, как и владение землей, стал отличительной приметой правящей элиты.

Английское представление о честности и порядочности основывается на идеалах рыцарства. Долг приходит на помощь слабому, великодушие к побежденному, борьба одинаковым оружием — все это легло потом в основу критериев джентльменского поведения, обрело более современную форму в английской концепции честной игры.

Норманны были людьми действия. Они презирали красноречие, показной экстаз и считали одной из главных добродетелей способность держать свои чувства в узде. Описанная в романе Вальтера Скотта «Айвенго» борьба норманнского и саксонского течений в английской жизни продолжалась в последующие века с переменным успехом. Верх одерживало то норманнское течение, основанное на идеалах феодального рыцарства и аристократического либерализма, то саксонское течение с его крестьянской практичностью, узкой прямолинейностью и строгой моралью.

Пуританская этика, наложившая глубокий отпечаток на характер не слишком религиозных англичан, соединила в себе оба этих потока, хотя саксонского в ней, пожалуй, больше, чем норманнского. В представлении пуритан божьими избранниками являются лишь немногие. Остальные же должны хотя бы внешне соблюдать заповеди церкви и ее морального учения. Отсюда, разумеется, рукой подать до лицемерия.

В пуританской этике коренится и английский индивидуализм. Раз никто не допускает постороннего вмешательства в свои отношения с богом, никто также не посягает на неприкосновенность этих отношений у других. Это, с одной стороны,

порождает английский такт, но, с другой стороны, изолирует человека от окружающих. Пуританская заповедь «помогай сам себе» одновременно воплощает английское представление о личной свободе и английское себялюбие, чреватое одиночеством.

Каждая волна завоевателей вложила свой капитал в английский банк. Все они перемешались. Ни одна из них не исчезла. Ни одна из них не сдалась безоговорочно. Все они остались живыми по сей день, сосуществуя и борясь друг с другом. Вот почему английская натура столь полна противоречивых импульсов: ей присуща практичность и мечтательность, любовь к комфорту и любовь к приключениям, страстность и застенчивость.

Англия видит свое лицо в Шекспире, потому что ее прославленный сын в совершенстве воплощает в себе ее характерные черты: англосаксонскую практичность и кельтскую мечтательность, пиратскую храбрость викингов и дисциплину норманнов.

Никос Казантзакис (Греция), «Англия» (1965).

При всем своем консерватизме и флегматичности англичане самый авантюристичный из народов. Какая страна может похвастать таким созвездием первооткрывателей, мореплавателей, землепроходцев? Со времен Дрейка англичане прокладывали пути в неведомое, неся во все уголки земли свой образ жизни, даже свой послеобеденный чай, ибо, будучи восприимчивыми в крупном, они делают мало уступок в мелочах.

Хотя англичане прославились как исследователи и колонизаторы и хотя они распространили английский язык и английское право по всему свету, они самый провинциальный из народов.

Генри Стил Комманджер (США), «Британия глазами американцев» (1974).

Английскую душу можно уподобить не саду, где природа подчинена геометрии, и не первобытному лесу, а парку, где природа сохраняет свои права настолько, насколько это совместимо с удобством для человека; она, по существу, является таким же компромиссом между естественным и искусственным, как английский парк.

Пауль Кохен-Портхайм (Австрия), «Англия — неведомый остров» (1930).

Одна из самых привилегированных публичных школ Англии однажды пригласила на кафедру французского языка профессора из Парижа. Ему отвели лучший коттедж со старинным садом, которым гордились многие поколения прежних обитателей. Это был, в сущности, английский парк, распланированный так умело, что выглядел вовсе нераспланированным. Это был уголок природы, возделанной столь искусно, что казался вовсе невозделанным.

Французу, однако, такая «запущенность» пришлась не по вкусу. Наняв садовников, он принялся выкорчевывать вековые деревья, прокладывать дорожки, разбивать клумбы, подстригать кусты — словом, создавать геометрически расчерченный французский сад. Вся школа — как преподаватели, так и воспитанники — следила за этими переменами безмолвно. Но парижанин тем не менее чувствовал, что со стороны окружающих к нему растет какая-то необъяснимая неприязнь. Когда француз с немалым трудом добился наконец до причины подобного отчуждения, он был немало удивлен: «Но я ведь старался, чтобы сад стал красивее!»

Лейтмотивом популярной в Лондоне книги Ричарда Фабера «Французы и англичане» служит мысль о том, что многие различия между этими двумя народами коренятся в их отношении к природе. Если французский садовник, как и французский повар, демонстрирует свою власть над ней, то англичане, наоборот, отдают предпочтение естественному перед искусственным. В этом контрасте между англичанами и французами нельзя не усмотреть тождества с главной чертой, разделяющей японцев и китайцев. В отличие от своих континентальных соседей оба островных народа в своем мироощущении ставят природу выше искусства. Как японский, так и английский садовник видят свою цель не в том, чтобы навязать природе свою волю, а лишь в том, чтобы подчеркнуть ее естественную красоту. Как японский, так и английский повар стремятся выявить натуральный вкус продукта в отличие от изобретательности и изощренности мастеров французской и китайской кухни. Ува-

жение к материалу, к тому, что создано природой,—общая черта прикладного искусства двух островных народов.

Хаотичность Лондона и Токио в сопоставлении с четкой планировкой Парижа и Пекина воплощает общий подход к жизни, свойственный двум островным народам: представление о том, что человеку следует как можно меньше вмешиваться в естественный ход вещей. На взгляд англичан и японцев, город должен расти так, как растет лес. И роль градостроителя, стало быть, не должна превышать роли садовника в английском парке или японском саду. Его дело лишь подправлять и облагораживать то, что сложилось само собой, а не вторгаться в разросшуюся ткань города со своими планами.

Эта общая черта пронизывает многие стороны жизни двух островных народов вплоть до подхода к воспитанию детей. Английские родители стараются как можно меньше одергивать ребенка, не вмешиваться без нужды в его поведение, способствовать выявлению его индивидуальности. Они относятся к детям так же, как японский резчик по дереву относится к материалу.

Англичане и японцы. Казалось бы, трудно представить себе два народа, более не похожих друг на друга! Англичане возвеличивают индивидуализм — японцы отождествляют его с эгоизмом. Английский быт ограждает частную жизнь — японский быт исключает возможность ее существования. Однако эти противоположности, как ни странно, смыкаются в нечто общее. Оба народа, как уже говорилось, ставят естественное превыше искусственного. Но этот кардинальный принцип их подхода к жизни не распространяется на область человеческого поведения. Хотя англичане превозносят индивидуализм, а японцы осуждают его, как тем, так и другим в одинаковой степени присущ культ самоконтроля, точнее говоря, культ предписанного поведения.

Олицетворением этой общей черты в характере двух островных народов могут служить японский самурай и английский джентльмен. Каждый из этих нравственных эталонов воплотил собой социальный заказ правящей элиты на определенном историческом рубеже. Но помимо очевидных параллелей, которые можно провести между кодексом самурая с его идеалом верности и кодексом джентльмена с его идеалом порядочности, судьба их схожа еще и в том, что оба они перешагнули за пределы своего класса и своего времени, наложив глубокий отпечаток на национальную психологию вообще и на нормы человеческих взаимоотношений в особенности.

И англичане и японцы постоянно ощущают натянутые вожжи: человек должен вести себя не так, как ему хочется, не так, как подсказывают ему чувства, а как предписано поступать в подобных обстоятельствах. Эта ритуалистическая концепция жизни подавляет непринужденность и непосредственность. Культ самообладания, способность чувствовать одно, а выражать на своем лице нечто другое — словом, «загадочная улыбка» самурая и «жесткая верхняя губа» джентльмена в обоих случаях служат поводом для сходных упреков в коварстве и лицемерии.

С другой стороны, если разобраться в «грамматике жизни» англичан и японцев, нетрудно убедиться, что как те, так и другие весьма легко предсказуемые люди, ибо приучены поступать в определенных ситуациях определенным образом.

Уже отмечалось, что англичан и японцев сближает их склонность ставить естественное превыше искусственного. Однако в рамках этого сходства заключено и различие. Две островные нации возвеличивают как бы две противоположные черты природы, ее диалектики. Если японцы поэтизируют переменчивость, то англичане — преемственность. С одной стороны, сакура с ее внезапным, буйным, но недолговечным цветением; с другой — вековой дуб, равнодушный к бегу времени и недоверчивый даже к приходу весны. Вот излюбленные этими народами поэтические образы, воплощающие различия между ними.

Здесь же кроются корни их отношения к переменам, то есть к традиционному и к новому. Оба островных народа сохранили в своем характере и образе жизни много традиционных национальных черт. Но, оберегая их от внешних влияний, японцы часто пользуются как бы приемом борьбы дзю-до: уступать нажиму, чтобы устоять, приспособливаться внешне, чтобы остаться самобытными внутренне. У анг-

личан же приверженность традициям подчас более догматична: стойкость реже дополняется гибкостью.

Объясняя причины, по которым послевоенная Британия утратила положение ведущей индустриальной державы, японцы часто приводят такое сравнение: все дело, по их словам, в том, что Англию бомбили гитлеровские «Юнкерсы-88», способные повредить заводской корпус или цех, а Японию — американские летающие крепости «Б-29», которые сравнивали с землей целые промышленные центры. Поэтому англичане после войны восстанавливали старые предприятия, тогда как японцам волей-неволей пришлось создавать свой производственный потенциал совершенно заново, с упором на новые, перспективные отрасли. Даже если признать, что в подобном объяснении есть доля истины, вряд ли можно сводить дело лишь к нему. Разрыв в темпах послевоенного развития двух островных стран был обусловлен целым комплексом причин. Хочется, однако, подчеркнуть другое.

Переменчивость и недолговечность для японцев — закон природы, воплощенный даже в быте: палочки для еды используют один раз и выбрасывают, оконные рамы, оклеенные бумагой, и полы из соломенных матов периодически заменяют и даже исторические реликвии вроде храма богини Аматэрасу каждые двадцать лет заново отстраивают из деревянных балок. Вот почему, оказавшись на пепелище, японцы психологически лучше подготовлены к тому, чтобы смотреть не в прошлое, а в будущее. Вспомним, что именно этого качества недоставало обитателям лондонского Сити после Большого пожара 1666 года, как, судя по всему, и тем, кто три века спустя возрождал после войны устаревшую промышленную структуру Британии, вместо того чтобы поставить на ней крест и расчистить место для нового.

Как развесистый вековой дуб, английский национальный характер глубоко уходит корнями традиций в почву прошлого. Чтобы познать современную Англию, важно понять, что за люди англичане. Нужно попробовать разобраться, как, под воздействием каких факторов сложились отличительные черты их национальной психологии, проследить, как проявляются эти черты в человеческих взаимоотношениях и взглядах, в обычаях и привычках, в моральных нормах и правилах поведения.

Представления англичан о частной жизни, о воспитании детей; та своеобразная роль, которую играет у них спортивная этика, понятие честной игры; представление о любителях и профессионалах, о правах в рамках правил; то значение, которое они придают культуре самоконтроля и культуре предписанного поведения, — все это важные ориентиры для путешественника по современной Великобритании. Без этих ориентиров трудно уяснить сложившуюся здесь систему воспроизводства правящей элиты. А система эта, в свою очередь, во многом предопределяет почерк британского истеблишмента — политиков в Вестминстере и чиновников на Уайтхолле, финансистов в Сити и журналистов на Флит-стрит.

Эти же ориентиры нужны не только для путешественника по коридорам власти, но и для всестороннего понимания сильных и слабых сторон каждого из противоборствующих классов, тех своеобразных условий, в которых развивается на Британских островах борьба прогресса против реакции, эксплуатируемых против эксплуататоров, словом — борьба нового со старым.

Лондон, 1974 — 1978.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. НЕПОМНЯЩИЙ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С тех пор как существует на Руси литература, она была в самых значительных своих проявлениях делом коренным и жизненным, а стало быть, народным. Но даже на таком фоне всенародная любовь к Пушкину и глубочайшая заинтересованность решительно во всем, что его касается, выглядят явлением если и сравнимым с чем-либо, то с отношением к любимому национальному герою, реальному или легендарному. Это не только интерес, не просто почитание или преклонение — это отношение глубоко личное, как к живому и бесконечно близкому человеку: в чистом виде потребность народной души.

Подобный личный оттенок на первый взгляд как будто скрадывает, но на самом деле особым образом выражает некоторую сокровенную истину о Пушкине как идеальном воплощении нашего национального духа. Еще не всеми из нас до конца осознанная и уж совсем непостижимая для тех, кто не читает по-русски, истина эта состоит в том, что Пушкин в своих коренных и таинственных качествах, трудно передаваемых на ином языке, есть явление масштаба всемирного, и притом в особой степени. Эту истину затронул Достоевский, говоря о «всечеловечности» как национальном качестве художественного гения Пушкина, выделяющем его среди других мировых гигантов.

Как ни неожиданно, именно здесь, мне кажется, кроются истоки нашего интимно-душевного отношения к своему национальному гению. Подлинное величие, связанное со всечеловеческим стремлением к истине, добру и красоте, у нас не просто почитают и не только перед ним преклоняются — его любят. Всемирно исключительная мера любви нашего народа к своему величайшему поэту, о которой шла речь, есть тем са-

мым мера исключительности его гения даже среди гениев мировых. Здесь причина особого положения Пушкина как художника в русской литературе. В нем есть недоступность. Гоголь назвал это отсутствием лестниц. Ни одно направление не может в чисто литературном смысле считаться пушкинским; ни один из писателей не может назваться представителем литературной школы Пушкина. Школе не за что в нем ухватиться: в нем нет ничего выпирающего, ничего такого, что можно было бы вычленивать и превратить в генеральный принцип. Можно говорить, например, о титанизме Лермонтова и философичности Тютчева, о «диалектике души» и эпичности Толстого, о гоголевском гротеске и чеховском психологизме; можно рассуждать о толстовских, гоголевских, щедринских и прочих традициях в литературе — в каждом случае, невзирая на неизбежные упрощения, будет понятно, о чем идет речь. Специфика Пушкина неуловима. Мы говорим: пушкинская гармония, пушкинская простота, пушкинская объективность и т. д., — но это уже не литература, это понятия из каких-то иных сфер. Более же конкретные (вроде тех, что приведены выше) определения, которые, пусть и с грехом пополам, применимы к другим великим художникам, здесь годятся лишь для самого условного и частного употребления: «изреченные», они тут же оказываются неадекватными. То же можно сказать и о пушкинских традициях.

Иначе говоря, в литературе Пушкин только внешне представляет собой одну из точек (пусть и самую важную) на векторе исторического времени. По существу, он как бы пребывает в особом пространстве и находится со временем в особых отношениях. Следовательно, необходим и особый подход к проблеме Пушкина — к изучению

его творчества и судьбы, его роли в русской литературе и культуре, в духовных судьбах России.

Возможно, конкретный материал пушкинского творчества, который я собираюсь рассмотреть, покажется несколько неожиданным, а выбор момента творческой биографии поэта — субъективным, но я надеюсь, что ощущение это в конечном счете сгладится: ведь подлинное величие остается величием в любом своем подлинном проявлении.

1

Пушкина называют родоначальником новой русской литературы. У этой в общем удачной формулировки есть один недостаток. Дело в том, что смысл слова «родоначальник» клонится у нас к понятию начала, уже пройденного нами, и отождествляется со смыслом, вкладываемым в слово «зачинатель». Отсюда проистекают некоторые упрощения.

Обычно отношения зачинателя и преемников рассматриваются, так сказать, в прямой перспективе: преемники учатся у зачинателя, усваивают его лучшие достижения и черты, продолжают дальше его путь. В данном случае дело обстоит сложнее. Ни один из писателей не усвоил, как уже говорилось, собственно пушкинских принципов поэтики; ни одно из последующих направлений не стало в этом смысле пушкинским. Но зато у Пушкина есть стихотворения «лермонтовские» и «некрасовские», есть «гоголевские» сюжеты и «тютчевская» космичность, «чеховская» деталь, «прутковский» юмор и «блоковские» строки. Создается впечатление, что тут имеет место не прямая, а обратная перспектива: не русская классика XIX века смотрит на Пушкина, а Пушкин смотрит на нее, не она отражает его, а он как бы является ее зеркалом—зеркалом, обращенным в будущее.

В гоголевском «Портрете» без особого труда обнаруживается связь с двумя «маленькими трагедиями». Как бы прямо продолжая сюжет «Скупого рыцаря», гоголевский ростовщик осуществляет мечту пушкинского Барона: придти к могиле и, сидя на сундуке, стеречь свое золото, — мертвый, он жив в своем портрете и в буквальном смысле сидит на своем золоте, спрятанном в раме. Другой герой той же повести, художник Чартков, скупающий и со сладострастием уничтожающий из зависти шедевры гениев, впал в род того недуга,

который со времен Пушкина получил название сальеризма. «Портрет», таким образом, связан с Пушкиным и по сюжету и по пафосу. Более того: сам ход мысли Гоголя от предыстории (сюжет о портрете) к истории (сюжет о Чарткове) как бы повторяет ход мысли Пушкина от первой трагедии цикла ко второй — «Моцарту и Сальери». Оглядывался ли Гоголь на Пушкина — разве в этом дело? Нет, дело в том, что Пушкиным было создано напряженное поле, потенциально уже заключающее в себе коллизию «Портрета», а также те коллизии и идеи, которые позже развернулись по-своему, скажем, в «Подростке» («идея» Барона) и «Братьях Карамазовых» (бунт Сальери против «неба»).

Когда пятнадцатилетний Лермонтов в заключительных строках «Посвящения NN» говорит неверному другу: «Тогда: — беги, не трать пустых речей, — ты осужден последним приговором», то эта цитата из пушкинской «Коварности» (1824) выглядит не обычным подражанием или заимствованием, вовсе нет: Лермонтов берет строки Пушкина, словно они по праву принадлежат ему, Лермонтову, он просто «не успел» их написать.

Когда мы видим у Щедрина черты, напоминающие об «Истории села Горюхина», мы понимаем, что Щедрин писал так не потому, что так писать научил его Пушкин, а потому, что таков был Щедрин; Пушкин же предвосхитил то, что позже развернулось в Щедрине. И я — за то, чтобы слово предвосхищение понималось в подобных случаях буквально; конкретный же механизм этого явления — вопрос другого ряда.

Когда мы читаем в пушкинской «Марье Шонинг»: «Вчера я встала с постели и пошла было за гробом; но мне стало вдруг дурно. Я стала на колена, чтоб издала с ним проститься. Фрау Ротберх сказала: «Какая комедиантка!» Вообрази, милая Анна, что слова эти возвратили мне силу. Я пошла за гробом удивительно легко. В церкви, мне казалось, было чрезвычайно светло, и все кругом меня шаталось. Я не плакала. Мне было душно, и мне все хотелось смеяться. Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и при мне опустили в могилу. Мне вдруг захотелось тогда ее разрыть, потому что я с ним не совсем простилась. Но многие еще гуляли по кладбищу, и я боялась, чтоб фрау Ротберх не сказала опять: „Какая комедиантка!“» — то надо отдать

себе отчет в том, что эта поразительная схожесть со стилем Достоевского совсем иной случай, чем, скажем, прямое влияние «Пиковой дамы» на «Игрока» того же Достоевского. Дело опять-таки в том, что здесь Пушкиным брошено зерно, которое в дальнейшем взойдет как стиль Достоевского¹.

В «Ответе анониму» (1830) Пушкин создает феноменальный эффект стилистического охвата нескольких литературных эпох:

Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит...

Первая строка с ее намеренной, педалированной инверсией (ведь ничто не мешало написать иначе: «Смешон, кто требует...») возвращает нас на ступень, предшествующую Пушкину, связанную с XVIII веком. Возникающий в центре отрывка фундаментальный для Пушкина образ «холодной толпы», воспринимающей поэта как «заезжего фигляра», продвигает нас в собственно пушкинскую эпоху. Горькое и странно косноязычное «Глубоко выразит сердечный, тяжкий с т о н» уже очень близко к Лермонтову. В двух же последующих строках:

И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
чуткое ухо различит надрывно-заунывную некрасовскую интонацию...

Ю. Олеша как-то заметил, что в строчку о Россини: «Европы баловень, Орфей!» — «как бы вставлено зеркало» (ЕВРО-ОРФЕ). Что-то похожее и здесь: поэзия прошлая и будущая, говоря каждая по-своему об одиночестве поэта, взаимоотражаются через Пушкина как через зеркало, обращенное и «назад» и «вперед». И выходит, что поэт, одинокий в своем собственном времени, не одинок в веках прошлых и грядущих — в большом времени. Вместе с тем прозревается судьба российской поэзии, протекающей «сквозь» Пушкина и долженствующей выйти из его горна переплавленной, иной, чем была, — русской поэзией.

¹ Подобное предвосхищение Достоевского происходит иногда в масштабах мельчайших клеточек стиля: «Но сквозь надменность эту я читал иную повесть: долгие печали, смиренье жалоб... В них-то я вникал, невольный взор они-то привлекал и...» («Домик в Коломне», вообще заключающий в себе так много — хочется сказать — «следов» Достоевского).

И это в самом деле происходит — и не после Пушкина, но уже в его лоне, в его горниле. Ведь когда в стихотворении «Сват Иван, как пить мы станем» уже окончательно внятно слышится Некрасов, а затем прорывается явственно узнаваемый Твардовский:

Поминать, так поминать,
Начинать, так начинать,
Лить, так лить, разлива
разливом,

Начинай-ка, сват, пора...² —

то это опять-таки не означает, что оба поэта равнялись на пушкинские стихи, строя свой стиль, нет, — зерно, «замысел» некрасовского уже существовали, уже содержались в Пушкине, и в нем же (на пересечении этого «некрасовского» и собственно пушкинского) возникала возможность стиля Твардовского, имеющего вернуться через сто лет.

...Пушкин сравнивал себя с эхом, на все отзывающимся, но не получающим отклика. Это так; но в большом времени все возмещается, все обстоит наоборот: Пушкин подает голос, а литература откликается многократно умноженным эхом, притом не столько извне «дополняя» («развивая») сказанное, сколько раскрывая его глубины. И, разумеется, здесь не какое-то исключение из законов природы, напротив — это уникальный по-своему случай, когда они проявляются так обнаженно, так беспримерно наглядно.

Так же наглядно Пушкин противопоставляет попыткам подключить его, хоть каким-то боком, к любой внешней по отношению к нему художественной типологии. Он существует только целиком; он сам есть типология, и притом необычайно широкая. Проблема «творчество Пушкина как типология русской классики» выходит далеко за специально литературные пределы, к смыслам общечеловеческим и общефилософским.

2

У Юрия Рытхэу есть рассказ о том, как он мальчиком был потрясен стихами Пушкина и, не зная еще языка, захотел услышать их перевод на чукотский. «В переложении нашего учителя это звучало примерно так: «На берегу моря, который изгибается наподобие лука, стоит дерево твердой породы, из которого у нас делают копылья для нарт. На этом дереве висит цепь из денеж-

² Разрядка в цитатах везде моя, кроме особо оговоренных случаев.

ного металла. На этой цепи сидит маленькое животное, немного похожее на собаку, но очень ловкое. Цепь длинная, достаточная для того, чтобы этому ловкому собакоподобному животному ходить вокруг дерева крепкой породы... Я смутно чувствовал, что тут дело совсем не в «дереве крепкой породы, из которого делают копылья», и эти (пушкинские. — В. Н.) слова, выстроенные в ряд и в особый лад сложенные, дают гораздо больше, чем само по себе значение их»³.

Этот рассказ удивительно интересен во многих, и очень серьезных, отношениях. Но я сейчас обращаю внимание читателя на самое первое и, быть может, поверхностное впечатление от него. Дело в том, что приведенный «перевод» я нередко вспоминаю, наблюдая в действительности некоторые общепринятые исследовательские приемы.

У каждого метода есть предел возможностей, который должен осознаваться, — в противном случае метод вырождается. Когда большое явление предстает в исследовательской практике лишь как производное бесчисленного количества конкретных причин и следствий, это напоминает как раз такой перевод, который аккуратно растолковывает «отдельные слова», «само по себе значение их», а «особый лад» и «смысл» остаются в стороне. Бесспорно, свидетельство о самой материи фактов, о том, как они в ней сцепляются, взаимодействуют и причинно-следственно соотносятся, чрезвычайно важно, без него обойтись нельзя. Но сущность явления не есть ни сумма, ни простая равнодействующая некоторого (сколько угодно большого) количества фактов, которые можно, фигурально выражаясь, потрогать руками. Поэтому в практике эмпирических методов постижение коренного, сущностного в явлении всегда откладывается на неопределенное будущее, на тот момент, когда количество конкретных сведений станет еще больше. Но переводчик, работающий лишь с «отдельными словами», никогда не передаст подлинного смысла и «особого лада» целого, сколько бы объясняющих слов он ни употребил.

Существует анекдот о том, что Эйнштейн мог вывести некие основные физические закономерности, имея в руках только спичечный коробок. Это шутка, но она вполне согласуется с утверждением самого Эйнштейна относительно того, что чем меньше число исходных посылок, тем вероятнее

близость гипотезы к истине. Все дело не в количестве фактов, а в том, как и с какой стороны на них посмотреть, в какой ряд поставить.

Мы обычно изучаем взаимоотношения русской классики с Пушкиным в их «прямой», причинно-следственной перспективе, то есть глядя «назад», со стороны «усваивающей» классики, в сторону Пушкина. Такое эмпирическое изучение необходимо, но оно не все помогает понять. «Пророчества» и «предвосхищения» Пушкина с изумлением констатируются во многих работах, но почти не ставится вопрос о том, почему это именно ему — и в таких масштабах — удавалось.

Можно, конечно, говорить о том, что многое из предвосхищенного потенциально сохранилось в сознании и языке народа и помимо Пушкина — в непроявленном или «разжиженном» виде, — в Пушкине же все это начало оформляться и отвердевать. Историки литературы, теоретики, лингвисты, культурологи, философ, семиотик, структуралист каждый по-своему опишут механизмы этого явления. Что же касается с а м о й необходимости, в силу которой все произошло именно так, а не иначе, то, скажут мне, для построения удовлетворительной модели пора не наступила, поскольку нам не все еще известно.

В конечном счете разговор, однако, упрется не в «механизм», не в «модель» и вообще не в какой-либо «осязаемый» аргумент — он упрется в некоторую начальную аксиому, а именно: Пушкин был гений. Здесь подобные обсуждения, как правило, и застревают: о чем говорить?

Пушкин был гений. В эту истину не всматриваются — из нее исходят, на нее опираются, ею пользуются. Она выглядит настолько само собой разумеющейся, самоочевидной и привычной, что как бы и не нуждается в конкретном внимании. В результате мы, дойдя до этой аксиомы, не вдумываемся в то, что нами обретена и в самом деле твердая точка опоры, ибо перед нами факт, сохраняющий свое значение неизменным в любом контексте. Мы не замечаем, что, «застряв» в этом пункте, получаем новый уровень обзора, новую точку зрения. В данном случае это значит, что мы можем взглянуть на Пушкина (в его отношении к русской классике) уже не в «прямой» перспективе, не как на объект внимания классики, а в «обратной» — как на субъект, как на начало активное. Ибо

³ «Детская литература», 1974, № 6.

сама апелляция к пушкинскому гению как конечному аргументу означает, что центральная причина — в гении, а не в тех обстоятельствах, которые этот факт окрещают в пространстве и времени.

Попытаемся этот центральный факт, эту начальную аксиому — нет, не объяснить, отнюдь! — но хотя бы увидеть.

3

«Самое важное для биографа великого писателя, великого поэта — это уловить, осмыслить, подвергнуть анализу всю его личность именно в тот момент, когда более или менее удачное стечение обстоятельств... исторгает из него первый его шедевр. Если вы сумели понять поэта в этот критический момент его жизни, развязать узел, от которого отныне протянутся нити к его будущему... тогда вы можете сказать, что знаете этого поэта...»⁴.

Для поэта Пушкина такая решающая пора приходится на лицейские годы. Именно в эту пору были «исторгнуты» из него первые шедевры (а точнее — первый шедевр, потому что все его лицейское творчество в своей совокупности есть в известном смысле шедевр); от этого «узла» тянутся прочные нити к последующему его творчеству вплоть до самых поздних лет. Об этом немало написано.

Вообще о лицейском периоде много писали, здесь больше, чем на многих других отрезках творческой биографии Пушкина, установленного и с точки зрения историко-литературной ясности.

Неясным на этом фоне, осиянном славой «великого писателя», остается сам феномен возникновения поэта, само начало — не в хронологически-горизонтальном, а в том вертикальном аспекте, в каком понятие начала связано с понятием зерна, — одновременно как исходной точки и как коренной сущности.

(Попутное разъяснение: я буду пользоваться в рассуждениях применяемой нередко парой «горизонталь — вертикаль». Соотношение между этими понятиями есть образный — и по необходимости условный — эквивалент соотношения таких понятий, как, например, внешнее и внутреннее, бытовое и бытийственное, эмпирическое и сущностное, преходящее и непреходящее, природно-физическое и духовное, детерминированное и телеологическое, конкретный материал твор-

чества и само творчество, обстоятельства и судьба и пр. Пара «горизонталь — вертикаль» показывает, к примеру, соотношение между двумя ипостасями пушкинского импровизатора в «Египетских ночах» — «фигляра» и высокого поэта; между Дон Кихотом — сумасшедшим и им же — провидцем; между князем Мышкиным — «идиотом» и им же в его истинной сущности; между Иванушкой-дурачком и тем же Иванушкой — носителем народной мудрости и т. д. В отношениях «горизонталь» и «вертикаль» может быть выражен и ценностный аспект: так, если духовное связывать с «вертикалью», то может быть и «вертикаль вниз» — извращенная духовность, которую принято называть демонизмом.)

Возвращаясь к упомянутому выше феномену возникновения поэта, надо учесть одно обстоятельство, которое с внешней стороны как бы затрудняет к нему подступы, а по существу, как увидим ниже, их облегчает. Дело в том, что в лицейский период, особенно ранний (до 1816—1817 годов), Пушкин и его творчество, поэт и его поэзия (как известно, «величины» эти редко полностью совмещаются в художнике) разведены так далеко друг от друга, как ни в какой другой период. Практически это означает, что из непосредственного чтения раннелицейских стихов мы счесть мало что можем уяснить относительно подлинной личности автора, его истинной внутренней жизни: нам «подсовываются» лишь самые общие, часто расхожие для «новой поэзии» того времени, а порой и просто мистифицированные автопортреты и автохарактеристики юного эпикурейца, «леньвица», беззаботного гуляки и пр. и пр. В стороне остается мальчик одновременно дерзкий и ранимый, воинственный и беззащитный, сочетавший в себе, по словам Пушкина, излишнюю смелость с застенчивостью, «то и другое невпопад», как бы желающий только доказать, что он «мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр.», попадающий часто в неловкие ситуации и не умеющий из них выпутаться; тот истинный Пушкин, который, как писал Анненков со слов того же Пушкина, «наделен был от природы весьма восприимчивым и впечатлительным сердцем, на зло и наперекор которому шел весь образ его действий... А между тем способность к быстрому ответу, немедленному отражению удара или принятию наиболее выгодного положения в борьбе часто ему изменяла... и тогда, с растер-

⁴ Ш. Сент-Вёв. Литературные портреты. Критические очерки. М. «Художественная литература». 1970, стр. 49.

занным сердцем, с оскорбленным самолюбием, сознанием собственной вины и с негодованием на ближних, возвращался он в свою комнату и перебирал все жгучие впечатления дня, выстрадывая вторично все его страдания до капли». В стороне и в тайне остается подлинная жизнь этого сердца, из которого лишь полтора десятилетия спустя прольются горькие строки: «И с отвращением читая жизнь мою...».

В начальный период Пушкин-поэт напоминает мне ребенка, голова которого, как у всех младенцев, непропорционально велика: она до отказа забита литературой, усвоенной из чтения и участия в беседах отца и дядюшки с их именитыми друзьями и знакомыми. В этом плане картина лицейской поэзии Пушкина с ее чисто литературного фасада, в общем, создана (в трудах Ю. Тынянова, В. Виноградова, Б. Томашевского, Д. Благого и других). Эта поэзия — пуантилистское полотно на первый взгляд единого колорита, но при ближайшем рассмотрении оказывающееся искусным сцеплением чужих (в первую очередь французских и карамзинистских) идей, образов, сюжетов, мотивов, поэтических ходов, приемов и фразеологизмов, бесчисленного множества цитат явных и скрытых, заимствованных прямо или через вторые-третьи руки из источников старых и новейших, отечественных и переводных... Сквозь эту сверкающую живостью, изяществом — а главное, мастерством, неизвестно откуда взявшимся, — амальгаму, кажется, не просвечивает ничего своего, личного, индивидуального; кажется, все присвоено, нахватаано, взято напрокат у современников и ближайших предшественников, все — сплошная литература... Знание этой литературы — полной условностей, создавшей иллюзорный мир, в котором все наконец стало понятно благодаря мощи Разума и свету Просвещения, — заменяет ему знание жизни. Сталкиваясь с настоящей жизнью, он то и дело теряется и оказывается в нелепых положениях, потому что гусарствует тем старательнее, чем менее это свойственно по природе ему с его меланхолическим в глубине своей и прозорливым сердцем, язык которого ему, быть может, и слышен, но еще невнятен — мешает все та же начиненная литературой голова.

То, что мы называем творческой эволюцией Пушкина — а мне кажется более правильным называть это его духовной биографией, — есть процесс постепенного сжог-

дения, сближения поэта и его творчества, человека с его даром — процесс, в котором поэт в конечном счете устремлен к встрече с «самим собой». На разных этапах этого процесса различные соотношения внутри этих пар обуславливают и различную степень эффективности традиционных историко-литературных методов изучения. Так, весьма ясным и в достаточной мере изученным предстает, например, с точки зрения этих методов этап романтизма: в этот период соотношение поэта с его поэзией выглядит в принципе укладывающимся в определенную модель поведения и творчества. Менее доступно для историко-литературного истолкования позднее творчество Пушкина, когда сближение с «самим собой» становится все более тесным, когда Пушкин «сознательно стремится слить свое житейское существование со своим творческим даром, стать достойным этого дара»⁵. Не случайно этот период до сих пор считается наименее исследованным.

Что же касается лицейской поры, то здесь эмпирические методы превосходно подходят для описания творчества Пушкина и вряд ли годятся для постижения самого явления Пушкина.

Лицейское творчество раннего периода похоже на эскиз театрального художника, изображающий более костюм, чем персонаж, и более персонаж, нежели конкретного исполнителя. В этом творчестве больше «эпохи», «окружения», направлений, тенденций и традиций, чем самого Пушкина, больше Литературы, чем Поэта. В сущности, творчество этого периода носит исполнительский характер: как музыкант, играя уже существующую пьесу, создаетвольно или невольно собственную трактовку ее, так поэт-лицейст создает свои исполнительские версии уже готовых идей, мотивов и лирических сюжетов: дружба, эпикурейская «мудрость», эротика, темы поэзии, трактуемые в духе «новаторов»-карамзинистов, нападки на «архаистов», набор просветительских идей, подготовивших декабризм, и т. д. Ведущее начало здесь — именно артистизм, способность и любовь к перевоплощению. Встав в шеренгу карамзинистов, он легко и свободно усваивает их литературную «дисциплину», с необыкновенной органичностью и изяществом воспроизводит на поэтическом «плацу» их «приемы». Военские ассоциации возникают тут не только потому, что

⁵ «Вопросы литературы», 1965, № 4, стр. 137.

«новаторы» были в литературном смысле чрезвычайно воинственны, а поэтика их нормативна, не только потому, что «школа гармонической точности» (см. об этом в книге Л. Гинзбург «О лирике») оказалась для него очень полезна, но и потому, что здесь берет начало излюбленная им внеэстетическая трактовка творческого процесса: «Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французов побеждать» («К другу стихотворцу», 1814); «Как весело стихи свои вести под цифрами, в порядке, строй за строем, не позволяя им в сторону брести, как войску, в пух рассыпанному боем!..» («Домик в Коломне», 1830).

Из двух противоположных мнений о раннедицеевской поэзии Пушкина: «...гениальные, но ученические упражнения»⁶ — и: «У Пушкина не было ученичества в том смысле, как оно было, например, у Лермонтова»⁷, — верным мне представляется второе. Вопрос «учебы», усвоения «техники» и «мастерства» был решен внутри, еще, быть может, до писания, в процессе чтения поэзии русской и французской. Юный Пушкин-поэт — это младенец, который сразу встал и пошел. В этом есть что-то чуть ли не бестнальное — во всяком случае, что-то от жизни природы. Он не «учился», просто ему показали, «как надо делать», — и он тут же начал так делать. Есть такие особо одаренные дети, при начальном обучении которых музыке и нотному письму не требуется никаких особенных педагогических ухищрений, никакой методики: ребенок как будто не учится, а припоминает.

Первые опыты его, включая самые ранние из известных нам, уверенно профессиональны. Смешно говорить об ученическом неумении, перечитав хотя бы такие шедевры «Пушкина допушкинского периода», как под 1814 годом — классицистски величавая и остроумная «проповедь» «К другу стихотворцу», прелестный гобелен «Рассудок и Любовь», чарующий юмором и непринужденностью мадригал «Красавице, которая нюхала табак», любочный «Бова» и мешанский романс «Под вечер осенью ненастной» и др., под 1815 годом — *grande valse brillante* «Измены», до сих пор загадочная для пушкинистов и совершенная, как цветок, «Роза», первое гражданское, преддекабристское, в монументальном стиле Луи

Давида выступление «Лицинию» с его звучащим как призывная труба: «О Ромулов народ!..» — и т. д. и т. д. На этом фоне слабые места, недостатки в композиции и шероховатые строки, если они и встречаются (скажем, в «Монахе» — 1813, или в «оссиановских» стихах — 1814, и др.), неудачны настолько неприкрыто и, можно сказать, демонстративно, так неорганично выглядят в общем свободном, уверенном течении стиха, что напрашивается мысль скорее о небрежности либо даже лености, чем о неумении или непрофессионализме. Когда появляются явные ляпы вроде: «Представь мечту любви стыдливой и той, которую дышу, рукой любовника счастливой внизу я имя подпишу» («К живописцу», 1815) — то это, пожалуй, вовсе и не «индивидуальная» ошибка. Ведь у опытного двадцатидвухлетнего Батюшкова в «Ответе Гнедичу» вышел с «рукой» не лучший казус: «Твой друг тебе навек отныне с рукою сердце отдает»; «Батюшков женится на Гнедиче!» — умирает от хохота Пушкин, делая позже заметки на полях батюшковских стихов; а в другом месте, против слов: «И гордый ум не победит любви, холодными словами...» — упрекает: «Смысл выходит — холодными словами любви — запятая не поможет». Так что и «ученичество» и «непрофессионализм» были достоянием всей российской поэзии. Но по-разному. Многословие и какофония великого Державина (рядом с его же великолепием) бывают чудовищны. Но архаист Державин, хоть и простодушно извинял себя, считая, что содержание важнее формы, однако же принципа из своего «непрофессионализма» не делал. А вот шестнадцатилетний Пушкин, напротив, в послании «Моему Аристарху» (1815) всячески афиширует свое легкомыслие, заявляет, что пишет «немного сонною рукой», что, конечно, «в таком ленивом положении стихи текут и так и сяк», а он по малости своей не в силах добиваться предельного совершенства «и сокращать свои страницы», да и неохота. Самоуничтожение «неопытного поэта», к которому бессмысленно предъявлять высокие требования, поскольку он ленив и творит только по интуицию («Задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю»), — оно, во-первых, не вполне отвечает истине, а во-вторых — паче гордости. Оно в духе школы, в которую он попал и которая, борясь за «личность» в поэзии, декларировала тот «непрофессионализм», о котором Мандельштам

⁶ В. В. Виноградов. *Стиль Пушкина*. М. Гослитгиздат. 1941, стр. 120.

⁷ Ю. Н. Тынянов. *Пушкин и его современники*. М. «Наука». 1968, стр. 123.

сказал применительно к Батюшкову: «Наше мученье и наше богатство, косноязычный, с собой он принес»; «Только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык». Провозглашая принципы «возможного совершенства», «истины в чувствах» и с неподражаемым блеском проводя их, школа новаторов в то же время педничала знамя «небрежности». «Небрежность» была свидетельством «истины в чувствах», «естественности», а главное — она была приметой минутного озарения, спонтанно нисходящего на беззаботных «любимцев муз». Это был ренессансный лозунг избраннычества, элитарности в пику идущему из средневековья «честному ремесленничеству» архаистов, «кряхтящих» «три ночи сряду» («Моему Аристарху»). Конечно, и «косноязычие», и «случайность» — все это в еще большей мере присуще поэзии XVIII века, последними могикинами которой были архаисты, но все это носит совершенной иной характер — именно ученичества. Преданная служанка государства, что не исключало порой строптивости, эта суровая поэзия еще мало что умела, но у нее было иерархическое сознание, она «знала свое место» и именно поэтому старалась изо всех сил. Новая поэзия иерархическое сознание отбросила: она принципиально стала «самодельностью» — служанкой она быть не хотела, а служением еще не стала, сделав кумиром «все высокое и все прекрасное», дар же осознав, в сущности, как личное дело и чуть ли не заслугу.

Таким образом, то, что называют ученичеством юного Пушкина, было на самом деле «верностью школе». Юный новобранец, он с наслаждением отдается несущим его потокам чужих стилей, чужих принципов и чужих ошибок и до того самозабвенно плывет по течению, что, кажется, забывает, куда и зачем. И никогда более в дальнейшем его поэзия не была так современна, никогда не шагала так «в ногу с эпохой», не была — по крайней мере, внешне — в такой степени литературой, как в этот его «младенческий» период. Поэтому она так легко поддается эмпирическому анализу.

Самого же поэта при помощи такого анализа постигнуть нельзя. Дар — это не литература. И методам, опирающимся только на литературу, здесь опереться не на что. А между тем суть феномена Пушкина оголенной и ошутимей именно здесь, на лицейском этапе, при самом начале. В любой другой период Пушкин

продолжает свой собственный литературный путь и его дар будто растворяется в собственной литературной практике, как зерно в колосе, — не ухватишь. Здесь же, в лицейской поэзии, когда в распоряжении Пушкина сплошь чужие опыты и чужие пути, дар его не растворен в литературе, а лишь как бы скрыт ею, загранирован, но существует-то в известном смысле сам по себе и поэтому в какой-то, пусть малой, мере может быть угадан, если грим не введет в заблуждение.

4

«Как иногда внутренне пуст и технически блестящ Пушкин-лицеист, — писал Пастернак, — как обгоняют, как опережают его средства выражения действительную надобность в них. Он уже может говорить обо всем, а говорить ему еще не о чем»⁸.

Поэты, «нисходя» на уровень обычной логики, нередко утрачивают свойственную им в их собственной сфере пронизательность; в стихах Пастернака сказал бы на ту же тему что-нибудь более глубокое. И все же он верно почувствовал явление, которое неверно оценил: Пушкин уже есть, но его еще нет, — не увидев возникновения, он расслышал его гул. И поэтому оценку Пастернака следует поставить с головы на ноги: Пушкин еще, быть может, не знает, что сказать, но говорить уже умеет; он еще не знает, куда идти, но он ходит. Пушкина еще нет; но он уже есть.

Но это еще не все. Раннелицейская поэзия — ребенок (пусть необычный, сразу начавший ходить, но ребенок). Сказать о ребенке, что он «пуст», можно лишь в нашем обиходно-интеллектуальном, «горизонтальном» смысле. Ребенок «полнее» нас, взрослых. Он полон грандиозно-непосредственных ощущений и ведений, полон первоначальных жизненных стихий, — он бытийственно полон. Он стихийный натурфилософ и великий артист, ибо, имея дело с первостихиями жизни, познавая эти первостихии — огонь и воду, холодное и горячее, мягкое и твердое, движение и статику, боль и радость, желание и покой и пр. и пр., — он в то же время наделен недостижимой уже для нас верой и непосредственностью. Он может играть во что угодно: в огонь и камень, в кошку, в паровоз, в ветер и в стул, — это ему ничего не стоит, здесь его жизнь; и в этом перевоплощении

⁸ «Блоковский сборник. 2». Тарту. 1972, стр. 447.

он самозабвенно серьезен. Дети вообще очень серьезные люди — даже смех для них дело жизненное и серьезное. А игра серьезней всего: в игре ребенок осваивается в мире, обживает заложенную в нем и в себе премудрость.

Играющее дитя — вот что такое лицейская поэзия Пушкина; так, я уверен, и надо к ней подходить. Родившись как поэт — то есть услышав в себе в первую очередь звуки, — он тут же начал играть. Не в кошку и не в лошадку — эти игры уже позади: «Простите, игры первых лет! Я изменился, я поэт, в душе моей едины звуки переливаются, живут, в размеры сладкие бегут» («Евгений Онегин», варианты VIII главы). Он играет в другое — в стихи, в поэтов, в первостихии поэзии, — поскольку поэзия, как уже сказано, представляет у него от лица жизни и ее стихий. Он играет в Державина — и познает мощную материальность мира и слова, а главное, слышит ее и в себе. Он играет во французскую *poésie fugitive*, «легкую поэзию», — и ощущает преходящее очарование бездумного музицирования звуками, чувствами, смыслами. Он играет в нежного Батюшкова и возвышенного Жуковского, напяливает парик «степенного» Буало и гусарский мундир Дениса Давыдова, переодевается в Вольтера и Оссиана, в неведомого сочинителя украинской песни и в ироничного «арзамасца» — он играет в стили, в сущности и стихии, в поэзию и язык. От «заказного» стихотворения к Александру, где он, усвоив образ мудрого витии, тут же обнаруживает в себе зреющий вкус к государственности, к царственным масштабам мышления, до разгульной и по-своему даже роскошной непристойности «Тени Баркова» — все это серьезнейшая игра: размашистая и хозяйская «фамильяризация» окружающего мира, осваивание, оглядывание, испытание на вкус, на излом, на надежность и пригодность (и в то же время проба собственных сил) для исполнения какого-то неразгаданного, но очень важного замысла.

Гераклитова игра со стихиями⁹ — так назвал лицейскую поэзию Пушкина литературовед В. Скуратовский, и он прав. Все то из заложенного в Пушкине, что проявилось в нем в этот период и, разворачива-

⁹ «Вечность есть играющее дитя... Царство (над миром) принадлежит ребенку» (цит. по кн.: Ф. Х. Кессиди. Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесского. М. Изд-во Академии художеств. 1963, стр. 87).

ясь, устремилось вперед через всю его жизнь (ограниченный местом, я не могу здесь делать обзор), проросло в этой игре.

Я даже думаю, и совершенно серьезно, что и сам-то поэт Пушкин начался не с поэзии собственно, а с игры: не с писания, не с потребности «выразить себя», но с детского перевоплощения, с «артистического» вживания в образ поэта. Так было нужно, к этому вело все.

Известно, что человек, усвоивший себе некий «не свой» образ, становится способен вести — и, главное, чувствовать — себя так, как он и мечтать не может, будучи самим собой. Вот это с ним и произошло.

Его вначале мало кто любил, и в семье этот толстый, медлительный, словно изнутри уже чем-то перегруженный мальчик мало кому был нужен, кроме, может быть, бабушки, а потом — его няни. Его при начале мало кто любил и в Лицее. Что-то мешало ему быть таким, как все, — а этого ему так хотелось! Но дар не своя ноша, он тянет: еще неведомый, он уже тяготил его, не пускал к желанной обычности поведения; и поэтому, делая как все, он то терялся, то перебарщивал — и попадал впросак¹⁰; и поэтому был одинок (здесь истоки его культуры дружбы).

И вдруг — он стал кому-то нужен. Больше: он стал любимцем.

В младенчестве моем она меня любила...
Она внимала мне с улыбкой...

О ком из женщин он писал так, как об этой?

«Являться муза стала мне», — вспоминал он в «Онегине». Мало ли кому она являлась! Но в Лицее она ему не просто являлась. Его, которого еще мало кто любил, она сделала своим любимцем. Ты у меня будешь поэтом! — сказала она. «И, радуя меня наградой случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свирель она брала...».

И — чудо! — когда это произошло, все стало меняться. Его многие полюбили в Ли-

¹⁰ Так было нередко и позже. «В общезнании, — вспоминает И. Д. Якушкин, — Пушкин был до чрезвычайности неловок... Иногда он корчил лихача... рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся...» Это еще раз показывает, насколько «не своим» он был в «горизонтальном» мире.

щее. Он стал могуч, ловок, находчив — в стихах, конечно, — и таким стал казаться порой и в жизни. А главное — у него как бы даже образовалась... семья. Отец? — «Милый мой, уважай Отца Державина!» Кормилица? — «...не совсем соглашаюсь со строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей?» Мать? — может быть, «мамушка», Арина Редноновна...

Образ поэта, «любимца муз», образ литературный, условный, с которым принято было играть, стал клапаном для выхода неисчислимых сил. Такой выбор был как бы принудительно продиктован драматическими внутренними обстоятельствами; дар не пустил больше никуда, закрыл путь к политике (к которой был равнодушен, и... неизвестно, что было бы с ним после Декабря), к воинской карьере (о которой — были моменты — подумывал, но с его характером если бы не отправился в Сибирь, погиб бы где-нибудь на Кавказе). Наконец, образ любимца «девы тайной» давал возможность отчуждения от самого себя, плохо ориентирующегося в «горизонтальном» мире. И недаром, я думаю, столько лиризма, почти интимного понимания в послании двадцать пятого года к вовсе не близкому другу — поэту Ивану Козлову, слепцу, которому поэтический дар «создал новый мир, ты в нем и видишь, и летаешь...».

Приняв образ поэта, он тоже стал летать — как ребенок летает во сне. И первым делом отлетел подальше от себя самого — в волшебный мир поэтических переодеваний, гримировок, перевоплощений, зеркал, отражающих новое «я — не-я». Он испытал артистическое наслаждение быть не собой. В этой эйфории дело порой доходило до нелепостей, которые, правда, опять же в духе школы и потому не в счет. В стихотворении «К Наталье». (1813) молодой повеса со вкусом рассказывает, как до рокового момента первой влюбленности он «в театре и на балах, на гуляньях иль в воксалах легким зефиром летал», но, мол, теперь «смехи, вольность — всё под лавку!.. И теперь я — Селадон!»; в конце же признается, что он монах и живет там, «где безмолвья вечный мрак», словно бы забывшая, что тут явная психологическая неправда, что монах не мог говорить в таком стиле и уж никак не мог сказать: «Миловидной жрицы Тальи видел прелести Натальи» — по той простой причине, что не мог очутиться в театре... Поток чужого для

него метафорического стиля (Лицей — мрачное «заточение», комната № 14 — «келья»), отвлеченная логика этого стиля поглощает «содержание» этой костюмной поэзии, подавляет его настолько, что ляпсус не так уж легко и заметить; он нисколько не портит этой детской игры в любовь и в поэзию — шалости ранней, но по-своему уже блестящей.

И вовсе иначе выглядит этот поэт, стихи которого еще не стали лирикой (по точному выражению Д. Благого), когда он оставляет игры и пишет не стихи, а лирику. Именно так — «без образа», от себя лично, из души, а не из головы выплеснуты строки, рожденные уже подлинной влюбленностью и появившиеся, вполне «лирически», в дневнике шестнадцатилетнего мальчика: «Итак я счастлив был, итак я наслаждался». И что же? — искренний и трепетный, этот набросок как поэзия мил, но и только. И это рядом с шедеврами, уже написанными в чужих манерах, в образе «любимца муз»...

Значит, игры пока были нужнее, чем лирика. «Отверг я рано праздные забавы», — гордо признавался Сальери. Думаю, это раннее взросление сыграло свою роковую роль в его драме.

Решают здесь масштабы и характер призывания. Пушкина они мудро предохраняли от преждевременных прорывов «к себе самому». Так большая высота хоть и тянет взглянуть вниз, но она же и заставляет отвернуться. Литература, условная, костюмированная литература, — низкий поклон ей за это — встала на его пути, загородив ему дорогу к собственному сердцу. Для чего это было и от чего был он убережен — о том свидетельствуют два имени, две судьбы, два поэта, и не просто поэта, но — прочтем в этом смысл! — два ближайших, отделенных от Пушкина на волосок соседа в истории: непосредственный и ближайший предшественник — Батюшков, непосредственный преемник — Лермонтов.

Гениальный Батюшков тоже уходил в литературный образ беспечного ленивца, бежал от своего внутреннего хаоса, от невыносимой раздвоенности на «черного» (дурного) и «белого» (хорошего) человека. Это он впервые, быть может, в российской поэзии понял суровую истину: «Нам Музы дороже таланты продают!» И впрямь: ему — то ли предвестнику Лермонтова, то ли преждевременному Тютчеву (см., например, его «Есть наслаждение и в дикости лесов») —

его талант и его «игра» дорого обошлись. Он был недостаточно дитя и слишком литератор. Провозглашенные им принципы: «...живи как пишешь и пиши как живешь», «Поэзия... требует всего человека» (разрядка Батюшкова.— *В. Н.*) — понятия им в ренессансном духе обожествления искусства и поэта, для него оказались непосильны. Он метался в поисках если не тождества, то хотя бы равновесия между собою житейским и собою — «жрецом муз», владеющим «языком богов». Высокий дар, тонкий, но хрупкий, «поэтический, слишком поэтический», не совладал с «природой», и Батюшков не выдержал этого единоборства с самим собою — сошел с ума. Он погиб оттого, что мир и человек оказались не так просты, как привыкли думать они, «эти легковверные, расточительные, говорливые люди», у которых «что-то все осыпалось... под ногами — вдруг полетят?» (Тынянов), люди, вышедшие из школы Просвещения и не совсем понимавшие, что же такое — дар.

Лермонтов, как известно, был дитя уже утратившей иллюзии, недоверчивой и раздраженной эпохи. В отличие от Пушкина он сразу начал с лирики. Этот «ребенок» таков, как изображали детей до XV века: с пропорциями тела и с выражением лица как у взрослых, только рост маленький. Этот «маленький рост» и есть ученичество юного Лермонтова: в его ранних стихах с местами поразительными, гениальными соседствуют неумелые и беспомощные — какие-то осколки несчастного, несостоявшегося детства. И эта беспомощность, которая бывает у детей так обаятельна, здесь вызывает шемящую жалость и боль. Ведь ему некогда было осваивать «язык богов»: само понятие это уже при Пушкине устарело; ни минуты не пришлось забавляться, играть со своим даром — просто сочинять... О, он не был настолько «пуст», чтобы, как Пушкин, сказать: «Я изменился, я поэт, в душе моей едины звуки...»; в нем не было ни грана такой «нищеты духа», наоборот: пятнадцать лет он заявил прямо противоположное: «В уме своем я создал мир иной и образов иных существование; я цепью их связал между собой, я дал им вид, но не дал им названья». Ему нужно было не сочинять, а — высказаться, не смотреть и слушать («И виждь, и внемли»), а — утверждать и отрицать («...вечный судья мне дал всеведенье пророка»), не спрашивать, а — воп-

рошать и требовать. Святая боль русской литературы, ее благородный порыв к смыслу, правде и духу поверх «словесности» — все это в нем возникло и повернулось как-то страшно: его ранние стихи — это ребенок, слишком рано узнавший такие вещи, от которых сжимается сердце и становится не до казаков-разбойников, не до птичек и бабочек. И он сразу начал с утверждения «я» в этом «мире печали и слез», с выяснения своих отношений с ним, в пределе ведущих к альтернативе: или я, или мир¹¹... Его неотразимая поэзия, такая гениально глубокая, такая чистая, несла в себе сладкую отраву самоутверждения как тяжкую природную травму, как врожденный порок сердца. Этот дух эгоцентризма, дух смерти и порождает ту навязчивую идею «я»-мертвеца, которая буквально преследует его. И если восемнадцатилетний Пушкин, «покорный общему закону» юности, с донжуанским легкомыслием уверяет любовницу-вдову, что «разгневанный ревнивец из пустынной гроба тьмы не воскреснет уж с упреком...» («К молодой вдове», 1817), то у пятнадцатилетнего Лермонтова уже загробный голос Командора: «Услышишь звук военного металла, увидишь бледный цвет его чела: то тень моя безумная предстала и мертвый взор на путь ваш навела!..»

И он не сболтнул простодушно, как юный Пушкин: «Великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю — исполню ли? Бог весты!»; он бесповоротно заявил: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества или гибели моей...» Дар был для него личною собственностью, но уже не так, как для «питомцев муз» с их «прыгающей походкой» (Тынянов): они с их талантами чувствовали себя все-таки лишь любимцами; он же, владея даром, счел себя не просто любимцем, а — равным. Он не служил дару, а дар хотел заставить служить себе, дар заполнить собою. Но дар был слишком велик для такого «личного» применения — он стал тянуть поэта в новые пространства, в прозу, к эпическим замыслам, где духу самоутверждения и гордыни жить нелегко и труднее, чем в лирике, — и тогда-то, думаю я, этот дух смерти ринулся в самое жизнь поэта и пожрал ее.

А дар остался нам и, войдя в созданную

¹¹ См. глубокий анализ этих сторон лермонтовского мироощущения, сделанный С. Ломинадзе («Вопросы литературы», 1975, № 3; 1977, № 3).

Пушкиным семью русской литературы, будто отрясши с себя прах житейского быта души, раскрылся пред нами словно в каком-то первоначальном замысле — вечно юным, как та младая душа, которую нес ангел по небу полуночи, вечно высоким и таким (сквозь байроновскую маску) кристально русским...

Вот между двух таких пропастей и удержался Пушкин. Дар его был настолько громаден, призвание настолько шире и важнее собственно поэтического и вообще художественного, что это и берегло его: слишком большая доза яда бывает, говорят, неопасна. Встретившись с музой и узнав ее любовь, он инстинктивно, по-детски смирился пред нею и, довольствуясь ее несомненно женской, но почти материнской лаской, на большее не посягал — и она в ответ хранила его, как и много раз после («Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня...»).

Но это вовсе не значит, будто те музы, что «таланты продают» (Батюшков), продешевили. Образовался гигантский долг, и платеж был за ним. Он заплатит; заплатит в страхе батюшковского безумия¹², и смертью, как Лермонтов, на дуэли, и многим, многим другим; он заплатит сполна, ибо дар не своя ноша; и он это знает.

А пока он просто сочиняет и в душе его «едины звуки переливаются, живут, в размеры сладкие бегут»...

5

«Пространство между небом и землей похоже на кузнечный мех или флейту. Оно внутри пустое и прямое. Чем больше движения, тем больше эта пустота», — говорится в одном из древнейших философских трактатов Дальнего Востока. Комментируя эту метафору, Е. Завадская в статье о классической живописи дальневосточного региона пишет, что с подобным представлением связана в этой живописи динамическая напряженность и глубокая осмысленность образа пустого пространства: «...небытие, отсутствие в живописном произведении изображенного объекта не означало его отсутствия — он просто пребывает в ином бытии, в ином измерении». Другой образ та-

¹² Стихотворение 1833 года «Не дай мне бог сойти с ума» написано, как предполагает М. П. Алексеев, быть может, в связи с посещением Пушкиным душевнобольного Ватюшкова (М.—Л. 1949. «Известия АН СССР», отдел литературы и языка, т. 8, вып. 4). Тема безумия, как известно, сильно волновала Пушкина.

кой пустоты — бамбук; его изображение (в контексте этих представлений) является подобием «истинного» человека, в котором, как в дудке из бамбука, звучит сама природа¹³.

«Веселый сын Эрмия ребенка полюбил, в дни резвости златые мне дудку подарил. Знакомясь с нею рано, дудил я непрестанно...» («Батюшкову», 1815).

(Много позже этот инструментальный образ осознается иначе: «Исполнишь волею моею».)

То, что мы вслед за Пастернаком уже почти готовы были назвать «пустотой» раннего Пушкина, есть «пустота» в зримом нами измерении, на самом деле эту особенность должно определить совсем по-иному: перед нами за «пустым местом» — дар. Дар такого масштаба, что он еще не нашел путей сказаться на понятном нам языке и говорит покамест на собственном, изначальном, бытийственном праязыке, мощь и очарование которого мы чувствуем, даже не понимая «слов», как, бывает, чувствуем неотразимую красоту стихов, звучащих на незнакомом или крепко забытом наречии. Перед нами чистая стихия дара: то ли лава, несущая свой жар из глубин, где она до назначенного часа пребывала, и заполняющая формы уже готового рельефа местности, то ли сама природа, воздух, принимающий формы дудочек, что составляют свирель. Это и есть «пустота», или «несамостоятельность», Пушкина.

Тот праязык, на котором изначально, глубинно изъясняется дар и который постепенно переводится на язык «бытовой», человеческий, на язык слов и понятий, мыслей и чувств, идей и ценностей, содержаний и форм, есть язык элементов, стихий мироздания, язык начал, на которых построен мир. Дар есть степень ориентированности в этой клавиатуре творения и способность извлекать из нее мелодии.

Испокон веку зодчие строили здания из тех материалов, что имеются в природе, сочетая и комбинируя их. Дар тоже имеет дело с тем, что есть в природе, — с элементами мира.

Так что же, скажут, речь идет просто о том, что талант — это комбинаторные способности?

Нет. Природный талант — это, может, и есть комбинаторные способности. А я говорю о даре. Талант относится к дару, как

¹³ См.: «Всесвіт», 1978, № 5, стр. 198, 199 (указано М. Новиковой).

комбинация звуков к их композиции. Талант исполняет произведение, дар—музыку.

Главное в постройке — композиция, соотношение объемов и материалов, сочетание и сцепление отдельных частей меж собою и в общем целом. Праязык дара — это язык не отдельных «слов», а композиции, язык соотношений, сочетаний и связей — тот язык сцеплений, который считал главным в искусстве Толстой.

Талант есть техника строительства. Дар—зодчество, архитектура. Главное в облике здания — это соотношение вертикали и горизонтали, устойчивости и устремленности (в ином случае получается готика — Реймский собор, в ином — храм Покрова на Нерли); им-то, этим соотношением, и определяется дух композиции, ее отношение к выси, к куполу неба.

Есть старинное выражение «музыка сфер». Это работа структуры мира, ее законы и формулы в действии. Архитектура особенно наглядно соотносится с этими формулами и законами, не зря ее называют застывшей музыкой.

Дар музыкален и архитектурен. Это способность слышать (кстати, шумеры изображали мудрецов с большими ушами) «музыку сфер» — не отдельные звуки, а смысл,— по этой музыке настраиваться и в согласии с нею, а не в диссонансе, творить.

Именно так понимал дар и сам Пушкин; я мог бы привести немало цитат из его статей, но ограничусь одной — стихотворной: «И виждь, и внеми, исполнил волею моею».

Здесь-то и происходит у нас первая встреча между Пушкиным юным и Пушкиным великим, между Пушкиным, которого «нет», и Пушкиным, который есть. И происходит она в первую очередь на почве использования «готового материала». Своего он выдумывал очень мало — и вовсе не только в юности. Наиболее простодушные почитатели Пушкина, свято верящие, что «плагиат» — это нехорошо, что гений непременно должен измышлять что-то неслыханно свое, по-журденовски не подозревающие о том, что тем самым они невольно исповедуют одно из фундаментальных заблуждений модернизма, — эти почитатели придут в ужас и негодование (против того, кто это им сообщит), когда узнают о поистине чудовищных масштабах его заимствований — от сюжетов до отдельных выражений; о том, что по меньшей мере половина пушкинской лирики, порой самой сокровенной, представляет собою переводы, переложения, «подра-

жания», переделки и перепевы; что оставшая часть ее пронизана реминисценциями из самых разных источников; что, скажем, «Евгений Онегин» — в огромной степени мозаика подобных же реминисценций и цитат, начиная с первой же главы, воспроизводящей исходную ситуацию метьюринского «Мельмота Скитальца» (герой, едущий к «умирающему дяде, средоточию всех его надежд на независимое положение в свете... Дядя... был богат, холост и стар»), да что там! — с первой же онегинской строфы, где соседствуют Крылов («Осел был самых честных правил») и тот же Метьюрин с эпиграфом из Шекспира: «Он жив еще?..» (ср.: «Когда же черт возьмет тебя?»); что письмо Татьяны к Онегину, помимо прочего, имеет источником, как показал Л. Сержан, стихотворение Марселины Деборд-Вальмор, а письмо Онегина к Татьяне, как показала А. Ахматова, связано с «Адольфом» Бенжамена Констана, оставившим в пушкинском романе немало и других следов; что ситуация Татьяна — Онегин очень похожа на ситуацию романа Метьюрина Иммали — Мельмот (наблюдение Ю. Чумакова); что одно место из этого почитаемого Пушкиным английского романа: «...в то время как за стенами опустевшего дома завывал ветер, а дождь уныло стучал в дребезжащие стекла, ему захотелось — чего же ему захотелось? Только одного, чтобы звук ветра не был таким печальным, а звук дождя таким мучительно однообразным... Все живое давно забылось сном...», — это место «подозрительно» напоминает строки из «Медного всадника»: «...и грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтоб ветер выл не так уныло и чтобы дождь в окно стучал не так сердито... Сонны очи он наконец закрыл»; что знаменитое выражение «непостижное уму» (видение Марии-Девы в стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный») заимствовано у Державина, из совершенно неожиданного для такого случая источника — стихотворения «Хариты. На случай русской пляски их императорских высочеств великих княжен Александры Павловны и Елены Павловны...» — и так далее и так далее, — один только перечень подобных случаев, известных науке и еще не известных ей, занял бы весьма объемистый том.

Он не измышлял своего. Он сам был своим в семье первоэлементов и стихий мира: волны и камня, льда и пламени, твердого и летучего, светлого и темного, стремительного и неподвижного, Закона и Сво-

боды, — это был внятный ему язык, и у него был абсолютный слух на эту музыку. И когда он пишет об обвале, он не описывает обвал, и ветер, и Терек, а сам становится камнем, ветром и Терекон в каждом слове и звуке; и когда он говорит о свободе, кажется, что это пишет сама Свобода, знающая, что такое Закон и только поэтому причастная космосу, а не хаосу.

Что́ рядом с этим какие-то «заимствования» и «цитаты», хотя бы их были тысячи! Они для него тот же строительный материал, что и камень, ветер, огонь и слово, — разница тут небольшая.

Таков он был и в Лицее. Уже в исполнительстве он обрел себя как создателя, ибо это исполнительство «композиторское»: так гениальный пианист настолько сливается с исполняемым, что кажется, будто сам его и сочиняет; да так оно и есть — ведь он не исполняет произведение, а создает музыку. Юношеская покорность его дара перед музой, покорность нахлынувшим потокам «чужого» была смирением сильного: она обернулась хозяйской распорядительностью, с какой он осваивал все, что оставлялось ему в наследство, и вообще все, что окружало его. Его точка обзора становилась все выше — уж слишком огромная клавиатура простерлась пред ним. Очень скоро он стал ощущать «холод строителя больших чертежей» (Тынянов), который, наверно, чувствовал один только Бах, чья музыка — точно какая-то завораживающая вселенская гамма; и в истинном масштабе представляли перед ним его собратья, каждый из которых играл в самого себя, лишь в своей, доступной октаве. И тогда стали происходить удивительные вещи. Он не просто воспроизводил стили и манеры своих учителей и старших собратьев. И не просто перерастал их.

«Я не умер!.. Вот кто заменит Державина!» — вскричал, говорят, маститый старец, прослушав «Воспоминания в Царском Селе» (1814).

«Он мучит меня своим даром, как привидение!» — простонал в своей мистической манере Жуковский, прочтя послание 1818 года «Жуковскому» («Когда к мечтательному миру»), стилистически ориентированное на него, адресата.

«„В дыму столетий“! Это выражение — город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое... Этот бешеный сорванец нас всех заест...» — писал Вяземский о том же послании.

Он не просто перерастал их. В их восклицаниях слышится: «Да это же я! Но...» — и в этом «но» — растерянность. Он показывал каждому его самого, но в таком блеске, в таком идеале, до какого им дотянуться было не по силам. Это то же, что Гоголь сказал о «Капитанской дочке»: «...не только самая правда, но еще как бы лучше ее». Его дар осознал — и включал в себя — их таланты как частные случаи.

И чем дальше, тем больше его перевоплощения начинают походить на «передразнивание» — порой невольное, порой осознанное, порой так, для красного словца. В «Тени Фонвизина» он уморительно передразнивал Державина, в «Руслане» будет пародировать Жуковского... И при всей покорности музе покорности людям в нем нет: он смиренно соглашается однажды с критикой Катенина, просит его «никому не сказывать» и... оставляет все как было, ибо критика явно плоская, а он уже взял себе за правило «не оспаривать...». В его голосе с самого начала есть металл, что так тонкошутливо, так простодушно-почтительно пререзается в послании Батюшкову, который дерзнул дать ему, мальчишке, на двенадцать лет моложе, совет, о чем писать, — пререзается тем почтительнее, что в этот непреклонный ответ: «Бреду своим путем: будь всякий при своем», — вкраплена (конечно же!) цитата, подчеркнутая им самим... Дескать, не я говорю — он и Жуковский так же считает! «Нет, нет — вы мне совсем не брат: вы дядя мне и на Парнасе», — ласково мурлычет он в ответе В. Л. Пушкину («Дяде, назвавшему сочинителя братом»), но коготки уже видны...

Он с самого начала не был им своим братом. Он находился в другом пространстве, в другом измерении, и только язык его еще был — пока — их языком. И он, этот язык, с «катастрофической» (Тынянов) быстротой обнаруживал свою непригодность для его целей и его призвания. Он был условен, он был бытийствен, он был горизонтален, а не вертикален. В 1815 году Пушкин пишет стихи под многозначительным заглавием «Мое завещание. Друзьям»; в них трактуется модная тема ранней смерти поэта, жаждающего уйти из этого несовершенного мира, — но как! «На тихий праздник погребенья я вас обязан пригласить»; «Певец решил умереть. Итак, с вечернею луною, в саду нельзя ли дерн одеть узорной белой пеленою?.. Нельзя ль, устроив длинный ход, нести наполненные чаши?.. Простите, милые

друзья, подайте руку; до свиданья!» Что он — серьезно или издевается? Ведь это уже балаган, откровенная бутафория!.. Как будто из любимой куклы сыплются опилки.

Это он обретает язык. И милые раньше детские слова — их слова — становятся забавным лепетом; и, по привычке еще употребляя их, он вольно или невольно утрирует, отчего самому ужасно смешно. Но в хохоте этом уже различим тот высокий, беспечный, звонко-холодноватый тон, что и в смехе «бессмертных» Германа Гессе. Начинает раскрываться (все явственнее для него самого) его отношение к смерти. Это вопрос вопросов.

Они все в глубине души панически боялись смерти (кроме Жуковского — я его здесь не буду касаться), они трепетали перед ней, даже когда о ней шутили. И потому они боялись времени, этой Медузы Горгоны эпикурейства. Они знали только сегодняшшний день, а если он их не устраивал, то — завтрашний, более счастливый. В крайнем случае для них остается послезавтра — какое-то «будущее вообще», полное покоя и счастья, сродни фаустовскому «остановись, мгновенье!». В сторону времени они глянуть не смеют, а доведется взглянуть — каменеют. И тогда Батюшков начинает путать настоящее и будущее, в ужасе теряя ориентировку: «Цветочки милы, к чему так рано увядать? Закройте памятник унылый, где прах мой будет истлевать; закройте путь к нему собою...» и т. д. — он так испугался смерти, что уже почти умер; а Пушкин пишет на полях: «...чорт знает что такое!» Ему этот «модернизм» не то что непонятен: его чуткое ухо скорее возмущено этой вызванной страхом и растерянностью «какофонией».

Для них время измерялось линейкой собственной жизни. Поэтому время и смерть для них были, по существу, синонимы.

Пушкин относился к времени спокойно — и спокойно относился к смерти. У него был иной масштаб. Его время было то, что М. Бахтин называет большим временем. Он жил в нем каждую секунду, это был его быт. Не зря он так любил рисовать себя в прошлом и в будущем, в молодости и в старости, которая так и не наступила. А его черновики? Зачем он так бережно их хранил — из тщеславия, что ли? Тут много причин, но самая глубокая та, что черновики есть он сам, только в прошлом, минуту назад, их нельзя уничтожить, как нельзя убивать живое. Он чув-

ствовал прошлое и будущее как живое, присутствующее здесь и сейчас. И в истории он жил как в собственной семье, рядом с Петром и Бояном — и рядом с теми, имена которых я приводил в начале статьи, когда говорил о пушкинских предвосхищениях в литературе. Он отражал и прошлое и будущее, как зеркало, «вставленное» в строку о Россини. Время для него — один слитный момент, лишь условно делимый внутри себя на прошлое и будущее: они для него соседствуют, как струны в инструменте, — на прикосновение к одной отзываются все остальные, создавая гармонический фон и глубину взятой ноте — далекое эхо «музыки сфер». Время было для него скорее пространством. В сущностном пространстве, заместившем эмпирическое время, все обитает одновременно, рядом и связано не последовательностью, а своего рода расстоянием — иерархией предметов.

Для него время было не сзади и не впереди — оно было вокруг, и у него была высокая точка обзора во все стороны. Оно поднимало его вокруг него спиралью, и он поднимался вместе с ним.

Время было вокруг него, и поэтому происходили поразительные вещи.

В 1816 году появляется у него первое пушкинское, вполне пушкинское, от начала и до конца пушкинское стихотворение — «Желание»:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! Лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!

Посмотрите: не в том сейчас дело, что время тут и впрямь исчезает и не важно («Лети, не жаль тебя... пустое привиденье» — это обращение к «часу»), а в том, что эти стихи, в которых жизнь, постепенно нагружаемая («множит») мучениями, становится сладкой («горькое... наслажденье»), и эта вот горькая сладость достигает такой степени, что смерть от нее предстает как полнота жизни, — эти стихи есть не что иное, как двойник появившейся четырнадцать лет спустя, в 1830 году, в Болдине элегии «Безумных лет угасшее веселье»! Пускай тот, кто хочет,

Положит перед собою параллельно два этих стихотворения (одно — знаменующее рождение великого Пушкина, другое — появившееся на пороге центрального и устремленного уже к завершению этапа) — и он увидит, что они отражаются друг в друге бесконечной анфиладой зеркал; я, ограниченный местом, не могу позволить себе проделать несложный анализ идей, мотивов и композиции, показывающий, что оба стихотворения написаны как бы одними и теми же словами. Ибо они, разделенные, с точки зрения эмпирической, огромным периодом (четырнадцать лет — с 1816 по 1830!), обитают рядом в «большом времени», а точнее — в сущностном пространстве бытия, и глядятся друг в друга, находясь, очевидно, в симметричных точках спирали, вертикально растущей вверх.

И теперь уже не удивительно будет увидеть, что, например, стихотворение «Домовому», написанное всего-то в 1819 году (перечтите его — и вы убедитесь в справедливости того, что я сейчас скажу), — что это стихотворение, посвященное одной из интимнейших и одновременно бытийственнейших для Пушкина тем — теме дома, очага, прибежища, — что оно по уровню своему и характеру вполне может быть поставлено в ряд самых поздних шедевров Пушкина, таких, как «...Вновь я посетил», «Пора, мой друг, пора...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Я памятник себе воздвиг...»; ибо вполне звучит как... завещание — завещание человеческое, интимное, личное — рядом с грандиозным поэтическим и пророческим завещанием «Памятника»... Предвосхитить такое и так в двадцать лет можно, только воспринимая и время, и собственную жизнь, и историю, и мир как единое, простирающееся вокруг пространство, живя каждую минуту не в эмпирическом времени, а в большом бытии, или, как говорили в старину, *sub specie aeternitatis* — перед лицом вечности.

И почти все, что происходит в его творениях, происходит тоже в особом пространстве. Моцарт и Сальери беседуют не в трактире и не перед нами на сцене. Они беседуют в мире, и все происходящее между ними происходит перед лицом вечности, в ее пространстве и потому — всегда, ибо время неважно. И поэтому они не просто Моцарт, не просто Сальери, два композитора, — они, так сказать, Моцарт и Сальери с большой буквы. Да и вообще большинство его героев могут быть именованы с

больших букв: не зря он так любил давать им названия как бы неопределенные: Дочь, Мельник, Князь, Самозванец, Отец и Сын... Это все потому, что действие у него происходит — всегда — в мире и в бытии и на действие это глядит лицо вечности.

Время было вокруг него, оно поднималось, и он — а точнее, его дар — поднимался вместе с ним, но несколько выше, как будто его что-то тянуло вверх: так поднимается аэростат, наполненный летучей и легкой «пустотой». Поэтому он не боялся смерти — она была для него не конечной точкой, а эпизодом, пусть ответственным и драматичным, но эпизодом в жизни его духа и дара — той «пустоты», которая, оказывается, для того и «пуста», чтобы вместить в себя мир, время, жизнь и смерть и снова жизнь.

А внизу — не сзади, внизу! — продолжал находиться Лицей, и первая встреча с музой, и детские игры в поэтов, и все это было не за спиной, а в эпицентре спирали его бытия: ведь зерно есть и источник и эпицентр растущего вверх колоса. Он вырос из этого зерна, он заключался в нем; и я снова думаю, что термин «развитие», который привычно понимается нами как возникновение в явлении чего-то, не бывшего в нем, — этот термин не худо бы заменить другим: раскрытие. Ибо уже в Лицее он был таким, каким развернулся после; там было брошено в землю зерно, которым мы занялись, когда разговор зашел об аксиоме гения.

6

Положение аксиом (я имею в виду широкий смысл этого слова: всякую так называемую очевидность, простую истину) в известном смысле незавидное. Их скромная роль — роль подсобного орудия нашей логики — есть удел тайн бытия, низведенных со своих «метафизических высот» в сферу практического употребления. «Ударившись о сыру землю» человеческой практики, тайна оборачивается элементарным фактом, обретает «земное» лицо — лицо очевидности, не требующей размышления, удобной к оседланию. Переворачиваются наши отношения с тайной: опрокидываясь в эмпирический мир, реальность высшего порядка занимает в практической иерархии этого мира как раз самую нижнюю ступеньку — и наше знание об «элементарном факте» ограничивается, по сути дела, умением этот факт использовать. Такой прагматический

взгляд «свысока» бывает неизбежен, а порой и необходим, но нельзя превращать его в принцип: ведь взгляд «свысока» есть взгляд вниз и только вниз; в этом и состоит беда исследовательского эмпиризма — порожденный «прокинутой иерархией», он не презревает в «простых истинах» и аксиомах их высокую породу.

Все сказанное тоже своего рода «простая истина», теоретически ясная всем. Но на практике глубина исследования — научного, да и художественного — нередко связывается у нас с представлением о бесконечном дроблении и разъятии, которое называется аналитическим взглядом и постижением, тогда как это и есть ограниченный взгляд только вниз, к себе под ноги.

В житейском быту это, быть может, и так: глубина — это низ. Что же касается процесса познания, то тут уместно вспомнить тот путь, что в XXXIV песни «Ада» проделал Данте, когда, миновав последний, самый нижний круг Ада, стал спускаться вместе с Вергилием еще ниже, цепляясь за шерсть Люцифера. Когда они достигли середины пути по телу владыки Ада, Вергилий перевернулся головой «туда, где прежде были ноги», и стал, как бы спускаясь дальше, на самом деле подниматься дальше, так что, выбравшись, Данте увидел, что Люцифер торчит вверх ногами. Рубеж, который они минули таким необыкновенным образом, был рубежом между Адом и Чистилищем. Объясняя недоумевающему Данте это «нисхождение-восхождение», Вергилий говорит:

Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился.

Иначе говоря, необходимый поворот (в противном случае путники оказались бы в желанном Чистилище вверх ногами) был сделан в той точке, где предельно уплотнена темная, неодухотворенная материя.

Таков, в сущности, и ход познания. Когда «материя» накопленных, рассмотренных и проанализированных фактов достигает предельного уплотнения¹⁴, необходимо — дабы не оказаться по отношению к истине вверх ногами — перевернуть соотношение между

¹⁴ В последние годы изучение пушкинского творчества перемещает центр внимания в менее изученные 30-е годы XIX века, а исследование биографии и судьбы поэта сменяется исследованием его окружения — родных, близких, знакомых и т. д. Создается, таким образом, впечатление, что в пушкинском творчестве до 30-х годов и в судьбе самого Пушкина уже все ясно.

фактами и собою, другими словами — посмотреть на них снизу вверх.

Попав в это новое положение, мы вопреки известной поговорке о синице в руках и журавле в небе оказываемся в выигрыше. Новый взгляд помогает нам те же самые факты, как будто знакомые вдоль и поперек, увидеть в новой связи. То, что казалось самою природой предназначенным лишь для умелого использования, становится высокой целью, таинственным и манящим средоточием устремлений нашего духа. Наглядный пример: рассуждая об открытом Ньютоном законе, «в силу которого все тела тяготеют к одному общему центру», Чаадаев в четвертом Философическом письме напоминал: «Не следует забывать, что закон падения тяжестей установлен Галилеем, закон движения планет — Кеплером. Ньютону принадлежит только счастливое вдохновение — связать воедино оба эти закона... Но можно ли серьезно думать, что весь секрет гениальности Ньютона, вся его мощь, заключается в одних его математических приемах? Разве мы не знаем, что в этом возвышенном уме было еще что-то сверх способности к вычислениям?.. И можно ли представить себе, будто в то время, когда... закон вещественности блеснул его духу и разодралась завеса, скрывавшая природу, в... душе его были одни только цифры?.. Великие открытия... могли быть сделаны только тем самым Ньютоном, каков он был, гением столь же покорным, как и всеобъемлющим, столь же смиренным, как и мощным...» («Литературное наследство», т. 22—24, стр. 41).

Нужды нет, что тайна в итоге останется все-таки тайной, то есть никогда не исчерпается до конца; главное состоит в том, что мы попадаем в сферу ее притяжения, она направляет наши усилия, и наш процесс освоения мира, сводившийся раньше к познанию-потреблению, получает шансы превратиться в познание-восхождение.

Само собой разумеется, что в этой новой ситуации дискурсивный анализ и научный профессионализм становятся лишь средством в нашем стремлении к высокой глубине и только через это умаление обретают свой истинный, высший смысл, ибо все хорошо на своем месте.

7

Первый публичный триумф Пушкина как поэта состоялся в 1815 году на том экзамене по русской словесности, где Державин слушал «Воспоминания в Царском Селе».

Первой поэмой, «Руслан и Людмила», было начато триумфальное шествие Пушкина в литературе. Достойно пристального внимания то, что оба упомянутых произведения каждое по-своему связаны со «Словом о полку Игореве», к которому Пушкин относился с благоговением и за изучение которого взялся в конце жизни. Некоторые черты батальных эпизодов «Воспоминаний...» связаны, несомненно, с впечатлениями от «Слова...»; строка же «Летят на грозный пир; мечам добычи ищут» звучит чуть ли не цитатой. Образ Баяна и сцена боя с печенегами в «Руслане» также явно несут на себе отпечаток знания великого памятника древней русской культуры.

«Слово...», как известно, было утеряно и долгое время отсутствовало в культурном сознании, как бы не существуя вообще. Нечто подобное произошло и с русским словом в литературе. Оно было утеряно, «спрятано» до поры, как волшебный меч в поэме Пушкина. Русская литература металась в поисках своего слова, как Руслан.

Продолжая разговор о «воинском» оттенке в творческой работе Пушкина, надо вспомнить эпизод из «Руслана».

Долину брани объезжая,
Он видит множество мечей,
Но все легки, да слишком малы...

Раннюю поэзию Пушкина можно уподобить этому эпизоду: поискам меча по руке. Ищет не сам Пушкин, но его дар. Все поэтические манеры, школы и стили, опробованные им, оказались «легки, да слишком малы». «Волшебного меча» среди них не нашлось.

Сочинения зрелого Пушкина Гоголь сравнивал с русской природой, «тихой и беспорывной», а слово Пушкина — с «русским человеком», который «немного-глаголив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу».

Русское слово, найденное Пушкиным у няни, в летописях, у московских просвирен, в народной речи, и преображенное им, и есть то неповторимое, загадочное, «простое» и необозримое пушкинское слово, которое, само по себе будучи «нейтральным», «тихим», как бы «пустым», таит в себе «силу взрыва» и в контексте способно вместить мир.

Это и есть «волшебный меч», отысканный Пушкиным для России, извлеченный из откывшегося ему древнего «тайника». Именно русское слово оказалось по руке его дару, и именно этот дар оказался целиком соприроден России по духу. Небывалый в мировой культуре по масштабу и роду, этот дар был определен просторной, широкой провинциальной стране с тихой, беспорывной природой под неярким небом и «серенькими тучами», с ее избами, балалайкой и топотом трепака. Он был определен стране, спасшей Европу, стране, осененной поверх всех трагедий и бед высоким духовным предназначением. Он был определен народу, в котором Гоголь и Достоевский расслышали, слушая Пушкина, всечеловеческое эхо — небывалое свойство «всемирной отзывчивости», национальную потребность в братстве людей.

Пушкин — это Россия, выраженная в слове. С его появлением страна заговорила на своем языке. И тогда словно по волшебству возникла — сразу и вдруг — литература, одним гигантским скачком оказавшаяся в авангарде духовных устремлений всего человечества.

Творчество Пушкина — это металитература, и типология, которая в нем содержится, типология бытийственная (включающая в себя также и литературу). Пушкин не столько начал великую классику, сколько особым образом присутствует, наличествует в ней (даже когда она в чем-нибудь и «противостоит» ему); и она не началась с него, а содержится в нем потенциально, разворачивается из него, существует в созданном им поле. Он заключает ее в себе, подобно тому как в зерне ржи заключен ржаной колос и никакой другой. Среди новых зерен, содержащихся в колосе, то зерно, из которого он произрос, отсутствует: оно живет иною жизнью — всем колосом. Вот почему собственно пушкинское оказалось в последующей литературе невозпроизводимым и наличие пушкинского направления, пушкинской школы — невозможным. Школой Пушкина оказалась, по самой скромной мере, вся великая русская классика, та самая святая (по известному слову европейского писателя) литература, которая никогда не была «словесностью», постоянно держа в поле зрения те пространства, где «кончается искусство».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Дм. Иванов. Устремленность критической мысли. — Ю. Смелков. Три путешествия Леннарта Мери. — Ирина Шевелева. Возмущание. — В. Тендряков. Возвращение поэта.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Каграманов. Между валгаллой и пригородным поездом. — Эрнст Генри. Техника «промывания мозгов». — И. Луначарская. Хирург о детях.

Литература и искусство

УСТРЕМЛЕННОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Василий Новиков. Советская литература на современном этапе.

М. «Художественная литература». 1978. 159 стр.

Юрий Андреев. В поисках закономерностей. О современном литературном развитии. Л. «Советский писатель». 1978. 399 стр.

«Подобно стрелке компаса...»
Этим сравнением известный ленинградский критик Юрий Андреев выразил устремленность современной критической мысли к анализу текущего литературного процесса, к выявлению общественной значимости важнейших явлений литературной жизни.

За последние годы, особенно после известного постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», замечен поворот всего литературно-критического цеха, всех отрядов критики и литературоведения к глубокому осмыслению процессов, происходящих ныне в многонациональной советской литературе. Этот поворот обусловлен не только новыми чертами литературного развития, но и теми бурными изменениями в самой жизни общества, тем новым этапом исторического развития страны, свидетелями и участниками которого мы все являемся и который получил всеобъемлющее и точное обозначение как период развитого социалистического общества.

Может быть, самым важным итогом работы большого отряда советских критиков за последние годы стал анализ основных закономерностей современного литератур-

ного процесса, осмысление характерных черт литературы периода развитых социалистических отношений.

Мне кажется, что книги Василия Новикова «Советская литература на современном этапе» и Юрия Андреева «В поисках закономерностей» находятся в главном русле движения сегодняшней критической мысли. Общим для этих книг является стремление их авторов по-новому взглянуть на сегодняшний день нашей литературы, отметить и подробно рассмотреть такие проблемы, как усиление историзма в произведениях последних лет, углубление психологического анализа при обрисовке героев и обстоятельств, масштабность обобщения явлений жизни и масштабное их воплощение, особенно в современном романе.

Разумеется, В. Новиков и Ю. Андреев каждый по-своему освещают актуальные проблемы, но методологическая основа их книг едина, оценки произведений во многом совпадают.

Характеризуя в целом современный этап развития литературы, В. Новиков отмечает, что в условиях развитого социалистического общества появляются все новые произведения, отражающие динамические процессы самой жизни именно этого перио-

да. «Процессы, происходящие в современной советской литературе, находятся в бурном развитии, — пишет он. — Некоторые явления только нарождаются и не получили еще отчетливого оформления. В критике сталкиваются различные мнения. Но, как и на каждом историческом этапе, в литературе развитого социалистического общества проявляются ведущие, главные тенденции». Прослеживанию этих ведущих тенденций В. Новиков и посвящает свое исследование.

Он настойчиво подчеркивает: как и само зрелое социалистическое общество явилось итогом всего предшествующего развития, так и литература этого периода неотделима от всего опыта советской литературы, от традиций реалистического искусства вообще, традиций, знаменовавших укрепление и обогащение метода социалистического реализма. «В советской литературе... преемственность реалистических традиций является закономерностью, отражает характерную особенность искусства социалистического реализма», — пишет критик. Основываясь на этом суждении, В. Новиков рассматривает современный этап развития нашей литературы как своеобразный концентрат предшествующего опыта, как залог новой, более высокой ее зрелости.

В. Новиков прослеживает путь и оценивает завоевания советской литературы, показывает достижения эстетической мысли, то новое, что появилось в приемах типизации явлений жизни, отмечает закономерность создания произведений, которые не только стали советской классикой, но и составили новый этап в развитии мировой литературы.

Плодотворна мысль критика о том, что богатейшие традиции принадлежат всей многонациональной советской литературе в целом. В период зрелого социализма она выступает как единая социалистическая литература, как прообраз будущей общечеловеческой культуры.

Подчеркивая интенсивность процесса взаимообогащения братских литератур, В. Новиков замечает, что некоторые видные писатели братских республик все чаще обращаются к русскому языку как орудию художественности. Получило широкое признание творчество таких авторов, как Ч. Айтматов, М. Ибрагимбеков, Ч. Гусейнов, О. Сулейменов, в произведениях которых свободно себя обнаруживает национальная специфика и при этом заметно

усиливается интернациональная направленность и в форме и в содержании.

Приводя многочисленные примеры из жизни братских литератур, анализируя творчество разных писателей, критик приходит к выводу, что роман как жанр достиг значительного развития во всей советской многонациональной литературе: идет интенсивный процесс его обогащения, поиск новых форм обобщения.

Важно отметить, что автор книги «Советская литература на современном этапе» не отрывает разговор о тенденциях современного литературного развития от анализа конкретных произведений. В частности, детален и убедителен его анализ романа Г. Маркова «Сибирь». Критик подчеркивает социально-философскую направленность этого произведения, историзм повествования, полноту созданных художником картин. Масштабность художественных решений выявляется автором и при анализе романа Ю. Бондарева «Горячий снег», трилогии К. Симонова «Живые и мертвые», эпопеи А. Чаковского «Блокада», романа П. Проскурина «Судьба», целого ряда других произведений советских писателей. При этом конкретный анализ во многом направлен на выяснение своеобразия художника.

В своем, особенном ключе написана книга Юрия Андреева «В поисках закономерностей». Здесь сделана далеко не безуспешная попытка осмыслить современный литературный процесс как целостное явление общественной жизни.

В теоретическом плане наибольший интерес представляет глава «О категориях фундаментального значения», являющаяся как бы базисом всей книги, указывающая высоту, с которой критик смотрит на современные явления литературной жизни. При этом Ю. Андреев строит свои теоретические изыскания не только на явлениях сегодняшних, а размышляет и о вековых литературных традициях, привлекает разнообразный материал из опыта мировой литературы. Автор ставит один из трудных и методологически важных, коренных вопросов — как и куда устремлено литературное развитие, к чему стремится литература, что можно назвать в ней прогрессом...

Ю. Андреев остро полемизирует с буржуазными теоретиками, которые готовы признать безгранично широкую изменчивость литературы, но не хотят видеть ее

поступательное движение и развитие. Для идеологов уходящих классов закат буржуазной культуры равносильен закату человеческой культуры в целом.

Не упуская из виду общие тенденции развития искусства, Ю. Андреев пишет о зарождении и становлении социалистического искусства и его метода. Анализируя качества нового творческого метода, указывая на его отличия от критического реализма, автор особенно подчеркивает, насколько важно знание, глубокое усвоение писателем закономерностей общественного развития, позволяющие ему по-новому смотреть на мир. «Социалистический взгляд на мир, — пишет Ю. Андреев, — это не некий внешний фактор, а фундаментальное, качественное видоизменение в искусстве, означающее резкое увеличение его познавательной силы». На примерах из творчества М. Горького, В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина автору удалось убедительно показать, что основная тенденция развития социалистической литературы «отнюдь не автоматически и не прямолинейно, а с огромным трудом прокладывая себе дорогу среди множества противоречивых факторов бурной эпохи». Широкий подход к явлениям литературы позволяет автору прийти к методологически важному выводу о том, что «с позиций многовековой, тысячелетней истории искусства отрезок в несколько десятилетий при всем его своеобразии нельзя рассматривать как завершённый, раскрывший свои особенности этап и нельзя рассматривать вне тех связей, которые существуют между ним и лоном, из которого новое искусство столь энергично вырвалось».

Книга Ю. Андреева проникнута духом творческого поиска, публицистичностью и страстностью. Она по своей форме носит историко-литературный и теоретический характер, но в то же время это книга литературного критика, кровно заинтересованного в рассмотрении современных проблем нашей литературы.

К сожалению, как мне кажется, автору не везде удалось выдержать высокий уровень исследования, заявленный поначалу. Впечатление такое, что Юрий Андреев начал писать книгу как широкое историко-литературное исследование, но на каком-то этапе ему не хватило дыхания и он стал включать в книгу в качестве глав или разделов свои известные журнальные статьи, не подвергнув их соответствующей перера-

ботке. Не случайно в тексте книги то и дело встречаешься с фразами типа: «Автору данной статьи...», «Это только кажется, что разговор... побочный для статьи...» и т. д.

Критик подчеркивает, что в социалистической литературе действует новый социальный герой, что внимание писателей сосредоточено на классово обусловленных конфликтах, на ситуациях, которые отражают реальное противостояние интересов борющихся классов.

В той и другой рецензируемых книгах затронут вопрос о взаимодействии литературоведения и собственно критики. Василий Новиков считает, что между ними укрепляется содружество, что отчужденность и разрыв, которые имели место прежде, сейчас успешно преодолеваются. Иначе думает Ю. Андреев, полагающий, что обе сферы у нас еще слабо взаимодействуют. В подтверждение своего вывода Ю. Андреев критикует статью Б. Примерова «Служенье муз не терпит суеты...», опубликованную в альманахе «Поэзия». Статья подвергнута Ю. Андреевым суровой критике. Но даже если все претензии автора книги к этой статье справедливы, один пример еще не доказательство. Признаюсь, в этом вопросе мне ближе позиция В. Новикова, который опирается на множество живых примеров и наблюдений.

Книги Ю. Андреева и В. Новикова подкупают страстной заинтересованностью авторов в текущих событиях нашей жизни, стремлением разобраться в самых сложных процессах сегодняшнего литературного развития, проследить истоки и движение современной художественной мысли. Широта охвата новейших явлений литературы, глубина и тонкость эстетического анализа художественных произведений последнего времени придают книгам В. Новикова и Ю. Андреева боевой и актуальный характер. В какой-то мере исследования этих критиков, богатство материала, содержащегося в обеих книгах, их нацеленность на самые злободневные проблемы являются показателями уровня современного критического мышления, устремленности и поисков нашей литературно-художественной критики.

Работы В. Новикова и Ю. Андреева выражают общую направленность движения литературно-художественной критики. В своих исследованиях они сосредоточились не просто на важных проблемах современного процесса, они выявляют то, как ли-

тература раскрывает закономерности нашего общественного развития, показывает становление характера героя эпохи зрелого социализма — человека высокого социалистического сознания, живущего богатой духовной жизнью, тесно связанного с коллективом, обществом и не мыслящего себя вне этих общественных связей.

Проблеме героя современной литературы в его многогранных связях с жизнью стра-

ны оба критика уделяют большое место на страницах своих книг, понимая реальный общественный вес этой проблемы. Решая свои исследовательские задачи, литературная критика стимулирует художественную мысль творцов литературы, поиски писателями эффективных средств изображения человека эпохи зрелых социалистических отношений.

Дм. ИВАНОВ,

кандидат филологических наук.



ТРИ ПУТЕШЕСТВИЯ ЛЕННАРТА МЕРИ

Леннарт Мери. Мост в белое безмолвие. Перевод с эстонского Веры Рубер, М. «Советский писатель». 1978. 360 стр.

Хемингуэй, описывая в «Иметь и не иметь» яхты, стоящие у причалов Гаваны, упоминает эстонцев: «У четвертого причала стоит двухмачтовая яхта тридцати четырех футов в длину, на борту которой находятся двое из тех трехсот двадцати четырех эстонцев, которые плавают по всем морям мира на судах от двадцати восьми до тридцати шести футов в длину и отовсюду шлют корреспонденции в эстонские газеты. Эти корреспонденции весьма популярны в Эстонии, и авторы их получают от доллара до доллара тридцати центов за столбец. Они занимают место в американских газетах, отводимое бейсбольной и футбольной хронике, и печатаются под общим заголовком «Саги наших бесстрашных путешественников». Ни одна гавань для морских яхт в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрых эстонцев, мирно ожидающих гонорара за последнюю корреспонденцию. Как только гонорар будет получен, они распустят паруса и отправятся в другую гавань, где напишут другую сагу».

В сущности, читатель получил тоже своего рода сагу, созданную Леннартом Мери, который, как историк, конечно же, знает имя эстонца, упоминаемого Хемингуэем (Ахто Вальтер), и который на качественно ином уровне продолжает традицию саг эстонских бесстрашных путешественников, сложившуюся, как мы видим, задолго до него и имеющую в числе своих продолжателей и Юхана Смуула. Причем сага эта интересна как минимум уже тем, что пи-

шет ее историк, человек с широким кругозором, владеющий огромным материалом для всякого рода сопоставлений и умеющий их делать. Читаем: «Следы эскимосов на скандинавском побережье кажутся досадным промахом против хорошего тона (конечно, все так привыкли, что бесстрашные норманны открывали чуть ли не все на свете, а тут получается, что их самих открыли. — Ю. С.). Англичане утверждают, что в 1553 году они открыли Россию. А когда была открыта Англия?.. Так не будем же всегда и всюду искать первооткрывателя, олицетворяющего узколюбый европоцентризм... Во все времена все народы открывали свой общий мир, иные, увы, так энергично, что ООН по сей день накладывает пластыри на раны».

Леннарт Мери начисто лишен того, что названо им узколюбим европоцентризмом. Он понимает — «открывают» и его, а через него всех эстонцев. А если не всех, если в чукотском поселке Уэлен побывал до него еще кто-то из них, то неизвестно еще, надо ли радоваться, что «неплохо же мы обжили наш земной шар!», поскольку этот эстонец вполне мог оказаться нехорошим человеком (так оно и получилось); автор стоит перед председателем сельсовета, и вместе с ним «стоит вся Эстония, и я не могу стереть в памяти этого человека грязный след, оставленный пьяницей, авантюристом или мошенником. Одной из радостей маленького народа является знание друг друга, а обратной стороной этой радости — ответственность друг за друга». Обратим внимание: Мери не пишет «каким-то»

пьяницей или авантюристом, он не «какой-то», он эстонец, и ничего не поделаешь, приходится отвечать за него. Так, кстати, и называется глава книги «О моральной ответственности путешественника». Это только один слой книги.

В книге причудливо перемешано самое разное — описание путешествия автора по Северному морскому пути от Мурманска до Уэлена, длинные, необычайно интересные и великолепно прокомментированные цитаты из лутевых записок тех, кто ранее путешествовал по этим же местам, древние географические трактаты, рассуждения о путешествиях вообще, сведения об эстонцах и выходах из Эстонии, исследовавших Крайний Север, и еще много всего.

Организуется же все это в единое целое нравственной позицией автора, иногда выраженной открыто, иногда намеком, но всегда ощутимой. Это диалектическая позиция — Мери знает, что мир един и в то же время что каждый народ в нем особенный. Он приводит отрывок из книги Ю. Рытхэу, в котором эстонец спрашивает чукчу, правда ли, что у них существует обычай, по которому хозяин уступает гостю жену на ночь, а чукча отвечает: «У каждого народа в прошлом был такой обычай. Был он и у предков эстонцев. Называется это — пережиток первобытнообщинного строя». У всех одно и то же прошлое, и негоже забывать об этом. Как пишет Мери, «история культуры не знает понятия «устарело...»

Вот эта нравственная позиция, органически включающая в себя сознание единства и многообразия рода человеческого, и есть, пожалуй, самое интересное в книге. Для Мери пейзаж без людей неинтересен, он сочувственно цитирует англичанина Кокрена: «Никогда не забывай, что самым увлекательным объектом исследования является Человек» — и, глядя на местность, представляет себе человека, который первым прошел по ней. «Перед ним расстился незнакомый край — лес, луг или откос, и он, доверившись своим ногам и глазам, выбрал именно это направление... А потом появляется второй; он видит след, оставленный предшественником, и доверяется рождающейся дороге...»

Мери отлично понимает, что первопроходцем ему не быть — земной шар основательно исхожен. Но у него другая цель и другая радость — наблюдать за измене-

ниями пейзажа во времени, изменениями, которые вносят люди (хотя далеко не всегда эти изменения дарят радость). «Потому что мы и должны беречь в себе светлую память о первопроходце, что она, в свою очередь, пробуждает воспоминания о сияющем горизонте, который когда-то распахнулся перед его взором, о широком и приветливом просторе, от которого он отрезал себе столько, сколько ему было по силам, оставив нам весь остальной мир — чтобы мы сами его измерили шагами и сами открыли». Вот здесь, пожалуй, и сформулирован стимул, который заставляет эстонского писателя отправляться в новые и новые путешествия, — любопытство: что нового в мире, какие люди живут в нем и как они изменяют его? Поэтому Мери, побывав в Певеке, понял, что значит для его жителей только что построенный стадион («...из-за вечной мерзлоты в тундре разбить футбольное поле очень нелегко»), и познакомился с человеком, который сообщил ему, что по некоторым параметрам климата Певек — это почти Эстония. Находить в незнакомом знакомое, еще и еще раз убеждаться в единстве такого многообразного мира — задача удивительно интересная для писателя.

Это единство проявляется иногда самым невероятным образом — Мери воссоздает сценку из прошлого века, когда тартуские студенты, репетировавшие пьесу в загородной корчме, перекинулись несколькими словами с проходящим путником и услышали, что он идет... из Сарагосы на Чукотку; путник и есть тот английский путешественник Кокрен, которого Мери цитирует. Так связываются в далеком прошлом Эстония, Сарагоса и Чукотка. Все связано, все связано — странами, по которым они проходили, словами, которые говорили друг другу, — хотя люди часто не подозревают об этих связях. А Мери очень любит их находить, порой даже придумывать, но придумывать правдоподобно — было или не было, бог знает, вполне могло быть.

Мери еще и переводчик, он переводит с английского, французского, русского, поэтому естественна в его книге мысль о том, что в разных языках «различие в конструкции фразы отражает прежде всего различие в течении мысли». И дальше: «Я не отдаю предпочтения одному языку перед другим, я просто сопоставляю. Первопричиной их различия является язык мышления, эта тончайшая ткань художественного

произведения, выражающая специфический склад мышления автора и структуру его родного языка, отражающая грандиозное и захватывающее зрелище рождения, формирования и созревания мысли вместе с возникающими в процессе мышления сомнениями и преодолением их». Однако это отнюдь не только профессиональные мысли переводчика — они находят отзвук совсем в другом месте книги, там, где русский учитель, работающий на Чукотке, говорит, что «детям здесь трудно понять способ употребления причастий в русском языке. У чукчей совсем другой склад абстрактного мышления».

Такое понимание многообразного в своем единстве мира нужно утверждать и отстаивать, поскольку порой оно сталкивается с совсем иными взглядами. Мери пишет о некоей статье об искусстве Севера, в которой чукчей предлагают отучить от их национальных танцев и привить им классический балет, поскольку это, дескать, высшая форма хореографического искусства, а также высказывается точка зрения, что со временем исчезнет необходимость шить одежду из шкур и можно будет перенести орнаменты, украшающие ее, на занавески и половики. Это, конечно, всем очевидная крайность. Но ведь и такое известно, когда чукотские мастера-косторезы «гонят ширпотреб», вместо того чтобы продолжать и развивать традиции своего древнего искусства; мастерам скучно работать, исчезает творчество, царствует план по доходам.

Естественно, что и у путешественников, и у ученых, изучавших Арктику в прошлом, Мери ищет и находит близкое себе миропонимание, близкую себе нравственную позицию. Он с гордостью перечисляет имена

выходцев из Эстонии — Миддендорфа, Толля и других, не забывает указать номера их студенческих матрикулов (как-никак и он и они в одном университете учились — Тартуском). У Мери и тут есть предшественники, есть традиция, которой он успешно следует. Правда, чтобы найти этих предшественников, требуется изучать не столько историю географических открытий, сколько людей, совершавших открытия, но это и есть метод Мери. Он читает дневники и письма и по ним выстраивает образ человека. Собственно, по мере чтения книги выстраивается и образ ее автора — человека, наделенного, кроме всех перечисленных качеств, еще и чувством юмора, весьма и весьма необходимого путешественнику.

Вместе с Леннартом Мери мы совершаем, так сказать, сразу три путешествия — в пространстве, во времени и среди людей. И каждое в отдельности интересно, однако особую прелесть книге придает их сочетание и взаимопроникновение, ибо время и пространство здесь всегда и плотно населены людьми. В сущности, такими и должны быть путевые записки. Прошлое у него прорастает в настоящее, настоящее — в будущее, а люди, и жившие в незапамятные времена и сегодняшние, естественно соединяются в огромную семью, имя которой — человечество.

О переводе в данном случае вроде бы не следует говорить особо, ибо сказанное выше как раз и означает, что переводчику удалось передать стиль и, следовательно, личность автора. Это, собственно, и есть профессиональный долг переводчика, и выполнен он хорошо.

Ю. СМЕЛКОВ.



ВОЗМУЖАНИЕ

Игорь Шкляревский. Лодка. «Современник». 1977. 271 стр.

Игорь Шкляревский. Меназванная сила. «Советский писатель». 1978. 108 стр.

В лирике Игоря Шкляревского мы встречаемся с характером, выраженным вполне четко, определено:

Раскрылся дуб. Люблю похолоданье!
В нем чистота. Его боится тлен.

В ясном холоде российских далей глубоко,
зольно дышится лирическому герою.

Поэта отличает азартно-восторженное приятие стихии:

И я, под жуткий рев дождя,
хрипя простуженною глоткой,
под перевернутую лодкой
заснул, счастливый, как дитя.

Чтобы улыбаться, герою Шкляревского
нужно чувствовать себя «распатым рабо-

той». Это может поначалу показаться преувеличением, но, следя за стихотворческой практикой поэта, видишь, что энергичные, полнокровные строки рождаются у него только в результате активного, действительного столкновения с жизнью. Лирика Шкляревского событийна — оттого, наверное, попытки созерцательного подхода к жизненным явлениям неизбежно сталкивают его с высот поэзии на унылую плоскость лирики «вообще».

Герой Шкляревского — легко узнаваемый наш современник: он современен и социально-географической подвижностью, и жадным любопытством к работе, и романтизацией труда. Кажется, нет такой крепкой мужской профессии, которая была бы неведома Шкляревскому, — грузчик, матрос, целинник, рабочий литейного цеха, геодезист... Он счастлив, что его первая строчка оказалась «записанной не в тупике, не на салфетке в кабаке... в тревожном поезде рабочем — на птйьем сквозняке!»

Внимание Шкляревского приковано к зримой конкретности — лица, фигуры, пейзажа. Взгляд поэта на реалию, житейский факт бывает безукоризненно точен: «в синих зарослях стружки фабричной», «И ход сухого кадыка подобен ходу поршня», «Послевоенный год. Закат. Над миром — дым! На кухне — чад!», «лед в синяках», «и солнца слепые лавины — в лицо сквозь дырявые кроны», «бредет по дороге старуха и просится в землю клюкой», «таймень... в течение уперся головой», ворон «плавно от мокрой березы оторван», «летит, улюлюкая, пуля. И дымок возникает в доске». В перечислении реалий рождается образ:

То в прутьях ивы, белой от мороза,
То в облаке, то в дыме паровоза,
То в черных сучьях яблони пустой —
Я видел профиль твой.

Но зорко увиденные подробности окружающего — лишь пунктиры в движении стиха Шкляревского. Гораздо привычнее его перу понятия нерасчлененные — лес, река, осень, листья, простор, синева, бездонье... Изложение он нередко предпочитает описанию, что, надо сказать, дает место строкам проходным, залитературенным.

Строки — реминисценции из стихотворений больших русских поэтов; нередко встречающиеся у Шкляревского, художественно веские сами по себе, все же говорят скорее об уровне постижения предшественников, о

школе, которую он проходит, чем о приметах его собственного стиля.

Собственный же стиль поэта выражает жизненную позицию героя, позицию твердую, определенную. «Я — молодой и сильный враг твоей тоски, твоей печали» — непосредственная душевная реакция на чужое состояние, а не поучительный, обобщенный опыт. Ощутимо стремление запечатлеть проявления удали, силы, дерзости во встреченных людях: «Кто-то в поле срывает стоп-кран, — стой, держи! — и опять не поймали», «А шланг холодный вырывается, и только пена, только звон, и вот Семенов напрягается, обкручен, как Лаокоон»...

В стихах И. Шкляревского лирический характер высвечен, выделен, пластически очерчен. А дальше? Невозможно ведь вечное накапливание впечатлений (в мускулах, нервах, памяти). Они требуют выхода в большие поэтические темы. И в лирике Шкляревского от книги к книге все определенной исследуются нравственные категории времени, резко проступают мотивы природы, детства.

С некоторым удивлением обнаруживаем мы в Шкляревском поэта-моралиста, жаждущего разумности и ответственности в деяниях человечества, экологической разумности в частности. Его волнует проблема жестокости и милосердия: какова в современном человеке способность к добру и злу — подспудный вопрос не одного стихотворения. С исповедальной беспощадностью лирический герой познает самого себя, идет на вызов, спор с ходячими заповедями: «Лишь до утра на всех мне жалости хватило...»

Поэт с предельной обостренностью замечает неблагополучие, боль, сиротство: не подлежит сомнению правдивость очерченных им фигур — шкета-менялы на толкучем рынке послевоенных лет, сбежавшего детдомовца, соседей по больничной палате...

Чуткая восприимчивость к чужой боли обнаруживает себя и в натурфилософских раздумьях поэта:

Лесник с досады в пень всадил топор.
И пильщиков заветренные лица
обрызгала смола — прозрачная живица...
И, как на ранах розовеет соль,
пыль дерева на срезах розовела.
Наверно, мы и есть
живая боль
той жизни,
что себя осмыслить не сумела.

Эти строки — в русле основной лирической традиции русской поэзии. К природе у Шкляревского чувство благодарности, соединенное с тревогой за нее. Она и целительница и олицетворение непреходящей доброты: «...как будто на теплой груди отчизны своей согревался».

Шкляревскому близок завет Заболоцкого «душа обязана трудиться». Этому завету отвечает стремление лирического героя возвыситься от опыта, так сказать, телесного к опыту чувств, упорному, даже азартному поиску, в частности поиску ответов на «загадки» природы. И хотя поиски эти вызывают живой интерес, но не столько к их предмету, сколько к новой ипостаси лирического героя. «Что можно прочитать глазами?» — взывает поэт, цепко вбирая мир окрестный.

Но временами усилие понять и защитить природу уступает место внешнему форсированию темы:

Синее солнце на перьях блестит.
Вниз по течению гнезда уплыли.
Птица летит! Птица летит...
Негде присесть — тополя порубили.

Изысканность («синее солнце на перьях») сталкивается с лобовой однозначностью строк. Слишком заметно именно в стихах о природе, что автор склонен играть на одной лирической струне. И это выдает некоторую его растерянность, творческую скованность.

Возможно, дух сопротивления затаивающей стихии всеобъемлющего лиризма — после стихов о жалости и постарении, о новом духовном зрении — заставляет поэта вновь и вновь обращаться к жестокой забаве охоты. Однако охотничьи картины остаются в творчестве его лишь обособленным фрагментом, не уводящим с уже проложенного пути современного поэта-модералиста.

Детское сердце жег
бедности глупый стыд.
Истиной всех дорог —
Мать на крыльце стоит.

Поэт чувствует, что не к лицу ему положение уединенного наблюдателя картин прошлого и настоящего — ему, поэту с такой реальной биографией, с такой жестко зажатой во времени судьбой.

Детство, совпавшее с войной, видится Шкляревскому в узнаваемых подробностях

эпохи. Все большее место в его стихах занимает Могилев — родина поэта. Могилевский цикл, формировавшийся постепенно, думается, стал весомой и органичной частью создаваемого современной поэзией образа послевоенных лет, послевоенного поколения. Поэт воскрешает руины Могилева, черты быта, изувеченного войной, лица и фигуры, врезавшиеся в воображение подростка. Инвалиды, старухи, мальчишки, пленные немцы — во всем этом зоркая память очевидца. В строках о прошлом — неистребимость юности среди развалин: драки и любовь, кино без билета, отскочившая подметка, дыры в заборе парка, папироска в рукаве, доски, что вылавливали баграми на растопку... Все создает достоверный образ времени, победы и скорби, дерзкой силы пробивающейся новой, молодой жизни.

После могилевского цикла яснее вырисовываются у Шкляревского истоки характера лирического героя. Заряженность на победу, тяга к риску — «тревогами жизнь сокращая, но юность продляя свою!».

От детских впечатлений и тяга Шкляревского взглянуть на жизнь «с точки зрения вечности». Соприкосновение детского разума с необъятностью вселенной показано поэтом в одном из наиболее ярких его стихотворений, «Мы жили в такой тесноте»...

Но разве все это беда?
И грязь, и плохая еда,
и камень подвальчика влажный,
и в печке дымящий картон?
Со страхом я думал о том,
что солнце погаснет однажды.

Именно современному человеку свойственно ощутить себя жителем планеты, в постоянном окружении космоса, ощутить свою незамкнутость и связанность с любым проявлением жизни. Вот это ощущение современного человека и облеклось у Шкляревского в лирическую форму, вызывая у него постоянное желание осветить, опознать положение человека среди земной природы и во вселенной. Могилевский мальчик, рабочий, охотник, путешественник дерзко и неустанно избирает ситуацию — посреди простора.

Там север. Там горит Полярная звезда.
И мы с тобою, брат, опять идем туда.
Унылые холмы, да водяная пыль,
Да гиблый блеск травы, похожей на

Ковыль.

По тундре мы идем. Нас засыпает град.
Из облаков на нас видения летят!

Не перестает восхищать Шкляревского стойкость человека перед тем, что сильнее его. И рядом тревога, неуверенность: «Ведь я перед синюю бездной один устоять не смогу».

Таким — в дерзости и сомнениях — подошел Игорь Шкляревский к первой своей книге избранного «Лодка», таким он выходит на новые пути поисков в «Неизвестной силе». «Хорошо на душе, беспокойно», по-прежнему свежа страсть к путешествиям, хотя и прибавилось грусти по уходящей поре молодости, суровой, но и, что греха таить, легко прощающей бездумье во имя действия. Явился новый уровень творческих сомнений и мук. Они от недосказанности, недоосознания, недостигнутой гармонии внутреннего чувства с жизненной реальностью. «Есть счастье — выше, чем любовь, есть сила — выше, чем искусство».

Эту неизвестную силу Шкляревский стремится отыскать в тайнах природы, в одухотворенной идее связи прошлого и настоящего, в «жизни после смерти», в звездной

вечности. Пожалуй, это все общие слова, однако оправдаюсь тем, что и сам поэт еще не написал строк, притокрывающих суть «мировой гармонии». Такого поэта Шкляревского еще нет.

Есть юноша, полный дерзкой — земной — силы, что останавливал в поле поезд, срывая стоп-кран:

Проводницы сходили с ума,
машинисты от страха дрожали.
А потом пролетела зима.
Поезд шел, тормоза не визжали.
Может, стал он взрослее к весне
и удача к нему постучалась.
Может, просто на этой версте
никого из родных не осталось...

Это стихотворение — словно увертюра ко всему написанному Шкляревским. Как живо, правдиво, сколько в нем подлинного лиризма! Что-то скажет нам возмужавший поэт? Лирическая повесть продолжается...

Ирина ШЕВЕЛЕВА.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА

Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. Составитель М. И. Твардовская. М. «Советский писатель». 1978. 488 стр.

«...З аглавия статей звучат так, что я отчасти почувствовал себя уже отлитым в бронзу, покойником, притом — давним, как будто над моим прахом уже сомкнулись волны, по крайней мере — десятилетий...» Эти слова Александр Трифонович написал, когда ему исполнилось всего лишь сорок шесть лет,

С тех пор как парнишка из смоленской деревни Загорье стал поэтом, события нашей текущей истории получают под его пером особую поэтическую окраску, герои его произведений становятся родственно близкими почти каждому, а наш язык обогатился его крылатыми выражениями в виде новых пословиц и поговорок. Уже при жизни Твардовский воистину всенароден,

Кто мог знать, что так быстро начнут смыкаться над ним «волны десятилетий»: все очевидней для нас место Твардовского в почетном ряду классиков, без того немалая слава поэта растет и ширится день ото дня. И от сознания, что его уже нет с нами, возникает обостренная необхо-

димость сохранить все, что с ним связано: случайные эпизоды его насыщенной жизни, его облик, его привычки, его мысли, даже те, что брошены мимоходом. Из поколения в поколение армия пушкиноведов усиленно охотится за мельчайшими подробностями, касающимися личности Пушкина, любая находка обогащает нашу национальную культуру, любая потеря — невосполнимая утрата для нее. Как важно, чтобы с таким же ревностным вниманием была исследована и личность Твардовского!

Можно сказать, начало положено — в издательстве «Советский писатель» вышел сборник воспоминаний. Рассказывают 58 человек, знавших Твардовского в разные годы — со школы-четырёхлетки в деревне Ляхово, кончая последними днями в дачном поселке Красная Пахра. Материал разнообразен — от мимолетных встреч, раскрывающих какую-то одну черту характера, до открытия целых, неизвестных досель периодов в биографии; от появления

самых первых наивно-детских четверостиший, которые скорей всего забыл со временем и сам поэт, до непосредственных свидетельств о том, как создавались им его великолепные поэмы. С разных сторон, увиденный разными глазами, страница за страницей предстает живой Твардовский в исторические моменты нашей жизни.

Порой воспоминания вскрывают до парадоксальности поразительные черты. «Создалось любопытное положение, — пишет М. Исаковский, — студент Твардовский при окончании института (а он его окончил в 1939 году) на экзаменах мог вытащить такой билет, по которому он должен был бы рассказать экзаменаторам о произведении поэта А. Твардовского «Страна Муравия». Случай, как мне кажется, небывалый в истории литературы...»

Случай да, небывалый, но, думается, достаточно характерный для своего времени — люди тогда часто созревали раньше, чем получали образование. Но Твардовский-то созрел до того, чтоб, говоря высоким слогом, стать властителем дум, и наверняка не одного поколения. Вот это уже воистину небывалое.

Бывший армейский корреспондент Василий Глотов, с которого художник О. Верейский рисовал Василия Теркина, вспоминает: «Полковник Гаев рассказал Александру Трифоновичу, что у нескольких наших погибших воинов товарищи находили среди писем из дома газетные вырезки ё «Теркиным»...». Ни тогда, а тем более теперь этот факт особенного удивления не вызывает — исключительная популярность Твардовского общеизвестна. Удивительное идет дальше... «А недавно, — продолжает Глотов рассказ полковника, — наши танкисты нашли в сумке убитого в бою немца зачитанные газетные вырезки из «Книги про бойца». Видимо, отдельные главы «Теркина» попадают и к немцам, кое-кто из них знает русский язык»,

«Делянка» Твардовского на обширном поле классической русской литературы — на том поле, с которого уже второе столетие собирает урожай культурное человечество, — плодоносит и теперь, когда Александра Трифоновича уже нет среди нас, будет плодоносить и дальше, за нами, питая новых поэтов, растущих в разных концах земли.

Насколько велико влияние Твардовского на своих собратьев по труду, видно из их

собственных признаний. Кайсын Кулиев, сам по праву считающийся народным поэтом, много видевший, много сделавший, говорит:

«При его жизни я никогда не осмеливался называть себя учеником Твардовского, а когда его не стало, тем более не могу. Быть учеником такого человека — слишком большое дело. Я также никогда не старался писать под Твардовского, понимая бессмысленность подобных стараний. Но тут же хочу подчеркнуть, что его уроки и его пример стали для меня большой, неопределимой школой. Учиться совсем не значит повторять учителя, быть похожим на него. Ученики, похожие на учителей, но не на самих себя, обычно огорчают мастеров. Одно только то, что он жил среди нас и мы имели счастье общаться с ним, слушать его, было школой и благом».

Аркадий Кулешов — поэт белорусского народа, Кайсын Кулиев — балкарского, тут невольно приходится затронуть тему национального в литературе.

Истинный художник не мыслится без любви к своему народу, к его национальным особенностям, к его традициям, к земле, на которой тот живет. Нужно ли доказывать, что все литературное наследие Твардовского — все, до последнего слова! — проникнуто необъятной любовью и к русским людям и к русскому краю. Но никогда он, русский поэт Твардовский, не декларировал спесиво и навязчиво свою любовь, никогда не допускал нотки хотя бы малейшего превосходства русского над нерусским. Как он разительно не похож на тех поэтов, которые в экстазе умиления объявляют русские березы самыми красивыми, русскую рябину самой сладкой, русский народ самым мудрым народом, не чета всем другим. Хотят или нет такие поэты, но они неумеренным восхвалением противопоставляют свое чужому как достойное недостойному, не желая понимать, что и другим столь же дорого свое. Здесь уже не выражение национального, а скорей проявление национализма. Эти два явления схожи по названию, но противоположны по существу. Под национальным понимается не что иное, как духовное богатство, приобретенные той или иной нацией на протяжении всего ее существования. Национализм несет в себе лишь голую престижность. В интересах любой нации, чтоб ее духовное национальное богатство было признано и воспринято другими народами

(шутка ли сказать — культурное влияние!), вызвать к себе почтительное уважение! Мы, русские, по праву гордимся влиянием своей классической русской литературы, в каком-то смысле мы через Толстого, Достоевского и прочих великих писателей совершили духовное завоевание всего мира. Кто возмутится этим завоеванием, кто попрекнет? Только испытуют благодарность. Националистические же интересы преследуют одно — унижить чужеродцев, чтоб самим выглядеть более значительными. Национальное способствует сближению народов, националистическое порождает вражду.

Выдающийся национальный поэт Твардовский, преодолевая языковые барьеры, черпая из сокровищницы русской культуры, из опыта русской жизни, нес наше русское в мир, щедро одаривал — пользуйтесь все! И потому-то столь искренние, столь страстные голоса любви и благодарности ему наиболее ярких представителей других народов. Самого Твардовского уже нет, но можно ли сомневаться, что его щедрое творчество будет распространяться все шире и шире по планете, раздвигая рамки мировой культуры,

Чем укорочен век его? Войной?
Смертельную болезнью? Нет, не это...

Самозабвенный труд. Судьба поэта.
Поэзия.

Вот кто всему виной.

Нельзя не согласиться с Аркадием Кулешовым: причина слишком раннего ухода Твардовского из жизни — его самозабвенный труд, поэзия, живительная для людей и гибельная для самого поэта.

Не верю я, что Пушкина Дантес,
Что Лермонтова некогда Мартынов
Убил. Не верю.
Их сперва сразила
Поэзия. А пули шли за ней.

На стол перед читателями легла книга воспоминаний. Явление, казалось бы, привычное — воспоминания у нас пишутся охотно и выходят часто. Но эти воспоминания уже тем выделяются среди прочих, что они о человеке, какие не часто возникают на земле. Чем дальше по времени, тем острее интерес к таким людям, каждое слово современников о них — необратимая национальная ценность.

Но как ни велико значение этой книги, она все же собрала лишь малую часть воспоминаний тех, с кем сталкивала Твардовского его богатая жизнь. Воспоминания о нем должны быть продолжены. И нельзя медлить — пока еще свежа память, пока еще живы очевидцы...

В. ТЕНДРЯКОВ.



Политика и наука

МЕЖДУ ВАЛГАЛЛОЙ И ПРИГОРОДНЫМ ПОЕЗДОМ

О некоторых книгах «новых философов»

Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое!
Толпа хочет веселого. Что поделаешь — время послеобеденное.

Из В. Хлебникова.

Вот уже два-три года средства массовой информации Запада — печать, радио, телевидение — склоняют имена французских так называемых новых философов. Их цитируют, их интервьюируют, книги их охотно рецензируют. Мэтры различных тер-

риторий гуманитарного мира формулируют свое к ним отношение. Кто же такие «новые философы» и чем они новы?

Как ни странно это может показаться, новы они прежде всего тем, что они именно философы, то есть тем, что они называ-

тература и искусство; результатом явилось растущее равнодушие литературы и искусства к философской науке как таковой, старой или новой. Художественная мысль и мысль научно-философская, некогда блиставшие своей сыгранностью, оказываются разведены весьма далеко друг от друга. Современный западный художник, так же, впрочем, как и ученый, склонен выстраивать себе свою, «рабочую», так сказать, философию — некое временное жилище, — не прибегая к помощи профессионалов. Величественное здание буржуазной классической философии с его сложной рациональной планировкой, распорами антиномий и контрфорсами логических законов высится где-то в стороне — скорее памятник прошлого, чем действующий храм.

Сказать, что эту философскую валгаллу (в смысле импозантности) совершенно покинула всякая жизнь, нельзя: в некоторых ее отсеках еще продолжается по инерции философская деятельность (различные версии христианской философии, разновидности традиционного позитивизма и другие). Более того, именно здесь куются теоретические обоснования большинства официальных и официозных идеологий западных стран. И все-таки основной поток философской деятельности давно уже проходит в стороне от этого здания. Для «новых философов» оно музей. Однако такой музей, который вызывает у них весьма пристрастный интерес. Вчуже озирая пышную символику прошлого — голубизну куполов, парящих духов-гениев, богинь, венки, розовые облака, — они переводят взгляд долу: на чем все это зиждется? Тут, например, проходили «завтраки философов» (Вольтер, Гримм и так далее) — любопытно, на чем это они сидели? Ведь сидели — не проваливались! Не ощущая под собой, в структурах общественного бытия, хотя бы половину столь же прочной опоры, «новый философ» проявляет повышенное внимание к основаниям, предпосылкам, фундаменту классического философствования, как и вообще всей «старой культуры».

Такое внимание само по себе вполне своевременно, однако у «новых философов» оно опосредовано их специфическим отношением к буржуазной философской классической традиции. На наш взгляд, отношение это характеризуют два момента: чувство кровной, хотя бы и отдаленной связи с традицией и вместе с тем решительная

отчужденность от нее — не то чтобы стремление преодолеть ее ограниченность, но неприятие ее как системы со всем тем ценным, что она в себе несет (в этом «новые философы», пожалуй, зашли дальше послеклассической буржуазной философии, оперировавшей как бы на полях классической традиции). «Новому философу» постоянно является тень Учителя-Мыслителя («Учителя-Мыслители» — название одной из книг «нового философа» Андре Глюксмана) — некий собирательный образ мыслителя XVII—XIX веков. «Новый философ» ведет с ним нескончаемый диалог: вопрошает его, удивляется ему, а то и сердито его бранит, глумится над ним, ребячески показывая ему язык. Но, пожалуй, самый глубокий и в то же время самый элементарный уровень его отношения к Учителю — зависть. Учитель-Мыслитель, «хозяин слов и их смысла», умел объяснять мир, умел превращать его многообразие во всеохватывающие, кристально четкие конструкции сознания (в материалистической линии классической философии свободные от всякого сверхчувственного элемента), имеющие универсальное значение или притязание на таковое. «Новому философу» сие, как говорится, не дано; движение истории не передало ему этой счастливой способности, не вдохнуло в него эту уверенность, в то же время поставив его перед лицом гораздо более сложной реальности, перед необходимостью ответить на множество новых вопросов.

Позицию «новых философов» в отношении классической традиции еще больше запутывает то обстоятельство, что они склонны приписывать ей всю ответственность за ту формальную рациональность, которая сегодня стала способом функционирования государственно-монополистической машины. Дело представляется таким образом, что классическая философская мысль отвердела, омертвела в структурах знания, пронизывающих данную машину на всех ее уровнях и потому ответственных за ее действия, включая ее преступления. В данном вопросе Учителю-Мыслителю приходится выслушивать весьма суровые нотации. Тот же Глюксман выговаривает ему за то, что он будто бы брал себе за правило «ни во что не ставить историю, обращаться с ней так, как если бы это была чистая доска, которую следует заполнить разумными вещами». С одной стороны, Учителю приписывают громадную власть: вмешиваясь в

ют себя именно философами, а не как-нибудь иначе. Еще в 60-е годы во Франции, да и не только там, было принято говорить о «смерти философии», что вызывалось, с одной стороны, явным бессилием буржуазной философской мысли перед лицом новой, «избыточной» и озадачивающей реальности, а с другой — определенными успехами структурализма в отдельных, ограниченных областях гуманитарных наук. Структурализм подменил собой философию, воспитав вкус к частным научным исследованиям, к систематическим описаниям и типологиям. «Новые философы» (самым «старым» из них около сорока, самым молодым нет еще и тридцати) взращены, можно сказать, как раз на структурализме, и потому их демонстративное «возвращение» в лоно философии само по себе красноречиво: без философии нельзя! Представить картину мира как целого, место всех и каждого в ней — это ее дело и ничто ее тут не может заменить.

Дальнейших уточнений, касающихся самого термина «новые философы», будет не так уж много. Ибо «новые философы» — это не школа, не направление; тех, кого объединяют под этой вывеской, в действительности связывают некоторые поколенческие особенности, общность университетов, включая сюда, но только как составной элемент, собственно университетский, академический опыт. Все «новые философы» — «дети шестьдесят восьмого года»: они или непосредственно участвовали в майско-июньской «студенческой революции», или так или иначе испытали на себе ее влияние. То были дни из ряда вон выходящие: вдруг прорвавшаяся стихия бунта с оттенком карнавала, баррикады совсем как когда-то, кровь, сумасшедшие лозунги и главное — какая-то хмельная уверенность, что можно все вокруг переделать в наикратчайшие сроки по своему хотению. Последующее десятилетие можно расценить как затянувшееся похмелье. Нынешнее отношение «новых философов» к тогдашним своим революционаристским увлечениям разное: тут и отрезвление, и упрямство, и разочарование, и шарахание к противоположным крайностям; но, во всяком случае, шестьдесят восьмой год явился для них вехой, дал им закваску. Именно шестьдесят восьмой год «нанес удар», как тогда говорили, по структурализму, то есть культу бесстрастно-позитивного исследования, и вер-

нул новому поколению гуманитариев интерес к древней матери наук.

Внимание, уделяемое сегодня на Западе «новым философам», отчасти тоже нужно отнести на счет беспокойства, какое продолжают вызывать судьбы молодежного бунтарства. В «новых философах» видят представителей поколения, десять лет назад шумно заявившего о своем инакомыслии и, судя по всему, психологически не вполне воротившегося в «отчий дом». Так как эпицентром «смуты» был (в масштабах Западной Европы) университетский Париж, то естественно, что в первую очередь именно оттуда ждут, так сказать, продолжения истории.

Скажем сразу: «новые философы» не создали никакой новой философии, достойной этого имени, как не создали ее предшествовавшие поколения буржуазных философов, работавшие в рамках крупнейших философских школ (феноменологии, экзистенциализма, логического позитивизма и т. д.). Но явление «новых философов» представляет интерес уже по той причине, что их, так сказать, поведение на поприще философии, их способ философствования характеризуют теперешнее состояние буржуазной культуры в целом.

Французский еженедельник «Нувель литерэр», в одном из своих номеров поместивший подборку материалов о «новых философах» (с нее-то, собственно, и появился в обращении этот термин), назвал их «волной, прокатившейся по всей поверхности пустынной стороны, покинутой традицией». Сторона, о которой идет речь, — буржуазная культура. Традиция — это, в частности и в первую очередь, философская традиция, отношения с которой у «новых философов» являются весьма сложными. Что классическая буржуазная философия стала анахронизмом, это они принимают уже как бесспорный факт, что в общем и целом, конечно, правомерно. В рамках буржуазной философии экзистенциализм проделал большую, чисто негативную работу, показав, что в условиях современного буржуазного общества конкретное переживание не укладывается в классические формы мысли (известная искусственность которых была преодолена уже Марксом, раскрывшим самомистификацию абсолютного, как бы парящего в воздухе мышления), ища себе новых средств выражения. За пределами философской науки эту истину в XX веке на практике открывали для себя ли-

ход истории, он давал ей новое направление. С другой стороны, ему вменяют в вину бессилие, ибо в конечном счете результаты его вмешательства оказываются будто бы совсем не такими, какими ему хотелось их видеть. Как это нетрудно заметить, возможности Учителя-Мыслителя (в той мере, в какой подобный собирательный философ-классик вообще может быть предметом оценки) в части воздействия на ход истории расцениваются, следовательно, одновременно и слишком высоко и слишком низко.

Внешним соединительным звеном, связывающим научно-философскую традицию с госмонополистической машиной, является университет, которому из-за этого порядочно нагорело от «новых левых» начиная с шестидесятых годов. Действительно, университет сделался частью официозной «индустрии науки», и все-таки, как бы там ни было, он пока остается основным, так сказать, депозитарием знаний, «храмом науки», ухоженным местом, где совершается эстафета мысли. «Новым философам» университет представляется учреждением архаичным и нежизнеспособным. Одни из них обходят его стороной, другие остаются под его кровлей, но спешат оговориться, что не принимают всерьез налагаемых им норм профессиональной деятельности. Роль философа-наставника, сообщающего свое знание в форме монолога *ex cathedra*, с высоты кафедры, то ли приходится «новому философу» не по вкусу, то ли просто не удается ему.

То ли роль трудна, то ли пьеса стара. Жан Бодрийар, один из тех «новых», которые остались в стенах альма матер, утверждает, что сложился механизм производства идей, принципиально отличный от традиционного. «Существует, — по его словам, — род инфракоммуникации. Идеи малопомалу кристаллизуются „снизу“»; бывает, что та или иная книжка «уже отпечатана во всех головах за полгода до ее появления». Философу, таким образом, приходится быть чем-то вроде протоколиста. По мнению Глюксмана, от университетской науки с ее «ученым жаргоном» ничего уже ждать не приходится; лично он не поддерживает с ней отношений и вообще любой компании интеллектуалов предпочитает, как он говорит, пригородный поезд (стало быть, нечто в социальном и культурном отношении случайное и аморфное), особенно

же маргиналов (маргинальных личностей¹) всех сортов. Стремление выйти из рамок профессионализма в большей или меньшей степени свойственно всем «новым философам». «Новый философ», резюмирует газета «Монд», «видит себя философом... не иначе как в кавычках». Своим идеалом — встречным, так сказать, идеалом — он обычно выбирает экзотического мыслителя-номада, странствующего «мудреца» на манер индийских гуру.

Излюбленное представление «нового философа» о самом себе: мыслитель-строптивец, бредущий в тумане, посреди искажившихся контуров некогда ясного мира. «Мы, — говорит Бодрийар, — погружены в реальность ни с чем не сравнимую, где плавают на поверхности теории, более не скрепляемые посредством категорий, означающие друг друга» (то есть имеющие значение преимущественно по отношению друг к другу, а не по отношению к жизненному процессу). Порок буржуазных философских теорий — их несоразмерность с реальностью — переносится, таким образом, вообще на все теории как таковые. Притязая быть чувствилищем своего времени, «новый философ» порою надевает трагическую маску, как это делает, например, Мишель Герэн, сетующий на «злосчастие эпохи, лишённой формации и лавирующей в двусмысленности, чтобы в конечном счете потонуть в ней». После такого «бодрого» пролога бросаемый тем же Герэном клич создавать некую «экспериментальную философию» звучит не слишком-то убедительно.

Известный французский этнолог-структуралист Клод Леви-Стросс довольно верно охарактеризовал «новых философов» по содержанию их философствования: они в большинстве случаев выказывают «склонность к попятному движению перед научной мыслью, безнадежную решимость измыслить себе какую-то свою, ограниченную область (*domaine*), внутри которой философ по-прежнему оставался бы хозяином положения, обладателем истин, отныне удостоверяемых только им самим». Это именно домен — непосредственное владение, за пределы которого выходить вообще необязательно. Действительно, коль

¹ Западные социологи называют так растущую у себя за последнее время категорию людей, не «включенных» жестким образом в социальную систему, ведущих как бы «окраинное» существование: всякого рода бродяг и полубродяг, хиппи и т. п.

скоро «новый философ» переходит к «позитивной» части своего философствования, он пытается выстроить себе некую заведомо ограниченную terra firma, твердую землю (заранее смиряясь с тем, что эту terra firma со всех сторон будет окружать океан хаоса), из материалов, взятых им из богатейших кладовых древней и новой философии — некоторых структуралистских идей и некоторых на живую руку созданных этических концепций.

В конце концов, именно этические концепции оказываются у большинства «новых философов» остовом, «несущей конструкцией» их философствования. Некоторые из них — Бодрийяр и Долле, например, — прямо именуют себя моралистами, охотно признаваясь в слабости к моралистам «добротного старого» времени (особенно XVIII века: Шамфору, Шефтсбери). Да и у тех философов прошлого, которых не назовешь моралистами, они извлекают этический момент и ставят его на первое место. Морис Клавель, поэт и прозаик старшего поколения, близкий «новым философам», недавно написал книгу о Сократе, в которой противопоставил его Платону, второй, по его мнению, ключевой фигуре западной философии. Сократ, каким мы его знаем благодаря Платону, был чистой воды моралистом, утверждает Клавель, а Платон направил философию по ложному руслу, попытавшись найти для своего общего с Сократом нравственного кредо «онтологическую гарантию», то есть попытавшись доказать, что объективный порядок бытия есть ручательство истинности данного нравственного кредо. Сократ был «свидетелем», Платон стал «доктринером». Мы не задерживаемся на вопросе о том, насколько верна приведенная оценка античных философов, нас интересует другое — какой урок извлекает Клавель из античности. А урок такой: Клавель за то, чтобы быть «свидетелем», не более того, то есть из какой-то отдельно взятой точки брать на себя смелость судить, что есть добро и что зло, не затрудняя себя усилиями, чтобы моральное суждение имело какое-то всеобщее обоснование и оправдание.

Жан-Поль Долле, один из самых заметных «новых философов», полагает, что вообще добро — это когда мир ясен, история осмыслена, это сама мысль, умеющая выразить себя посредством речи; зло — это хаос, это варварство, слепая сила, неспособная мыслить и артикулировать. Кон-

фронтация этих двух сил неизменно оканчивается торжеством зла, варвар — «вечный победитель». Согласно Долле, варварство совсем необязательно выходит из леса, облаченное в шкуры; современное технократическое государство есть не что иное, как слепая, варварская сила, оно перенасыщено «технологией знания», но испытывает настоящее отвращение к мысли, к «метафизическим вопросам». Что в этой концепции, представляющей, как это нетрудно заметить, вывернутое наизнанку просветительство, истинно, а что ложно, разобраться было бы весьма хлопотно, так как выстроена она на уровне, абстрактном до чрезвычайности. Это вообще характерно для «новых философов» сдвиг: крайняя абстрактность этических суждений, упрощенно-морализаторский (печать шестьдесят восьмого года?) взгляд на историю, желание объяснить ее через какие-то элементарные схемы, через отношения каких-то символических фигур, носителей некоторых полярных начал; Эллин и Варвар, Учитель и Бунтарь, Шаман и Вождь и вместе с ними «обкатанные» образы литературы и мифологии: Орфей и Прометей, Вотан и Просперо, Панург и Телемское аббатство и так далее и так далее — целый парад аллегорий перед нами. Вся эта символика и аллегорика реет где-то в стратосфере, в разреженных метафизических высотах, ее, если можно так сказать, коэффициент полезного действия на поверку чрезвычайно мал.

Как будто почувствовав это, Долле в своей книге «Запах Франции» ищет устойчивые ценности в другом месте. «Запах Франции» в восприятии Долле — сложный букет; рецензенты учуяли в нем тонкий запах разложения. Конечно, «дым отечества» — вещь специфическая и воспринимается по-всякому (бывает и так — вспомним Тютчева, — что «сам талант все ищет в солнце пятен, и смрадным дымом он отечество коптит!»). Долле, однако, находит все же в нем нечто, на его взгляд, свежее, нечто несомненное. Оно исходит из того, что называется в широком смысле почвой: земля Франции (или даже не Франции, чего-то еще более конкретного — Оверни или Турени) — там, где она не покрыта асфальтом, память о дедах, «материнский язык», живые традиции. Все несомненные ценности, и притом достоверности, которые можно фигурально или даже буквально ощупать. Такой интеллектуальный ход вооб-

ше-то не нов, литература и искусство его уже неоднократно испробовали; но если у художника он оказывается в той или иной степени оправдан, то от философа как-никак естественно ждать чего-то большего, чем простых констатаций. Книга Долле — «пейзаж с философом», с завязанными глазами пытающимся увериться в истинности того «экзистенциального пространства», которое его окружает.

Итак, с одной стороны, почва, с другой — метафизическая стратосфера — вот две крайние области, куда устремляется этическая мысль «нового философа». Все промежуточные слои бытия остаются в тумане.

Из того, что мы здесь сказали о «Запахе Франции», можно уже, вероятно, догадаться, что книга эта скорее публицистика, чем собственно философия. Но то же будет верно применительно и к некоторым другим книгам «новых философов». Можно сказать, что в той или иной степени все «новые философы» тяготеют к публицистике, художественности. Вообще-то говоря, движение философии в сторону художественной словесности наблюдается на Западе уже достаточно давно (во Франции наибольшую решительность в этом смысле проявили экзистенциалисты Сартр и Камю). Будто устыдившись своего ригоризма, философия пошла навстречу чувственному «искуссу» литературы и искусства, дающих мысли символическую емкость взамен точности. Нельзя сказать, что у нее не было решительно никаких оснований поступить таким образом. Кое-какие основания были: кристаллическая структура классической логики (исторически явившаяся как результат кристаллизации конкретного аморфного духовного опыта) в условиях, когда пределы духовной ойкумены значительно раздвинулись, продемонстрировала свою ограниченность (не устарелость, а именно ограниченность); на «новых землях» интуиция, как это теперь широко признано, оказывается незаменимым помощником, а понятия «приблизительные», «размытые» (то есть близкие к художественному строю мышления) — зачастую более пригодными, нежели понятие «точные». Все это так, однако движение буржуазной философии в сторону художественных форм приобретает, как это видно на примере некоторых «новых философов», характер дрейфа, уводящего от науки, отнимающего у философии ее специфику как научной дисциплины.

Следует иметь в виду еще и другое: в тех художественных широтах, куда относит «новых философов», преобладает модернизм. Там Джойс, Пруст и Кафка — властители дум. Между прочим, характерное для «новых философов» стремление выйти из рамок профессионализма, очевидно, навеяно теми же ветрами, кои в авангардистской художественной среде породили самоубийственную тягу к отказу от профессионального мастерства, растворению искусства в потоке жизни.

Представление о «новых философах» будет, однако, неполным, если не сказать о тех из них, кто пытается удержаться на «твердой земле» науки. Эти «новые философы», назовем их условно сциентистами, даже заявляют себя поборниками и строителями сугубо научной философии, более научной, чем все до сих имевшие быть. Повторяем: «новые философы» не школа и различия между ними очень существенные. Но не нужно торопиться думать, что сциентисты среди них являются антиподами по отношению к моралистам. «Твердая земля», избранная сциентистами, — территория частных наук, тех именно, где добился успехов структурализм. Сциентисты выступают наследниками структуралистов, но в отличие от последних они вместе с другими «новыми философами» прокламируют «возвращение к философии» (или к идеологии, как они иногда предпочитают говорить), понимаемое ими как движение вперед. «Мы смотрим на себя как на пионеров идеологии, первооткрывателей еще неизведанного края!» — с пафосом восклицает Жан-Мари Бенуа, авторитетный «новый философ» из числа сциентистов. Структуралисты старшего поколения (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Лакан и другие) работали и продолжают работать каждый на своем исследовательском поле, руководствуясь идеями главным образом внутринаучного порядка и не делая особо серьезных попыток выйти из границ конкретных исследований. Сциентисты берут эти конкретные исследования — в области этнологии, биологии, «археологии знания», семиотики бессознательного, лингвистики и прочего, — присоединяют к ним структуралистское прочтение марксизма, который, таким образом, автоматически низводится ими до положения частной науки, и рассматривают их как базу, на которой будто бы можно и должно возводить новую философию, или идеологию.

Ядром этой новой философии оказывается представление о человеке, изгнавшем из себя всяческую субъективность, отказавшемся от личности в пользу маски.

Увы! — если земля сия и тверда, то слишком узка. Философия не надстройка над частными науками, она есть наука наук, и ее отношения со специальными дисциплинами гораздо более сложные. В конце концов, территория частных наук — это для «нового философа» — сциентиста тоже своего рода «домен». Пусть он внутри себя беспределен, и все-таки в мире трудов человеческого это лишь «домен», не более того. Примечательно, что на данном фланге «новых философов» при всей его шепетильной научности тоже наблюдается тенденция к недооценке классической логики и одновременно к сближению с художественной словесностью, преимущественно опять-таки авангардистского строя (описание структуры рассматривается как род «художественной активности»).

Изначальная узость, односторонность «новых философов» обусловила непонимание ими марксизма. Вообще-то отношение к Марксу у «новых философов» разное. Одни из них делают его мишенью для нападок, повторяя, в сущности, зады буржуазной марксологии, в том или ином духе фальсифицирующей марксизм. Другие находят нужным подчеркивать свое уважение к Марксу; кое-кто объявляет себя марксистом. Марксистское учение вызывает сейчас, на Западе, пожалуй, больший интерес, чем когда бы то ни было. По словам «нового философа» Никоса Пуланцаса, «нынешняя эпоха породила массу новых идей, и все-таки главный итог 1968-го — это гегемония марксизма». Оценка положения сама по себе красноречивая. Однако что касается «новых философов» (тех из них, кто декларирует свою приверженность марксизму или зависимость от него), то они берут в нем лишь какую-то его часть — берут, например, его гуманизм либо его научную методологию, но не то и другое вместе, — пытаются сочетать его, например, с фрейдизмом. Полнота марксистского учения оказывается для «новых философов» недоступной. Это естественное следствие занятой ими претенциозно нейтральной, «радикально нейтральной» позиции в борьбе идеологий. «Политика радикального нейтралитета» оказывается в конечном счете разновидностью буржуазной политики,

пишет теоретический орган Французской коммунистической партии журнал «Пансе», отметивший «гомогенность позиций «новых» [философов] и тех «старых», с которыми они борются». Но то обстоятельство, что значительная доля их («новых философов») философствования представляет не что иное, как движение — в позитивном или негативном смысле — «вокруг Маркса», лишней раз свидетельствует о громадном авторитете марксизма.

Лавирование «новых философов» между научностью и художественностью — одна из причин того, что их тексты зачастую довольно темны. Читая их, Вольтер и Анатоль Франс, вероятно, не единожды становились бы в тупик, не узнав оборотов родного языка. Авангардистский изыск и поиск новых способов научного высказывания сталкиваются друг с другом в ситуации (здесь уже не вина «новых философов», а беда их) общей дезорганизации языка в рамках буржуазной культуры, полной утраты того уровня взаимопонимания, какой существовал в классическую эпоху. Не чувствуя себя «хозяином слов и их смысла», «новый философ» то и дело пускается с ними в какой-то сложный танец, где слова меняются смыслами, как партнерами. У разных «новых философов» одни и те же слова могут иметь различные значения и смыслы. Читая, например, Долле, надо привыкать к тому, что «мысль» — это хорошо, а «знание» — плохо. Для Бенуа «знание» — вполне хорошо, зато «рациональность» — плохо.

Но вот что еще любопытно. При всей порою сложности и затемненности их текстов, «новых философов» отличает какая-то особая слабость, по выражению Бенуа, к «роду волшебства», претворяющего сложные тезисы в листовки. Или даже не в листовки — что-то еще более коротенькое и простенькое: газетные клише, надписи на значках-«бюджетах» (типа пресловутого: «Я занимаюсь любовью, а не войной»). Что это — след шестьдесят восьмого года или устойчивая черта нового способа «бытия идей»? Навязывание своего рода масок? Аудитория, со своей стороны, привыкает реагировать «бюджетобразно», к примеру так: «Когда я слушаю Долле, мое сердце стучит громче, чем большой турецкий барабан» (письменный «отзыв» англо-американских слушателей, приведенный репортером журнала «Нувель обсерватор». Может быть, это media, средства массовой инфор-

мации, создают атмосферу всеобщих упрощений, облегчений, огрублений?

В вопросе о «новых философах» media — особый пункт. Стремясь официальной науки, «новые философы» не обходятся, однако, без услуг media, они даже с какой-то особенной готовностью отдают себя во власть рынка с его специфическими требованиями; чем шире рынок, тем специфичнее требования. В рамках media, пишет журнал ФКП «Пансе», реализуется «интеллектуальный маркетинг»², где дух предпринимательства соседствует с богемной развязностью.

Конечно, философия не тот товар, который пользуется широким спросом. Любопытно, что говорит об этом Долле: «Возьмите двух самых крупных философов за сто лет после Маркса: Ницше и Хайдеггера. Так вот, никто их не читал». Здесь любопытно не то, кого считают самыми крупными после Маркса, а то, что не читают тех, кого считают самыми крупными. Что касается «новых философов», то трудно сказать, читают ли их, но раскупают их очень охотно. Отдельные их книги выходят тиражами в десятки тысяч (это очень много для Франции, где обычный тираж такого рода литературы одна-две тысячи); переводят их и на иностранные языки. После опубликования подборки в «Нувель литерэр» все «новые философы», вместе взятые, стали на время сенсацией; сенсацией становится на время и та или иная из их книг. Такова парижская интеллектуальная жизнь; в ней, по признанию того же Долле, всегда присутствует «элемент цирка». Естественно, что этот элемент усиливается, коль скоро философ выходит на арену «большой прессы» или тем паче телевидения. Здесь к нему предъявлены жесткие требования: казаться, а не быть, «создавать образ», «отрабатывать номер», говорить по возможности что-то броское, что-то общепонятное либо занятно-эпатирующее: «Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое!»

И мыслитель говорит «веселенькое», выкидывая теоретические антраша не в службу, но с видимым удовольствием. Жан Бодрийар: «Смерть — единственно живая сила в нашем обществе!» Что ж, трагическая маска — это всего лишь «номер», быть может, слушатель-читатель оценит парадокс, быть может, даже извлечет из него для себя нечто поучительное: раз нет в обществе ничего подлинно живого, значит, и мне рыпаться необязательно. Жан-Поль Долле: «Реальность — это несерьезно. Реальность — это бумажный тигр!» (Таков Долле: страх перед реальностью у него уживается с пренебрежением ею.) Забавно, хотя и не слишком ново; быть может, еще и утешительно для тех, кто нуждается в утешении. Франсуаза Леви спешит поделиться своим «открытием»: «Маркс был не кто иной, как немецкий мелкий буржуа». Это определено не ново (кажется, еще И. Тэн в прошлом веке говорил нечто подобное), но для хозяев media это главный номер: всему, что направлено против Маркса и марксизма, они дают зеленую улицу. А вдруг старая глупость в устах «нового философа» кому-то покажется откровением? Жан-Мари Бенуа, «застегнутый на все пуговицы», требует начать «процесс над Человеком как сущностью, как полновластным субъектом, наличествующим для себя, близким себе, прозрачным для своей рефлексии, которая...» и т. д. (уф, длинноватое!). Это можно понимать по-разному, можно понимать и так, что отныне вообще необязательно понимать что бы то ни было. И так далее, и так далее.

Все-таки философствование ex cathedra имеет хоть то преимущество, что там не требуется подражать выкрикам разносчиков газет.

Маленькое заключение. «Новый философ» тяготеет к тому, чтобы быть свидетелем своего времени. Он и есть в некотором роде свидетель и тем интересен. Приходится, однако, констатировать, что его философствование слишком рискует оказаться, если употребить древнее выражение, не чем иным, как свидетельством о бедности.

Ю. КАГРАМАНОВ.

² Маркетинг — приношение продукции к запросам потребителя.



ТЕХНИКА «ПРОМЫВАНИЯ МОЗГОВ»

М. Степанов. «Синао» — «промывание мозгов». М. «Молодая гвардия». 1977. 143 стр.

Когда будущие историки станут изучать особенности нашей эпохи, они несомненно установят, что из способа обычного воздействия на умы людей, применявшегося в течение столетий, пропаганда в руках антидемократических сил превращалась в систему психического террора, жертвами которого становились миллионы людей. Я думаю, что названы будут прежде всего два конкретных примера такой практики, имевшей место в нашем веке: система Геббельса в 20-х, 30-х и 40-х годах и система Мао Цзэдуна в 50-х, 60-х и 70-х годах. Характерно, что, хотя политически речь идет о разных силах и направлениях — крайне правых и крайне «левых», — патологическая форма их пропаганды во многом сходна.

Фашист Геббельс создал, как известно, целое учение об «искусстве пропаганды». Американский профессор Дооб, автор «математической теории психологической войны», потративший на изучение высказываний и дневников Геббельса несколько лет, открыл 19 «главных принципов», применявшихся в нацистской пропаганде. Каждый из них мог считаться примером прямого, но довольно изощренного издевательства над человеком, служащим ее объектом. Пропаганде предписывалось строиться прежде всего на фальсификации, лжи и клевете. В то же время на запугивании и блефе, порождающем у людей страх, ненависть и возбуждение. На читающего или слушающего ее человека смотрели как на полудиота, труса и невежду, как на безвольное и беспринципное существо.

Такова была суть учения Геббельса, учения, безусловно сыгравшего свою роль в истории германского фашизма. Это был первый крупный эксперимент с техникой «промывания мозгов». Уже в 30-х годах подтвердилось, что гитлеровцам действительно удалось затемнить сознание миллионов людей из среды немецкой мелкой буржуазии и молодежи, обмануть немалую часть нации. Нельзя забывать, что на выборах в рейхстаг в марте 1933 года нацисты собрали 17,2 миллиона голосов против 12 миллионов, полученных социал-демократами и коммунистами. Оказалось, что бюргерам и их сынкам отравляли ум не без успеха. Несомненно и то, что геб-

бельсовский гипноз продолжал владеть умами этих людей почти до конца войны, когда наконец сама история развеяла в прах всю фашистскую пропаганду.

Стоит отметить, что несколько позже, в годы «холодной войны», некоторые американские пропагандисты вспомнили о геббельсовской технике «промывания мозгов». Называя Геббельса мастером своего дела и подчеркивая значение его «духовного наследия», тот же профессор Дооб писал: «Вопрос о том, нужно ли в демократическом обществе (то есть на Западе.— Э. Г.) использовать части этого наследия,— глупый и волнующий вопрос политического и этического характера». Видимо, автор «математической теории психологической войны» склонялся к тому, что ответ на такой вопрос вопреки всем «этическим» соображениям должен быть положительным. Судя по всему, так в какой-то мере и сегодня считают некоторые асы зарубежной пропаганды в США и других государствах Запада.

Геббельса нет на свете уже тридцать четыре года. Неофашисты в разных странах заново пытаются применить его теорию без каких-либо «демократических» примесей, но большая неофашистская партия существует только в Италии. Люди в Европе и Америке за истекшие десятилетия чему-то научились. Но зато во второй половине века в мире появилась школа «промывания мозгов», оставившая далеко за собой школу Геббельса. Назвать ее можно школой Мао Цзэдуна. Ее методы и раскрывает М. Степанов в своей книге «„Синао“ — „промывание мозгов“». Нет сомнения, что и эта школа сыграла свою роль в современной политике.

Описывать, как «промывались мозги» в Китае при Мао, не так просто. Техника этого дела охватывала всю жизнь человека с утра до ночи и с детского возраста до смерти. По сравнению с маоистским экспериментом нацистский опыт кажется примитивным. Речь в Китае шла уже не только о том, как похитрее лгать и обманывать, но прежде всего о том, как выматывать самого человека, доводить его до изнеможения, делать его неспособным ни к какому сопротивлению. Делалось это путем своеобразного сочетания физическо-

го и психологического террора. В книге об этом собран большой фактический материал.

О терроре в прямом, физическом смысле слова многое известно уже давно, и М. Степанов добавляет только некоторые подробности. Он рассказывает, например, что происходило с образованной китайской молодежью, не принадлежавшей к хунвэйбинам. По официальным маоистским данным, только с декабря 1964 года из китайских городов в деревни было выслаано значительно больше 14 миллионов человек из этой среды. По данным зарубежных наблюдателей, речь в действительности идет о 25—30 миллионах. В конце 1974 года пекинское радио с удовлетворением сообщило, что 90 процентов образованной молодежи столицы и пригородов были выдворены оттуда.

Известно и то, что происходило в деревнях, куда людей ссылали. Их заставляли работать на полях по 16 и более часов в сутки. При этом им выписывалось так мало трудовой, что сплошь и рядом они оказывались не в состоянии расплатиться за свое питание. Заболевшим не полагалось никакой медицинской помощи. Все было вполне сознательно направлено на физическое истребление тех, кто не поддавался, и на запугивание тех, кто еще медлил. Одни умирали от истощения, другие кончали с собой, третьи, осмеливавшиеся возражать, попадали в тюрьму, но кое-кто приспособлялся, существуя после этого с «промытым мозгом».

С той же целью практиковались так называемые митинги борьбы. На показ выводили какого-либо человека, ставшего жертвой неосторожно сказанного слова, навета негодяя, интуитивного подозрения того или иного «активиста» или просто в результате того же стремления властей устрашить на его примере других. Вот как описывает один из таких митингов очевидец: «Человека окружают презрительные, ненавидящие лица, ему кричат в уши, в него плюют, перед ним угрожающе трясут кулаками, и все, что он говорит, считается ложью. К концу дня его ведут в комнату, запирают, дают немного пищи и обещают, что на следующий день будет еще хуже... За закрытым в комнате человеком постоянно наблюдает один из участников «борьбы». Если человек... заснет, стражник разбудит его, дергая за волосы. Через три-четыре дня жертва начинает выдумывать

грехи, которых никогда не совершала, надеясь на то, что чудовищное признание даст ей передышку. Через неделю «борьбы» она готова на все». Чтобы унижить человека, его при этом заставляют отвечать на любые вопросы вплоть до самых интимных. Это называется «снятием штанов на публике». Его родных вынуждают клеветать на него, обливать его грязью. При отказе их самих могут вывести на показ.

Все это преподносилось как «идеологическое перевоспитание». Ханькоуская газета «Чанцзян жибао» впоследствии писала по этому поводу: «Нет числа образованным людям, которые предпочли умереть, выбросившись из окна высокого здания, бросившись в реку, проглотив яд, перерезав себе горло...»

Но это была только одна, сравнительно умеренная форма «идеологического перевоспитания» инакомыслящей интеллигенции. Другая заключалась в демонстрациях детально разработанной технологии пыток. Исполнителями — в том числе мальчикам и девочкам — давались наглядные уроки садизма. Автор приводит свидетельство одного из них, ученика средней школы в городе Амое на юге страны, которого вместе с его товарищами натравили на группу в 40—50 ни в чем не повинных учителей: «Учителей заставляли глотать экскременты, насекомых, их пытали электрическим током, ставили колени на битое стекло, подвешивали со связанными руками и ногами в позе «самолета» и т. д.» Командира одного из подразделений ВВС подвергли более 20 видам пыток.

Ссылка, голод, истязания, казнь — такковы были физические способы «промыывания мозгов». Все было направлено на одну цель: возбудить в людях страх и играть на этом. Главным массовым методом системы «синао» был, однако, все-таки не физический террор.

Маоистскую пропаганду не вели, ею в буквальном смысле слова оглушали день за днем, час за часом. Сотням миллионов людей не давали опомниться. Дело было не в том, что каждый был обязан читать газеты, слушать радио, повторявшее то же самое, приходить на доклады; это само собой. Всем в то же время действовали на нервы, и если кто-то не развинчивался, не терял власти над своим рассудком, ему приходилось плохо. Сокрушение нормального человеческого разума и было

главнейшей задачей «синао», нечто, до чего в свое время не додумался даже Гейббельс.

Можно утверждать, что людям вообще не позволяли думать самим. Делалось это по-разному. Самый простой способ состоял в том, что им не оставляли для этого времени — и тишины. Вот свидетельство индийского ученого Шрипати Чандра-секхара, посетившего Китай еще до «культурной революции»: «Даже в самых глухих селениях я видел громкоговорители на верхушках деревьев. Можно спрятаться от луны и от солнца, но не от громкоговорителя... Человек не имеет ни минуты покоя, когда бы он мог отдохнуть или поразмыслить над своей новой жизнью».

Во время «культурной революции» жителей китайских городов нередко будил среди ночи шум гонгов и барабанов, сопровождавшийся громкими голосами, возвещавшими «новейшие указания» председателя Мао. Собрания часто продолжались с перерывами по многу дней подряд, становясь подлинным бедствием для населения. Правда, некоторые научились засыпать на них с открытыми глазами. Один бежавший за рубеж китайский студент сообщил: «Когда нам дают хоть какую-нибудь свободу выбора, то первое, что мы выбираем — это свобода молчания».

Как много говорят эти слова!

Человеку не только навязывают политические «идеи» маоистов. Ему вьедается в душу. Этому, например, служили так и называвшиеся «беседы по душам». Приглашенный на такую беседу не мог не прийти, не мог не отвечать на поставленные ему вопросы, касавшиеся чего угодно. В результате нервная система многих приглашенных сдавала и без пыток и они опять-таки соглашались на все, лишь бы от них отвязались.

Ту же цель преследовал метод создания «красных пар». К «малосознательному» человеку прикреплялась некая проверенная маоистская личность. Такие двое становились на долгое время неразлучными: вместе работали, вместе отдыхали, вместе присутствовали на мероприятиях. Можно назвать это системой политических снамских близнецов, и что это значит на практике, нетрудно себе представить.

Студентам, которых особенно боялись и боятся, также вменялось в обязанность регулярно (каждый месяц, каждый год) писать многостраничные «самоанализы», рассказывая о своих мыслях, поступках,

«ошибках». Такие «самоанализы» зачитывались на собраниях студенческой группы, служили предметами «критики» и сдавались на хранение — уже на случай заведения дела.

Маоисты даже не скрывали, что практиковали психический террор. «Наша работа, — писала в сентябре 1966 года «Женьминь жибао», — подчинена тысячам правил, которые в конечном счете можно свести к одной фразе: с помощью идей Мао Цзэдуна преобразить душу человека...»

Да, ее во многих случаях преображали. Но во что? Прежде всего в душу труса, лицемера, хулигана и убийцы. Такие и нужны были «промывавшим»: подобных лиц нетрудно подчинить.

М. Степанов приводит слова пекинской хунвэйбинки Чжэнь Чанхуа, посланной с ее отрядом в город Тяньцзинь: «Я за два дня убила двоих. Когда проходит день и мы никого не убиваем, у нас руки чешутся».

Людьми не позволяли следовать самым элементарным, общечеловеческим нормам морали. Были случаи, когда дети не моргнув глазом предавали своих родителей. Их же учили площадной брани (называть подвергавшихся избиениям и казням людей «кучей собачьего дерма» и т. д.). Человек, с успехом прошедший через школу «промывания мозгов», привыкал совершать зверские поступки, клеветать, лгать, лстыть начальству и хором кричать «ваньсуй!». Автор называет служение культу Мао политическим молитвословием. Так дело и обстояло. Недаром на многих портретах «кормчего» вокруг его головы изображался нимб.

«На человека, — пишет М. Степанов, — оказывается постоянное и очень сильное давление. Многих это лишает возможности задуматься над тем, что происходит с ними самими, вокруг них. Такие люди словно щепки плывут по течению». Это верно, и такое плавание еще не самый худший результат «промывания мозгов».

К чему же в конечном счете сводится система «синао»? Ответ ясен: к прогрессирующему разрушению или деформации личности. Человек перестает быть самим собой. «Убьем свое я!» — говорилось в одной из хунвэйбинских листовок. «Нам не нужны мозги, если у нас есть идеи Мао Цзэдуна» — утверждалось в другой. Это точное определение того, чего хотели до-

биться маоисты. Речь шла — и в какой-то мере еще идет — о насильственном превращении человека в полумеханизированное существо, в живого робота, управляемого из каких-то центров.

Автор цитирует слова француза Мориса Сиантара в его книге «1000 дней в Пекине» по поводу воспитанной маоистами молодежи: «Эта травмированная с ясельного возраста молодежь... не виновата: она продукт чудовищного воспитания. Маоистское воспитание, методически подготавливающее отчуждение от своего «я», от собственной личности, — это психическое убийство сродни гитлеровскому крематорию».

Не следует забывать, что такое «воспитание» продолжалось годами. И в то же время ему по необходимости сопутствовало нечто другое. У китайцев отнималось все, что могло укрепить и действительно развить их личность, противодействуя «синаю»: настоящая культура, настоящая литература, настоящее искусство. Лишенный этого, человек как бы обезоруживался. Разгонялись творческие союзы, закрывались издательства, музеи, библиотеки, осквернялись памятники национальной и мировой культуры, жглись китайские и иностранные книги, дискредитировалась творческая интеллигенция. Одно вытекало из другого. Отсюда поражавшая многих иностранных наблюдателей маоистская анафема, провозглашавшаяся таким классиком мирового искусства, как Шекспир, Данте, Лев Толстой, Бетховен, Моцарт, Леонардо да Винчи, Рембрандт, десяткам других. Все они мешали «синаю» и подвергались проклятию.

«Победившему пролетариату, — писала «Женьминь жибао» в начале «культурной революции», — не нужны профессиональные писатели, артисты, композиторы и художники. Ему нужны наполовину писатели — наполовину рабочие, наполовину артисты — наполовину солдаты, наполовину художники — наполовину крестьяне». Считалось, что людей вообще надо освободить от балласта «лишних мыслей» — от всего, чего нет в красных книжечках с изречениями Мао. В результате должен был родиться тот «человек с чертами домашнего животного», о котором когда-то, атакуя конфуцианство, писал известный китайский писатель Лу Синь.

Кто придумал систему «синаю»? Ведь

едва ли это дело только Кан Шэна и Мао Цзэдуна.

На этот вопрос в книге М. Степанова ответа нет. Но интересно, что он связывает ее с наследием китайских феодалов. Автор считает «синаю» подновленным вариантом старой имперской политики «юнь минь чжэнцзе» («политики одурманивания народа»). Я думаю, он прав. Многое и в идеологии и в политике маоистов чрезвычайно близко к идеям богдыханов и мандаринов.

Встает вопрос: покончено ли с системой «синаю» после смерти Мао Цзэдуна и расправы с его старым окружением? Наилучше грубые, откровенно изуверские приемы, практиковавшиеся в период «культурной революции», как будто отменены или смягчены. Но дух системы психического, а возможно, и физического террора явно жив по сей день. Кто поручится за то, что при каком-то новом обострении фракционной борьбы в маоистской верхушке победоносная группа не вернется к методам «культурной революции»?

Народ в Китае и теперь подвергается непрерывному действию машины автоматизации и дегуманизации человека. На это указывают новейшие высказывания китайской прессы. «Мы должны разоблачить сотрясателей, потрясти их самих, используя для этого шоковую терапию», — писала в прошлом году газета «Цзэфанцзунь», говоря о противниках нынешнего пекинского руководства. «Шоковая терапия» — это, по существу, и есть один из вариантов того же «синаю».

Книга М. Степанова написана хорошо, свежим, ярким языком и содержит ценный документальный материал. Автор не только информирует читателей, он ставит перед ними важные вопросы, побуждая к самостоятельному мышлению. А это главное.

В его книге важно и другое. Он подчеркивает, что было бы ошибочно недооценивать возможности маоистской пропаганды. И он столь же прав, отмечая, что переоценивать ее результаты тоже не следует. «У нее, — пишет автор, — есть ахиллесова пята. Все ухищрения пропаганды не могут заставить народ потерять накопленный прежде практический опыт, здравый смысл, полностью изолировать его от передовых идей нашего времени. Ядовитый туман пропаганды не может застать людям глаза до такой степени, что они пере-

станут видеть пропасть между внушаемыми им иллюзиями и действительностью... Он (человек.— Э. Г.) испытывает душевный голод и начинает искать новые ценности».

И фашисты и маоисты создали свои школы «промыывания мозгов». Сравнивая ту и другую, нельзя не прийти к выводу, что в этом деле маоисты превзошли на-

цистов. В калечении человеческих душ под видом пропаганды они пошли дальше, чем те. Известно, что пекинские идеологи изучали переведенные для них на китайский язык сочинения Геббельса. Нельзя исключить, что современные фашисты с таким же рвением изучают теперь дела и высказывания маоистов.

Эрнст ГЕНРИ.



ХИРУРГ О ДЕТЯХ

Станислав Долецкий. Мысли в пути. М. «Советская Россия». 1977. 703 стр.

... — **З**дорово! Как дела? Вопрос и ободряющая улыбка обращены к моему десятилетнему Андрею. У него аппендицит, но оперировать не хотят. Ждут sacramentalного третьего приступа... А вдруг он случится летом, далеко от дома, что тогда? Знакомый врач посоветовал обратиться к профессору Долецкому. И вот, умножив число мам и пап, осаждающих известного хирурга, мы в Русаковской больнице.

Все происходит удивительно быстро. Осмотрев мальчика и не дожидаясь моих просьб и объяснений, Станислав Яковлевич говорит:

— Аппендицит. Надо резать. Завтра я уезжаю в Киев на десять дней. За это время сделайте все анализы, получите справки...

В день операции еще один осмотр, серьезно заданный вопрос:

— Трусись? Нет? Молодец!

Затем, сидя в углу кабинета, я наблюдаю ритуал переодевания профессора. Он разрешает мне дожидаться результата, кинув на ходу:

— Смотрите на часы. Через тридцать минут загляну. Тряситесь сколько влезет, но не более трех сигарет, а то и за день не выветришь!

Я действительно трясусь, но не тридцать минут, а только двадцать семь. В двери появляется голова Станислава Яковлевича, глаза над маской весело блестят.

— Ваше счастье. Вовремя сделали. Через пару месяцев была бы беда...

Вечером мне разрешили навестить сына и погулять с ним по коридору, а на следующий день... забрать домой! Я пришла

в ужас и побежала звонить профессору, выяснять недоразумение.

— Все правильно,— ответил он,— забирайте. Надо свести до минимума пребывание ребенка в больнице. А мы ему больше не нужны.

Курьезный разговор ждал меня у районного врача, когда я пришла за бюллетенем по уходу.

— Мамаша, не морочьте мне голову. Через два дня после операции не выпишывают. И не тычьте мне ваши справки...

Пришлось идти к заведующей, просить врача осмотреть шов. Узнав, что оперировал Долецкий, заведующая смягчилась:

— Он зря детей не держит. Его по черк...

Я не случайно остановилась на довольно давних личных впечатлениях от встреч с профессором С. Долецким. Одна из главных мыслей книги заключается именно в том, что, заботясь о физическом здоровье ребенка, врач не должен забывать о тяжком психологическом воздействии на него новой, непривычной обстановки, разлуки с домом и родителями, страданий окружающих детей.

Весь врачебный и нравственный опыт автора привел его к выводу о том, что ребенок не должен «присутствовать на своей операции». Поэтому не только хирургические вмешательства, но и многие неприятные обследования он рекомендует делать под общим наркозом. «Не могу смотреть, когда кому-нибудь больно»,— говорит хирург. В этой фразе огромная доброта («...недоброму человеку с детьми работать нельзя»), гуманность профессиональной позиции С. Долецкого: любить и щадить

больного ребенка всеми доступными современной медицине и психологии средствами.

Во введении к книге, отвечая на риторические вопросы «для кого эта книга?», «о чем эта книга?», «как читать эту книгу?», автор выделяет основной стержень повествования — проблему «воспитания, ибо врачевание тела и духа должно происходить одновременно».

Поясняя жанровые особенности книги, С. Долецкий пишет, что в десятках случаев и историй, связанных с жизнью детского врача-хирурга, «можно рассказать обо всем: об учебе и любви, о политике и работе». Вошедшие в книгу многочисленные истории из клинической практики, диалоги, «сценарии», исповеди, дневники, беседы с друзьями, автобиографические сюжеты необычайно широко затрагивают многие жизненные явления и представляют итог раздумий автора над тем, что волновало его в последние годы — прежде всего проблемы духовного мира современного человека и воспитания. Долецкий в той или иной форме не упускает буквально ничего из того, что формирует сознание, вырабатывает нравственный климат, определяет роль и место людей в коллективе.

Особое внимание он уделяет своеобразию условий жизни в третьей четверти XX века, века научно-технической революции, информационного взрыва и сопутствующего нашему бурному времени напряженного, зачастую стрессового темпа. Отсюда и вопрос, где взять время на воспитание ребенка, и основной вывод автора — следствием научно-технической революции неминуемо должна стать революция в области образования.

«Уже сегодня людей образованных намного больше людей культурных и хорошо воспитанных, — пишет С. Долецкий. — Смысл и значение, а главное, результативность образования при этом заметно снижается. В процессе революции в области образования ножницы между знанием и воспитанием могут увеличиваться». Многие страницы книги заставляют читателя задуматься об опасности тенденции к технокризму, узкой специализации обучения в ущерб общей культуре, некоего пренебрежения к воспитанию в самом широком смысле и к воспитанности.

Недостатки эти будут расти и множиться, если им не поставить надежный

заслон на всех этапах жизни поколений: в семье и школе, в техникуме и вузе, на любом месте работы. Невоспитанность порождает и поощряет пьянство, карьеризм, грубость, эгоизм, жестокость, равнодушие... Автор размышляет о том, откуда берутся маленькие наглецы и эгоисты, «господа», как он их называет, отравляющие жизнь больным и персоналу больницы, откуда берутся «тети Ньюры», грубящие всем и вся, но неизбежно царящие в своем гардеробе... «Обычное хамство», к которому притерпелись, оборачивается жестокостью, травмирует множество душ. Прекрасно, что знаменитый ученый говорит о таких «прозаических» вещах, о всех членах единого коллектива, будь то больница или любое другое учреждение.

С любовью, уважением и благодарностью Станислав Долецкий пишет о медицинских сестрах, «сестрах милосердия», как называли их со времен Пирогова. Автор справедливо подчеркивает, что утраченный этот термин характеризовал самую сущность назначения и работы медицинской сестры. Ведь именно она выхаживает ребенка да и любого больного после операции, в период наиболее опасный, чреватый неожиданными осложнениями, требующий огромного терпения, внимания, знаний, даже интуиции. Глава «Медицинские сестры (Сценарий нового кинофильма)» — гимн в честь самоотверженных женщин, посвятивших себя этой благородной профессии, выражение уважения и нежности хирурга к своим незаменимым помощникам.

Очень интересна и важна мысль автора о том, что при лечении ребенка необходима «гармония характеров — хирургов, медицинских сестер, маленьких пациентов и их близких». Это может быть распространено на все области медицины. Но Долецкий — детский хирург, поэтому дальше он делает еще один горький и назидательный вывод: «Одно из самых необычных и вместе с тем достоверных «открытий», которые я сделал в последние годы, — это то, что родители недостаточно или совсем плохо знают своих детей». Не в этом ли зародыш появления тех «цветов жизни», как иронически называет их автор, хулиганов и садистов, которые издеваются, калечат, насилуют, воруют, пьют?.. С. Долецкий приводит немало примеров и трагических случаев, которые лучше любых мудствований доказывают ответственность всего общества за воспитание.

Касаясь чисто медицинских вопросов, автор отнюдь не ставит целью щадить нервы читателя. Простые, реалистические описания операций с особенно подробным перечислением всевозможных травм, которые призваны мобилизовать внимание взрослых и предупредить детский травматизм, производят огромное впечатление. Я не говорю уж о тех поистине чудодейственных операциях, которые разработаны профессором Станиславом Долецким для исправления «брака» природы, например разделение сросшихся близнецов, второе рождение «Феди и Пети», где смелость решения и фантастическая техника оперативного вмешательства потрясают.

Высокий профессионализм, гуманизм, гражданская позиция автора окрашивают не только разделы, посвященные собственно медицине. Долецкий щедро и свободно делится с читателем мыслями и чувствами по широкому спектру жизненных проблем. Много размышляет автор о такой животрепещущей проблеме, как психологический климат в коллективе, о стиле руководства творческим коллективом. Этому служат как бы взгляд снизу (беллетризованный диалог молодых сотрудников разных «фирм», обсуждающих достоинства и недостатки своих начальников — «старика», ученого «старого толка», и ультрасовременного «шефа») и взгляд сверху — исповедь руководителя крупного института, устами которого характеризуется около двадцати типов молодых ученых.

Бескомпромиссно трактует профессор Долецкий долг и ответственность руководителя и учителя, проводя четкую грань между «авторитетом власти» и «властью авторитета», подчеркивая необходимость демократизма в коллективе, то есть «уважения к мнению любого сотрудника», терпимость и самокритичность как начальника, так и любого из подчиненных. Коллектив — это синтез характеров, но какие бы недостатки ни имел тот или другой молодой специалист или руководитель, делает вывод автор, самые главные качества, без которых нельзя объединить людей, творчески работать, это энтузиазм, увлеченность делом, трудолюбие и способность создавать новое. Наиболее полноценные коллективы, утверждает автор, «объединяет культура, воспитание сотрудников, способных понять, что только в тесном единении старых и молодых, в использовании достоинств тех и других и умении обойти

свойственные всем недостатки кроется истинная природа творческого содружества».

Психология научного творчества — вопрос, который давно волнует профессора Долецкого. Я помню его доклад на эту тему в Доме литераторов, который собрал большую аудиторию. И в книге этот раздел построен прежде всего на примерах из практики, на автобиографическом материале. Перечисляя слагаемые, необходимые для того, чтобы стать «настоящим оригинально мыслящим ученым», он называет технику работы, методику овладения знаниями, организацию работы и, наконец, «четвертую высоту» — психологию научного творчества. «К психологии научного творчества я пришел уже на последнем этапе, — пишет автор, — а для приобщающихся к науке она должна стать первым: им заранее надо знать о качествах, присущих научному работнику, и сознательно воспитывать их в себе. Что же это за «таинственный» набор? Любознательность, настойчивость, инициатива, увлеченность, привычка к думанию, склонность к сопоставлению фактов, недоверие (в хорошем смысле этого слова), умение отказаться от очевидной и удобной мысли, стремление любую гипотезу подвергнуть проверке с позитивных и негативных позиций и т. д. и т. п. Вместе взятые, они постепенно кристаллизуются... в оригинальность мышления».

И еще одно важное утверждение С. Долецкого: «Как правило, открытие есть следствие обдуманного, тяжелого, систематического труда». Озарения Долецкий считает исключением из этого правила.

Автор подкрепляет свои мысли многочисленными примерами, взятыми из жизни, высказываниями выдающихся людей. И рекомендацией «иметь в кармане блокнот. И если мысль пришла, ее следует немедленно записать, иначе можно забыть навсегда!» В пользу такой рекомендации свидетельствует труд автора.

Лейтмотив книги — любовь к детям, необходимость и осознанность этой любви для всего общества, нравственно-философское обобщение и обоснование высокой ответственности каждого за воспитание и гуманизм, за формирование нового человека. Свое введение С. Долецкий заканчивает выражением надежды, что книга не оставит читателя равнодушным. Нет, тысячу раз нет. Поразительная многоплановость книги, обширность познаний и интересов

автора, глубина мысли волнуют, рожают встречные мысли. Может быть, этому способствует и отсутствие строгой структуры книги, группировки материала, что производит эффект вольного рассказа, интимной беседы. Тогда оправданны и рассказы о себе, как это бывает в разговоре с друзьями, и выражение любви и преклонения перед матерью — старой большевичкой, инженером.

Пусть вызовет улыбку рефрен заключительной главы «Советы самому себе на рубеже зрелости и старости»: «Будь краток» — ведь это уже страницы 698—701! Но как не восхититься выводом: «С воз-

растом к человеку приходит **доброта**. Это замечательно. В этом мудрость и правда жизни».

Станислав Яковлевич Долецкий прошел со страной весь ее славный и нелегкий путь. Ничто его не миновало: аскетические 20—30-е, фронтовые госпитали в героических 40-х, трудные послевоенные... Поэтому читатель верит строкам послесловия. Да, автор «ничего не придумывал и не притворялся». В этом самая важная и привлекательная особенность его умной и доброй книги.

И. ЛУНАЧАРСКАЯ.



КОРОТКО О КНИГАХ



Н. САМВЕЛЯН. Московии таинственный посол. Роман. «Детская литература». 1976. 224 стр.

Н. САМВЕЛЯН. Казачий разъезд. Роман. «Детская литература». 1978. 224 стр.

Герой первого романа Н. Самвеляна — печатник Иван Федоров в драматическую пору его жизни в Остроге и во Львове; герои второго романа вовлечены в события, которые затем разрешаются Полтавской битвой. Век с лишним разделяет эпохи Ивана Грозного и Петра, однако надо говорить о романах Н. Самвеляна одновременно. Для вдумчивого читателя второй роман продолжает первый своей сущностью. Через судьбы людей давно исчезнувших писатель возрождает эпохи многовековой борьбы за воссоединение «Малой Руси с Великой Русью».

«...Посол» и «Казачий разъезд» связаны также конструктивно. Мария Друкаревичева, патриотка русской культуры и православия в Прикарпатской Руси, происходит из рода Ивана Федорова — друкаря во Львове XVI века. В том и другом романе — Львов. Этот город с его историей, церквями, писателями, с площадью Рынок, ратушей, состоявшей из трех возведенных в разное время домов, православным Ставропигийским братством, где печатаются русские книги, — для автора исторический герой.

Начало романа «Казачий разъезд» — взятие Львова шведскими войсками. Карл XII проезжает улицами города, а скоро в дом Марии Друкаревичевой постучит человек, чья семья погибла под пулями шведов, и попросит помочь уехать на Хортицу, чтобы удержать запорожцев от перехода на сторону шведов и Мазепы. Нашествие шведов вызвало народную войну. Эпизод с мужиками, замерзшими в засаде, не придуман автором — было такое. Не измыслен и рассказ про патриота-бандуриста; шведы умертвили его, обливая на морозе водой.

Украина делом проголосовала за союз с Россией. Царь Петр еще молчал, узнавши об измене Мазепы, а на Украине уже предали гетмана анафеме: текст отлучения был вывешен повсеместно в церквах. В после словии к роману приведено место из письма адъютанта князя Меншикова: «А от черкаса худова нет, служат верно, и шведам продавать ничего не возят, а по лесам собрася компаниями ходят и шведов зело много бьют и в лесах дороги зарубают».

У Н. Самвеляна част диалог, он много цитирует писем, документов, он напрямую разговаривает с читателем — есть главы под названием «Первая прогулка с читателем», «Вторая прогулка с читателем». Тебя окружают живые лица — ремесленники, вельможи, императоры, прелестницы в своих затейливых нарядах, и, конечно же, в романе множество точно и тонко описанных предметов, воссоздающих эпоху. У автора дар естественно сообщать историческим реалиям пластическую выразительность. Он умеет подсветить живую интонацию стилистическим оборотом, не нагружая его.

Читая романы Н. Самвеляна, еще раз убеждаешься, что успех исторического произведения определяется не книжными знаниями автора, а его пристрастиями и антипатиями, то есть личностными ощущениями тогдашнего мира. Такая «открывающая» эпоху связь может возникнуть под влиянием родовых преданий, может быть найдена при поиске социальных аналогий, может родиться из привязанности к дорогому для художника месту. Для Н. Самвеляна такое место Львов, древний город, что век за веком возглавлял борьбу местного населения за сохранение национального достоинства, уклада, языка. Львов с его остатками укреплений, бульварами и произведениями средневекового зодчества, его небом и старыми буками.

Тогда лишь убеждает автор, когда приближает сущность далеких событий к сознанию современного человека, когда его воображение обогащено знанием и пристрастиями.

Б. Ряховский.



В. ЗОЛОТУХИН. На Исток-речушку, к детству моему. Повести. «Молодая гвардия». 1978. 297 стр.

Я не совсем согласен с Валентином Распутиным, который замечает в предисловии к сборнику повестей Валерия Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему», что их автор «многого, надо полагать, в сложной писательской грамоте... не знает». При чтении прозы Золотухина у меня возникло как раз обратное чувство — ощущение слишком большой искусственности его в различных искусствах, в том числе и в литературе. Искусственность проглядывает и в стремлении к сложной композиции, и в сближении доста-

точно далеких ассоциаций, и в попытке развернуть исторический фон. Такого рода стремления, безусловно, свойственны опытным актерам, а Золотухин актер опытный.

В повести «Дребезги» явственно ощущается возросшее мастерство писателя, четче очерчены и нравственные и профессиональные проблемы, которые волнуют Валерия Золотухина как актера. Если в его первой лирической повести «На Исток-речушку, к детству моему» образы отца и матери Володи, его друзей, случайных и неслучайных знакомых едва намечены, то в «Дребезгах» автор совершил во многом удачную попытку перейти от просто живописания к строгому осмыслению пережитого.

Внешняя безыскусность первой повести, размытость ассоциаций, некоторая поспешность и подражательность в способе изложения материала объяснялись и молодостью самого Золотухина. В «Дребезгах» же перед нами зрелый человек, попробовавший себя и в театре, и в кино, и в литературе, раскрывающий причудливую душу своего героя — талантливого юноши из глубин России, который уже осознал свое призвание и пробивается к будущему через целый ряд подлинных и мнимых преград. Наряду с внешней чрезвычайно простой сюжетной линией, встречающейся уже так или иначе в произведениях, печатавшихся на страницах молодежных журналов, в «Дребезгах» развивается другая, более скрытая, более глубинная линия, требующая от читателя определенной подготовки, знания исторического материала, собственной точки зрения на проблемы, казалось бы, очень разные — допустим, каким быть колхозному строительству или взаимоотношениям творческой личности и общества.

«Дребезги» — повесть в рассказах. Избрание подобного жанра дает возможность сжать ее, избавиться от лишнего, на взгляд автора, описаний, создать своеобразный прерывистый ритм. Жанр позволяет Золотухину свободно перемещать материал, вкраплять в него многое, прямо не относящееся к сюжету, и эти отступления воспринимаются органично, «лоскутность» не вызывает ни раздражения, ни утомления.

Попытка уйти от шаблонных решений, по-своему взглянуть на окружающее, а результаты раздумий преподнести читателю своим способом есть безусловное достижение автора — черта, не часто встречающаяся среди тех, кто впервые берется за перо.

Причудливое сочетание подлинной народности с некоторой сценической изысканностью, как мне кажется, и определяет удачу повести Валерия Золотухина «Дребезги». Конечно, ей еще не везде хватает настоящей органики, конечно, в ней еще можно отыскать и швы, и нитки, но она уже берет нас в плен, заставляет задуматься над сегодняшними острыми проблемами.

Есть много привлекательного и в главном герое — мальчике из далекого алтайского села. Он с малых лет знает, почему фунт лиха, он вовсе не смотрит на действительность сквозь розовые очки, в его раз-

мышлениях есть печаль и страдание, есть и надежда и желание осуществить себя. Мальчик не сразу становится юношей, но когда он им становится, то стремится верно оценить пройденный путь, трезво смотрит правде в глаза.

Язык писателя прельстил меня свежестью, самобытностью, легкостью, читаешь страницу за страницей и будто окунаешься в чистую прозрачную реку или дышишь горным воздухом Алтая.

Однако если авторский язык хорош, то речь героев, к сожалению, не индивидуализирована, далека от совершенства, особенно она режет слух в «канители» — своеобразном устном сказе, который слышит Володя перед отъездом в Москву. В общем, над языком, в своей основе поэтичным и народным, Золотухину еще предстоит много поработать.

Трезвый и правдивый подход к жизненным проблемам у литератора и актера, познавшего приятный шум аплодисментов, сам по себе нравствен, к тому же в повестях он точка отсчета, с которой начинается книга и которой она завершается. Острое чувство неудовлетворенности — нормальное состояние в период творчества и для молодого и для зрелого мастера. Эта неудовлетворенность содеянным, на мой взгляд, служит существенным залогом будущего писательского развития Валерия Золотухина, издавшего сейчас первую книгу и, очевидно, крепко связавшего свою судьбу с литературой.

Юрий Щеглов.



Н. И. ДИКУШИНА. Октябрь и новые пути литературы. Из истории литературного движения первых лет революции 1917—1920. М. «Наука». 1978. 272 стр.

«Первые годы революции... Всего 3—4 года, совсем небольшой отрезок времени и — целая эпоха. Эпоха, насыщенная событиями всемирно-исторического значения, эпоха, заключившая в себе концы и начала» — так пишет Н. И. Дикущина в своей книге «Октябрь и новые пути литературы».

Автор нашла интересный угол зрения на историко-литературный процесс первых революционных лет. Она высветила основную, центральную идею литературного движения, поставленную Великим Октябрем: революция — культура — гуманизм. Эта идея определила место писателей в бурной и сложной идейной и эстетической борьбе.

Перед художниками, как определяет Н. И. Дикущина, была поставлена новая эстетическая задача: формирование историзма в творчестве. Новые свершения диктовали необходимость нового видения жизни в ее историческом развитии. Только историзм мышления, умение определить главные, ведущие тенденции развития, место революционной России в мире, ее связь с прошлым и будущим человеческой культуры давали возможность избежать опасности искажения действительности, понять происходящее, И в книге на ярком мате-

риале литературной жизни того времени убедительно показано, как умирала идея «независимости» искусства от жизни, как «мировоззренческая проблема смыкалась с творческой».

Первым и главным делом стало выполнение задачи, поставленной В. И. Лениным, — демократизации искусства, в основе которой, как правильно отмечает автор, идея народности культуры, ее ориентация на творчество народных масс. Эта задача противостояла принципу «искусство — избранникам!», но она не имела ничего общего и с принижением культуры, с «упростительскими» тенденциями идеологов Пролеткульта, футуристов, имажинистов. В создании такого искусства, в приобщении народа к пониманию прекрасного надежным ориентиром становились вершины мировой культуры. Работа великих литераторов эпохи была направлена на выполнение этой исторической задачи.

Автор исследует бурную деятельность выдающегося литератора, критика, историка и организатора советского искусства, первого наркома просвещения А. В. Луначарского. За три первых года революции учтено около 200 его выступлений по самым насущным проблемам культуры.

В книге показаны истоки важного начинания советской культуры — издания «Всемирной литературы», в замысле которого осуществлялись главные принципы культурной политики советской власти. Сегодняшним нашим читателям, отмечающим завершение этого издания, интересно узнать, что только за 1919—1922 годы в суровых условиях войны, разрухи, голода, было выпущено 59 названий книг «Всемирной литературы» тиражом от 10 до 20 тысяч экземпляров.

Тонко очерчивает автор роль А. М. Горького в эти первые революционные годы. Раскрывается близость А. М. Горького к ленинскому пониманию истории культуры, осмысление идеи о революционерах как мосте, соединяющем культуру с народом. Заслуживает внимания оригинальная трактовка автором горьковских воспоминаний о Л. Н. Толстом, как то «бесстрашное исследование о человеке, воплотившем в себе гений русского народа».

В специальной главе «Новаторство и традиции» автор освещает взгляды и деятельность В. Маяковского, А. Блока, В. Брюсова. Новизна литературы, утверждает книга, есть следствие поэтического осмысления художниками новой действительности. В центре нового мира — Человек, личность, которую В. Брюсов трактует как выразителя коллективных переживаний. В главе «На перепутьях» автор дает свежий и своеобразный разбор творчества формалистов, сборника «Поэтика», имажинистов. Н. И. Дикишина находит убедительные аргументы, обнажая имажинистов как сторонников элитарной культуры, проповедников антиэстетизма, модернистского культа безобразного, по существу превративших «цепь времен».

Свое место занимает сложная фигура

Есенина, с огромной силой поднявшего в своем творчестве идею нераздельности человека и природы, человека и мира.

Фундаментальное исследование Н. И. Дикишиной основано на осмыслении достижений современного советского литературоведения, опирается на тщательное изучение архивов и особенно советской публицистики революционных лет. Насыщенная богатым материалом, монография будет читаться с живым интересом не только специалистами, но и всеми, кому дорога история советской культуры. Самое главное, что книга вызывает у читателя встречный поток размышлений. Автору удалось показать первые и важные шаги в сложном литературном движении нашей современности, исследовать самые истоки такого явления мировой культуры, как советская литература.

Людмила Зак,
доктор исторических наук,
профессор.



Л. БЕРНСТАЙН. Музыка — всем. Перевод с английского В. Чемберджи. М. «Советский композитор». 1978. 260 стр.

Некоторое время назад мне удалось ознакомиться с одним из американских изданий книги Л. Бернштейна «The Joy of music» («Радость музыки»). Книга эта — собрание литературных записей бесед Бернштейна о музыке, с которыми он в течение продолжительного времени выступал по американскому телевидению, обращаясь к самым широким кругам телезрителей. И вот сейчас в советском издательстве вышла новая книга Бернштейна «Музыка — всем», куда вошли фрагменты как упомянутой книги, так и другой, аналогичной — «Бесконечное разнообразие музыки» («The infinite variety of music»).

Будучи сам талантливым композитором (у нас особенно известна его «Вестсайдская история»), выдающимся дирижером, замечательным пианистом, Бернштейн говорит о музыке как творец, глубоко проникающий в самую ее суть, в механизм ее создания. Круг тем его бесед очень широк — это и музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайковского, и рассказ о джазе (его языке и законах), об искусстве дирижирования и о многом другом. Каждая тема — концепция самого Бернштейна, яркий, оригинальный взгляд на проблему, блестящее ее решение. Так, например, в рассказе о Пятой симфонии Бетховена он использует сохранившиеся черновики и наброски композитора, пытается вмонтировать их в те места, для которых они первоначально предназначались, и затем вместе со своими читателями (слушателями-зрителями) обсуждает, почему композитор отверг тот или иной вариант. Конечно, сам по себе этот метод известен у музыковедов и не так уж редко применяется (особенно в связи с Бетховеном), однако потребовался талант Бернштейна, чтобы такое исследование можно было

предложить не нескольким специалистам, а миллионной аудитории.

Ознакомившись с рядом выступлений Бернштейна, без труда обнаруживаешь принцип, следуя которому он строит свой рассказ, — от простого к сложному. Причем то простое, что он кладет в основу своих рассуждений, не элементарно в школьном смысле слова, а нечто именно основополагающее, фундаментальное. Этот принцип Бернштейн проводит последовательно, убежденно и убедительно. Так, в частности, строится рассказ о музыкальной вселенной, рожденной всего лишь из двенадцати звуков европейской музыкальной системы, и иллюстрируется этот рассказ метаморфозами совсем простого мотива, который Бернштейн находит в различных обликах в музыке, начиная от народных песенок, Генделя, Бетховена, Шуберта, Вагнера, Сметаны и кончая Р. Штраусом, Прокофьевым и Шостаковичем («Бесконечное разнообразие музыки»). На этом же принципе построен рассказ об искусстве дирижирования.

Огромный опыт Бернштейна-популяризатора позволяет ему критически оценить накопленные традиции этого рода музыкальной деятельности. В статье «Золотая середина» он со свойственным ему остроумием критикует два, по его мнению, наиболее распространенных стиля. Первый он называет вариациями на тему «птички-пчелки-ручейки» — «бабушкины сказки о великих композиторах, или фальшивые, или не относящиеся к делу». Другой тип — вариации на тему «сейчас-последует-новое-обращение-темы-во-втором-гобое» — наукообразное расчленение живой музыкальной материи, «снотворное с полной гарантией». И негативная и позитивная части этой статьи дают ясное представление о его собственном кредо.

Нет сомнения в том, что книга Бернштейна одна из самых заметных в огромном потоке популярной литературы о музыке. Все ли хорошо в ее переводном варианте? В целом перевод (В. Н. Чемберджи) безусловно удался. Он сделан профессионально, на хорошем литературном уровне, сохранена авторская интонация. Несколько слов о купюрах. С большинством из них можно согласиться, так как речь в них идет об американских композиторах или произведениях, мало что говорящих советскому читателю. В главе о Пятой симфонии Бетховена, к сожалению, оказалась опущена важная деталь, дающая представление о стиле подачи материала, всегда столь оригинальном у Бернштейна: на полу телестудии была нарисована первая страница партитуры и музыканты (инструменты) занимали свои места согласно тому, как их использовал композитор. Таким образом, поиски Бетховена иллюстрировались наглядно. Об этом дают представление также фотографии в американских изданиях книги. Жаль, что они отсутствуют в нашем переводе.

И в заключение. Не пугайтесь обилия нотных примеров и не откладывайте книгу только из-за этого. Даже если вы не сможете прочитать ноты, прочтите рассказ

Бернштейна. Он темпераментен и захватывающ. В живой музыке вам, возможно, откроются тайны и красоты, о которых вы и не подозревали.

А. Майкапар.



ЭМ. МИНДЛИН. Не дом, но мир. Повесть об Александре Коллонтай. («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1978. 447 стр.

Многообразные проблемы встают перед автором документальной книги об историческом деятеле, о солдате революции, особенно когда таким солдатом была женщина. Вот одна из них: показывать ли женщину-борца или опустить, так сказать, женскую специфику проблемы?

Нам кажется, что писатель Эм. Миндлин пошел по второму пути. Автор почти информационно сообщает о разрыве Коллонтай с мужем, только изредка вспоминает, что у героини есть сын — ребенок, подросток, взрослый человек. Но когда мы узнаем, что сын, выросший без матери, стал ее единомышленником, понимаем, что для этого необходима была благодатная почва.

Главное внимание автор уделяет мужанию души героини, тому, как крепла ее воля, как она шла от первых собраний питерских феминисток до трибун международных социалистических конгрессов, с которых произносила речи уже как закаленный марксист. От петербургской аристократки до «валькирии революции»!

В тридцать три года она вынуждена была, скрываясь от царской охранки, эмигрировать из России. И с тех пор наравне с судьбами русского рабочего человека ей стали кровно близки судьбы немецкого, скандинавского, американского пролетариата. «Не дом, но мир...»

Через биографию Коллонтай проходит страстное стремление найти единомышленников, которые, как и она, готовы отдать всю жизнь борьбе за счастье людей труда. Оторванная от родных, она умела ценить человеческую дружбу; поэтому, наверное, «золотая нить дружбы» связывает ее до последних дней жизни с Татьяной Щепкиной-Куперник и революционеркой Зоей Шадурской, с которой подружилась еще девочкой, когда жила с отцом в Болгарии. Близкими ей людьми были Елена Стасова, Инесса Арманд и Клара Цеткин. И особенно дорогой была требовательная и внимательная заинтересованность в ее работе и жизни Владимира Ильича Ленина. Он редактировал ее брошюру «Кому нужна война». «Сначала ленинская правка удивила ее — показала излишне придирчивой. Но вчитавшись, вдумавшись, она увидела, что каждое ее слово Ленин оценивает и правит не только с позиций стилистики... Ленин как бы заострял, оттачивал выкованное ею оружие». Владимир Ильич писал ей в Америку о том, что «архиважно выступать на разных языках» и она, Александра Коллонтай, в этом отношении может очень помочь их общему

делу. Но Ленин же и осуждал ее сурово, когда она на какое-то время примкнула к так называемой рабочей оппозиции.

Сама Коллонтай умела порвать с людьми, предавшими общую цель. Так она порывает с Плехановым и в дальнейшем с немецкими социал-демократами, которые с начала империалистической войны 1914 года переродились в ярых шовинистов.

«Агитационное колесо», как называла она свою работу в эмиграции, стремительно вращалось многие годы долгой жизни Александры Коллонтай.

Ей было уже за семьдесят, когда она, первая женщина-дипломат, сделала все, от нее зависящее, чтобы приблизить победу нашей родины над фашизмом.

Автор прав, когда рисует старость Александры Коллонтай как венец ее яркой жизни. «Увенчанная старостью» — так называется последняя глава этой интересной книги.

Н. Макарова,



АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ. Люди дела. М. «Советская Россия». 1977. 192 стр.

С забавной притчи начинается эта небольшая, скромная на вид книга. Вкратце звучит она примерно так. В некотором царстве-государстве повелитель приказал архитектору построить дворец и выдал ему на то соответствующую грамоту. Стал архитектор нанимать людей, а их нет, оказалась нужна другая грамота — право на найм людей. С трудом архитектор выправил (шеф-то занят) соответствующий документ. Но только начали рубить лес, как местные власти потребовали и на то специальную справку. И тогда архитектор решил заполучить у царя грамоту на все, что может ему потребоваться для стройки впредь. При этом он не без резона заявил правителю, что сам должен быть царем в своем деле. Царь же испугался, как бы все другие специалисты не захотели того же, и обратился за консультацией к мудрецу. Но тот оказался настоящим мудрецом и от ответа уклонился, ясно дав понять, что сам он быть царем в своем деле не желает...

Какой читатель после этого не заинтересуется книгой и не устремится вместе с автором по ее страницам? Заманить читателя, однако, дело нехитрое. Далеко ли он продвинется в глубь сочинения и с чем из него выйдет — вот вопрос. Тем более что книга эта на самую то ни на есть серьезную и, казалось бы, скучную для случайного читателя тему — об актуальных социально-экономических проблемах. Но думаю, что читать книгу интересно не только людям, так или иначе связанным с производством («от рабочего до министра»), но и представителям многих других сфер деятельности.

Пересказанная мной притча — введение в публицистический анализ одной из наиболее проблем организации и управления современным производством — распределения прав и ответственности между руководителями различного уровня. Вот пример

для размышления. Директор крупного завода обязан выполнить спущенные сверху, но не сбалансированные планы по выпуску продукции и по новой технике. Однако у него нет права распорядиться возможностями предприятия по своему усмотрению, чтобы, допустим, выполнить в первую очередь один из этих планов. Образное осмысление типичного случая (к примеру, охотник без ружья или шофер, получающий от начальника указание, как управлять машиной) суммируется в книге с тщательным исследованием возможных путей отказа от давно сложившихся в нашей экономике, но явно устаревших традиций. При этом объектом исследования наряду с собственно проблемой оказывается человек как непреходящее звено в системе управления производством и сбыта продукции («Я маленький человек», — говорит нередко даже вполне ответственный работник, желая избежать риска в принятии решения).

Другая проблема, волнующая автора и также тщательно им исследуемая, — причины распространения и методы так называемой антиработы. Просто удивительно, до чего разнообразны формы симуляции деятельности: активные занятия в рабочее время чем угодно, кроме своих основных обязанностей (оказывается, иные руководители имеют до пяти-шести постоянных общественных нагрузок — где же тут работать?), обилие осмеянных еще Маяковским совещаний и всевозможных планерок (приводятся конкретные цифры затрат времени), увлечение учрежденческой перепиской и «прозой по диагонали» — резолюциями на документах, легкие и безответственные обещания учреждений и ведомств друг другу и частным лицам и т. п.

Как стать министром? Я думаю, многие помнят рубрику «От рабочего до министра», которую несколько лет назад вел в «Литературной газете» А. Левиков. В книге нашли свое место итоги изучения этой важной социальной проблемы — о предоставлении возможности любому рабочему и специалисту продвигаться вверх по лестнице управления. Некоторые темы, исследуемые в книге, далеко не новы, уже с бородой. Однако автор непременно привлекает самый свежий материал, а главное, берет в прицел такие нюансы проблемы, которые могли возникнуть только сегодня. (Вот, скажем, в сфере обслуживания — государственный сервис пошел в гору, но левак изощряется по части новых своих преимуществ: в отличие от фирмы «Заря» он готов предоставить услуги в любое удобное для нас время.) Ярко, по-новому звучит в книге другая, кажется, уже вечная тема — о качестве продукции легкой промышленности, пресловутого ширпотреба. Резкий, но заслуженный упрек бросается здесь в адрес писателей и журналистов — трудно найти роман или очерк о людях предприятий легкой промышленности, написанные с такой же силой, как о Магнитке и Днепрогэсе, о БАМе и КамАЗе.

Остропублицистическая книга талантливо, темпераментно журналиста-газетчика

А. Левикова — результат, по-видимому, огромного количества поездок и встреч, большой исследовательской работы. Прочитав книгу, еще раз убеждаешься, что слово «газетный» относится сегодня к материалам не просто актуальным и увлекательным, но и аналитическим.

Иг. Бубнов.



Т. И. АЛЕКСЕЕВА. Географическая среда и биология человека. М. «Мысль». 1977. 302 стр.

Это исследование, как мне кажется, можно отнести к новой отрасли знания — геоантропологии, возникшей на стыке антропологии с генетикой, географией, геохимией, экологией, учением о биосфере.

Выяснить сущность и механизмы зависимости человека от географической среды — задача сложная прежде всего потому, что на формировании человека более всего сказывались факторы социальные и биологические. Представьте себе трех ваятелей, работающих над одним и тем же материалом, причем один из них трудится значительно медленнее других. А нам, зная результат их работы, требуется выяснить творческий почерк именно самого неторопливого мастера. Примерно такая задача стоит перед ученым, выявляющим в облике современных людей биологические особенности, сформировавшиеся под влиянием географических факторов, а не социальных и биологических.

Автор отмечает некоторые интересные закономерности. Так, у коренного населения Заполярья независимо от этнической принадлежности много сходных анатомических и физиологических черт: относительно большая костно-мышечная масса, преимущественно цилиндрическая форма грудной клетки, относительно большое количество костного мозга, повышенное содержание гемоглобина в крови и т. д. На Севере заметно преобладает биологический тип человека, наиболее соответствующий суровым климатическим условиям.

Аналогичная картина в тропиках. Темная пигментация кожи, интенсивность потоотделения, удлинённая форма тела и некоторые другие специфические черты коренного населения тропиков указывают на его приспособленность к окружающей среде. Вместе с тем Т. Алексеева особо отмечает исключительное биологическое разнообразие жителей тропиков, где встречаются и самые высокорослые и самые низкорослые племена. По мнению Т. Алексеевой, расовые различия, тип хозяйства или пищевого рациона при этом не играют существенной роли. Факты, приведенные автором, свидетельствуют о том, что в ряде случаев классификация по широтной зональности (арктические, средние, тропические широты) оказывается слишком грубой, недостаточной. Ведь разнообразие типов людей в тропиках находится в прекрасном соответствии с разнообразием тропических ландшафтов —

от пустынь и высокогорных лугов до тропических лесов (например, низкорослое население вне зависимости от расовой принадлежности характерно для тропических лесов).

Т. Алексеева вводит понятие адаптивного типа, независимого от расовой и этнической принадлежности, складывающегося в одних и тех же геоклиматических условиях. Она выделяет адаптивные типы, характерные для тропических и арктических широт, для высокогорных, континентальных и аридных (засушливых) условий, а также для умеренного климата. В основе этой классификации лежат сразу два признака — широтная зональность и ландшафтно-климатическая. По-видимому, наиболее целесообразно сопоставлять адаптивные типы с физико-географическими зонами, ландшафтами, возникшими под влиянием целого ряда факторов — климатических, геохимических, экологических. Тем самым будет учтен весь комплекс характеристик, определяющих структурные особенности биосферы, ландшафтное расчленение географической среды.

Известно, что появление человека разумного исторически совпало с глобальными колебаниями климата, с ледниковыми эпохами, с решительными перестройками географических зон на огромных пространствах. Возможно ли сопоставить эти природные ритмы с процессом антропогенеза и его ритмичностью? Допустимо ли связывать общее увеличение массы тела у предков человека с вековыми похолоданиями? Немало подобных вопросов возникает при чтении этой книги, напоминающей о том, что мы связаны с географической средой самыми тесными узами — не только как преобразователи природы, но и как ее творения.

Плодотворность научной гипотезы определяется прежде всего перспективами, которые она открывает перед исследователями. В этом отношении гипотеза адаптивных типов безусловно интересна и перспективна. Геоантропология позволяет решать биологические проблемы, связанные с приспособлением организмов к природным условиям и с участием географической среды в формировании новых видов, в частности человека. Но более всего, пожалуй, геоантропология интересна для нас в связи с будущим человечества. Потому что нам требуется точно знать, как наилучшим образом совместить свою биологическую и психическую организацию с окружающей средой и как сделать эту среду такой, чтобы она позволила нам в полной мере проявить наши лучшие черты, прежде всего человечность и разум.

Р. Баландин.



США — ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: ПАРТНЕРСТВО И СОПЕРНИЧЕСТВО. М. «Наука». 1978. 422 стр.

«Чтобы спасти город, нам пришлось его уничтожить» — эта классическая фраза, от-

чеканенная неким американским военачальником на руинах Бенче (Вьетнам), не дает сегодня покоя многим западным европейцам, чувствующим себя все более неуютно под сенью не то «щита», не то «зонта» — разумеется, ядерного, — поддерживаемого заокеанскими «спасителями». Западная Европа тяготеет к затянувшейся военно-политической опекой США, преследующих в первую очередь свои собственные цели, и стремится тем или иным путем от нее освободиться. Таков один из наиболее важных аспектов американо-западноевропейских взаимоотношений на сегодняшний день.

Коллектив сотрудников Института США и Канады создал труд, представляющий первое комплексное исследование отношений между двумя «центрами силы» капиталистического Запада. Отношения эти берутся на четырех различных уровнях: политическом, военно-политическом, экономическом и культурном. В первые послевоенные годы военно-политический момент оттеснил все прочее: под барабанный бой Запад развязал «холодную войну», активно готовился к войне «горячей», и отношения западноевропейских стран с США мыслились тогда преимущественно как отношения военного союза. «Центр силы» тогда, собственно, был один. Западная Европа вышла из войны резко ослабленной, раздражаемой социальными конфликтами, и ее правящие классы, чтобы спасти свои позиции, почти безоговорочно подчинились диктату Соединенных Штатов, обладавших подавляющей военной и экономической мощью.

И сегодня еще военная мощь Соединенных Штатов остается очень большой сравнительно с вооружениями западноевропейских союзников. И тем не менее общая картина их взаимоотношений сильно изменилась. Дело в том, подчеркивают авторы книги, что в результате оздоровления международного политического климата в современном мире заметно уменьшилась роль военного фактора как такового, роль же экономического фактора, напротив, возросла. А экономика — это та область, где Западная Европа неуклонно наращивала свои силы и уже способна поспорить с Америкой. Совокупный валовой национальный продукт двух самых богатых западноевропейских стран, ФРГ и Франции, ныне составляет половину американского, а в расчете на душу населения почти сравнялся с

ним. Экспорт одной только ФРГ почти достиг американского. Правда, еще сохраняется «технологический разрыв», превосходство США в наукоемких отраслях экономики, но и здесь западные европейцы постепенно наверстывают свое отставание.

Ирония истории: некогда милитаризм являл собой в глазах американцев нечто экзотическое; делом Америки, по крылатому выражению, был ее бизнес, а всякие там воинские экзерции были по части старушки Европы. Теперь о капиталистической Европе можно сказать, что ее делом является бизнес, в то время как вооруженная до зубов Америка исполняет роль мирового жандарма, отстаивая «глобальные» интересы капитализма. Это, конечно, упрощение. У западноевропейских партнеров США есть свои собственные политические цели и военно-политические амбиции, и как раз возросшая экономическая мощь и позволяет им рассчитывать на их реализацию. И все-таки основное бремя глобального военно-политического противостояния социалистическому лагерю они и впредь хотели бы оставить за Соединенными Штатами.

Таковы две стороны одного вопроса. Капиталистическая Европа нуждается в Соединенных Штатах, так же как Соединенные Штаты нуждаются в капиталистической Европе. Главное, что их связывает — общность классовых интересов. Кое-что значит, конечно, историческая близость двух регионов. Вместе с тем, нарастив свой экономический вес, западноевропейские страны проявляют все большую самостоятельность, все чаще действуют независимо от Америки и вопреки ей. Углублению империалистических противоречий между двумя регионами способствуют идущие в Западной Европе интеграционные процессы, благодаря чему она все более выступает по отношению к США как единое целое; идеология «европензма» (вобравшая нечто от голлизма) мало-помалу вытесняет идеологию «атлантизма».

Особый круг проблем — взаимоотношения США и Западной Европы в сфере культуры, общественного сознания. Особый уже потому, что он до сих пор почти совершенно не разработан. Авторы данного раздела книги обозначили некоторые из этих вопросов, и в этом их заслуга. Главные же исследования — впереди.

Ю. Михайлов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Е. Добровольский. Чужая боль. Повесть о Вере Засулич. («Пламенные революционеры») 334 стр. Цена 1 р. 30 к.
В. Успенский. Всесоюзный староста. Повесть о Михаиле Калининe. Изд. 2-е, исправленное. 412 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Антонов. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Рассказы и повести. 429 стр. Цена 1 р. 80 к. Т. 2. Разорванный рубль. Повесть. — Рассказы о книгах и писателях. 429 стр. Цена 1 р. 80 к.
Х.-К. Браннер. Игрушки. Роман. Перевод с датского. («Зарубежный роман XX в.») 311 стр. Цена 1 р. 90 к.
С. Васильченко. Над Росью. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 302 стр. Цена 95 к.
Д. Китс. Лирика. Перевод с английского. («Сокровища лирической поэзии») 158 стр. Цена 70 к.
М. Мванги. Неприкаянные. Перевод с английского. 183 стр. Цена 1 р. 10 к.
Л. Отеро. Такой же город. Перевод с испанского. 318 стр. Цена 1 р. 90 к.
М. Пуиманова. Игра с огнем. Роман. Перевод с чешского. («Библиотека Победы») 276 стр. Цена 2 р. 10 к.
Французская классическая эпиграмма. Перевод и составление В. Васильева. 431 стр. Цена 1 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Е. Адельгейм. Остаются стихи. Очерк творчества Н. Ушакова. 286 стр. Цена 75 к.
Э. Бабаев. Солнечные часы. Стихи и поэма. 103 стр. Цена 30 к.
В. Голявкин. Арфа и бокс. Роман. 255 стр. Цена 1 р.
Г. Гулиа. Дилижанс. Рассказы. 326 стр. Цена 1 р. 30 к.
Я. Кросс. Между тремя поветриями. Роман. Перевод с эстонского. 375 стр. Цена 1 р. 50 к.
П. Олейник. Пролог. Роман. Перевод с украинского. 488 стр. Цена 2 р. 40 к.
Л. Румарчук. Единственное лето. Повести и рассказы. 223 стр. Цена 65 к.
Л. Шерали. Струны дождя. Стихи. Перевод с таджикского. 94 стр. Цена 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Белов. Улыбка дракона. Очерки о суевериях. 112 стр. Цена 20 к.
В. Дашевский. Чистая вода. Повесть и рассказы. Предисловие А. Рекемчука. («Молодые писатели») 206 стр. Цена 60 к.
Е. Евтимов. Пиринский орел. Стихи, поэмы. Авторизованный перевод с болгарского О. Шестинского. 126 стр. Цена 60 к.
Д. Медведев. Сильные духом. Роман. 478 стр. Цена 2 р. 30 к.
Молодые поэты Прибалтики. Сборник переводов. 175 стр. Цена 75 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Атаров. А я люблю лошадь. Повесть. 127 стр. Цена 40 к.
В. Ляленков. Знаменитая танковая. Повесть. 125 стр. Цена 55 к.

«ИСКУССТВО»

Жан Виго. Сборник. Составление и перевод с французского А. Врагинского. Предисловие С. Ютневича. («Мастера зарубежного киноискусства») 295 стр. Цена 1 р.
Н. Толченова. Юлия Солнцева. («Мастера советского театра и кино») 118 стр. Цена 55 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Дудинцев. Не хлебом единым. Роман. 415 стр. Цена 1 р. 80 к.
А. Коноплин. Сердце солдата. Повести и рассказы. («Новинки «Современника») 208 стр. Цена 90 к.
Я. Мустафин. Лови синий цвет. Повести и рассказы. 254 стр. Цена 1 р. 20 к.
Н. Нимбуев. Стреленные молнии. Стихи. Предисловие Н. Дамдинова. 94 стр. Цена 35 к.
А. Преловский. Дыхание простора. Книга стихов. («Новинки «Современника») 111 стр. Цена 55 к.
Г. Семенов. Голубой дым. Повесть и рассказы. 382 стр. Цена 1 р. 60 к.
Ю. Убогий. Дело жизни. Повести и рассказы. («Библиотека «Русское поле». «Молодая проза Нечерноземья») 269 стр. Цена 1 р. 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

История второй мировой войны. 1939—1945. В 12-ти тт. Председатель Д. Ф. Устинов. Т. 10. Завершение разгрома фашистской Германии. 543 стр. Цена 4 р. 30 к.
Н. Камбулов. В конце войны. Повести. 399 стр. Цена 1 р. 90 к.
В. Кожевников. Грозное оружие. Повести и рассказы. 544 стр. Цена 2 р. 60 к.
В. Понизовский. Посты сменяются на рассвете. («Военные приключения») 390 стр. Цена 1 р. 40 к.
Э. Червинский. Юность, опаленная войной. Повесть. Перевод с польского В. А. Светлова. 219 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Дидевар. Недолгое чудо. Роман. Перевод с персидского. 336 стр. Цена 2 р. 20 к.
В. Ихмаза. Вануа. Роман. Перевод с английского. 167 стр. Цена 95 к.
С. Лец. Непричесанные мысли. Перевод с польского. 149 стр. Цена 50 к.
А. Оксанен. Старшая сестра и младший брат. Повесть и рассказы. Перевод с финского. 206 стр. Цена 1 р. 10 к.
Я. Парандовский. Олимпийский диск. Перевод с польского. 384 стр. Цена 2 р. 40 к.

Б. Сахни. Окна отчего дома. Повесть и рассказы. Перевод с хинди. 219 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Хаггет. География: синтез современных знаний. Перевод с английского. 684 стр. Цена 2 р. 90 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Вельтман. Повести и рассказы. Подготовка текста, составление и вступительная статья Ю. М. Акутина. 383 стр. Цена 2 р.

О. Гусев. Вокруг Байкала. Фотоальбом. 239 стр. Цена 9 р. 40 к.

Д. Кугультинов. Память света. Стихи и поэмы. Перевод с калмыцкого. («Поэтическая Россия»). 399 стр. Цена 1 р. 30 к.

Б. Лавренев. Повести. Послесловие Е. Стариковой. («Подвиг») 271 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Яшин. Лирика. Составитель М. Я. Яшин. Вступительное слово З. К. Яшиной. («Земля родная») 379 стр. Цена 1 р. 30 к.

«НАУКА»

О. Битек. Африканские традиционные религии. Религия Африки в освещении западных и африканских ученых. Сокращенный перевод с английского. («Библиотека зарубежной африканистики») 231 стр. Цена 70 к.

Т. Григорьева. Японская художественная традиция. 388 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Гусев. Славянские партизанские песни. («Литературоведение и языкознание») 176 стр. Цена 40 к.

Э. Кленгель-Брандт. Путешествие в древний Вавилон. Перевод с немецкого. Ответственный редактор и автор предисловия В. А. Якобсон. («По следам исчезнувших культур Востока») 259 стр. Цена 55 к.

М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Ответственный редактор М. П. Адексеев. 431 стр. Цена 2 р. 30 к.

М. Чудакова. Поэтика Михаила Зощенко («Литературоведение и языкознание») 200 стр. Цена 35 к.

«МЫСЛЬ»

В. Быков. Уильям Фостер — борец за дело рабочего класса. 216 стр. Цена 85 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Н. Еремин. Жить да жить. Стихотворения. Предисловие В. Цыбина. Красноярск. Книжное издательство. 110 стр. Цена 25 к.

В. Конечный. Завтрашние заботы. — Кто смотрит на облака. — Путевые портреты с морским пейзажем. Повести. Лениздат. 572 стр. Цена 2 р.

М. Кравец. Обратная связь. Рассказы. Львов. «Каменяр». 96 стр. Цена 25 к.

Н. Крутикова. В начале века. Горький и символисты. Киев. «Наукова думка». 307 стр. Цена 1 р. 70 к.

Л. Померанцева. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. («Хуайнаньцзы» — II в. до н. э.) Издательство Московского университета. 243 стр. Цена 2 р. 20 к.

Н. Тендитник. Александр Вампилов. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. («Литературные портреты») 71 стр. Цена 15 к.

Р. Тиманадзе. Грузинское кино... Проблемы, искания. Тбилиси. «Хеловнеба». 351 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Утнов. Гражданин Тобольска. О жизни и творчестве П. П. Ершова, автора сказки «Конек-горбунок». Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 144 стр. Цена 30 к.

И. Чигринов. За сто километров на обед. Рассказы. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая літаратура». 287 стр. Цена 1 р. 20 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 29/III 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 27/IV 1979 г.
А 00923. Формат бумаги 70x108^{1/16}, 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
Тираж 275.000. Зак. 01764.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», Киев-47.
Брест-Литовский проспект, 94.

Цена 70 коп.

70636